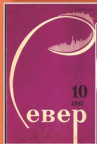


ИНДЕКС 73375 (Распечатать)
51845 (МАП)

Журналу «Север» – 75 лет



СЕВЕР
9+10

СЕВЕР

9+10
сентябрь октябрь
2015
ISSN 0131-6220

20
15

В номере:

- Журналу «Север» – 75 лет!
- Свет любви и памяти в романе «Земля живых»
- Абхазия: война и мир
- «Монпансье»: рассказы и стихи для детей

Журналу «Север» – 75 лет

Главный редактор журнала «Север»
Е. В. Лившицкий

Намечена Елена Еленовна!



Поздравляю Вас, коллежки, читатели и авторы журнала с 75-ой годовщиной!
На страницах «Севера» публикуются яркие произведения российских и зарубежных писателей,
русской классической и зарубежной литературы.

Северна это читаешь во многих регионах России и за рубежом.
Уже несколько лет журнал «Север» входит в «Золотой фонд прессы» России.

Самые лучшие произведения авторской коллективной
литературной команды «Северная звезда», возглавляемой
многолетним автором журнала в литературную соавторство журнала.

С 2012 г. выпускается журнал за рубежом «Северная звезда»
В 2014 году на базе журнала «Север» издан российский альманах «Дети поэзии»,
выдающийся журнал челябинского региона.

Произведения авторов «Севера» неоднократно становились
гражданскими, патристическими, историческими и в нашей стране.

В год 75-летия и журналу «Север» не останавливаться на достигнутом,
обширные новые книги, добиваться выкладки новых читателей.

Отблагодарю вас, благодарю и счастливых читателей!

Глава Республики Карелия А. Н. Курашова

Главный редактор журнала «Север»
Е. В. Лившицкий

Намечена Елена Еленовна!



Поздравляю Свету писателей России поздравляю
Вас и коллежки журнала «Север» с 75-летием!
«Север» – один из лучших литературных журналов России,
каждый журнал высшего творческого плана.

Пожалуй он был самым читаемым
в разных регионах нашей страны и за ее пределами.

Создана программа, журнал русской литературы – журнал содержательной культуры.

Журнал «Север» и северна является отличным гражданским, патристическим,
драматическим филологическим, краеведческим журналом.

Обязательно отметить, что вы сделали многое в году со своей
обширной новой коллективной и краеведческой работой читателей.

Много лет сотрудничали и авторам журнала
успешно в работе, творческого творчества, отблагодарю и читателей!

Валерий Топачев, профессор Света писателей России

2015 - год литературы

Читайте журнал «Север»!



Дорогие читатели!

Подписку на журнал «Север»
на второе полугодие 2015 года
можно оформить в любом отделении
почтовой связи

по каталогу «Роспечать»
Почтовый индекс – 73375

Периодичность выходов –
раз в два месяца (6 номеров в год).

Подписная цена на полугодие – 540 р.

Также можно подписаться на журнал
через редакцию:

Цена редакционной подписки
за полгода без почтовых расходов – всего 300 р.

Подписка с доставкой
по «Почте России» - 450 р.

Справки по e-mail: sever@karelia.ru
или по телефону 8(8142) 78-47-36



К 75-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «СЕВЕР»

Елена У НОВОГО ПОРОГА (12+)
ПИЕТИЛЯЙНЕН (журналу «Север» 75 лет) **3**

Сергей (12+)
КАТАНАНДОВ «...КУЗНЕЦ ОЧЕНЬ ВАЖЕН...» **16**

П О Э З И Я

Евгений «ТВОИХ ЗРАЧКОВ (12+)
ЧЕКАНОВ ГРЕЧИШНЫЙ МЕД...» **6**

Николай «ОКАМЕНЕВШИЙ (12+)
НОВОСЕЛОВ ПЛАЧ ПОБЕДЫ...» **81**

Иван «НЕ ВЕРЬТЕ ОТТЕПЕЛЯМ,
ЕГОРОВ ПТИЦЫ...» (12+) **83**

Игорь «ЗДЕСЬ ПРОСКАКАЛ (12+)
МЕЛЬНИКОВ ПО ДОРОГЕ ПЕГАС...» **133**

ПРОЗА

Валентина СТРАСТИ ПО «ИТАЛЬЯНЦУ»,
АКУЛЕНКО рассказ (12+) **8**

Павел (16+)
ПАРАМОНОВ КУБИКИ, повесть **26**

ОДНА ИЗ ЗАГАДОК ТВОР-
Валерий ЧЕСТВА; ПРЫЖОК В РАЙ;
РУМЯНЦЕВ КУРИЦА, рассказы (12+) **85**

ПРОЗА

ПУСТАЯ ВАЗА; (12+)
Лукас ЛЮБОВЬ ОБЯЗЫВАЕТ;
фон ШЕЛЛЬ КОШЕЧКА, рассказы **106**

Геннадий (16+)
РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН ЗЕМЛЯ ЖИВЫХ,
роман (журнальный вариант) **180**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ВЫВЕРЯТЬ ЛИТЕРАТУРУ
ЖИЗНЬЮ (О «военной страде
в тылу» в тетралогии
Ф.А.Абрамова «Пряслины»
и о нравственной высоте
сельских тружеников.
Вера с. сельских тружеников.
СЕРАФИМОВА Поэтика прозы. (12+) **18**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей РОЖДЕНИЕ КОЛЬСКОГО
РАСТОРГУЕВ ЭПОСА (12+) **96**

ДЕБЮТ В «СЕВЕРЕ»

Валентина «ТЫ ПРОСТИ НАС, (12+)
КОЛОБОВА КРАЙ РОДИМЫЙ...», стихи **114**

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Иван
РОГОЩЕНКОВ ТРЕЗВЕНИЕ ДУХА (12+) **116**

СЕВЕР

МОНПАНСЬЕ

Илья БАБУШКИНА МЕДАЛЬ,
ИЛЬИН рассказ (6+) **124**

Юрий «СКОЛЬЗЯ, ПЫХТЯ, БУКСУЯ...»,
ПОЛЯКОВ стихи (0+) **126**

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Артем ОТКРЫТАЯ ДУША (12+)
КУЛЯБИН (лирика Сергея Чухина) **128**

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Александр АБХАЗИЯ: ВОЙНА И МИР
КОСТЮНИН (дневники поездки) (12+) **136**

Литературный конкурс журнала «Север» СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

Юлия
БОДНАРЮК КОТ, рассказ (12+) **166**

ПЕТРОЗАВОДСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 75 ЛЕТ

Анатолий «ЭНТУЗИАСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВОРОНИН РАЗВИТИЕ...» (12+) **172**

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Алексей РЯБЧИКИ КАК СИМВОЛ (12+)
ФИЛИМОНОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ **234**

Вениамин ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ (12+)
СЛЕПКОВ КАРЕЛЬСКОГО ЛЕСА **237**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ **240**

Журнал «СЕВЕР»

идет по подписке во все регионы России.

Журнал поступает в администрации областей и республик Северо-Запада.

Содержание журнала не обязательно отражает точку зрения редакции на затронутые темы.

За точность фактов и цифр ответственность несут авторы.

Редакция пока не имеет возможности платить авторский гонорар. Авторам высылаются журналы с их публикациями.

Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами, произведения которых не будут опубликованы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При использовании материалов, опубликованных в журнале, просим непременно ссылаться на «СЕВЕР».

Главный редактор **Е.Е. Пиетилиянен**

 (8142)

гл. редактор **78 47 36**

отв. секретарь. **78 47 36**

отделы: **78 48 05**

прозы,

поэзии,

публицистики

E-mail:

sever@karelia.ru

Для рукописей:

sever-journal@mail.ru

Наша страница в Интернете:

<http://sever-journal.ru>

Адрес редакции: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, журнал «Север»

Адрес издательства: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, «Север»



АУ редакция журнала «СЕВЕР»

Формат 84x100 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 23,4. Уч.-изд. л. 29,66 Заказ 1125. Тираж 1000 экз. Типография ООО «4+4». 185007, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 51. Верстка выполнена в компьютерном центре журнала «Север». Подписано в печать 01.09.2015: по графику 12.00, факт. 12.00. Дата выхода в свет: 15.09.2015

г. Петрозаводск, «СЕВЕР», 2015 г.

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН,
главный редактор

На рубеже

евер

СЕВЕР

У НОВОГО ПОРОГА

«Северу» — 75 лет!



Архангельская Ненецкий
Вологодская Тверская
Камчатский Коми
Краснодарский Красноярский
Самарская Ленинградская
Пермский Московская
Мурманская Карелия
Новгородская Новосибирская
Псковская Ростовская
Саратовская Свердловская
Волгоградская Татарстан
Тюменская Ульяновская
Магаданская Ярославская
Санкт-Петербург Ханты-Мансийский
Ямало-Ненецкий Чукотский
Москва

Каждая юбилейная дата – словно некий порог, Ку которого мы останавливаемся и, прежде чем открыть дверь и шагнуть в будущее дальше, непроизвольно оглядываемся назад. Так и я в преддверии второго на моём редакторском веку юбилея «Севера» хочу на минуту остановиться и соизмерить минувшее с долгой и славной жизнью любимого журнала.

Помогут мне в этом юбилейные статьи моих предшественников – главных редакторов Дмитрия Яковлевича Гусарова, Олега Назаровича Тихонова, Станислава Александровича Панкратова. Каждый из них отмечал успехи и проблемы, которые сопутствовали «Северу» в тот или иной период его развития.

Пять лет назад свой 70-летний юбилей «Север» встречал в новом правовом статусе автономного учреждения. Немало было сомнений и страхов. Мы не без оснований опасались не справиться с новыми экономическими и организационными проблемами, потерять государственную поддержку.

Справились.

И наши труды не остались незамеченными уч-

редителем – Правительством Республики Карелия. Сегодня мы отдаём должное руководителям республики, которые сумели распознать значимость «Севера» для Карелии и для России, и нас всемерно поддерживают.

Анализируя опыт предшественников и собственный восьмилетний опыт работы главным редактором, вынуждена с грустью признать, что во все времена традиционной остаётся проблема финансирования. При этом было бы несправедливо не заметить другое. Численный состав сотрудников редакции нынче в три-четыре раза меньше, чем был при Гусарове и Тихонове. И если при них финансово-экономическую деятельность «Севера» осуществляло крупное книжное издательство «Карелия», а главный редактор и сотрудники были сосредоточены исключительно на творческой работе, то теперь всё иначе.

Сегодня я, как в старинной русской поговорке, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Мне приходится исполнять обязанности директора автономного учреждения и главного редактора одновременно. Директор решает многочисленные фи-

нансовые, хозяйственные и управленческие проблемы, и он же – главный редактор – ищет ответы на каждодневные творческие вопросы (главные для литературного журнала!), создавая из достойных рукописей текущие номера и редакционный портфель на перспективу.

Также важнейшим для себя делом считаю повседневную целенаправленную работу по формированию авторского состава и своей «северной» читательской аудитории.

К перечисленному следует добавить, что раньше в стране безупречно действовала система распространения и реализации, включая государственное финансирование подписки многочисленных библиотек. Сейчас эти трудоёмкие задачи возложены исключительно на саму редакцию.

Сегодня приходится биться за каждого читателя чуть ли не адресно, персонально. И мы делаем это, понимая, что иначе выжить современному литературно-художественному журналу очень трудно.

Так случилось в истории Отечества, что в начале XXI века мало говорить о великой значимости литературы вообще и журнала «Север» в частности, чтобы его сохранить и обеспечить жизнеспособность. И здесь высокопарный слог и напыщенность стиля плохие помощники. Нужно предъявлять конкретные результаты и прежде всего обеспечивать высокий читательский спрос на журнал. Журнал ради журнала учредитель финансировать не станет. И эта жесткая правда современных реалий уже не раз проиллюстрирована закрытием или сокращением объёмов некоторых региональных изданий.

Именно поэтому, помимо неустанных поисков талантливых современных авторов и качественных литературных произведений, приходится ежедневно трудиться над продвижением журнала к читателям. Наша дорога к ним – взрослым и юным, любящим различные жанры, всегда терниста.

Современный читатель избалован информацией. Он придирчиво ищет и выбирает на свой вкус в огромном море печатной и интернет-продукции что-то своё, особенное, что требует его душа и разум. И на этом невообразимо громадном, многообразном информационном рынке журнал «Север» пробивается к своему читателю, и часто – успешно. Потому что мы стараемся работать так, чтобы «своё, особенное» нашлось именно в «Севере».

И оно находится!

Сегодня «Север» выписывают и читают во всех районах Карелии, во многих регионах Российской Федерации и далеко за рубежами нашей Родины.

Литературный журнал не создаёт литературу, он лишь отражает современный литературный про-

цесс. Это давно известный факт. Однако у каждого журнала существует собственная идейная линия, свои представления о хорошем и плохом и свой круг авторов. Это нормально. «Север» традиционно публиковал лучшие произведения военной и деревенской прозы, стихи представителей «тихой лирики», таких как Николай Рубцов, Ольга Фокина, в поэзии которых темы Родины и любви были одной из сторон гражданственности и патриотизма.

«Север», продолжая русские патриотические традиции, в последние годы существенно расширил тематическую палитру за счёт новых рубрик и новых авторских имён.

На современном этапе развития российской литературы именно вокруг журнала объединяются писательские силы, в то время как обилие писательских союзов, к сожалению, не служит делу консолидации творческой среды, как и упрочению статуса писателя в обществе.

«Север» и здесь в меру сил пытается ответить на вызовы времени. Мы инициировали межрегиональные литературные фестивали и совместно с коллегами из Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга воплотили ряд удачных дел в рамках фестивалей «Поморская лодья» и «Северное пересечение». Встречи и акции прошли на высокой творческой ноте, способствовали не только писательскому общению, но и многочисленным встречам с читателями.

Вопреки расхожему мнению, будто бы сегодня «настоящей литературы нет», как нет и громких писательских имён, публикации в «Севере» вызывают немало добрых читательских откликов и высоких профессиональных литературоведческих оценок.

Наряду с многочисленными читательскими мнениями, известную помощь в выборе правильного вектора развития оказывает независимая экспертная оценка качества нашей работы. Пять лет подряд мы участвуем в российских конкурсах и побеждаем. «Север» четыре раза подряд удостоивался Почётного знака отличия «Золотой фонд прессы». Решение об этом принимает авторитетное жюри, состоящее из наиболее уважаемых и известных российских экспертов. В 2011 году журнал удостоен Первой литературной премии и медали им. Александра Невского «За вклад в развитие русской литературы». «Север» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Стратегия успеха» – за лучший опыт в организации подписных кампаний. В 2012 году в Москве на Всероссийском форуме «Качественная пресса России и её развитие» журнал из Петрозаводска был объявлен победителем конкурса «Золотой лотос» и награждён малахитовым дипломом «За сохранение духовности и культуры России»...

Существенным подспорьем в деле привлечения молодых творческих сил стал объявленный журналом Всероссийский литературный конкурс «Северная звезда». За семь лет его существования мы познакомились с сотнями новых имён, смогли опубликовать десятки молодых авторов, которые – мы уверены в этом! – составят будущее российской литературы.

Журнал живёт полноценной творческой жизнью! Мы публикуем авторов достойных произведений вне зависимости от принадлежности к тому или иному писательскому союзу, по возможности поддерживаем их скромными гонорарами из средств, заработанных самой редакцией. Готовясь к 75-летию юбилею, в очередной раз удивилась непреходящей современности строк, написанных одним из моих предшественников С. А. Панкратовым 20 лет назад, незадолго до безвременной кончины:

«К журналу притягиваются очень разные во всех отношениях люди. И единомышленники, желающие добра и развития журналу. И противники, иногда весьма изощрённые в своих проявлениях... Сейчас формируется новый круг авторов и новый круг читателей, и только недоброжелателей – старый круг...»

Хочу подчеркнуть, что сегодня в круг единомышленников и друзей «Севера» входят очень известные и влиятельные люди: Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен, сенаторы Федерального Собрания С.Л. Катанандов и В.А. Федоров, председатель Законодательного Собрания Республики Карелия В.Н. Семёнов. Именно благодаря их личной материальной поддержке осуществилась мечта многих

главных редакторов журнала: уже несколько лет «Север» отмечает ежегодными литературными премиями лучшие произведения в прозе, поэзии, детской литературе и публицистике.

Мощную поддержку «Северу» продолжает оказывать и корпоративная литературная среда России. Прежде всего хочу отметить деятельное и доброжелательное отношение к журналу Союза писателей России (В.Ганичев, Г.Иванов), газеты и сайта «Российский писатель» (Н. Дорошенко), «Литературной газеты» (Ю.Поляков), журнала «Юность» (В.Дударев). И этот ряд партнёров и настоящих друзей можно продолжать.

Спасибо вам, коллеги и наши уважаемые читатели, за ваш неподдельный интерес к журналу, за бескорыстную помощь и вовремя сказанное доброе и нужное слово! А добро – мы же знаем об этом! – всегда возвращается сторицей...

Август 2015 года



Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН –

главный редактор журнала «Север».

Автор нескольких книг стихов и прозы.

Лауреат премии Президента РФ.

Лауреат международных поэтических конкурсов

«Золотое перо» – 2009, «Звезда полей» – 2010,

«Душа и слово» – 2011.

Награждена медалями им. Ф.И. Тютчева

и им. М.Ю. Лермонтова, а также медалью

Союза писателей Белоруссии «За большой вклад в литературу».

Секретарь правления Союза писателей России.

Координатор Международной ассоциации писателей

и публицистов по Северо-Западу.

Председатель Карельского регионального отделения

Союза писателей России.

Кандидат педагогических наук.

Заслуженный учитель Республики Карелия.



**Евгений
ЧЕКАНОВ**

г. Ярославль



*«Твоих зрачков
гречишный мед...»*

* * *

Горизонты молнией стегая,
Небо погромыхивает малость...
Родина! Судьбина дорогая!
Вижу я: ты вздрогнула и сжалась.

Но не вижу, душу растревожа,
Как ты сжалась, родина-судьбина, —
То ли как шагреневая кожа,
То ли как железная пружина?

* * *

Гром ли расколет лазурную чашу покоя,
Ливень ли хлынет на пажити ваши сухие,
Вихорь ли злой дерева затрясет, как рукою —
Ведайте, близкие: это не я, а другие.

Если ж случится идти вам вечернею тропкой
В роще осенней — и дерево скрипнет без ветра,
Или же дождик закапает, редкий и робкий, —
Знайте: я рядом... И весть подаю с того света.

Евгений ЧЕКАНОВ

родился в 1955 году в Кемерово.

Окончил факультет истории и права

Ярославского государственного университета.

В настоящее время — председатель Правления
издательского дома «Печать» (г.Ярославль).

Публиковался в журналах

«Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия».

Лауреат международного литературного конкурса

«Перекресток-2009» (Дюссельдорф, 2009),

лауреат I Всероссийского поэтического конкурса
имени П.Васильева (Москва, 2010).

Автор более десятка поэтических книг.

Член Союза писателей России.

В журнале «Север» публикуется впервые.

ПЫЛЬ ЗЕМЛИ

Струится свет из звездного ковша,
Летающий мир незримо омывая.
Пылит Земля. Грустит моя душа
О чистоте неведомого рая.

Но здесь мой дом. Вращаясь и пыля,
Я должен жить в летающем мире этом.
Я должен жить в пыли твоей, Земля,
Хоть вся душа омыта звездным светом!

* * *

Твоих зрачков гречишный мед
Прозрачен и тягуч.
Июньский воздух брошен в жар
Житомирской листвою.
Летит на город светлый дождь
Из невесомых туч.
Сбивая пыль ненужных слов,
Смывая возраст мой.

Мне вновь шестнадцать!.. Как и ты,
Поверх голов и крыш
На мир смотрю я... Как и ты,
Чудес от жизни жду.
А вот и есть уже одно —
Ты на меня глядишь.
И под сверкающим дождем
Стою я, весь в меду...

ДЕБРИ СЛОВА

Странное слово – «преданный»,
Двуликое, ненадежное.
Наверно, предок неведомый
Придумал неосторожно.

А может, вложил он сразу
Два смысла в один, особый –
Так странно и страшно связаны
Славянскую речью оба...

БЕЗ МЕНЯ

Жив иль мертв? Не знаю, не отвечу.
Может, жизнь идет и без меня –
Запад алчет, Русь таит Предтечу,
На Востоке множится грызня.

Праведники молча держат веру,
Толпы уплывают к сатане.
Корабли дырявят атмосферу,
Чьи-то тени бродят по Луне.

Где же я? Вращается планета,
День и ночь проходят чередой.
Жизнь идет. Вопросы ждут ответа.
Вечный дух витает над водой.

СТАРУХА С РЮКЗАКОМ

Мы мчимся вдаль!..
 Так думать мы хотим,
Когда в тепле, без копоти и пыли,
По вымытым проспектам городским
В стремительном летим автомобиле.
От свиста шин, от визга тормозов
Захватывает дух в земном полете,
А за окошком – грохот поездов,
Гул самолетов...

 Но на повороте
Вдруг видим мы идущую пешком
Иссохшую старуху лет под двести,
Придавленную тяжким рюкзаком, –
И понимаем:

мы стоим на месте!..

* * *

Что тебе мой возраст, мой звонкий дар,
Что молитвы, мечты, дела!
Ты пройдешь по мне, как лесной пожар,
Выжигая судьбу дотла.

По макушкам – и понизу!.. Ничего
Не спасти между двух стихий.
Он гудит и беснуется – и его
Не удержат мои стихи.

Как беспечно рванется из чаши он,
Близким волосы опалит!..
Ведь твоя стихия – летящий огонь,
А моя стихия – земля.

* * *

Не век же искать потаенную суть,
в слепящих мечтах пребывать, –
пора непокорную шею согнуть,
свое поражение признать,
признать, что не гений
и что не пророк,
что от совершенства далек,
что жил как умел,
что иначе не мог...
Но кто-то кричит в тебе:
– Мог!..

ЗАРЕЧНАЯ ДЕВОЧКА

Эта девочка станет дояркой,
Выйдет замуж за Кольку-сморчка.
Будет жизнь ее серой, неяркой,
Неширокой, как эта река.

В долгих петлях житейского русла
Уместятся, мечте вопреки,
И разливы весеннего чувства,
И глубины осенней тоски.

Валентина
АКУЛЕНКО

г. Петрозаводск

Отрасти по «итальянцу»



рассказ

Во дворе блочной пятиэтажки однажды появился ...диван. Будто с неба упал. Не абы какой потертый, отслуживший своё, а новый, достойный места в уютной квартире, а не под открытым небом. Диван, блиставший на солнце коричневым кожаном, выглядел залётным аристократом среди унылых и ветхих дворовых атрибутов: пары самодельных скамеек, остатков детской песочницы, давно не видевшей песка. Скрашивали картину кусты благоухающей сирени и желтые островки календулы в «вазонах», сооруженных дворником бабой Маней из старых автомобильных покрышек.

Баба Маня, которая по долгу службы увидела диван первой, с минуту озадаченно им любовалась. Затем из любви к порядку и уважения к красивой вещи она проворно смела трех соседских кошек, успевших разлечься на гладком диванном ложе. Дворничиха тщательно осмотрела нежданного гостя со всех сторон и, убедившись в его безобидности, заботливо протерла диван тряпкой, всегда имевшейся в кармане форменного халата. За-

кончив осмотр и профилактику, баба Маня осторожно, со вздохом уселась на диван отдохнуть и погадать, откуда же он тут взялся, кто и почему решил выбросить такую добротную и дорогую вещь.

Разные догадки приходили в голову бабы Мани, немало повидавшей на своем веку, — не терпелось с кем-то поделиться. К бабы Маниной радости, из подъезда вышла сама Маргарита Львовна — нештатный управдом. Увидев восседавшую на диване бабу Маню, Маргарита Львовна чуть покачнулась на своих высоченных каблуках, но удержалась, ухватившись за толстые ветви сирени.

— Утро доброе, Львовна! Присядь на минуточку! — баба Маня похлопала ладошкой по упругому сиденью.

— Что это, Мария Ивановна? Кто это додумался диван здесь поставить? Не из нашего дома? — Маргарита Львовна растерянно хлопала подкрашенными ресничками, аккуратно нарисованные ниточки бровей подскочили почти до самой прически, как всегда пышно взбитой начесом и крепко орошенной лаком.

Натура Маргариты Львовны, ценившей ясность и порядок во всем, не принимала подобные сюрпризы. Она, в недавнем прошлом мастер цеха на бывшем лесопильно-мебельном комбинате, была по уши загружена еще и общественной работой. Выйдя на заслуженный отдых, когда комбинат уже был приговорен, не выдержав требований рыночной экономики, Маргарита Львовна осталась верной ушедшей эпохе, ценившей честных тружеников и энтузиастов. Её родной комбинат, одно из крупнейших в их северном городе Петровске предприятий, давал многим жителям профессию, стабильный заработок, бесплатную жилплощадь в порядке очереди, льготные профсоюзные путевки в санатории и дома отдыха и другие социальные блага. Комбинат давно закрыли, правила жизни поменялись, а Маргарита Львовна оставалась прежней – от прически до моральных принципов. Соседская молодежь, посмеиваясь, называла Львовну совком. Если бы кто-то в глаза так её назвал, она бы нашлась, что ответить. Ей было что им предъявить.

Не кто-нибудь, а она согласилась стать нештатным уполномоченным сначала по своему подъезду, а потом и по всему дому. Других желающих на неоплачиваемую доуку не нашлось. За этот «совковский» энтузиазм жильцы, из тех, кто хотел чистоты и порядка в доме, были премного благодарны Маргарите Львовне. Даже её манеру не по возрасту одеваться и украшаться: высокие каблуки, коротковатые юбки, взбитые в высокую прическу седые волосы, излишки дешевой косметики на поблекшем лице – все, что выглядело странно на разменявшей седьмой десяток даме, все это принималось как особый стиль Львовны. Так по заводской привычке называли её соседи – тоже в основном бывшие работники комбината. Она, похоже, и осталась для них мастером цеха, «командиром». Правда, когда Львовна управляла цехом, то получала за ударную работу заслуженный почет и положенную зарплату, теперь же ввалила на себя порядок в доме за «спасибо».

Обслуживающая дом и двор управляющая компания считалась со строгой уполномо-

ченной как со своим работником. Любые перебои с водопроводом, электричеством и прочим устранялись по её первому требованию. Иначе, как давно убедились коммунальщики, выходило себе дороже.

Кроме того, в доме знали, что Львовна много лет заботливо ухаживает за старенькой матерью, прикованной к постели тяжкими недугами. При этом никто никогда не слышал от Львовны жалоб на то, что встает к больной и среди ночи, что поднимается ни свет ни заря, чтобы умыть, накормить старушку с ложки, дать лекарства.

Нравился соседям и открытый характер Маргариты Львовны – что не чуралась присесть на скамеечку, чтобы рассказать без прикрас и с юмором про себя и других послушать. Да и наряжалась управдом не только из женского кокетства, но и по привычке публичного человека всегда быть в форме. Наведя марафет, она раз в неделю спешила в Дом офицеров на репетиции хора ветеранов армии и флота.

В молодости Маргарита солировала в хоре сильным, как и её характер, сопрано. Там она встретила свою единственную любовь – статного кадрового военного в чине майора. Андрею, кроме яркой внешности, бог дал и бархатный баритон. На концертах они не раз пели дуэтом. Она из-за малого роста очаровательно поднимала на него свои зеленые глаза. Чернобровый кареглазый великан и не заметил, как влюбился в хрупкую дюймовочку с крепким, однако, характером. Поженились они в свой день рождения, когда обоим в один год, месяц и день исполнилось по тридцать лет. Родился сын, назвали, как отца, Андрюшей. Как говорят, счастье оборвалось на самой высокой ноте. Через три года после рождения сына Андрей Архипов погиб в Афганистане, как потом писали в местной газете, «геройски, при исполнении интернационального долга». Хоронили тогда уже подполковника Архипова со всеми воинскими почестями и посмертной наградой. От горя у Маргариты пропал голос. Когда же восстановился, она уже не солировала на концертах. Но петь в хоре не бросила.

Работа на комбинате, забота о больной матери заполнили жизнь Маргариты. Сын служил на Северном флоте, жил в Мурманске. В Заполярье и женился. Пока у молодых не родились малыши — сначала Андрейка, за ним Маргарита — половину своего долгого отпуска сын с невесткой проводили в Петровске. Когда дети подросли, стали бывать у матери только проездом на юг, к Черному морю. Запасались здоровьем на длинную полярную зиму. Маргарита Львовна не то что не обижалась... Радовалась, что внуки каждый год по два месяца греются на солнце и купаются в теплом море.

Глядя на неизменно оживленную Львовну, легко было подумать, будто ей особо не о чем страдать и тревожиться. Никто из соседей не видел её хмурой, зато смеялась она часто и звонко. Завистников, какие всегда находятся, раздражала эта её всегдашняя бодрость.

Соседи за стенкой, семья милиционера Романа Дерябкина, посмеивались или ворчали, услышав, как Львовна тренирует голос перед очередным концертом. Ехидничали, когда видели, что Маргариту Львовну провожает до подъезда пожилой отставник с выправкой военного. В такие минуты наблюдать за сияющей Львовной с дареным букетом в руках для одних было удовольствие, для Дерябкиных и иже с ними — лучший повод для насмешек. Дескать, постыдилась бы своего возраста, наряжается и кокетничает, как девочка. А Львовне хоть бы хны!

Высокие каблуки лаковых туфель казались чуть ли не выше её самой, коротенькой и полненькой. Даже и таких каблуков ей едва хватало, чтобы дотянуться до уха провожатого и шептать ему что-то забавное, должно быть, из только что пережитого на концерте. Седовласый, довольный своей неунывающей спутницей отставник бережно, за локоток, поддерживал Львовну, купавшуюся в волнах успеха на сцене Дома офицеров.

...Придирчиво осмотрев диван и убедившись в его безупречном состоянии, Маргарита Львовна устроилась рядом с бабой Маней.

Обе озадаченно молчали. Звонок в управляющую компанию ничего бы не решил, тем более в воскресенье. В милицию тоже не было смысла обращаться: диван ничьё спокойствие не нарушал. Как же быть?

Плотник Семен возвращался с очередной подработки усталый, но, увидев диван и сидящих на нем соседок, не прошел мимо.

Семен Аверин и на комбинате числился плотником, хотя освоил и несколько смежных специальностей, за это носил почетное звание «мастер-золотые руки». Семена и в прежней жизни ценили, и в нынешней он неплохо устроился — частных заказов на плотницкие работы хватало.

Критически осмотрев диван, Семен деловито заметил:

— Видно, что импортный. С нашими тяжеловесами не сравнить. Итальянская вещь, должно быть. Декор, отделка... Класс! Какой дурак его сюда выставил?

— Ну, не скажи, Семен! — вступилась за родной комбинат Маргарита Львовна. — Нашему комбинату, ты же помнишь, за свою продукцию тоже краснеть не приходилось. Спрос был и заказы... Полгорода на наших диванах спит.

— Так это, Львовна, когда было! Сегодня богатые на итальянских отдыхают, на таких вот... — Семен картинно откинулся на спинку дивана.

— Наши, говоришь, плохи? А этого «итальянца» почему выбросили? Может, у него только красота и есть, а все остальное так себе? — неуверенно возразила Львовна.

— Слушайте, дамы! Я где-то читал, что у итальянцев и других иностранцев есть традиция выбрасывать старую мебель. Прямо с балконов и из окон бросают... Представляете?

— Ну-у, — протянула Львовна, — слышал звон... Старьё и надоевшее они под Новый год выбрасывают... И не все, наверное, а те, у кого деньги на замену есть... А этот же совсем новый!

Маргарита Львовна радостно встрепенулась и поспешно соскочила с дивана, когда увидела выходящего из подъезда Ивана Степановича. Львовна безгранично уважала со-

седа — бывшего главного инженера того же мебельного комбината, где сама с рядовой лакировальщицы доросла до мастера цеха. Трудовую биографию Львовны помнили старожилы дома — бывшие работники комбината, на средства которого и построен дом, где больше сорока лет назад они получили отдельные квартиры.

Иван Степанович Чернышев три года как овдовел. С женой Ниной Александровной, учительницей математики, они жили душа в душу и считались самой примерной супружеской парой в доме. Ивана Степановича навещала из Петербурга дочь с внуками. Но дочь возвращалась домой, а отец — к своему одиночеству. Пенсии на жизнь хватало. Только сидеть без дела бывший главный инженер не умел. Помогал студентам-технарям готовить дипломные работы. Можно сказать, за копейки. И ещё как помогал! Прочитав одну из новоиспеченных работ от Чернышева, профессор, угадавший неведомого ему автора, заметил выпускнику: «Того, кто вам помогал, я не раздумывая пригласил бы на нашу кафедру. Да хоть сегодня». Молодой человек передал Ивану Степановичу эти лестные слова вместе с небольшим гонораром. Когда-то Ивану Чернышеву, выпускнику с красным дипломом Ленинградского политеха, прочили успешную научную карьеру, приглашали в аспирантуру. Ему же больше пришлось по душе предложение директора Петровского лесопильно-мебельного комбината занять вакантное место главного инженера. Директор брал не kota в мешке. Чернышева он присмотрел, когда тот проходил на комбинате преддипломную практику.

— Иван Степанович, дорогой, доброе утро! Вот взгляните-ка на это чудо! — Маргарита Львовна, кокетливо одернув жакет из модного в шестидесятые кримплена, кивнула на диван.

— О, Маргарита Львовна, с покупкой вас! Красивая вещь, поздравляю. А почему прямо в квартиру не доставили?

— Хороша Маша, да не наша, Иван Степанович! Может, присядете? Есть у вас минуточка?

— Время-то есть. Но не диванный я человек. Вы же знаете. А рядом постою.

Решение провести собрание жильцов по поводу дивана пришло Маргарите Львовне в голову, когда набрался «кворум». Соседи не возражали: выходной — почему бы не посидеть на свежем воздухе среди сирени?

— А вот и Ирина Михайловна идет! — радостно объявила Львовна, кося в сторону молодой, симпатичной соседки одним глазом, другим своим зорким зелёным глазом она заметила, как вздрогнул и смутился Иван Степанович. Наблюдательная Львовна догадывалась, что Чернышев неравнодушен к Ирине, подруге его покойной супруги Нины Александровны. Соседки-подруги работали в одной школе. Ирина Михайловна вела английский язык. Нина Александровна — математику.

Ирина Михайловна, удивленно улыбаясь, подошла к окружившим диван соседям.

— Кого поздравить? Не диван, а мечта лежебоки! Только почему он здесь?

— Вот и мы хотели бы знать почему. — Маргарита Львовна жестом предложила всем присесть на диван. Сама же быстренько сбегала за табуретом в свою квартирку на первом этаже. Дело в том, что полные ножки Львовны, когда она сидела на диване, не доставали земли. Она смекнула, что выглядит это несолидно. Вернувшись с табуретом, Львовна уселась перед диваном: так удобнее вести собрание. Пока «кворум» усаживался, подошли и другие соседи.

Без долгих слов согласились на предложение Ивана Степановича подождать два-три дня, не появятся ли владельцы дивана, и это время заботиться о его сохранности. Вещь дорогая. Может, доставщики были подшофе и выгрузили не по адресу? И не такое случается.

— Да хоть и неделю можем охранять, ничто белые, июнь, слава богу, теплый, — великодушно дополнила Зоя Кириллова — хозяйка двушки на втором этаже с балконом во двор. Зою тоже поддержали.

Первое покушение произошло ночью. Четверо местных бомжей попытались затащить

диван в свое логово. За их потугами, давясь от смеха, наблюдала со своего балкона Зоя Кириллова. Бомжи смогли поднять и передвинуть диван метров на пять. Дальше сил не хватило. Матерясь друг на друга, бедолаги отправились восвояси.

— Мало каши ели... Ишь, диван кожаный им подавай, бездельникам чумазым, — смеясь и зевая, Зоя отправилась спать, довольная своей каральной вахтой: будет что рассказать соседям.

Дежурство Маргариты Львовны прошло почти гладко. Всю ночь она держала открытым наблюдательное окно в кухне. Незнакомая парочка попыталась заняться на диване любовью, но от грозного окрика Львовны их как ветром сдуло.

Отбивать дневные атаки детей на диван оказалось хлопотнее ночных дежурств. Но и с этим дружно справлялись.

Приходили жильцы из соседних домов, решив, что вещь выставлена на продажу, и уходили разочарованными.

Между тем над «итальянцем» уже не первый день кружилась, алчно примериваясь, хищная тень. Разве мог Роман Дерябкин, не в меру хозяйственный блюститель порядка, допустить, чтобы такая вещь оставалась бесхозной? Соседи знали слабость главы семейства Дерябкиных к тому, что плохо лежит. Знали, что именно Роман, один на весь дом милиционер, потихоньку раскурочил детскую песочницу, ночами отрывая от неё по доске или по две, чтобы увезти на свою дачу, которую перекупил недорого у «раскулаченного» им же предпринимателя.

Роман не побрезговал и изящной рекламной скамеечкой, подаренной их двору одной из торговых фирм. Только один день и успели посидеть на ней неработающие пенсионерки. На другой же день скамеечка «переселилась» сначала в квартиру Дерябкиных, потом — на дерябкинскую дачу.

Для новой своей охоты Дерябкин выбрал момент, когда очередного дежурного, Семена Аверина, клонило ко сну. У июньских белых ночей бывает самый темный момент, ближе к утру, когда все спят. Его Роман и выбрал. Правда, он не рассчитал, что бдительная

Львовна подстраховывает дежурных. А в ночь, намеченную Дерябкиным, Львовна вообще не прилегла ни на минуту, потому что больной матери стало хуже.

Когда Роман с сыновьями легко подняли диван и сделали несколько шагов, Львовна вышла из подъезда. Увидев её, Дерябкины опустили свою ношу.

— Вот, подумал, зачем такой вещи под дождем мокнуть... Пусть уж в квартире постоит, пока хозяева не спохватятся... — залепетал Роман, не глядя на бдительную соседку.

— Так уже объявился хозяин, звонил мне вчера, — соврала сметливая Львовна. — Зачем вам утруждаться, в квартиру затаскивать? С улицы хозяину сподручнее грузить будет...

Скандалить у Львовны не было ни сил, ни желания. И она, и Дерябкин прекрасно поняли друг друга. Разошлись с миром, но в прежнем состоянии острой неприязни друг к другу.

«Вором родился — вором и помрет. Как только его в милиции до сих пор держат?» — в который раз уже подумала о Дерябкине Львовна.

«Вот же сволочная баба! Припугнуть бы её. Да свяжись с такой — чего доброго в трубу вылетишь», — злился на Львовну Дерябкин.

Чего можно ждать от Дерябкина, почти все в доме давно знали. В отличие от вороватого блюстителя, благообразные сестры-близнецы Букины пакостили по-тихому. Высокие, статные, незамужние, бездетные, не изнуренные трудом, они выглядели моложе своих восьмидесяти лет. Всюду ходили парой. Держались надменно. На комбинате, где они когда-то прочно укрепились в бухгалтерии, их недолюбливали и прозвали буками не только из-за фамилии. Манере держать себя так, как будто все в чем-то перед ними виноваты, сестры Букины остались верны до глубокой старости. Потому Львовна не удивилась их реакции на появление дивана во дворе.

Заявившись ко Львовне в квартиру, Букины сердито в два голоса завершали:

— Это кто же диван во двор выставил? Не вы ли позволили? Напротив ваших окон поставлен... Может, ваш и есть? Или ваших знакомых?

— Нет, не мой. А что?

— А то, что безобразие это! Если все свои вещи во дворы выносить станут, что получится?!

— В квартирах просторнее будет, — пошутила Маргарита Львовна, прекрасно понимая, что Букины от этого только сильнее распалятся и в управляющую компанию полетит по почте ещё одна их жалоба. Там букинских доносов на «неправильных» соседей накопилось уже целая стопка.

Ещё Львовна знала, что, кроме слабости к сочинительству подметных писем, у сестер была и другая, тоже неизлечимая. Плотник Семен, когда в профкоме комбината ему прочли жалобу, которую настрочили на него Букины за «нецензурную брань в общественном месте», выразился в их адрес от всего своего возмущенного сердца: «Дуры пакостные! Еще и подслушивают у курилки!»

Букины и подслушивали, и легко верили всему, что их вдохновляло на поклепы. В новой жизни им страшно не хватало парткомов, профкомов, завкомов, которые они в недавнем прошлом заваливали своими обличительными сочинениями.

Маргарита Львовна, полюбовавшись раскрасневшимися от негодования «буками», вдруг неожиданно для самой себя сказала примирительно:

— Как же я запаматовала! Ведь объявление же в бесплатной газетке печатали несколько раз. Что по распоряжению мэрии во дворах будут вместо скамеек ставить диваны. Лучшим дворам достанутся кожаные, вот как этот. Всем остальным — деревянные.

— Почему только у вашего подъезда кожаный поставили? А наш подъезд даже деревянного не удостоился? — Букины чуть не плакали от такой несправедливости.

— Не знаю. Спросите об этом в управляющей компании. Только не по телефону, конечно.

В тот же день Букины сами отнесли свое письмо по хорошо известному им адресу.

На другой день к Маргарите Львовне пожаловал главный инженер компании.

— Маргарита Львовна! Вот прочтите это!

Какие диваны? Букины эти в своем уме? Что нам делать, как реагировать?

— Ну, не знаю, Федор Петрович... Хотя... Посоветуйте им написать в мэрию или уж сразу в суд заявление подать... — усмехнулась Львовна, разводя руками.

На шестой день дежурств уполномоченная по дому Маргарита Львовна снова пригласила соседей к дивану. Как всегда, нарядная и пахнущая неизменной «Красной Москвой», аромат которой перебивал даже терпкий запах дворовой сирени, Львовна торжественно объявила, что приглашает всех желающих на юбилейный концерт хора ветеранов армии и флота. Она тут же раздала соседям приглашительные билеты с программкой, в которой поименно были перечислены хористы. Её фамилия «Архипова» стояла в том почетном списке первой.

— А кто диван охранять будет? — забеспокоилась Зоя Кириллова.

Она не могла пойти на концерт: этот день совпал с её сменой в овощном магазинчике, где Зоя работала продавцом.

— Вот вас, Зоя Тимофеевна, и попросим. На вас вся надежда. А концерты еще будут, обязательно приглашу, почту за честь...

Круглые щёки пятидесятилетней, но девчоночьи бойкой Зои Кирилловой порозовели от уважительных слов Львовны, сказанных при соседях. Зоя выпрямилась, расправила плечи.

После концерта, который с аншлагом прошел в Доме офицеров, Иван Степанович, тот самый бывший главный инженер, решил пригласить свою тайную пассию Ирину Михайловну в кафе «на бокал шампанского». Потом они вместе возвращались домой, не подозревая, что это сближение приглашением на концерт входило в планы мудрой Маргариты Львовны.

На седьмое утро диван исчез. Только след от него и остался — широкий прямоугольник примятой травы. Дежурившая ночью Зоя Кириллова горячо доказывала соседям, что видела, как в пять утра к дивану подъехал автомобиль с тележкой. Из него вышли трое, погру-

зили диван, укрыли брезентом, и митькой звали, как растворились. Она даже выбежать не успела. Зое верили и не верили. Она, при всем к ней уважении, еще и не такие завиральные истории рассказывала. За то однажды и была наказана хулиганской выходкой подростков, написавших на её двери какой-то несмываемой краской: «Зоя – враля». Пришлось дверь заново красить. Кисточку и краску принесла тогда плачущей Зое сама Маргарита Львовна. Она прощала Зое её фантазии за добрый и отходчивый характер. Продавец Зоя Кириллова каждую осень звала соседей за отбракованными помидорами для домашней аджики и не забывала сообщить, если что-то подешевле в магазинчик завозили.

С того самого часа, как диван исчез так же внезапно, как и появился, все Зоины прежние истории померкли перед этой диванной. Её она без устали на все лады рассказывала продавцам и покупателям овощного магазинчика, в котором работала. Слушатели кивали, смеялись, но вряд ли кто верил, что все было именно так. Хотя, возможно, именно так и было.

Еще через несколько дней счастливый Иван Степанович попросил Маргариту Львовну стать свидетелем на торжественной регистрации их с Ириной Михайловной законного брака. Соседи начали собирать деньги по «кто сколько может» — договорились подарить будущим новобрачным диван, пусть отечественного производства, но похожий на тот, что неделю гостил у них во дворе.

Через неделю после загадочного исчезновения дивана в дверь Маргариты Львовны позвонил незнакомец. Увидев в дверной глазок нежданного гостя, она не открыла. Тогда позвонил телефон.

— Маргарита Львовна, здравствуйте! — раздалось в трубке. — Меня зовут Сергей. Я пришел, чтобы сказать вам спасибо... за диван. Пожалуйста, выйдите во двор, если нетрудно. Не бойтесь... Я тут не один, во дворе есть ваши соседи.

Выглянув в открытое окно, Львовна сделала знак рукой: заходите.

На пороге появился молодой человек, одетый стильно и дорого, в одной руке держал роскошный букет, в другой — что-то в нарядном пакете.

— Это вам! — волнуясь, протянул он цветы Маргарите Львовне. — Скажу вкратце, почему я здесь. Наверное, мы поступили глупо и некрасиво, уж извините нас, пожалуйста... — гость виновато опустил глаза. — Мы с моим другом и напарником по бизнесу были здорово подшофе и заключили пари. Он не сомневался, что, если мы оставим во дворе диван, его украдут или загадят в первый же день. Я ему не верил. Условились так... Если максимум три дня диван будет стоять в том же виде и на том же месте, то друг проиграл пари. Вы держали оборону целую неделю. Такого мы не ожидали. Почти все время, пока диван стоял в кустах, мы наведывались в ваш двор, наблюдали. Пожалуйста, возьмите на память. Это единственный экземпляр. Честно. Вы заслужили. — И гость достал из нарядного пакета большой кожаный фотоальбом.

Маргарита Львовна молча надела очки «для близи» и стала медленно перелистывать страницы. На четких, мастерски сделанных фотографиях она увидела себя и соседей. Вот дворник баба Маня метлой сгоняет с дивана кошек; вот они с соседями совещаются, сидя на диване под цветущим кустом сирени; вот она несет табурет, усаживается на него, чтобы вести собрание жильцов; вот она, нарядная и веселая, возвращается под руку с седовласым провожатым с концерта; вот она строго и пристально смотрит на милиционера Романа Дерябкина... На одной из фотографий Иван Степанович смущенно и влюбленно глядит на Ирину Михайловну, беседующую со Львовной...

— Знаете, я бы никогда не поверил в то, что произошло... Если бы это не произошло на самом деле. — Гость даже слегка покраснел. — А мой друг, представляете, нисколько не огорчился, что проиграл пари. Даже наоборот. Сказал: «Слава богу, не вымерли ещё люди, не помешанные на барахле и халяве. Жива ещё здоровая порода...»

Маргарита Львовна, так ни слова и не ска-

зав, скрылась в комнате, чтобы поставить подаренный букет в вазу. Гость, встревоженный её молчанием, заспешил было откланяться, но Маргарита Львовна тут же вынырнула из комнаты. Тряхнув высокой прической, изговорщицки улыбнулась и решительно приказала: «Вот вам моё наказание за ваше дурацкое пари и незаконную фотосессию: быстро – на кухню, будем пить чай. Пирог с капустой сама пекла, ещё теплый...»

В тот же вечер, уже выпроводив гостя, в сотый раз разглядывая фотографии в подаренном альбоме, под одной из них Маргарита Львовна обнаружила подарочный купон мебельного салона-магазина на 20 000 рублей. С надписью: «Уважаемой Маргарите Львовне!» Она растерянно охнула: «Как вернуть находку? Не спросила у гостя ни номера телефона, ни адреса».

Заглянувшие по-соседски Иван Степанович с Ириной Михайловной мягко и терпеливо уговаривали Львовну не расстраиваться, а принять подарок, сделанный от чистого сердца. Вопреки ожиданиям Маргариты Львовны, они пришли в восторг от остроумного фоторепортажа о диванной истории. На фотографиях их двор выглядел лучше и уютнее, чем на самом деле. Самой фотогеничной фи-

гурой была на снимках Львовна, нарядная и подтянутая в любое время суток.

Страсти по «итальянцу» изрядно оживили будни обычной старенькой пятиэтажки, но за новым причитающимся ей диваном Львовна не спешила. Поразмыслив, директор салона-магазина из уважения к пенсионерке – ветерану труда, вдове «афганца», откликнулся на просьбу Маргариты Львовны не отоваривать подарочный талон, а примерно на эту сумму посодействовать, чтобы ей подправили осевший памятник и сменили оградку на могиле погибшего мужа. Все было сделано быстро и в самом лучшем виде.

□

Валентина Владимировна АКУЛЕНКО

родилась в г. Сортавале (Карелия).

Окончила факультет журналистики СПбГУ.

Более 30 лет публикуется в карельских и ведущих российских изданиях:

«Комсомольская правда», «Советская культура»,

«Известия», «Литературная газета» и др.

Постоянный автор федерального еженедельника «Новый вторник»

и карельских национальных изданий.

Член Союза журналистов России.

Лауреат республиканских и всероссийских журналистских конкурсов

(золотая медаль лауреата ВВЦ;

диплом лауреата премии Союза журналистов России

«За профессиональное мастерство» и пр.).

Заслуженный журналист Республики Карелия.

Живет в Петрозаводске.



СЕРГЕЙ КАТАНАНДОВ: «...КУЗНЕЦ, ОЧЕНЬ ВАЖЕН...»

(О роли культуры и литературы размышляет Член Совета Федераций Сергей Леонидович Катанандов в интервью главному редактору журнала «Север» Елене Пиетиляйнен)

– Сергей Леонидович, Ваше первое высшее образование – инженер, Вы работали в строительстве, а затем были мэром столицы Карелии и много лет – Главой Республики Карелия. Тем не менее известно Ваше неравнодушное отношение к литературе. Наверное, оно появилось не случайно. Вы любили читать в детстве и юности? Читали ли Ваши родители? Какое было отношение в семье к книгам?

– Мы не только читали книги, но и любили кино, музыку, спорт.

Образование современного человека предполагало широкий кругозор, хорошую физическую подготовку, собственные творческие увлечения. Я, например, всю молодость прошел с гитарой – и мною было спето множество стихов. Вообще, мое поколение отличалось знанием классической поэзии наизусть – это было признаком глубокой культуры, некой духовной элитарности.

Естественно, все эти стремления и увлечения поощрялись родителями и учителями.

– В трудные 90-е годы, когда возникли проблемы у многих известных изданий, сложное время переживал и журнал «Север». Именно Вы тогда помогли журналу выжить, сохранили его для благодарных читателей и авторов. И на этом Ваше участие в жизни журнала не завершилось. Уже три года подряд талантливым писателям вручается премия журнала «Север», учредителем которой Вы являетесь. При этом известно, что на премию идут личные средства учредителей. Скажите, что подвигло Вас оказывать поддержку журналу и тогда и сейчас?

– Поддержка журнала «Север» – это сохранение славных литературных и исторических традиций Северо-Запада России.

В 90-е годы мы серьезно относились к проводимым государственным реформам, искренне верили в то, что нужно менять страну, поэтому все лучшее необходимо сохранять. Я и представить не мог, как может жить Карелия без «Севера». А время показало, что мое решение оказалось верным. Но во многом это заслуга и сотрудников журнала – без их усилий одними политическими решениями ничего не сделать. То же можно сказать и о сегодняшнем дне журнала. Вы его сохраняете своим трудом, поэтому журнал востребован не только в Карелии, но и во многих регионах России. Что касается моего личного вклада в премиальный фонд «Севера», то в этом нет ничего странного. На Руси состоятельные люди всегда делились с теми, кто употребит их деньги во благо. И я всегда делился и буду делиться. Стараюсь давать деньги в руки тем, кто может ими правильно распорядиться. Помимо поддержки «Севера», помог издать книгу о ветеранах Карелии к 70-летию Победы.

– Мы знаем, что Вы постоянно читаете «Север». Что привлекает Вас в журнале?

– Я читаю «Север» с большим удовольствием. Одна из ярких запомнившихся публикаций – это рассказ карельского писателя Леонида Авксентьева «Капля смолы на пыльном стекле». Меня поразила не только глубина содержания, в котором так просто и вместе с тем емко представлена человеческая

жизнь, но и великолепный слог. Автор тонко чувствует слово и этим словом способен пробудить и чувства читателей. Преклоняюсь перед этим писателем, которого я открыл благодаря «Северу».

– Будучи Главой Республики Карелия, Вы много внимания уделяли развитию культуры края. Причем это понятие можно трактовать широко – происходил масштабный ремонт учреждений культуры, строились объекты туризма. Одна Онежская набережная, ставшая своеобразным музеем современной европейской скульптуры под открытым небом, настоящим символом Петрозаводска, чего стоит! Многое делалось для развития науки в нашей республике, получал поддержку Петрозаводский государственный университет. В чем, на Ваш взгляд, может сейчас выражаться поддержка государством культуры?

– Помните знаменитое высказывание героя Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручаем». Власть в ответе за жизнь людей, которая немыслима без культуры, литературы. Не зря 2015 год объявлен Годом литературы в России. Деятели культуры цементируют общество, создают условия для производственного труда людей. И эти же люди, читающие книги, посещающие театры и музеи, поддерживают культуру своим общественным мнением перед властью. Если бы государство не поддерживало культуру, то у нас не было бы ни театров, ни музеев, ни журнала «Север», потому что культура всегда убыточна, и власти хорошо это понимают, как и необходимость таких затрат для полноценной жизни людей.

В это же время всегда необходимо расставлять приоритеты и помнить о том, что кузнец очень важен.

– Какой кузнец?

– Мне очень нравится притча о том, как в горах жил кузнец, настоящий мастер своего дела. Он сам ковал и продавал предметы своего труда. Но вот пришел к нему юноша и предложил свои услуги по продаже кованых изделий. Кузнец согласился и обрадовался этой помощи. Но потом возникла необходимость взять еще и бухгалтеря – кто же будет вести денежные дела торгового процесса? По этой логической цепочке набралась целая контора в семнадцать человек – все были при деле. Только кузнецу пришлось ковать во много раз больше, чем раньше, чтобы прокормить всех. Но вот кузнец надорвался и умер. И что? Все встало, и эти люди никому стали не нужны. Поэтому общее дело надо делать так, чтобы кузнец не надорвался. И важно понимать роль кузнеца в любом деле и знать, кто этот кузнец.

Я вспоминаю, как в 90-е годы выбирали директоров предприятий и учреждений.

Такие выборы состоялись и на нашем известном заводе «Тяжбуммаш», который изготавливал бумагоделательные машины. Собрание получилось бурным – рабочие, которых было большинство, доказывали, что директора нужно выбрать из рабочих – тех, кто реально трудится за станком, а не сидит в кабинете. Тогда известный инженер-конструктор взял со стола свои чертежи и, разорвав их, бросил в сердцах со словами: «Работайте!»

Все притихли и поняли смысл его поступка. Поэтому директором был выбран уважаемый инженер, грамотный и профессионально авторитетный человек. Потому что без его интеллектуального труда станки бы остановились.

Поэтому кузнец – не обязательно тот, кто работает руками.

Кузнец есть везде – на фабрике или в культуре, литературе или журнале, науке или народном хозяйстве. Недаром говорят, что человек – кузнец своего счастья.

Ведь наша жизнь зависит и от нас с Вами. Как будем работать – так и жить будем. Мы обречены жить так, как работаем. Замечательно, что принята Федеральная целевая программа развития Карелии, благодаря которой республика получит немалые деньги из федерального источника. Но вот кто и как будет осваивать эти деньги?

Глава республики А.П.Худилайнен добился принятия этой программы, за что ему честь и хвала. Но работать один он не сможет. Это наша общая задача.

– Литература любого народа отражает душу этого народа, его мировоззрение, отношение к жизни, а они, в свою очередь, формируются исходя из условий, в которых живет народ. На карельскую литературу большое влияние оказывает наша природа: низкое голубое небо, неброские краски, огромные леса с суровыми соснами, озера и реки, занимающие значительную часть нашей территории. А как Вы относитесь к карельской природе? Удастся ли, невзирая на занятость, бывать в лесу, на рыбалке?

– Я вырос в Карелии, значит, и я – часть ее природы. Лес люблю, рыбалку. Но ловить рыбу надо для того, чтобы жить и получать удовольствие, а не разорять природу. Природа подпитывает меня своей живой силой и красотой.

– Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала «Север»?

– А «Северу» желаю одного – печатать и дальше достойные произведения. А все остальное к этому приложится.





Вера СЕРАФИМОВА

г. Москва

Выверять литературу жизнью

О «военной страде в тылу» в тетралогии Ф. А. Абрамова «Пряслины» и о нравственной высоте сельских тружеников. Поэтика прозы.

Федор Александрович Абрамов (29.02.1920 – 14.05.1983) – летописец русской деревни. Творческий принцип писателя – «Выверять литературу жизнью». Осмысление связи времен, какой бы период жизни русской деревни Ф. А. Абрамов ни исследовал, приобретает нравственно-философский аспект в его произведениях.

Слово писателя Абрамова вместило в себя и историю нашей страны, и историю русской деревни, создало огромное духовное пространство, погружаясь в которое благодарный читатель глубже осознает связующие нити между прошлым и настоящим и с большим чувством ответственности размышляет о том, как жить дальше, как созидать жизнь, сохранив, по образному выражению Глеба Горбовского, «свет, идущий изнутри!» от прекрасных образов, созданных Ф.Абрамовым, – и труженицы Анны Пряслиной, и добрейшей Лизы Пряслиной, и гордой, понимающей человеческие нужды Анфисы Петровны, и серьезного и честного Лукашина, и согревающей добротой людей старой крестьянки Милентьевны, и «рвущей жилы» Пелагеи, и целеустремлен-

ного, юношески бескомпромиссного к себе Михаила Пряслина:

*Не крыши, крытые соломой,
не труд с рассвета до зари,
не вкус слезы ее соленой –
а свет, идущий изнутри!
Не пути права крепостного,
не худоба пустых полей,
не гомон пения хмельного –
а совесть нации моей! (...)*

(Г. Горбовский «Русская деревня», 1978)
(выделено мною. – В.С.)

Размышляя о созидательной роли искусства в жизни людей, Абрамов в беседе с корреспондентом журнала «Молодой коммунист» (№3, 1976) подчеркивает стремление художника к постижению человека, его духа, душевного бытия, в которых «отражается не только его личная жизнь, но и человек вообще во всей его красоте, сложности, трагизме».

Ф. Абрамов родился 29 февраля 1920 г. в селе Веркола Архангельской губернии. Он родился в многодетной крестьянской семье, братья его и сестры тяжелым трудом сколотили добротное хо-

зайство, из-за которого позже в годы коллективизации у мальчика – будущего писателя – возникли проблемы, связанные с возможностью свободно учиться. Но он блестяще окончил районную десятилетку в 1938 г. и поступил в Ленинградский институт на филологический факультет. В 1941 г. ушел добровольцем в армию, был тяжело ранен, лежал в блокадном ленинградском госпитале, вернулся в армию, служил до конца войны в войсках СМЕРШ, доучивался в Ленинградском государственном университете, защитил диссертацию, преподавал историю литературы в университете и работал над романом «Братья и сестры». Впервые имя Ф. Абрамова читатель узнал из статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», напечатанной в журнале «Новый мир» в 1954 г.

Первый роман Ф.А. Абрамова «Братья и сестры» (1958 г.) ознаменовал появление в советской литературе так называемой «деревенской прозы».

Исследование писателем повседневной жизни своих героев покоряет способностью понять и художественно убедительно выразить высокий смысл жизни и чувства простых тружеников, оценить нравственный опыт и традиции народа, найти устойчивые духовные ценности в его жизни. Все любимые нами абрамовские герои – и Милендьевна из повести «Деревянные кони», и Анна Пряслина, выстоявшая в неопишимо тяжелых условиях в годы войны, и ее дети Михаил и Лиза, и Анфиса Минина, державшая на своих плечах в годы войны весь колхоз, и Марфа Репишная – близки к земле, к природе, им присущ тот несгибаемый стержень, что позволяет всегда оставаться настоящими людьми, стержень этот – любовь к труду не как к источнику личного обогащения, а к труду, доставляющему радость, облегчающему жизнь и другим людям. Сам участник войны, Абрамов, размышляя о бессмертном подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны, подчеркнет роль русской женщины, ее самоотверженный труд для победы: «На плечах этих безымянных тружеников и воинов стоит здание всей нашей сегодняшней жизни. Вспомним, к примеру, только один подвиг русской бабы в минувшей войне. При этом я ни на минуту не забываю о подвижничестве женщины других народов нашей великой страны. Но говорю о русской бабе, потому что о русской прозе веду речь. Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в сорок первом году открыла второй фронт, тот фронт, которого так ждала Советская армия. А как, какой мерой, каким мерилом измерить подвиг все той же русской бабы в послевоенную пору, в те времена, когда она, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным

терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей».

Кредо Абрамова – «выверять литературу жизнью». Эпический охват событий, изображение характеров в их историческом развитии характерны для тетралогии Ф. Абрамова «Пряслины» (1958–1979), состоящей из романов «Братья и сестры» (1958), «Две зимы и три лета» (1968), «Пути-перепутья» (1971) и «Дом» (1979), создававшейся больше двадцати лет. В них нарисована незабываемая картина русской жизни на протяжении тридцати лет, начиная с военного 1942 г., показаны люди, с честью выдержавшие тяжкие испытания в военные и послевоенные годы.

Пером писателя всегда движет жажда справедливости, стремление сказать самое главное, заветное. На основе лично пережитого, увиденного родился первый роман Абрамова «Братья и сестры», а затем его продолжение – «Две зимы и три лета».

«В конце зимы сорок второго года, – вспоминает Федор Абрамов, – меня, тяжело раненного фронтовика, вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю. После долгих скитаний по госпиталю я наконец очутился у себя на родине – в глухих лесах Архангельской области... Время было страшное. Только что подсохшие степи юга содрогались от гула и грохота сражений – враг рвался к Волге, а тут, на моей родной Пинеге, шло свое сражение – сражение за хлеб, за жизнь. Снаряды не рвались, пули не свистели, но были «похоронки», были страшная нужда и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные бабы, старики, подростки. Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но еще больше – мужества, выносливости и русской душевной щедрости».

В ответах на вопросы газеты «Советская Россия» (1980) Абрамов вновь скажет о мотивах написания своих романов: «К сожалению, непосредственно о фронтовой жизни я ничего еще не написал, хотя и собираюсь. Как писателя, меня целиком захватила **военная страда в тылу, тот второй фронт**, открытия которого столько времени мы ждали от союзников и который, по существу, **открыла русская баба** еще в 1941 году. Об этой бабьей войне в тылу я и старался сказать свое слово» (*выделено мною. – В.С.*).

О незабываемой «военной страде» 42-го года писатель и расскажет в своем первом романе «Братья и сестры», поселив своих обаятельных тружеников в затерянную в лесах вымышленную деревню Пекашино реально существующего Пинежского района на архангельской земле.

Вдова и наследница писателя Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова в своих размышле-

ниях на страницах «Литературной газеты» о судьбах книг писателя видит происхождение названия романа «Братья и сестры» в Евангелии: «Ведь и название главной абрамовской эпопеи «Братья и сестры» – восходит, конечно, к евангельской лексике, а вовсе не к сталинскому обращению к народу в начале войны, как почему-то предположил критик Игорь Золотусский» (Фоняков И. Чтобы всю Россию осветить // Лит. газета, 1995. 1 марта).

Действительно, по прочтении романа мы убеждаемся в многоплановости смысла названия, несущем на себе и приметы времени (обращение Сталина по радио о начале войны начиналось словами «Братья и сестры»), и глубокий подтекст. Название передает идею общности советских людей в труднейшее для страны время, единство их веры и действия.

Обобщающими кажутся слова одного из героев романа секретаря райкома Новожилова: «Вот, говорят, война инстинкты разные побуждает в человеке. А я смотрю – у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе поднялась – душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь: ссоры, дразги там – ведь почти нет. Ну как бы тебе сказать? **Понимаешь, братья и сестры!**» (выделено мною. – **В.С.**).

Писатель бескомпромиссной правды видит реальное лицо жизни, без ложного пафоса и патетики передает предельное напряжение сельских тружеников – бойцов «второго фронта».

В массовых сценах, в эпизодах коллективного труда Абрамов создает портрет пекашинцев, черпающих силу в единении, в труде, в надежде, что возвращенный ими в невероятно тяжелых условиях хлеб, столь необходимый фронту (где, как скажет председатель колхоза, Анфиса, «мужики кровью обливаются»), скорее принесет долгожданную победу. Коллективный портрет пекашинцев, выявляющий истоки силы народа, дан в ряде эпизодов романа. Вот пекашинцы собрались огромной толпой у правления. «На грязной заледе у крыльца стояли легкие, маленькие, как игрушка, пошевни, доверху заваленные мохнатыми овчинами, а на них жаром горела праздничная, убранная медью сбруя. (...) Черные точеные полозья с подковками фигурно выгнуты на козлах; высокое сиденье – в узорчатой резьбе, стенка и задник расписаны муравой – будто ворох свежего сена шевелится на грязной заледе». Это – «герой дня», как скажут о нем колхозники, сват Анфисы, Степан Андреянович, мастер с золотыми руками («сейчас, во время войны, когда без мужского догляда на глазах ветшали и разваливались постройки, она всякий раз, проходя мимо, с удовольствием поглядывала на дом свата: все крепкое, добротное, сделано на вечные времена»), дарит сани в фонд

Красной армии. В этот день до позднего вечера, как повествует рассказчик, пекашинцы в фонд Красной армии «вели овец, несли овчины, полушубки».

Страницей раньше мы узнаем с серенького листа похоронки о гибели на фронте сына Степана Андреяновича: «Командование части... с глубокой скорбью извещает, что Ваш сын гвардии политрук Ставров Василий Степанович, 20 марта 1942 года...», узнаем и о том, что «расписные пошевни» отец сам изготовил в подарок к свадьбе сына.

Еще один коллективный портрет пекашинцев – описание сенокоса у Синельги, ярко высвечивающий характеры героинь Марфы и Анфисы, трудолюбие, достоинство и нравственную силу, вдохновлявшую русских женщин, стариков и старух в тяжелые военные годы. Вслушаемся во внутренний монолог Лукашина, терзающегося муками совести, что после тяжелого ранения на фронте не может в полной мере работать наравне со всеми (в финальной 47-й главе романа Лукашин опять отправится воевать на фронт): «Раньше он был твердо убежден, что, выбитый из строя на фронте, он делает здесь большое и нужное дело <...> Но вот уже месяц, как он почти ничего не делает, – ведь не считать же за работу его прогулки по бригадам да короткие беседы в минуты роздыха. А люди работали, да еще как работали! (...) Другая, великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу».

Лукашину – человеку долга и дисциплины – казалось, что «великая сила» «заглушала подчас голодный крик ребенка», но правда слова Абрамова в романе в том и состоит, что писатель без лакировки показал истинную человечность своих героев – подлинную их жизнь в годы войны – и терзания матери при крике голодного ребенка, и желание бабьего счастья, и истощный плач вдовы.

Ретроспективный взгляд писателя раскроет прошлую довоенную счастливую жизнь деревенского силача и красавца Вани-силы, обожавшего свою жену – «маленькую смуглявую женчонку, голова которой едва доставала ему до подмышек». Не иначе как «куколкой» и не называли Анну с завистью пекашинцы. («Дружно зажили молодожены. В положенный срок Анна родила сына, потом детишки пошли как грибы».)

Одними из первых в деревне Пряслины получают похоронку на Ивана-силу. «Всю ночь на полу, уткнувшись головой в подушку, охала, стонала раздавленная горем Анна. Глухие надрывные стоны матери рвали Мишкино сердце, и он лежал, стиснув зубы, весь в горячей испарине», – так повествует автор о великом горе в семье Пряслиных,

когда в село дойдет весть, что Иван Кириллович – Ваня-сила – погиб на фронте.

Пронзительной болью насыщено повествование о том, как после похоронки на отца вмиг повзрослеет четырнадцатилетний Мишка Пряслин, осознает всю горечь потери и свою ответственность за мать, младших братьев и сестер. «Никогда он не задумывался, какая у него мать», – вслушиваемся мы в его внутренний голос. «А вот она какая – маленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. (...) Старенькое, рваное с подола платишко взбилося выше колен, на ногах грязные, перепачканные глиной сапожонки, байковый платок на голове – свалилась в чем была, да так и забылась. (...) А возле нее по обе стороны рассыпанной поленицей ребятишки: белоголовая Татьяна с протянутой к груди матери ручонкой, Лизка с распухшим, посинелым лицом – эта все понимает, Петька и Гришка, прижавшиеся друг к другу; толстощекий, разогревшийся во сне Федюшка».

А вот и описание утра, когда просыпались голодные ребятишки, и раздирающие сердце терзания, мучения Анны: «Утро в избе Пряслиных началось с обычного вскрика:

– Ма-ма-а, исть хочу!

Охая, Анна медленно поднялась с постели, побрела затоплять печь. Потом она машинально, по привычке, бралась то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. Ребятишки пугливо жались по углам, а Мишка молча, закусив губу, чтобы не разрыдаться, делал начатое ею, ходил по пятам за матерью, и у него не было сил взглянуть ей в лицо».

С глубоким мастерством психолога и гуманиста Абрамов передает динамику чувств подростка, состояние его души – «Молча, глотая слезы, Мишка переводил взгляд с сестренки на братишек, тут первый раз в его ребячьем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: «Как же без отца будем?» Но когда председатель колхоза Анфиса Петровна предложит хлопотать, чтобы Петьку, Гришку и Федюшку в детдом взяли, – Михаил, глядя на присмиривших ребят, «немо» уставившихся на него («Босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножонки»), «резко» скажет: «Нет, никуда не отдадим».

Через два дня Мишка Пряслин займет пустовавшее за столом место отца и станет «по-отцовски резать и раздавать хлеб».

В романе есть много страниц, изображающих подлинную жизнь деревни в годы войны. Потрясает авторская чуткость в передаче страданий и голодных людей, работавших на износ, и в то же время с истинной человечностью отзывающихся на страдания, горе односельчан. «Там в мешке я мучки принес», – скажет, прощаясь в сенях, Степан Андреяно-

вич Мишке Пряслину, до этого «черствой, загрубелой ладоною» глядя по голове Анну и ребятишек, сам давясь от слез.

Истинную человечность, самоотверженность проявляют голодные пекашинцы, чтобы облегчить весной и страдания голодной скотины: «От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И чего только ни делали, как только ни бились люди, чтобы спасти животных! День и ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари, отощавших коров подымали на веревках, привязывали к стойлам, – и все-таки от падежа не убереглись».

Роман «Две зимы и три лета» был написан Абрамовым в 1968 году, через десять лет после первого романа-тетралогии – «Братья и сестры».

Время действия в романе – это первые невероятно трудные послевоенные годы, место действия – то же, – Север, Архангельская область, деревня Пекашино. Продолжается углубленное осмысление военной действительности. Люди ждали конца войны, вынесли на своих стариковских, бабьих плечах все тяготы крестьянского труда, трудовую тяжесть войны, верили, что после победы жизнь изменится к лучшему, мечтали о сытной жизни. Но до нее было еще далеко.

Не много приходится жить дома Михаилу Пряслину. Стране нужен лес, чтобы отстроить разрушенное в годы войны. Как и многие пекашинцы, с осени до весны будет Михаил на лесозаготовках; «потом сплав, потом страда – по неделям преешь на дальних сенокосах, – потом снова лес. И так из года в год». Первые части первой главы романа рассказывают о возвращении Михаила с лесозаготовок как о празднике. С любовью, подробностями и деталями описывает автор, как ждали Мишку в доме близнецы Петька и Гришка («Только Миша один на уме. Глаз из окошка не вынимают»), как Мишка с Егоршей Ставровым причалил плот с сеном, как мать не сводила глаз с сына, как рассказывала сыну о праздновании Дня Победы, о заеме («И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается. У правленья улица народу не подымала – речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на триста рублей подписалась»), как брился Михаил, как стриг братьев, отмывался в бане. С любовью к своим героям повествует автор о том, как вся семья соберется за столом и Михаил поставит на пол плетеную из бересты корзину, вынет из нее буханку ржаного хлеба. «У ребят дыханье перехватило (...) Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства». Подняв глаза к отцовской фотографии, Михаил скажет: «– Это мне начальник лесопункта

Кузьма Кузьмич подбросил буханку. <...> На, говорит, помяните отца. Вместях раньше работали».

С истинным наслаждением разрежет Михаил буханку на равные пайки – «пусть запомнят победу». А еще извлечет Михаил из своей корзины «кусоч голубого ситца с белыми горошинами» и протянет сестре Лизке («По косе уже девка. Но в остальном... В остальном ничегошеньки-то для своих пятнадцати лет. Как болотная сосенка-заморыш»), и Лизка, прижимая к груди ситец, разрыдается, – «Первый раз в жизни ей подарили на платье». Не обойдет автор вниманием и состояние младшей – Татьянки, требовательно топнувшей ногой. «– Хватит и тебе. И мать, может, чего для себя выкроит. Восемь метров», – успокоит ее Михаил и достанет из корзины «новые черные ботинки на резиновой подошве, с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой – «Ну-ка, сестра, примерь»».

В бедном быту, в реальной жизни открывает Абрамов красоту своих героев, внутреннюю их чистоту. «И это мне? – еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались – и двойнята, и мать, и даже сам Михаил».

В День Победы помянут Пряслины отца, «...только младшеньким Татьянке и Федьке слово «отец» ничего не говорило», – с горечью дополнит автор повествования о празднике в доме Пряслиных и о Михаиле, ставшем хранителем и защитником дома после гибели отца на фронте.

На страницах второго романа Абрамов, проследившая судьбы своих героев, сдержанно, в строгих реалистических тонах расскажет о прощании с сестрой бывшего коммунара Тимофея Лобанова, побывавшего в плену у немцев, безвинно виноватого, с которым и отец не будет разговаривать («Максим убит, Яков убит, Ефим убит, муж у дочери убит»), фактически выгонит его. Не скроет правды автор, как относились к пленным. Михаил, несмотря на заступничество Кузьмы Кузьмича за Тимофея Лобанова («Война без плена не бывает. За Тимофея можно не беспокоиться»), будет настаивать на своем («В нынешнюю войну все насмерть воевали. И надо еще доказать, кто как сдался»), напишет «донесение» на Тимофея, что тот не выполняет закон о трудоповинности, дезертировал «с лесного фронта». Показательна для послевоенных лет и реакция второго секретаря райкома Шумилова – «А-а, так это тот, который в плену был? Понятно, понятно. Мы его вылечим – передадим прокурору».

Через три дня Михаилу скажут, что Тимофей умер – «Умер во время операции. От рака». Позже Михаил осознает свою вину перед ним – «Тимофея

не война в лес загнала. Люди... Меня плен этот проклятый с панталыку сбил. Думаю: вот как: отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну в немецком тылу шкуру спасал... А может, он и в плену не по своей воле попал? Может, его раненого взяли?» Проследившая автор и личную трагедию Михаила, как Михаил бросит в огонь Дуняркин плазоточек, который он берег столько лет, когда она в городе откроет ему правду, что не вернется в село «агрономить» – «лейтенант замуж зовет... Как думаешь? Идти?» – «Иди», – глухо скажет Михаил.

Фигура Михаила Пряслина является самой убедительной, удачной фигурой в тетралогии Абрамова. В нем со всей глубиной исследованы приметы времени. «Характер Михаила Пряслина, исполненный обаяния и нравственного здоровья, являющийся, вне всякого преувеличения, открытием писателя, – это воистину типический характер времени, характер, точно и правдиво очерченный. Это подлинно народный и вместе с тем глубоко советский характер, вобравший в себя все лучшее из нравственных традиций народа и сформированный опытом колхозного труда. Это проявляется <...> в социальной, гражданской активности Михаила Пряслина, в его чувстве хозяина родной земли», – писал об абрамовском герое Ф. Кузнецов.

В большой степени в художественном отношении удался Федору Абрамову и образ секретаря райкома Подрезова, фигуры далеко не однозначной. Секретарь райкома «умел все делать сам: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод». Но наступает момент, когда Подрезов вступает в конфликт со своим временем, не может до конца разобраться в новой ситуации, складывающейся в районе. Ситуация эта требует больших технических знаний, нового подхода в вопросах руководства райкомом, где строится крупный механизированный комплекс. Подрезов сознает необходимость изменений, но инерцию старого ему преодолеть нелегко.

Абрамов с максимальной правдивостью расскажет о тяжелейших послевоенных годах деревни. Рассказывает и о том, как в Пекашино соберутся с пухлыми полевыми сумками сразу пять уполномоченных: «уполномоченный по лесозаготовкам, уполномоченный по мясу, уполномоченный по молоку, уполномоченный по дикорастущим – и на них был план <...> Плюс к этому свой постоянный и налоговый агент Ося», как работали люди, чтобы эти огромные планы выполнить и что-то на трудодень получить. Писатель с юмором отметит, что у парторга Озерова вдребезги разлетится план агитационно-массовой работы – «Некого агитировать. Некого подгонять. Люди работали дотемна». От-

метит автор и жадность своего главного героя к работе – «Особенно лютовал в эти дни Михаил Пряслин. Жатка в колхозе была одна – вторая рассыпалась еще в прошлом году, – и Михаил жарил по восемнадцати часов в сутки».

Герои Абрамова формируются прямо на глазах читателя. Читая о свадьбе Лизы Пряслиной, о том, как учтиво, «по-старинному» кланяется она гостям, пришедшим к ней на свадьбу, мы задаем себе тот же вопрос, который задает себе Михаил: «откуда она знает все свычаи и обычаи? Ведь, кажись, и свадьбы-то настоящей на ее глазах не было».

Приметы времени лежат на всех ситуациях и на каждом герое романа. Вот в Пекашино проводится подписка на заем. В дом фронтовика Ильи Нетесова пришли районный служащий Ганичев и председатель колхоза Евдокимов. «Марья встретила их не то чтобы сдержанно – враждебно», – такой предстает ситуация по описанию повествователя. Подняла черные колючие глаза от белья, которое чинила, сидя на железной кровати местной ковки, буркнула что-то вроде: «Проходите» – и больше на них не взглянула. Сидела, затягивала одну за другой дыры на ребячьих рубашонках и одновременно ногой в валенке, на которой была надета петля, качала зыбку, наглухо завешенную старым ситцевым сарафаном».

Авторское повествование передает и быт, и бытие конкретного времени в деревне. А вот и характерный диалог между хозяином дома Ильей Нетесовым и районным уполномоченным, проводящим заем, Ганичевым:

«– На тысячу двести вытянешь?»

– На тысячу двести? – Илья, будто споткнувшись на ходу, посмотрел себе под ноги, посмотрел на жену. – Вечор кабыть на шестьсот говорили. <...> Видишь, какое дело, товарищ Ганичев. – Илья опять посмотрел на жену. – Без молока живем. Охота бы какую животину заиметь. Хоть бы козу на первое время. Ребятишки.

– У всех ребятишки. А заем-то зачем, голова садовая? Чтобы этим самым ребятишкам хорошую жизнь устроить. <...>

Сверху, с печи, четыре ребячьих глаза сверлили Лукашина. Марья перестала качать зыбку».

Резкий отпечаток времени несет на себе и эпизод снятия с поста председателя колхоза Анфисы Мининой. Анфису Петровну снимают с поста по распоряжению районного начальства. Подрезов скажет: «Мы, райком, долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорках не изба. Пора и у вас в Пекашине подвести под войной черту». Несмотря на реплику Ильи Нетесова – «– Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну хоть спасибо сказать...», – ни у од-

ного колхозника не найдется для этого смелости. Михаил Пряслин тоже промолчит, хотя осознает – «Столько лет трубила-трубила, а на поверку оказалось, что у людей и доброго слова для тебя нет», – в чем после будет раскаиваться. В слезах будет упрекать его чистая в своих порывах любимая сестра Лиза за его отговорки – «после райкома у нас не принято говорить». Довод Лизы – «Ну и что, – то райком, а то люди. Райком сказал, и вы бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все беды да напасти пережили».

И при новом председателе Паршине, затем сменившем его Лукашине колхозники часто будут вспоминать Анфису Минину на посту председателя, жалеть о своем решении и вслед за Петром Житковым скажут: «М-да, не всякие штаны лучше бабьей юбки». Позже Подрезов сознается в порыве откровенности Лукашину, почему Анфису Минину – человека действительно большой души и отзывчивого сердца – сняли с поста председателя: «– Ты знаешь, за что твою жену с председателей сняли (...) За бабью жалость <...> Хозяйственная баба. Этого у нее не отнимешь. И уж если на то пошло, так с лесозаготовками у нее не хуже было, чем у других. А даже лучше. Только жалостлива больно. Всех ей пожалеть хочется. За каждого она заступница. За эту, за ту, за третью».

Уже в романе «Две зимы и три лета» зарождается новая центральная тема в повествовании о Пряслиных в последующих произведениях тетралогии – «Пути-перепутья» и «Дом». Без лакировки, правдиво, в традициях великой русской классической литературы – «правда без всяких прикрас» – писатель подвчергает глубокому осмыслению те изменения, которые произошли в жизни села в 70–80-е годы. О необычайно осложнившихся отношениях между людьми размышляет Анфиса Минина:

«Да, что-то менялось в жизни, какие-то новые пружины давали себя знать – она, Анфиса, это чувствовала, – а какие? Раньше, раньше, еще полгода назад, все было просто. Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу».

Напряженность повествования возникает из-за конфликтов, недоразумений, противоречий деревенской жизни. Любовь Михаила Пряслина к женщине, namного его старше, вызовет осуждение деревни, сопротивление семьи. Дружба с легкомысленным Егоршей обернется враждой. Чувство долга ведет Михаила туда, где он нужен, жажда легкой жизни приводит Егоршу к приспособленчеству.

Об отсутствии подчас у людей нравственного стержня, духовном обнищании, потере интереса к труду, о стремлении лишь к материальному благо-

получию с большой горечью говорит и Михаил Пряслин в последней книге тетралогии «Дом», и его голос сливается с авторским голосом: «Жизнь Пекашина вот уже столько лет катилась по хорошо накатанной колее. Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками-сервантами, обзавестись железным конником, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку... А что еще работяге надо?»

Ясно звучит в «Доме» и авторский спрос к каждому за «распорядок жизни». На совет жены Раисы – не лезть на рожон, не связываться с всесильным начальством («Язык-то там не больно распускай. У Таборского оборона от Пекашина до Москвы»), на ее аргумент – «В других деревнях не лучше», – Михаил Пряслин выдвинет свой аргумент, свою инвективу – «В других деревнях другие люди есть. Иван Дмитриевич Лукашин как, бывало, говорил? Во всей стране навести порядок – это нам, говорит, из Пекашина не под силу, кишка тонка, а сделать так, чтобы в Пекашине бардака не было – **это наш долг**» (выделено мною. – **В.С.**).

Понятие «дом» ассоциируется в тетралогии с Русью, с Россией. «У нас русью-то домашнее называют. А здесь, в суземе, какая уж русь...» – скажет Лукашину на сенокосе Варвара. 11-я глава романа «Дом» начинается со слов: «Дождь застал Михаила уже на руси, то есть после того, как он из лесного сузема выбрался в поля».

Обустроить дом, обустроить русь – в контексте тетралогии Абрамова – это значит обустроить жизнь, построить ее по законам разума и добра, гармонии с другими людьми.

Заканчивается роман воспоминаниями Михаила Пряслина о первом дне войны, об отце – Ване-силе, красивом русском человеке: «Внезапно утреннюю тишину резануло бабьими вскриками да причитаниями, затарахтели телеги. Мать, расплескивая молоко, кинулась в избу. Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался. Потом долго глядел на Мишку и наконец тихо сказал: «Пойдем-ка, сынок...» И вот они в огороде, за амбаром. Отец опять глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара выпорхнул воробей. «Гнездышко! – зашептал Мишка. – Давай я слазаю». – «Не надо» – поморщился отец. «Иван, Ваня... Где ты?» Это мать. Отец махнул рукой и пошел к дому. У калитки он круто обернулся, привлек к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза, спросил: «Ты понял меня? Понял, сынок?»

Тридцать лет помнил сын слова отца. «Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, и вот теперь он их, кажется, понял...» – финал четвертого романа тетралогии. Не разрушать «гнезда», сберечь дом, семью,

сохранить малую «русь», обустроить жизнь – так понимает Федор – сын солдата Великой Отечественной войны – завет отца.

О нравственной высоте сельских тружеников идет речь и в повестях Ф. Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».

Повесть «Деревянные кони», как и «Пелагею», Ф.А.Абрамов писал в 1969 г., «Альку» – в 1971; все эти произведения покоряют стремлением писателя найти устойчивые духовные ценности в жизни народа, понять особенности национального характера. Вопросы, волнующие писателя в этих произведениях, те же, что и в тетралогии о Пряслиных, и в публицистике Абрамова, в его взволнованных статьях, и в выступлениях, таких как «Чем живем-кормимся», «О хлебе насущном и хлебе духовном», «Пашня живая и мертвая» – это отношение людей к работе, нравственным нормам, к долгу и чести тружеников.

В открытом письме землякам «Чем живем-кормимся» (1979 г.) Абрамов резко ставит вопрос о «спросе» каждого к самому себе, пишет о необходимости изменить обстоятельства, порождающие «разруху». Говоря об объективных трудностях в жизни своих земляков в Верколе, Абрамов прежде всего связывает судьбу земли с людьми, работающими и живущими на ней: «А сами люди – их отношение к работе, хозяйству, даже к самим себе? Не вытесняет ли порой трудника и рачительного хозяина равнодушный работяга, поденщик, калымщик?» Приведет писатель и примеры позорной бесхозяйственности. Боль и гнев, «спрос к себе» звучат и в страстных монологах Абрамова: «...Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянств, которые становятся бедствием?»; «Еще недавно, в колхозные времена, веркольская земля кормила чуть ли не всю деревню, а ныне не может обеспечить фуражом даже своих коров»; «Равнодушные, пассивность, нежелание портить отношения с односельчанами... И вечная надежда на строгого и справедливого начальника, который откуда-то придет и наведет порядок. Почти как у Некрасова: «Вот придет барин, барин нас рассудит». Но так ожидала бабушка Ненила, неграмотная старуха некрасовских времен. А теперь-то, когда почти у всех чуть ли не среднее образование, теперь-то зачем ждать помощи со стороны? Лучше вас никто не знает веркольской земли, хозяйства людей, местных нравов – вам и братья за дела, вам и наводить порядок в собственном доме».

«Вам и наводить порядок в собственном доме» – сквозная метафора в художественном мире Ф. Абрамова. Проблемы, поднятые писателем в публицистике, приобретают образную плоть в художест-

венных его произведениях, определяют нерв взволнованного абрамовского повествования о человеческих радостях и драмах, о судьбах земли, на которой живет человек, и о человеческой ответственности за свою судьбу и судьбу Земли.

В статье «Слово в ядерный век» Абрамов размышляет о роли писательского слова в духовной жизни человека, об ответственности писателя: «Слово всегда было путеводной звездой человечества. В слове сокрыта самая великая энергия, известная на Земле, – энергия человеческого духа. Словом создавалась культура, словом ковалась вера, ковались идеалы. (...) И сегодня, в век неслыханной, небывалой спекуляции словом, лишь нам, писателям, дано вернуть слову его изначальную мощь и силу».

Концепт Человека в творчестве писателя – «Человек ... – совесть нации». Сохранить всю жизнь «отзывчивое, отважное сердце», «..свет, идущий изнутри!», сохранить «русь», родную речь, сохранить дом, обустроить жизнь в каждом «маленьком месте» (выражение Андрея Платонова) по нравственным законам – долг и честь каждого человека, – так прочитывается проза Абрамова. И потому она актуальна во все времена.

Литература:

1. Абрамов Ф. А. Собр. сочинений. В 6 т. – Л., СПб.: Художественная лит. 1990 – 1996.
2. Бобров Александр. С этого угора Россия видней// Литературная газета, 2015 год, №8. 25 февраля – 3 марта.

3. Оссовский О.Е. Абрамов Федор Александрович. Глава в Биографическом словаре // Русские писатели, XX век: биограф. Слов. : А – Я / сост. И.О.Шайтанов. – М.: Просвещение, 2009. – 623 с. : илл. – С. 7, 8. ISBN 978-5 –09-017151-9.

4. Большакова А.Ю. Феномен «деревенской прозы» (вторая половина XX века) // Крестьянство в русской литературе 18-20 вв. – М., 2004. С.323-356.

5. Золотусский И.И. Исповедь Зоила: Статьи, исследования, памфлеты. – М., 1989.

6. Дубровина И. Дубровин А. Новое художественное мышление: опыт и гипотезы // Дубровина И. Дубровин А. Канон или канун? Литература, кино, эстетика: дух обновления. – М.: Сов. писатель, 1990, с. 201-266.

7. Дедков И. Художественный мир Федора Абрамова // Абрамов Ф. Собр. соч.: В 3 тт. – Ленинград: Худ. лит., 1990. Т.1., с. 5-27.

8. Овчаренко А.И. «Две зимы и три лета Ф. Абрамова» // Овчаренко Александр. Большая литература. Основные тенденции развития советской художественной прозы 1945–1985 годов. Шестидесятые годы. – М.: Современник, 1985. С. 312-319.

9. Турков А. Федор Абрамов: Очерк. – М.: Советский писатель, 1987. – 240 с.

10. Серафимова В.Д. Абрамов Федор Александрович // Литература и язык: Энциклопедия/ Научный ред.: член-корреспондент РАН П.А.Николаев (буквы А-Л, Н-П) – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 584 с. – С.8. – (Современная иллюстрированная энциклопедия).

□

Вера Дмитриевна СЕРАФИМОВА –

кандидат филологических наук,

доцент кафедры русской литературы и журналистики XX–XXI вв.

Московского педагогического государственного университета,

литературовед.

Более 40 лет занимается изучением русской поэзии и прозы XX в.

Автор монографии «Андрей Платонов

и философско-эстетические искания русской литературы

второй половины XX века

(В. Шукшин, В. Распутин, Л. Бородин)»,

автор множества научных, научно-методических статей,

учебных пособий.

В журнале «Север» публикуется впервые.



КУ БИ КИ



Павел ПАРАМОНОВ

г. Суздаль

повесть

1

Полудни солнце перева-
лилось за крест колокольни и по жаркому воздуху спускалось в трепещущий чешуйчатым золотом затон изгибистой реки. С высокого берега — с этой единственной точки крутомола — можно было видеть погружение солнца в парную воду реки. Прокаленный до бурой окалины багровый шар припадает к далекой воде: сначала чуть коснется надутой щекой розовой ряби, словно пробует, тепла или холодна, потом блаженно погрузит половину лица, как жарколицый сельский тракторист, намаявшийся за день на горячей земле, подступит к воде и осторожно начнет погружение своего истомившегося тела в долгожданную воду.

Займется холщовая лента реки багровым окрасом, когда половина солнечной лепехи обмакнется в воду, и тихо-тихо будет уходить эта багровая простынка вслед за солнечным катышом, пока окончательно, мятым лоскутком не скользнет вслед за нырнувшим на дно реки солнечным горбыльком.

И занежит землю вечерний свет.

Свет вечерний — желтоватосерый, свет памяти, словно черно-белые фотографии из детства, охваченные желтизной времени.

На высоком берегу — кладбище. Слева от него — заливной луг,

отороченный рекой, справа, через колокольню до места захода солнца, — дальний загиб реки.

Две старушки медленно поднимаются по некоему взгорку. Одна за другой, шаг в шаг, словно одна ведет другую на веревочке. Обе коренастые, соразмерно полные. Там на вершине, в двух шагах от песчаного обрыва, могила их матери и отца. Ограды нет — на зеленом холмике железный крест, иссеченный дождями и обдутый прогонистыми ветрами.

Старушки замирают, переводя дух, затем вполнаклона молча начинают выдергивать ломкие прошлогодние прутьины рябинника, истыкавшие, словно серыми колючими стрелами, холмик с молодой бархатной травкой.

Старушки плачут. Каждая сама по себе, беззвучно, без всхлипов и причитаний. Слезы текут из слабых бесцветных глаз по изморщенным щекам, отлипают с подбородка мутные капли и падают на холмик.

Это моя мать и ее сестра — моя тетя. Они уже старше своих матери и отца, что лежат в земле, и сейчас их память оживила их и они, словно черно-белое кино, просматривают свою молодую жизнь с молодыми и живыми родителями.

А над лугом, речкой, кладбищем жаркая, травянисто-ароматная тишина. Лишь из одичавшего яблоневого сада на окраине села неожиданным свистом прошивает тишину рваными короткими шовчиками какая-то тонкоголосая птичка, да шальная дворняга комкает приреченский сыроватый воздух густым безадресным лаем.

Живым дано чудо воскрешать мертвых. Видимо, Господь по всемогуществу и сердобольности своей наделил слабых и грешных людей таинством воскрешения — но только в памяти...

2

На второй день недельного предармейского загула Сашка привел в дом негритянку. Вернее, привел он ее ночью, сжав черно-красную ладонку своей короткопалой, с рыжими веснушками пятерней. Негритянка слабо и удивленно попискивала, когда Сашка с настырной ласковостью путеводительно направлял ее через захламленный хозяйственными принадлежностями двор широкого частного

дома, где он и жил с отцом и матерью, на сеновал. Здесь, в пахучем свежем сене, заготовленном на лесных полянах пригорода, была уготована негритянке постель, «норка» — называл ее Сашка. В этой сенной норке уже побывали с десяток фабричных девчонок разных национальностей. Сашка оборудовал сеновал с первыми копнами свежего сена, которое они с отцом привозили с покосов. На сено он расстилал старый дедов полушубок, поверх его байковое одеяло. Этим одеялом укутывал Сашка пристывших к утру девчонок. На вытянутую руку от лежака в деревянный ящик Сашка ставил бутылку с квасом, карамельки и жесткие, как высохшая замазка, ванильные пряники.

Негритянка была из далекой африканской страны. Училась уже два года в Текстильном институте, обвыклась в городе и ходила на танцы в городской сад. Сашка поразил ее желтыми в короткую волну густыми волосами, голубыми глазами и темными бровями. В свою очередь, негритянка заинтересовала Сашку как объект эдакого исследования: а как у них это... и все остальное? Он и не предполагал, что его исследование зайдет так далеко.

«Шено... шено...» — едва слышным лепетом повторяла негритянка слово Сашки, которым он назвал этот сухой пахучий ворох щекочущей травы и в который пала иноземная девушка.

Конечно, все было, как всегда, и все было то же самое, но была и особенность: в жесткости волос негритянки, в горячке и неутомимости влажного скользкого тела, в каком-то фруктово-сладком запахе ее пота, вскриках и шепоте незнакомого языка.

Когда под утро, вырванный из сна первым воплем петуха, Сашка глянул на лежащее рядом, освещенное сероватым, неустойчивым, наполовину лунным светом черное тело, словно выточенное из большого куска угля, он почувствовал себя вором, присвоившим чужое, пусть диковинное, экзотическое, но совершенно негодное в дальнейшем жизненном применении существо.

Негритянка проснулась и гладила черно-красной рукой Сашкины золотые волосы, выпутывала из них заколки сена, слабым шепотом повторяла: «Русь-кай, русь-кай...», готовилась для новых ласк, но петух начал орать

почти без перерыва, словно предупреждал, мол, время любви кончилось, пора уходить, хозяйка выходит на двор кормить кур.

Сашкина мать, тетя Мотя, уже «цыпала» на дворе около лестницы, призывая многочисленных кур на зерно.

Негритянка ловко приладила гладкую ножку на ступеньку лестницы, второй нащупала следующую и как-то знакомо, по-свойски стала спускаться вниз.

— Прай-вет! — сказала негритянка тете Моте, ощутив, наконец, под собой дворовую твердь, уже утыканную тепленькими светло-серыми куриными окатышками.

Негритянка выпустила из рук лестницу и тут же наступила белой босоножкой на не успевшую затвердеть куриную пирамидку. Отдернула ногу и угодила второй в такое же куриное естество.

Куры скупились у таза с зерном, закосили глазами на черную девчонку, а петух, выгнув грудь, воинственно и вздорно закричал пронзительным криком на кур, видимо, говорил своим птичьим языком: «Эка невидаль — чернушка! Хозяйский сынок и не таких приводил...» А закончил петух свое обращение к курам, видимо, матом, потому что куры смущенно потупили головы к кормушке и застучали клювами в звонкое дно таза.

Тетя Мотя обмерла с ведерком в руке. Задрожала дужка ведра, и верхний слой зерен стал двигаться как живой. Зернышки вставали на дыбки, падали на глянцево-спинки и тряслись, словно в сите.

— Прай-вет! — еще раз сказала негритянская девушка, снизойдя по лестнице к тете Моте, простой путевой обходчице, которая видела негров только в кино. Для нее эти люди были так за пределами далеки, что она никогда и не думала о них, есть ли они на самом деле или их придумали неведомо зачем. А если и есть, то и бог с ними, пусть живут, разные чудеса на свете бывают... А тут из небытия, из космоса, из утреннего неба, по грубо сколоченной ее мужем и отцом Сашки тяжелой лестнице спускалась к ней черная девушка.

Остолбеневшая тетя Мотя шарила глазами по негритянке, стремясь для успокоения найти в ней что-нибудь светлое, хотя бы серое, но даже ситцевое платье в голубой цветочек пошива

местной фабрики, с натягом обхватившее фигуру иноплеменницы, показалось тете Моте черным. И только когда негритянка, ворохнув глянцево-черными, словно смородина после дождя, глазами, улыбнулась красным ртом, открыв непостижимой белизны и ровности зубы, тетя Мотя различила и цвет зубов, и перламутровые с красной сеточкой белки глаз.

— Прай-вет! — еще раз сказала негритянка и глянула вверх на проем сеновала, из которого оголенно вытянулась нога Шурика.

— Володя-я! — вдруг пронзительно закричала тетя Мотя, да так громко и отчаянно, что куры взметнулись белым взрывом. Петух, боясь уронить достоинство, откинув одно крыло, боком рванулся к лазу в куриный сарай, а нога Шурика с клочками рыжих волос, испугавшись крика матери, скользнула мимо лестничной ступеньки, скоркнула по необстроганной рейке. Сашка повис на руках, подтянулся, поймал-таки ногами перекладину. Но молодой восторг здорового тела был сбит. Он шустро сбежал вниз, протряс ладонями скудрявленные в шапку волосы, выбивая из них сухие чешуйки клевера и зеленые острицы ломкого сена.

— Володя-я! — не обращая внимания на появившегося перед ней сына, ошарашенно кричала до синевы побледневшая тетя Мотя.

— Маманя, ты чего? — спокойно и ласково спросил Сашка.

Но отец уже бился изнутри в дверь дома.

У тети Моти была привычка запирать мужа на ключ, даже когда она выходила на короткое время во двор.

Дядя Володя спал после ночной смены и категорически требовал, чтобы его не будили. Год назад это запирающее едва не привело к беде. В приделке их дома жил квартирант — молодой, задумчивый мужик. Еду он готовил на газовой плитке с маленькими красными баллончиками. Выжженные баллоны менялись на газозаправке. Зимой, в морозы, газ в баллонах замерзал, густел, нужно было время, чтобы в теплом помещении он отогрелся, иначе горелка на плите только злобно шипела и не загоралась. И была в приделке печь с чугунной плитой под чайник и кастрюлю. В морозные зимы печь начинали топить с утра. Квартирант — мечтательный мужик, принес обледеневший до инея баллончик,

поставил его на чугунную плиту и, поскольку был постоянно задумчив, забыл о нем. Он смотрел в окно на морозные завихрения палехского письма, которыми было расписано стекло, и о чем-то мечтал. Березовые дрова разгорелись, плита начала багроветь. Газовый баллон взорвался и разворотил верхнюю часть печки. Задумчивый квартирант выбил головой оконный переплет, но то ли по причине сильного ангелогранителя, то ли крепости головы отделался лобовым синяком и ссадиной на щеке.

Дым из печки гульнул в проем окна. Тетя Мотя в это время кормила в птичнике своих вечных кур. Дядя Володя спал взаперти после ночного дежурства. Тетя Мотя закричала, как всегда, оглушительно-громко, отчаянно, самозабвенно:

— Володя! Горим!

Дядя Володя, погруженный в глубокий отдохновенный сон, был немедленно выдернут из него криком жены, свернут с кровати и поставлен на ноги.

Но тут надобно рассказать об одном из предметов одежды того незабвенного времени — кальсонах, или, по-простому, — подштанниках. Носить их начинали в армии как нижнее белье. В поясе они крепились двумя пуговицами, которые непременно желтели после трех-четырех стирок. У щиколоток пришивались полуметровой длины завязки, которые, прежде чем завязать, нужно обмотать вокруг ноги. Эти завязки были рассчитаны на военную жизнь: голенища сапог держали их, но в гражданском проживании, с брюками и ботинками, завязки вели себя непредсказуемо — они развязывались в самые неподходящие моменты. Мой друг Валера по этой причине лишился любимой девушки. Не износив после армии подштанники, он зимой, поддев их, пошел на свидание. Валера стоял на площадке трамвая и весело балагурил со своей девушкой и ее подругами — они ехали в кинотеатр. Завязка, ощутив свободу, размоталась с ноги и белой змейкой выползла из-под брючины на грязный трамвайный пол. Когда Валера развернулся к выходу, девушка из другой компании притиснула завязку каблуком к полу. Легкий полупрыжок Валеры к выходу был остановлен полотняным треском разрываемой ткани и подштанина, оборванная где-то возле колени,

белым раструбом на тонкой ножке выскользнула из-под брючины и, не зацепившись даже за ботинок, покинула ногу хозяина.

Конечно, такой срам надо было пережить, но хохот, который потряс трамвай, уничтожил в Валере и его девушке все лирические чувства. Тем более его девушка — прядильщица с Меланжевого комбината — хохотала громче и дольше всех...

Так вот, дядя Володя спал в этих самых подштанниках, размотав для отдыха ног завязки, и когда призывный клич его жены из-за запертой двери вздернул его на дыбки, он первым делом наступил на завязку, вырвал «с мясом» клочок кальсоны и голоногим оборванцем ринулся к двери. Дядя Володя бился в дверь, а тетя Мотя с улицы отчаянно кричала: «Володя, горим!» И дядя Володя, учуяв запах гари, с размаху ахнул тяжелой табуреткой в двойную раму, выломил оконный переплет на улицу и лихо выскочил в покалеченных кальсонах на снег. И сразу сверкнула фиолетовой чешуей жирная змея, обвинившая мускулистую бочковидную ногу дяди Володи. Змея ползла снизу вверх, от щиколотки по икре к бедру. Какой она была длины и в какой части тела прятала свою голову, могли знать только люди, бывавшие с ним в бане. Голову свою змея не прятала, а, наоборот, на границе бедра и живота поворачивала и разевала двузубую пасть, высовывала раздвоенный язык, шипела, и с зубов у нее срывались грушевидные синие капли яда.

Такая же змея охраняла и вторую ногу дяди Володи, но в момент пожара она пряталась в непорочной кальсонине.

Дядя Володя стал метаться по двору. Черпать ведром снег и швырять его в дымящееся окно приделка. Квартиранта отmaterил. Жену — непорочную мать Шурика, по-женски незапятнанную в отношениях с другими мужчинами, тоже обозвал, как принято, по матери. Он ругался и швырял снег. Прибежали соседи с ведрами воды и плескали в окно приделка. Пожар был потушен в зачатию. Из окна приделка шел мокрый вонючий пар.

У квартиранта тряслись руки, в задумчивых глазах отпечатался страх.

Но дядя Володя швырял и швырял ведром снег как заводной: наклон, зацеп ведром, швырок... Пока тетя Мотя не пробилла его

замкнувшее сознание очередным криком: «Да перестань ты, наконец!»

И дядя Володя прекратил свое противопожарное действие, оглядел толпу собравшихся людей и сказал историческую для улицы фразу:

– Ну что, суки, рты раззявили!

Но люди не только не обиделись, они даже смутились, глядя на дядю Володю, стали отворачиваться и прятать грешные (не к месту) улыбки.

Надо сказать еще об одной особенности подштанников — у них не было ширинки. Вернее, она была, но это была прореха без пуговиц. И мужская деталь дяди Володи, скукожившаяся от холода, словно гриб боровик сучного выроста, который едва приподнялся на кочке над серым свалявшимся мхом, красновато и бесстыже посверкивала на морозном воздухе. Это и вызвало улыбку людей.

– Володя, прикройся, — сказала тетя Мотя, проследив за взглядами людей.

Дядя Володя наконец полностью осознал себя как главную фигуру происходящего, глянул на красные расплющенные ноги, увеличившиеся в размере, в отличие от мужского причиндала, сгрудил ширинку в комок, отчего на тыле руки лучами засверкало темно-фиолетовое, полустертое временем солнце, опускавшееся в Тихий океан, сутуло прошлепал к входной двери и стал судорожно дергать ее, теперь уже пытаясь войти в дом. Тетя Мотя стояла за спиной мужа с ключом в руке: ждала, когда он откроет дверь...

3

Дядя Володя был личностью колоритной. Основные вехи жизни были изображены на его теле, словно на индейце племени майя.

На некогда мускулистой рыжеволосой груди дяди Володи были выколоты Ленин и Сталин. Их просиненные одноглазые профили с пятидесятых годов прошлого века глядели друг на друга, олицетворяя патриотичность их обладателя. Когда-то давно на молодой, безволосой груди профили круглощечно выпучивались. С годами физиономии вождей дрябли и обвисали. У них появились вторые подбородки, они проросли пепельно-рыжим волосьем, поблекли от банного скрябания.

На спине дяди Володи были выколоты акробаты. Один раскинул руки, откинулся назад. Из рта циркача тянулся канат, другой конец каната привязан к лестнице, на вершине которой второй акробат делал стойку на руках. Циркач с канатом в зубах был молодой дядя Володя — то были годы его работы в Вильнюсском цирке. Дальнейший жизненный путь дяди Володи был изображен ниже: падающий вниз головой по позвоночнику верхний циркач, и вот уже на левой ягодице человек с огромной совковой лопатой швыряет уголь в топку печи, труба которой чадит синим пламенем на правой ягодице. Что-то не сошлось в том цирковом мгновении на арене — то ли верхний акробат не выдержал равновесия, то ли зубы дяди Володи не осилили нагрузку. Лестница закачалась, и верхний циркач обрушился на ковер. Сгоряча вскочил, выгнулся и захрипел. Лестница же стала падать на дядю Володю, но он успел отскочить, и лишь острый угол лестницы скоркнул по бедру, содрал лоскуток кожи.

Когда подбежавшие стали поднимать упавшего, дядя Володя кинулся к товарищу, но ему помешал канат во рту, а рот не разжимался — замкнуло. Приехавшие медики дергали за канат, но дядя Володя только мычал и через нос матерился. Канат обрезали около подбородка, и с этим куском увезли дядю Володю в больницу. Там в остаевшие жевательные мышцы сделали ему уколы, и на беду врачей рот дяди Володи вновь заработал. Почему на беду? Да потому, что такого количества матерных слов, выпущенных дядей Володей, больница, видимо, не принимала на свой счет со дня ее строительства. Врачи испортили канат, вернее, не канат, а то специальное устройство, которое крепилось на конце каната и зажималось зубами, ведь это было изобретение дяди Володи.

Товарищ выжил, но остался инвалидом, а дядю Володю из цирка уволили, и он пристроился работать кочегаром.

А дальше нательная живопись рассказывала о странствиях дяди Володи по белу свету: солнце, полуутонувшее в океан, — это дальневосточная вербовка. Надпись на ступнях: на левой — «Они устали», на правой — «Но х... догонишь» — это бегство с Дальнего Востока от долгов и карточных проигрышей. Память о го-

лодных и бесприютных днях отпечаталась на месте желудка надпись: «Он хочет есть». Интимная жизнь была так же отражена на теле дяди Володи: на пальцах левой руки — «Таня», на правой — «Валя», на левом предплечье густокудрое женское существо с большими фиолетовыми глазами и подписью «люблю навеки».

Правое же предплечье было посвящено матери: могильный холмик с крестиком и традиционной надписью «не забуду мать родную».

Были на теле дяди Володи, кроме змей, звери: тигр, страшно ощерившийся, голова волка, тоже свирепо рычащая.

Жажда плотской любви в застенке едва не привела дядю Володю к непродуманному шагу — татуировке костра, фиолетовые языки которого распластались бы на груди и спине и условно жгли шею до подбородка спереди и весь, уже начавший слоиться накачанный загривок. Спасла от костра амнистия, а так жил бы дядя Володя все оставшиеся годы в холодном пламени.

Были еще на теле дяди Володи разные клейма, значение которых известно только ему: окно с решеткой и голубем, сетка паутины с восьминогим пауком, глаза которого свирепели красными бусинами. Часовенка с крестиком, карты — дамы «вини» и «черви», восьмьюгальные звезды.

Но главный познавательный выкол был на животе дяди Володи, чуть ниже голодной надписи. Несущийся на всех парах паровоз с одним вагоном, стрелочник с выгнутым флажком, поднятый шлагбаум и надпись «Авось вывезет!»

Завез поезд дядю Володю в фабрично-заводской городок, успокоил, умиротворил и женил его на тете Моте. Естественно, она тогда не была тетей Мотей. Это для нас, пацанов, тетя Мотя, а для дяди Володи девчонка-украинка, тоненькая, стройная, протяжно произносящая русские слова.

Поскольку у дяди Володи никакой специальности, кроме держания каната в зубах, не было, он устроился работать на сортировку сцепщиком вагонов, а жена — тетя Мотя — поменяла восьмичасовой сплошной фабричный грохот ткачихи на редкий стук несколько раз по графику проходивших мимо нее поездов, теперь уже стрелочницы на одном из пригородных разъездов.

Мы с Шуриком летом, выходя из лесу с ведрами грибов, всегда заходили в будку, где работала его мать. Здесь мы пили теплую, с железным привкусом воду из титана. Тетя Мотя, плохо разбиравшаяся в грибах, затягивала с какой-то вздорной ласковостью: «Ой-й, набрали-та-а! Поганки-та-а все чай... Устали-та-а как! Ну, отец разберет, может, не все поганки-та-а...»

Шурик, как и отец, в грибах разбирался, и, конечно же, в его ведре поганок не было.

С годами и дядя Володя перешел из сцепщиков в стрелочники, и даже одно время они с тетей Мотей были сменщиками. Ходили они в форменной железнодорожной одежде. Приходя на работу, надевали широкий пояс, на котором в кожаном чехле торчали два флажка, желтый и красный, для ночных поездов у них были фонари с такими же цветными стеклами. А еще им выписывали на работе просмоленные деревянные шпалы для домашней печи, тогда все дома пригорода отапливались печами, это потом уже стали появляться котлы и батареи. И выделялись покосы на прирельсовых зеленых просеках, раздвигающих лес на две половины.

Сочная густая трава, подступающая к насыпи, летом засверкивала рубиновыми капельками земляники, и, прежде чем косить траву, дядя Володя и я с Шуриком согбенно замирали над разнотравьем и выщипывали едва державшиеся на зеленых ножках тяжелые и нежные от сочной спелости ягоды.

Пока трехлитровые бидоны не заполнялись доверху земляникой, к покосу не приступали...

Конечно, главный косец был дядя Володя. Он снимал тельняшку и широкие спецовочные брюки. Его фиолетовое тело охватывалось лесным солнцем. Он скручивал с пояса черные сатиновые трусы до колен — делал их короче, чтобы не мешали размашистой косьбе, плевал на шершавые ладони, и все его нательные изображения оживали: Ленин кивал головой Сталину, Сталин откидывался назад, дергались циркачи на спине, и тот циркач, который был молодым дядей Володей, норовил упасть навзничь, но не успевал, потому что взмах косы в руках дяди Володи поднимал циркача и ставил почти прямо, а падающий акробат теперь падал по канаве позвоночника зигзагами, натываясь на продольные бугры спинных мышц. И кочегар на ягодице,

ощутив вольное июльское солнце, швырял свой вечный уголь с удвоенной сноровкой. Приходили в движение звери и змеи, деформировалась и изгибалась решетка, трепыхался голубь, и паровоз на животе все пытался сорваться с места...

Потом все эти рукотворные символы обливались потом, дядя Володя, сверкая, уходил по насыпи, после него оставался ровный валок скошенной травы.

Дядя Володя словно прилипал к солнечному ядру, и его фигура, удаляясь, превращалась в золотистый пар. Он отрывался от насыпи и, помахивая косой, восходил по солнечному прокаленному воздуху на самую макушку плотного леса, растворялся совсем, и только далекое жиканье косы обозначало его присутствие на земле. А мы с Сашкой задремывали головой к голове на свежей, мягкой, щекокущей охапке первопокосной травы.

Просыпались от озноба. С вечернего неба наваливался мягким серым брюхом на овраги и луговины тяжелый туман. Проколотый острогами бурых сосен, оплывал туман на еловую игольчатую стелицу, мокрой тряпицей елозил по кустам и травам; вползал тугим закрутом на железнодорожную просеку; глушил серебряный блеск теплых еще после горячего июльского дня рельсов, заливал лесные прогалины тягучей серой густенью.

И там, далеко, в этой непроглядной затопе, куда уходили рельсы, глухо, монотонно, с вырывами паровозных гудков на сортировке, пульсировал большой город...

4

В селе родились моя мать, ее сестра, моя тетья, и я в свой черед родился здесь, а еще дед с бабкой, прабабка и прадед, и протягивался наш род аж до Минина и Пожарского, когда в их ополчение с самодельным кистенем и двузубыми вилами влились два моих пращуров крепостных и, видимо, сложили свои кудлатые головы на околицах Москвы, где теперь сотрясается их прах под асфальтовым панцирем бескрайних закрутистых дорог.

Тетья Лиза, младшая сестра моей матери, до семнадцати лет жила в селе, хорошо училась, бы-

ла тихой, молчаливой, примерной девушкой. Ее приняли в комсомол, а потом она уехала в Ярославль, к старшему брату, продолжать учебу. Здесь ее пригласили на работу в НКВД, а в 1944 году направили в Вильнюс на укрепление советской власти. Мать осталась в селе при родителях.

В то время, когда молодая тетья Лиза вылавливала в литовских лесах «лесных братьев», ее сестра работала свиначкой в колхозе имени Молотова.

Свинарник — длинный, приземистый, темно-серый. Бревна от постоянного обмазывания известкой оскорупились, от дождей и ветров куски известки отшелушивались, и заплатки черных бревен издали были похожи на сквозные пробоины.

Внутри пронзительный, невероятной густоты запах поросячьих испражнений. По всей длине свинарника узкий проход из склизких, мокрых досок. С боков этого настила глубокие желоба, всегда полные бурой жижи. Свиначки деревянными заступами сволакивали эту дрожучку к воротам свинарника в глубокие выгребные ямы.

У входа в свинарник две большие квадратные железные емкости. Два раза в день приезжала со спиртзавода машина с цистерной, и мрачный шофер швырял в емкость тяжелый шланг. С напористым гулом билась в железо горячая барда, клубился пар, поднимался кислый хлебный запах, он ввинчивался в щели и маленькие оконца свинарника, обволакивал свиные пятки, вытянутые на источник запаха, будоражил поросят, они начинали хором хрюкать с подвывом и повизгиванием, толкать тяжелыми мордами глубокие деревянные колоды, в которые свиначки ведрами должны разносить барду.

Шофер, обматерив свиней, барду, грязный шланг, старую машину и весь род человеческий, уезжал снова на спиртзавод и привозил новую порцию барды к вечеру. Первые ведра вечерней барды свиначки, оглядываясь, разносили по укромным углам, закрывали от лишних глаз кто доской, кто тряпьем. Ведра были чистые, домашние. После них брали казенные — мятые, с многодневной налипью засохшего корма, и начинали очередное кормление поросят. Хлюп и чмок раздавались по всему свинарнику. Животные яростно загла-

тывали теплую с густыми ошметками еду, отпихивали друг друга коричневыми пятаками. Насытившись, поросята валились на бока, вытягивались на всю ширину хлебов, нешелохнито спали, обозначая жизнь только шевелением розовато-грязных пятачков.

После вечернего кормления, дождавшись темноты, свинарки разными дорогами разносили по домам утаенные ведра с бардой. Мать шла к своему дому по узким протопам между огородами. Я держался за скользящую дужку ведра и не помогал матери (как я думал), а отяжелял ведро, оттягивал его вниз, но мать не ругалась, а только выдыхала хриловатым, глухим голосом: «Быстрее, быстрее иди, скотинка ждет...»

Дома в стойле, огороженном сухими жердями, фыркала черная с белыми островками корова по кличке Долинка, а в дальнем углу скоблил копытцами, возился, терся тугими боками о горбыли хлева желто-розовый поросенок. И едва мать входила во двор, раздавались хрюканье и мычание. Одно ведро барды выливалось в кормушку поросенку, бардой из другого поливалась запаренная кипятком солома (если кончалось сено), и животные начинали блаженствовать. Я любил смотреть, как ест корова. Она размеренно двигала нижней челюстью, перебирала корм широкими, плоскими зубами, у ней был мокрый нос, покрытый пупырчатой кожей, словно вырезанной из голенища кирзового сапога, и на меня, не мигая, смотрел серого стекла овальный глаз. Мы так долго могли смотреть друг на друга. Я гладил белую шерсть ее мягкого лба, трогал ноздри, она лизала мне руку теплым широким языком и уходила в дальний угол спать.

По детскому всеверию я не понимал тогда, что мать и ее подруги-свинарки воруют барду. У меня, шестилетнего, уже наученного дедом читать книжки и запоем читавшего «Русские народные сказки» в черном переплете с Иванов-царевичем, ухватившим за хвост Жарптицу, не могло и мысли возникнуть, что мать — и ворует! И я предал ее. «По простоте душевной», — как сказал после дед.

К вечеру на свинарник приехал председатель колхоза, звали его Митюк Исаков — горбатый, в сером картузе, и бригадир — Шура Царева, большая, круглая, с красными щеками — естественно, за глаза Цариха. Они посмотрели свинар-

ник, поговорили. А когда попрощались и все стали расходиться, я видел, что мать и ее подруги уходят без ведер с бардой, громко сказал:

— А барду мы сегодня не понесем?

Я и сейчас вижу, как полыхнуло краской лицо матери. Как тетя Нюра, говорившая быстрым стрекочущим голосом, вдруг начала пулеметить о недельных поросятах, которых надо выпавать обратно, а мы даем разведенную барду, и они безудержно поносят. Тетя Нина начала смеяться так, что у нее пошли по щекам слезы, и она не могла остановиться — плакала и смеялась. И свинарки стали отжимать меня спинами от председателя и бригадира, словно большие бурые коровы отжимают теленка от грозящей ему опасности. Но я опасности не видел и поэтому выдавливался из-за спин этих теток, пытаюсь не потерять из виду начальство (так называла председателя и бригадира мать). Но они, ничего не сказав, быстро пошли от свинарника в разные стороны — по домам.

Тетя Нюра стала тихо и беззлобно ругаться, и ругала она какого-то неизвестного мне языкастого болтуна, которому язычок надо бы измазать бардой, да не свежей, а перестоялой, чтобы язык распух, как у больного поросенка, и не шевелился.

Я ощутил привкус барды во рту, сглотнул и даже пожалел того болтуна, которому тетя Нюра накликала беду.

Взрослея, я понял, о ком говорила мать и подруга...

В этот вечер мы пришли домой без барды. Мать рассказала деду и бабушке о случае на свинарнике. Бабушка гладила меня по стриженной голове, и я чувствовал, как ее мизинец, согнутый буковкой «Г» из-за перерезанного серпом сухожилия, прочерчивал на моем темечке незримую бороздку. От этой приятной щекотки задремывалось. А дед в это время поведал историю о мальчике, который на базаре в большом городе увидел, как вор залез в сумку стоящей в очереди женщине. Мальчишка громко сказал своей матери об этом. Вор сбежал. А потом на выходе с рынка к ним подошел блатной, легонько мазнул ладонью по лицу мальчишки и сказал: «Не суй нос куда не следует...» В ладони блатного была бритва, и кончик носа мальчишки повис на кусочке ко-

жи... «Вот так, мил человек, — подвел итог дед. — Что увидел — молчи, и нос целым будет».

Я, конечно, всплакнул — мальчишку было жаль. Но дед успокоил — нос ему в больнице пришили. А на вопрос, поймали ли блатного, дед ответил безнадежно:

— Да где там, его и след простыл...

И я, засыпая, думал о том, что, когда вырасту, поймаю этого блатного, привезу его на свинарник и суну головой в прокисшую барду... Страшнее этого наказания я тогда себе не представлял.

Из Вильнюса от тети Лизы шли посылки. В село их привозила на багажнике велосипеда почтальон Ольга — толстая, рыжая, веснушчатая деваха, вздорная и веселая.

— Опять вам посылка, дед Ефим! — кричала в окно. — Совсем вас заслали, кажинный месяц!

Фанерный прямоугольный ящичек с просверлами по бокам обмотан волокнистым шпагатом, помечен густым прищепком сургуча на малой боковине (я первым делом оскорлупывал коричневые сургучовые наплывы с печатью в середине, а потом плавил их в консервной банке на костре).

Ящик ставили на большой стол в светлой комнате, и я, бабушка и мать садились к столу. Дед гвоздодером подковыривал фанерную крышку, с тихим свистом вытягивались мелкие острые гвоздики из квадратной рейки. Дед не сворачивал крышку набок, а старался каждый гвоздь выдернуть, не сгибая его. Потом он клещами выдергивал гвозди и складывал их в глиняную плошку.

Сверху, на сложенной газете «Советская Литва», — обязательное письмо тети. Его читала вслух мать. А мне не терпелось заглянуть внутрь ящика. Я тянул руки, но бабушка прихлопывала мою ладонь, и приходилось ждать, когда мать прочитает письмо. А читала она медленно, почти по слогам. Когда мать заканчивала: «Всех целую. Ваша Лиза», начиналось извлечение невидали из ящика. Притиснутые друг к другу пакеты с сахаром-песком, банки сгущенки и рыбные консервы (шпроты), черная, покрытая плесенью от дальней дороги колбаса (на разрезе — мозаика темно-красного мяса и белого жира), россыпи конфет (леден-

цы, молочная карамель, длинные тонкие палочки двухслойных конфет в слюдяной завертке). Что-то еще незнакомое, цветное, душистое. Матери и бабушке — платки, деду — трикотажные кальсоны, мне — майки-безрукавки...

Изба наполнялась запахом счастья. Просматривалась каждая этикетка, каждый фантик разглаживался, прочитывался и складывался в старую полевую сумку на длинном ремне.

Через тридцать лет мой сын также будет разглядывать обертки «гуманитарной помощи», ящик с которой он принесет из школы.

В свой очередной летний приезд в село с тетей Лизой приехал мужчина. Тетя писала, что сошлась с хорошим человеком и летом они приедут в гости.

Дед попросил у председателя подводу (телегу с лошадей) и утром уехал в Посад встречать дочь. Вернулся он к вечеру. На телеге среди трех огромных чемоданов сидела улыбающаяся тетя в крепдешиновом цветастом платье, рядом — мужчина в соломенной шляпе.

Я стал звать его дядя Петя, а взрослые Петром Акимовичем. Он был высокий, пышная прическа тети едва доставала его подмышки, продолговатое тяжелое лицо, прямой узкий нос, узкие, словно спрятанные внутрь губы и широкий подбородок, который он по утрам с шурханием оглаживал широкой мягкой ладонью и шел к умывальнику бриться. Глаза у него серые, неустойчивые, постоянно меняющиеся в зависимости от настроения. То посверкивали смехом от каверзной подшутки, то застывали ледышками от внезапно пришедшей в душу озлобины, а то и вовсе взгляд оборачивался внутрь и так застывал, словно бадя на цепи опускалась в колодезь, а когда вытягивалась наверх с тяжелой от холода водой, сыпались вниз роспески звонких капель — взгляд тут же менялся, лучился и чередовались нескончаемые истории из фронтовой жизни дяди Пети, причем одна история переходила в другую совершенно незаметно, потому что герой каждой из этих историй был один — дядя Петя.

Еще запомнился этот человек странным фокусом, вернее, даже не фокусом, а необычным действием, поражавшим меня и моих деревенс-

ких приятелей. Он вытягивал перед нами длинную, с жидкой провисшей мускулатурой руку, заросшую курчавыми блекло-черными волосами, и пальцами другой руки выдергивал клочок волос. Мы застывали, но дядя Петя улыбался и вопрошал: «Ну, кто так сможет?» Мы оглядывали свои безволосые руки, прихватывали едва пробившийся пушок, пытались дернуть, но наши паутинные волосики болезненно выскальзывали из пальцев, и повторить дяди Петин выщип никому не удавалось.

А еще дядя Петя плел корзинки из ивовых прутьев. Берега речки заросли ивняком. Дядя Петя настригал овечьими ножницами охапки гибких прутьев. Мы приносили прутья на двор, и здесь дядя Петя выплетал корзинки: двуручные круглые шеверюшки, продолговатые бельевые с ручкой дугой, ягодные с плетеными крышками. Однажды он сплел квадратный короб для хранения всякой всячины. Этот короб простоял в сених десятки лет, и когда я уже взрослый приехал в село и зашел в свой бывший родной дом, то увидел этот короб на прежнем месте, тронул его, и он сухо скрипнул колючей крышкой — видимо, признал меня...

Посылки и приезд тети с дядей из неведомого, сытого, сладкого, недостижимого Вильнюса были праздниками в нашей сельской жизни.

Мать была у сестры в гостях через два года после войны. Она надела выходное ситцевое платье, поверх суконную тужурку, на ноги закрытые серые туфли на квадратных, сношенных каблуках.

Бабушка испекла ей четыре больших пирога из муки с отрубями, начиненных пареной свеклой, и положила десять крутых яиц. До Москвы мать ехала в жестком сидячем вагоне. В Москве бледная женская голова с высокой пепельной прической в крохотном арочном окошечке кассы буднично потребовала доплатить двадцать девять рублей за плацкарт. «А мне не надо плацкарты, — отнекнулась было мать, — я в общем доеду...» — «Общие до Вильнюса не ходят...» — строго внушила бледная голова. Мать отдала последние деньги, тридцать рублей, на которые рассчитывала купить поесть. Голова из кассы пробила в жесткой корочке билета дырку.

До Вильнюса ехать сутки. Утром села на поезд в Москве, на следующее утро вышла в Вильнюсе. В дороге с ней приключилась история, которую она потом часто пересказывала, смеясь и заново переживая давний стыд, испытанный ею в вагоне скорого поезда...

Место было на верхней полке у выхода в тамбур. Отдала последние десять рублей за постель. Нашла сорок копеек на два стакана чая. Но как есть пироги со свеклой, когда соседи выкладывают на узенький столик вареных кур, колбасу, печенье, поджаристые пирожки с мясом и всякие другие вкусности?

Она забралась на верхнюю полку, часть дороги спала, часть делала вид, что спит. Соседи приглашали ее к столу, но мать отнекивалась, говорила, что ей нездоровится, а ночью, когда все в вагоне угомонились, она, отвернувшись к стене, лежа на боку, ела пироги со свеклой. Пироги сохлились, были похожи на куски земли, прокаленные солнцем где-нибудь на бугристой проселочной дороге. Паренная в русской печи свекла сконсервировалась внутри пирога, превратилась в вязкую горьковато-сладкую жижу. Мать не кусала пирог, а, прихватив твердый бочок зубами, отламывала кусочки и, попитав их слюной, трудно разжевывала, сдерживаясь, чтобы не чавкнуть ртом и не уркнуть голодным горлом. Так она съела пироги, смотала в узелочек оставшиеся и, вытерев губы, уснула.

Но не это было причиной ее многолетнего стыда, а дело совсем интимное, без которого не обходится ни один человек от мала до велика. Мать, словно оправдываясь, говорила: «А как ты без этого... Его вить не упросишь на потом, не сунешь и в карман, в платочек не положишь...»

Углядев момент со своей верхней полки, когда у туалета никого не было, и, судя по вагонной тишине, пронзаемой иногда всхрапами спящих, мать спустилась в туалет и, сделав свое большое послесвекольное дело, подумала — а как же убрать из урыльника (так она называла унитаза) то, что она сотворила? Она первый раз ехала в вагоне с туалетом и не знала про ножной рычаг. Не спрашивать же у проводницы, тем более та заперлась и спит.

Мать попробовала смыть пригоршнями водички из умывальника, но только усугубила дело. В унитазе заплескалось багровое и жидкое.

Мать, холодея от страха и стыда, вымыла руки, приоткрыла дверь и взлетела на свою верхнюю полку — в тамбуре было безлюдно.

Повздыхав тихонько, так же тихонько ушла в сон.

А утро началось с крика. Кричала у туалета большая рыжая женщина в длинном халате, с полотенцем на плече:

— Безобразие! Не смывают! Это же надо так зас...ть! Ведь это не один человек ходил! А с десятком, и все не смывают! Безобразие!

Заспанная проводница заглянула в туалет, захлопнула дверь и спросила невпопад:

— Кто?

Рыжая еще больше разошлась:

— Это вам надо знать — кто! А не спать!

И тут проводница совершила невероятное. На секунду задумавшись, она мстительно произнесла:

— Я знаю — кто... — и шагнула в вагон.

«У меня все внутри так и оборвалось», — говорила на этом месте мать.

Но проводница — приезжая из провинции москвичка, неулыбчивая, с вечной заботой на курносом лице — прошла в третий плацкартный отсек, в котором спали четверо мужчин. Они познакомились в вагоне, сошлись на выпивке, закусывали, долго играли в карты, часто выходили в тамбур курить.

Проводница, сказав громко:

— Подъезжаем! — без перехода начала наотмашь охаживать ничего не понимающих в полусонье мужчин хлесткими обрывками фраз:

— Вы что это хулиганите! Освинели совсем! Вы дома так же делаете! Стыд есть у вас? Не выйдете, пока не уберете! Милицию вызову!

На нижней полке мужчина вывернулся из-под одеяла, сел. Отвисшая майка, на худом ребристом теле наколки, глаза воспаленные, сверкнув золотой фиксой, прошипел:

— О чем кипишь, шаболка гнутая?

— В самом деле, — поддержал его вскоченный парень с верхней полки. — До конечной еще три часа, а вы будите!

— Ты сперва за собой убери! А потом спи! — кричала проводница.

— Что убрать-то? — удивился парень, глядя на стол. — Все по делу стоит...

— Говно в туалете... — врезала проводница.

Тут сразу завозмущались все четверо: рослый улыбчивый литовец, дробя слова, сказал:

— Не-хо-ро-шо та-ак говорит-те. Жен-щина-а та-ак не гово-ри-ит...

— Это я нехорошо? Я нехорошо? — распялась проводница. — А гадить в туалете и не смывать — хорошо?

Полный лысеющий белорус в пижаме охладил клочкотание проводницы:

— Пригласите-ка к нам начальника поезда, — внушительно сказал он. — Мы разберемся, кто у вас там...

«Я так испугалась от этих слов, — говорила потом мать, — что повиниться хотела...»

От упоминания начальника поезда пыл проводницы ослаб:

— Еще начальника сюда... Сама знаю, что вы все...

— Ты чего, открытка, нам шьешь, — снова зашипел в наколках. — Сама парашу убирай...

Парень с верхней полки окончательно проснулся и вошел в игривость:

— Это что, тетя, ты по запаху нашла нас? — завопросил он.

— Сам ты дядя! — оскорбилась молодая еще проводница.

У туалета стали собираться недовольные люди.

Проводница подумала, бросила напоследок:

— Ездят... Всю ночь галашатся... А тут хоть лопатой гребите...

Ворча и охая, она наконец зашла в туалет и нажала на рычаг...

Рыжая первой не пошла.

— Идите! — демонстративно кричала она. — Я не хочу всякую заразу подхватить. Туалет надо дустом очистить! Безобразие, а не вагон...

Мать даже обиделась на эту сытую, вздорную тетку: «Тебя саму бы дустом да на свинарник... Какая я заразная?» Собиралась, прятала глаза, все казалось ей, что соседи по купе и сама проводница догадались, кто же на самом деле учинил в туалете такое непотребство.

А когда вышла на перрон и увидела сестру, пружина внутри ослабла и мать беспричинно расплакалась и, смеясь, вытирая слезы рукой, пришептывала: «Ну, вот и доехала, вот и доехала...»

Три оставшихся пирога со свеклой тетя Лиза показывала на кухне соседям, и они нюхали их,

стучали ими по столу, испытывали на излом, а когда разломали и увидели внутри черную, похожую на смолу, свекольную начинку, словно отшатнулись от этого неведомого вещества. Молчали от встречи с неизвестной им жизнью, неожиданной и пока необъяснимой. Что тут скажешь? Война хоть и закончилась, а еще рядом. Об этом лучше всех на кухне знали Натан Григорьевич, Иван, тетя Лиза и Марта, неделю назад прибывшие на лесной хутор, где бандиты вырезали семью хуторянина Бразаускаса за то, что тот отказался давать «лесным братьям» харчи. Побили и унесли всю живность и припасы, а убитых хозяина, его жену, малолетних сына и дочь положили на широком дворе голова к голове и каждому воткнули в рты свиные ножки. (С тех пор и до конца своих дней моя тетя не ела свинину.)

И только одна из соседок тети — пани Ядвига, окинув себя быстрым перекрестьем, сказала смиренно: «Любой хлеб от Господа — во спасение» и сухой прозрачной ладошкой поладила материн пирог.

Началось двухнедельное сплошное угощение. Натан Григорьевич с Тосей организовали вечер-встречу и вечер-проводы. На столах было все немислимое и невероятное. Между этими вечерами были обеды и ужины. Соседи стучали в дверь тетиной комнаты и несли матери попробовать пирожки, котлеты, голубцы, какие-то мясные заливки, вареное, соленое и жареное. «Вы только попробуйте», — говорили они и уходили, оставляя блюдо.

«Стыд, — говорила мать сестре. — Я как нищенка...» На что тетя Лиза, которая сама любила и умела готовить, отвечала: «Ну что ты, они же от чистого сердца».

Возвращалась мать домой с вареной курицей, краковской колбасой, сдобными булочками на вагонном столе.

Отец по телеграмме встретил ее на вокзале в Посаде и, кряхтя, погрузил на подводу огромный чемодан и клеенчатый узел, перемотанный серыми ремнями с ручкой для переноски. Когда она вошла в дом, вытерла лицо платочком и сказала с каким-то удивлением и неверием в то, что это было именно с ней:

— Вот я и побывала в раю...

Были и другие поездки к сестре в Вильнюс, и

они ускорили решение матери уехать из села в большой город.

Когда дед с бабушкой упокоились на сельском крутобережном погосте, мать продала дом в селе и мы уехали в город.

Своего отца я не знаю. Естественно, он был, но до моего рождения, и я в детстве тихонько завидовал Сашке — ведь у него отец, да еще какой! Дядя Володя!

Впрочем, однажды вечером, когда мне было лет шесть, в нашем сельском доме приключилась какая-то суета. Мать с бабушкой начали спорить убираться в доме: подметали и мыли полы, вытряхали половики и самовязанные коврики. Мать вымыла голову в продолговатом тазу, в котором купали меня — младенца, ополоснула крапивным отваром, отчего ее густые от природы волосы волнисто распушились и заблестели. Потом они трое сели у стола и замерли, глядя в боковое окно, которое выходило на крыльцо. Такой свою мать я никогда не видел: она раскраснелась, у нее блестели глаза, она то и дело оглаживала новое ситцевое платье на себе, поправляла волосы, подходила к большому, с наклоном повешенному на стене зеркалу в резной деревянной раме. И смотрела на себя как на незнакомую — пристально и долго, и опять садилась к столу рядом с моей бабушкой, и замирала, и когда в полутемной избе проюзила по белой занавеске тень с улицы и раздался стук, сначала в дверь, а потом в окно, мать вскочила, села и зашептала бабушке:

— Мама, иди открой...

— Сейчас, — спокойно ответила бабушка. — Чай не ко мне пришел. Иди открывай...

— Чего ему сказать-то? — в каком-то полубеспамятстве спрашивала мать. — Отец, чего делать-то? — повернулась к деду.

— Иди, он тебе сам скажет... — отмахнулся он. — Только уши-то не развешивай долго, а то опять приключится... — недоговорил дед и посмотрел на меня. Я по обыкновению сел под руку дедушки ему на коленку, ладонь опустила мне на стриженую макушку — словно грелка с теплой водой.

— Где бойка, а тут прямо оробела... — съязвила бабушка.

Мать встала и, шаркая негнушимися ногами, пошла к двери.

Деревянно колотнул запор на крыльце, и через секунду донесся глухой неразборчивый говор. Не помню, сколько говорили на крыльце. Через какое-то время в комнату вошла мать и позвала меня:

— Сергей, пойдем со мной.

Я прижался к деду:

— Не хоч.

— Иди, не бойся, — сказал дедушка. — Пусть он на тебя поглядит...

Помню высокого человека в длинном сером плаще и кепке. Светлые усы, борода, улыбка с золотым зубом в левой стороне рта.

— О-о, парнище... — ровным чужим голосом сказал человек. — А я и не привез гостинца, ну в следующий раз... А пока — на... — сунул мне в руку жесткую бумажку.

— Иди, сынка, к деду, — отвернула меня за плечи мать и легонько подтолкнула в дом.

— Растет... — сказал вслед мне незнакомый человек. И больше я его никогда не видел.

Я протянул дедушке бумажку — двадцать пять рублей. Он взял ее и положил на край стола.

— Швырнул деньгу... — пробурчала бабушка. — За шесть-то лет...

Мать с пришедшим говорили то тише, то громче. Дед с бабушкой прислушивались и молчали. Я лег на лежанку у печки и стал засыпать, но внезапно вошла мать, ничком ткнулась на кровать, и я услышал сдержанный тихий плач, похожий на вой в ночной трубе в разгулистую осеннюю непогоду. А наутро мать стала опять тусклой, отекающей от ночного плача, надела пропахшую свинарником одежду и ушла на весь день.

Она так и не вышла замуж. С возрастом все больше грубела и замыкалась, и только я осветлял ее жизнь. Это я понял, став совсем взрослым.

И то, что пришедший тогда поздним вечером человек был моим отцом, я узнал спустя годы.

Петр Акимович прожил с моей тетей лет пятнадцать. Он любил ее, оберегал, звал Лизочка, Лизок, а она его — Акимович.

— Ах, Лизочка, — говорил иногда Петр Акимович. — Как бы мы идеально жили, если бы ты была немного поласковей!

— Видно, в нашей породе камушки на душе, — отвечала ему тетя Лиза.

«Камушки» стали появляться с первой утраты того давнего сельского паренька Вани Жильцова, у которого была бабка деревенская колдунья Агафья Жильцова. Как она колдовала — никто не знал, но заговаривать умела грыжи у младенцев, зубы у взрослых, лечить всякие другие болезни — нутряные и наружные; все шло к ней.

Проходя мимо дома Жильцовых, дети, подростки, да, наверное, и многие взрослые скрещивали на руках средний и указательные пальцы, верили — так они защищаются от колдовства. И только Лиза не верила в колдовство бабки Агафьи. С Ваней Лиза дружила с начальной школы, а потом и в семилетку за четыре километра в соседнее село Иваньково они ходили вместе. Ваня подходил утром к их дому и кричал робким, подрагивающим голосом:

— Ли-и-и-за-ай!

— Иди уж, — говорила мать. — Пташка запела...

— Пошли, пташка, — говорила Лиза, выходя к Ване.

Болтая и переталкиваясь, они шли в школу. К ним прилипали другие ребята, и за околицу выходила шумная толпа школьников. Ваню и Лизу разделяли, но они переглядывались и были только вдвоем даже в шумной толпе.

Бывала Лиза и в доме у Вани, и бабка Агафья ее привечала и наливала молока с картофельной запеканкой.

Однажды, когда они уже заканчивали школу, шли вечером по домам, они увидели у палисадника бабку Агафью. Скотину еще не гнали, встречать коров с пастбища рано. Когда подошли близко, увидели, что бабка плачет.

— Бабуля, ты что? — спросил Ваня.

— Жалко мне вас, детки, ох как жалко... — с протяжной заунывью выговорила Агафья. — Хоть сейчас подышите счастьем-то...

Ваня с Лизой переглянулись — блеск в глазах, розовые щеки, растрепанные волосы — прыснули дружно.

Агафья повернулась уходить, а потом с полуоборота каким-то чужим холодным голосом, словно сквозняком обдула их:

— Порознь будете. Ты, Ваня, ледяной, а Лиза долго жить будет одна-одинешенька...

Поцеловались они один раз накануне

отправки Вани в армию. Прислал он Лизе два письма.

Зимой сорокового года рядовой Красной армии Иван Жильцов замерз в лютых финских полях.

Больно упал этот первый камешек. Потом начали прибавляться другие, и к своему довольно позднему сожителю с первым мужчиной теть Лиза уже была угасшей, с тяжелым грузом бед и потерь, и, как бы Петр Акимович ни старался размягчить ее, заполнить жизнь добром и спокойствием, при внешнем достатке и сытости теть Лиза жила настороженной жизнью.

У нее не могло быть детей. Первая попытка родить ребенка закончилась выкидышем и хронической болезнью. И, наверное, поэтому так любила и опекала меня тетя. Она требовала, чтобы я каждое лето на каникулы приезжал к ним в Вильнюс. На следующий день после моего приезда мы шли по магазинам, и тетя с дядей покупали мне одежду и обувь. Петр Акимович был человеком не жадным, он с удовольствием участвовал в процедуре покупок, шутил с продавцами, одну рубашку он покупал мне в размер, другую — на вырост.

У него была первая семья, в которой уже было двое детей. Жили они со своей матерью в Москве, и дядя Петя лишь изредка переписывался с ними.

Воевал он артиллеристом, был дважды ранен, закончил войну капитаном в вильнюсском госпитале.

После войны остался в городе, руководил крупной республиканской снабженческой базой. Умер от инфаркта во время контрольной проверки базы, начатой по подметному письму группы «доброжелателей».

Тетя после смерти Петра Акимовича еще два раза пыталась наладить личную жизнь — не получилось: сожители скоропостижно умирали. Третьей попытки она не стала делать.

Взрослея, я от матери узнал новость, оценить которую сразу не смог. Оказывается, моя тетя с Петром Акимовичем просили мою мать отдать им на воспитание меня, и не только на воспитание, но и на усыновление, еще тогда в деревне, когда я незаконно, а значит, по мнению мнителей того времени, случайно появился на свет. Мать, отхлестываясь от слухов,

выпутываясь из сплетен, отругиваясь от моих деда и бабки, которые корили ее, называли «глупой королевой», не только не отдала меня, как тогда говорили, «в лучшую жизнь», но навсегда запретила даже упоминать об этом.

5

Если бы сказал кто-то, что Шурик с детства мечтал стать художником — он был бы неправ. Шурик был пригородный пацан со всеми вольностями, изворотами, неписаными законами пригорода. Пацаны одной улицы — группа; двух, трех улиц — стая. Района — кодла, то есть большая стая с вожакom. Нужно было определять свое место в этой кипящей, непредсказуемой стихии, и не только вливаться в нее, но и чувствовать себя незаменимым составляющим этого бурлящего сборища.

Повседневная жизнь — это жизнь в улице. Подростки примерно одного возраста собирались в облюбованном месте (позже это называли тусовкой), играли в попа-гонялю, зубарики, городки, карты, стукалку или пенышко, на самодельном притоптанном поле у реки — в футбол.

В кодлу ходились только на разборки между районами: Соснево против Сластихи, Авдотьино против Рабочего поселка и т.д. Обычно происходили эти «заводки» летом после танцев в многочисленных городских «Садах».

В стаях тоже были свои «шишкари» — парни старше других, как правило, занимающиеся в спортивных школах или отсидевшие «по-хулиганке». В такую уличную стаю привел меня Шурик. А с Шуриком свел Коля — Чива. Он с братьями взял меня под свое покровительство как соседа по просьбе их матери — тети Гриппы, которая в свою очередь с первых дней нашего переезда в город подружилась с моей матерью.

Летом мы сидели на лужайке у дома. Чива упражнялся с перочинным ножиком, втыкал его в землю: с ладони, с двух пальцев, с пальца — эта игра назвалась «зубарики». Главным в игре был деревянный колышек, который забивали в землю, но не до конца, если у одного из игроков ножик срывался с руки и не втыкался в землю. В конце игры, когда все приемы выполнены, проигравший (у кого больше

всех нож не втыкался в землю) вытаскивал колышек из земли зубами.

Чива был в этой игре мастер. Он забивал колышек каблуком стоптанной до дыр сандалиии, и проигравший, чтобы прихватить торчик колышка, вдавливался в землю губами и носом, сопел, отплеывал мокрую от слюны землю, пока, наконец, не прищипывал передними зубами деревяшку, потом начинал потихоньку раскачивать ее и наконец — счастливый, с грязным лицом, часто раскровавленными деснами — выдергивал тычок и, мотнув головой, сплевывал деревяшку в сторону...

Чива увидел Шурика издалаи.

— Эй, Синька, иди сюда! — крикнул он и замахал рукой.

Шурик приостановился и пошел куда-то в сторону.

— Синька! — еще громче крикнул Чива. — Не бойся, иди сюда!

Шурик настоороженно, не спеша подошел. Он был белокурый, с вьющимися в крупные кудри волосами и совершенно синими глазами. На нем была майка с двумя полосами на плечах, черные сатиновые шаровары с единственным задним карманом, постиранные до белесых разводов, истонченные на коленках. На ногах — парусиновые полуботинки, истрепанные до кудрявых ниток, в руке он держал толстую зеленую трубку полевого хвоща.

— Сыграем? — предложил Чива, вертя в руках нож.

— Не-е, — мотнул головой Шурик. — Ты все равно выиграешь...

Чива довольно хохотнул.

— Это Серега, — сказал он, показывая на меня. — Он приехал сюда жить. Поборись с ним...

— Не-е, — снова отказался Шурик.

— Че, бздишь? — презрительно спросил Колька. — Городской бздит деревенского? А ты? — спросил меня Чива.

— Могу, — сказал я.

— Те че, Синька, в пятак зарядить, что ли... — обиделся за город Чива.

— Ладно, — сказал Шурик. — Только майку сниму.

Он аккуратно сложил майку на траву, сверху положил трубку.

— Ты еще донага разденся, борец Бамбула,

— не одобрил действий Шурика Чива. — Боритесь до лопаток, — внушил Колька. — Не пердеть, не плакать и не кусаться. Начали!

Мы сцепились с Шуриком крест-накрест и принялись, сопя, сгибать друг друга в разные стороны. Когда мы перехватывались, я увидел, что у Шурика какие-то укороченные пальцы с узкими полосками широких ногтей. Особенно нелепы большие пальцы, они были словно без фаланг, короткие, сучковато торчащие. И, может быть, поэтому Шурик слабо захватывал мои руки. Я без особого труда положил Шурика на спину. Он нисколько не обиделся и, как мне показалось, даже был рад этому.

— Слабак, — подвел итог поединка Чива. — А теперь на любака до первой крови, — не унился Колька.

В деревне я дрался до синяков и крови. Выпячивал в кулаке костяшку среднего пальца и старался ударить этим выступом сопернику в висок (дед научил). Я сжал кулачки.

— Не-е, — снова, но уже решительно сказал Шурик. — Меня отец убьет, если увидит...

— Слабак, — снова припечатал Чива, но настаивать на драке не стал.

Колька потерял к нам интерес и ушел.

— А ты правда из деревни? — спросил Шурик.

— Из села, — ответил я.

— А чем отличается село от деревни? — спросил Шурик.

Я не знал точно, но уверенно ответил:

— Село больше деревни.

— Как город, только меньше, — утвердил для себя Шурик и протянул мне зеленую трубку. — Посмотри туда... — показал на отверстие.

Я глянул и отшатнулся — на меня вытарачилось красными шариками глаз зеленое ротастое чудовище. Оно словно присело для прыжка, передние короткие и задние шарнирные лапки спружинились и, мне показалось, слегка подрагивали.

— Не бойся, — сказал Шурик, — это кобылка. Я ее туда посадил. У нее сзади сабля, смотри...

Я посмотрел в трубку и увидел торчащую из брюшка кобылки узкую зеленую пластинку, похожую на клинок.

— Она на лету может палец отрезать этой штуковиной, — уверенно сказал Шурик.

Таких кобылок на речной осоке я на своей

деревенской речке ловил десятками, накалывал на крючок — на них хорошо ловились голавли и крупная плотва. Но чтоб кусаться, а тем более резать пальцы — никогда такого не было. Об этом я и сказал Шурику. Он сразу согласился, подтвердил, что и сам этих порезов никогда не видел...

С этой встречи мы стали друзьями. Шурик познакомил меня с уличными ребятами, и постепенно я вошел в мир пригорода и стал своим.

Мы купались в мазутной речке с коричневой дурно пахнущей водой, лазили в сады за яблоками, собирали в мешки пустые бутылки, потрошенные консервные банки, макулатуру и тряпье и волокни это на приемный пункт, где небритые, словно подкопченные мужики в залосненных спецовках, матерясь, взвешивали нашу добычу и совали нам бумажные пятерки, трешки, рубли и мелочь. Мы восторженно пересчитывали деньги и, богатые, шли в кино, пили морс, ели мороженое, покупали упругие ванильные язычки, от которых холодели и немели во рту наши собственные. Взрослея, мы стали ездить с сортировки в лес за грибами на крышах и площадках вагонов.

Зимой на Новый год добывали карманные деньги продажей елок. У Шурика были широкие, с полозьями из гнутых труб санки, на которых его отец привозил с работы просмоленные шпалы. Мы брали эти санки, клали на них две ножовки и волокни их в лес. Елочные посадки начинались сразу за железнодорожным переездом. Мы выбирали елочки небольшие, пушистые, распинывали снег у корней и подрезали тонкую липучую ножку, потом валенками засыпали кочерыжку снегом и притаптывали это место. Зачем? Да мы и сами не знали. Наверно, от боязни, что увидят лесники и поймают нас, наивно полагая, что двадцать срезанных елочек на санях появились невесть откуда, за все наши предновогодние сезоны — а продолжались они года четыре — нас никто не остановил, может быть, потому, что елочной поросли вокруг города было великое множество. Мы тянули наши сани с елками. Шурик — хозяин санок, впереди, как бурлак, закинув веревочную лямку через плечо и грудь, я — пристяжной, сзади упирался длинной пал-

кой с рогатиной на конце в санную поперечину. На спусках дороги Шурик выныривал из лямки, отбегал в сторону: тяжелые сани самоходом скользили вниз и, раскатившись, взлетали до середины следующего подъема, здесь мы снова тужились, хватали горячими ртами морозный, с хвойными опахами воздух.

Наша цель — трамвайное кольцо, конечная остановка, где трамвай заворачивался, огибая дугу, и, погромыхивая, уходил назад в город, в центр. Выждав момент, когда малочисленные пассажиры усаживались в вагон, мы с Шуриком набрасывали веревку от саней на трамвайную «колбасу» — металлический штырь, выступающий сзади из-под трамвая, сами садились на елки и ехали по изгибистым улочкам, по тряским трамвайным путям в центр города, где, отцепившись от «колбасы», ставили сани у снежного нагребка, под желтым фонарем на столбе, втыкали в снег елочки и ждали покупателей. Они появлялись из вечерних, уже темных переулков, из магазинов и контор, из трамваев и автобусов. Они окружали нас и, дыша паром, начинали выбирать елки, они крутили их, словно волчки, стучали подпиленными ножками по свинцово-твердому насту — смотрели, не осыпаются ли иголочки. Сколько? Поменьше — тридцать, побольше — сорок копеек. Отщупывали холодную мелочь из кошельков нам в липкие от елочной смолы ладони и уходили с нашими елками в свои теплые квартиры делать праздник.

За пять дней лесных промыслов мы наторговывали рублей 35-40 на двоих. Деньги для нас большие. Все на кино и мороженое не потратишь. Мы купили на базаре больших гипсовых кошек с прорезями в мордастых головах, копилки — и стали копить деньги. Я копил на тренировочный костюм и кеды, а Шурик — на микроскоп... Я удивился, когда он сказал мне об этом, и тогда Шурик под большим секретом, взяв с меня слово, что я никому не скажу, принес толстый альбом для рисования и показал его мне.

Там — она, та самая кобылка с огромными красными глазами, зеленым остроугольным телом и длинной подбрюшной саблей. Дальше во весь альбомный лист — жирная волосатая змея с волнистым телом, остренькими парными лапками, черномордая и ротастая. Я таких змей не видел.

– Гусеница, – сказал Шурик. – Обыкновенная, с тополя.

Потом бабочка полыхнула с альбомного листа, величиной с самолет, с разноцветными кругами на крыльях, с прозрачными вуальными подкрылками, длинными когтистыми лапами, пластинчатым ящерным телом и шариками глаз на длинных антеннах.

– Крапивница, – познакомил меня Шурик.

И так до середины альбома – червяки, улитки, тараканы, клопы, майские жуки – и все – чудовища, в десятки раз больше своих реальных размеров.

– Теперь понял, почему мне нужен микроскоп? Этих я через лупу рисовал, а мелких? Жук-точильщик, например. Я в школе глядел на точильщика в микроскоп – это же фантастический людоед...

Во второй половине альбома были глаза.

– Самое трудное – рисовать глаза, – сказал Шурик.

Огромный шар, словно глобус, уперся в меня черным зрачком. Паутина кровеносных сосудов оплела матовое глазное яблоко, зеленоватая бархотка радужки, окружившая зрачок, словно водоросли в чистой протоке, мягко склонила верхушки к зрачку и невесомо придерживала его в самом центре глаза. В верхнем и нижнем обрезе альбомного листа под тугими розовыми дугами пушились черные закругленные реснички.

– Это глаз коня, – сказал Шурик. – Помнишь, в манеже...

Конноспортивный манеж – около церкви, а дальше вниз – фабрика. Мы с Шуриком ходили смотреть на тренировки наездников. Огромный продолговатый зал, пол опущен опилками. Мягкий шаг красавцев коней, галоп и прыжки через полосатые перекладины-барьеры, тугие фырки бурыми ракушинами мокрых ноздрей, свежий запах конского пота, боковой скользящий взгляд пробегающего мимо коня. Мы часами смотрели с деревянной галереи на выездки и прыжки, хотели сами записаться в секцию, но не получилось. Шурик стал ходить в манеж и рисовать глаза коней.

А еще были сверкающие зеленым глаза собаки – Шурик прикормил бездомную. Глаза коровы – Шурик встретил взгляд этих глаз у

ворот мясокомбината, когда на грузовике с высокими бортами привезли на забой выбракованных в колхозах коров. Я с Шуриком стоял в толпе за костями, у меня на ладони был наскрябан обслюнявленным карандашом сто двадцатый номер, а у Шурика – сто двадцать первый.

Подъехали к железным воротам машины, и, пока ждали, когда ворота откроют, толпа смотрела на мычащих, бьющихся о деревянные перекладины коров.

– Поняли, куда приехали, – злорадно сказал мужик из толпы. – Мя-ясо...

Шурик подошел к машине и глядел на прижавшуюся к заднему борту черную с белыми островками на боках, с обвисшими остряками мослов корову. Она повернула к Шурику голову в пушистой белой шапочке волос между рогов, и он увидел ее глаз, из него капали слезы.

– Смотри, она плачет, – тихо сказал мне Шурик. – Она знает, зачем ее сюда привезли...

– Инстинкт, – сказал я как можно равнодушнее. Вспомнил свою деревенскую корову, похожую на эту, и мне было до слез жаль и ту в памяти, и эту, еще пока живую. Пахло жжеными костями, бились и плакали коровы. Открылись ворота, и плачущий коровий глаз удалился от нас. Теперь он смотрел на меня с альбомного листа.

А еще были глаза кошки с огромным зрачком и голубым колесиком радужки, белый глаз рыбы, словно отгороженный от мира стеклянной ширмой, черный, с омертвелым блеском серого света глаз птицы.

– Я рисовал с мертвого ворона, – сказал Шурик.

И последним в альбоме был ярко-голубой глаз, с маленьким зрачком, с тонкой опуткой кровеносных жилок, едва заметных на фарфоровой выпуклости глазного яблока.

Глаз сиял в какой-то невидимой солнечной подсветке, льющей из-за границ белого листа, из-за ржаного цвета загибистых ресниц, в которых, словно в соломенной корзинке, лежал этот удивительный глаз.

Шурик, улыбаясь, глядел на меня.

– А это что за зверь? – спросил я, перебрав в памяти всех знакомых мне животных.

– Зверь... Никакой это не зверь, а я! Это мой

глаз. Зверь... — чуть-чуть обиделся Шурик моей непонятливости.

— Ну, ты даешь! — удивился я и всмотрелся в живой глаз Шурика. — Точно — он, — признал я глаз друга на альбомном листе. — Ты здорово рисуешь, — похвалил Шурика. — Тебе на художника надо...

— Вообще-то, я не думал об этом, но мне нравится рисовать, — ответил Шурик.

Может быть, после этого разговора, моей искренней похвалы и решил Шурик стать художником — не знаю, только он записался в Дом пионеров в кружок рисования и три раза в неделю ездил в центр города в роскошный дворец бывшего фабриканта, где рисовал кувшины, чайники, самовары, букеты — то, что в учебной практике начинающих художников называется «постановкой».

А после восьмилетки Шурик принес свои рисунки на конкурс в художественное училище, сдал экзамены и стал учащимся живописно-педагогического отделения.

Мне же дорога была уготована в ПТУ. Форменная одежда, трехразовое питание — в итоге специальность «токарь широкого профиля», а еще была спортшкола и вечерняя школа рабочей молодежи.

С Шуриком мы стали встречаться реже, но все свободное время проводили вдвоем или в сродненной за долгие годы компании окрестных ребят.

Сладость общения с девушками первым познал Шурик. В их училищной компании нравы были богемные, девушки проще и доступней. Взрослея, Шурик становился красивым парнем с необычной золотисто-голубоглазой внешностью, и однокурсницы, понятно, «западали» на него. В такой веселой компании, после бессонной подготовки к просмотрам, успешной сдачи сессии, распития двух трехлитровых банок портвейна и повального сна на койках, матрацах и раскладушках в общежитии, Шурика лишила невинности худая, узкобедрая Жанка, которая змеей подползла к нему на стеганный тюфяк, быстрыми холодными пальцами общупала всего и, расстегнув брюки, начала опытно делать стыдно-сладкое дело. За ночь Жанка ошастливила еще троих одноклассников, сделав их ошалевше-растерянными мужиками.

Начался период в молодой жизни, когда все девушки-красавицы и выпуклости их волнуют и привлекают больше, чем слова. Шурик стал перебирать фабричных и училищных девчонков, а у меня появилась Тамара.

6

Впервые я приехал в этот город к тете тринадцатилетним пацаном.

Тетя, тогда еще с дядей Петей, жила в самом центре Вильнюса на проспекте Ленина в маленькой комнате просторной четырехкомнатной квартиры. В трех других комнатах жили семейные. Дом был старинный особняк, хозяин которого оставил жилье советской власти и уехал в Америку. Чтобы попасть в квартиру тети, нужно было с проспекта завернуть в длинную, всегда сырую пещеру кирпичной арки, которая выходила в овальный двор с кустами и цветником в центре, они были оцеплены кованой изгородью. В этот двор никогда не заходило солнце, в жаркие дни здесь сбраживалась душная влага. Выпаривалась она только где-то на третью неделю жары, и тогда камни двора и стены дома высыхали, оставляя на себе тонкую зеленую пленку, похожую на ряску в стоячей воде.

В период дождей двор отсыревал, сально блестяли камни и кирпичи, веяло холодной сыростью, которую облагораживал запах резины из клумбы, серые облачка этих невзрачных цветов словно плыли по зеленому полю короткой вялой травы.

Коричневая дверь из шербленого, исцарапанного временем дуба. Темное короткое горло подъезда. Второй, очень высокий этаж, выше — чердак.

Тете — три звонка... Неслышные шаги за дверью и сразу голос:

— Кто-о?.. — Отодвигается пружина латунной щеколды, и маленькая седая курносая тетька на пороге.

В те годы люди в Литве жили без «национального самосознания», и поэтому на общей кухне в квартире, где жила тетя, стояли еще три стола — Натана Григорьевича и тети Госи Фрид — именно так я называл ее, по привычке рабочего города, из которого приехал: у нас

если обращались на родной улице, то к дяде Вите, тете Лене, бабе Вале ... и никогда по имени-отчеству, а Натана Григорьевича с отчеством меня попросила называть моя тетя. Наверное, потому, что он был майором государственной безопасности в отставке, многие годы работал с моей тетей в одном ведомстве. Особняк этого ведомства до сих пор стоит в центре Вильнюса.

После освобождения Литвы тетю как безупречную комсомолку направили в Литву для беспощадной борьбы с «лесными братьями». Здесь уже работал черный, кудрявый и улыбчивый Натан Фрид, а Тося Дашкевич — пухлая, полногубая, большеглазая красавица, работала в буфете их ведомственной столовой, Натан уже улестил ее, и они жили вместе пока только по ночам в маленькой комнате общежития, которое находилось тут же на территории особняка КГБ за высоченным кирпичным забором.

В 1956 году выловили последнего «лесного брата» и его боевую подругу, которая жила на хуторе, имела от него троих детей и совершенно не понимала, за что эти строгие военные заломили руки ее небритому Вергилиусу и требуют провести к какому-то «схрону». Он напоследок отстраненным взглядом жидкосиних глаз окинул просторный, осадистый дом с пристройками, конюшней и хлевами, свою Донату, измотанную работой и детьми, и пошел в лес, тяжело вдавливая каблучки коротких сапог, снятых еще во время войны с убитого немецкого солдата. Группа с автоматами и снайперша пошли следом.

На опушке леса Вергилиус еще раз оглянулся на свой хутор, стиснул зубы и вдруг тяжело, враскид выбрасывая прямые ноги, побежал в поросль молодого ельника. Бежал он неестественно прямо, чуть откинув плечи назад — мешали бегу связанные за спиной руки.

— Стой! — крикнул Натан. — Идь-ёт! Мать твою...

Автоматчики вытянули стволы, но команды не было...

— Сей-час ми его оста-но-вим, — дробно произнесла снайперша, свернув винтовку с плеча. Она неторопливо сняла колпачок с трубки прицела, выдвинув вперед костлявое

бедро, уперлась в него локтем, изготовилась к выстрелу, прицелилась, оскалив желтые от курения мокрые зубы.

Натан не давал команды. Все ждали. Бежать Вергилиусу было некуда — впереди редкий сосняк, за ним река. И когда хуторянин стал заворачивать влево, метя в густой осинник, Натан отрешенно скомандовал снайперше:

— Ну, теперь останавливай...

И она почти без паузы после этой команды нажала на курок.

Пуля ввинтилась в спину Вергилиуса, просквозила через легкое и сердце, излетной силой раздробила грудинную кость и расплющено замерла, превратившись в черный спекшийся сгусток.

Вергилиус падал на землю уже мертвый, на секунду только удивившись своему новому состоянию: боли, легкости, звону, усиленному в десятки раз тошнотворному запаху теплой смолы и хвои, и какому-то неземному гулу, который шел с небес и прижимал Вергилиуса к мягкому лесному настилу из прелых листьев, колких хвойных веток и бархатного мокрого от корешков мха.

— Бибис нори... — мрачно ругнулся Натан, стоя над убитым. — Могла бы по ногам, — упрекнул снайпершу, которую звали Марта.

И когда их команда возвратилась на хутор и начала обыскивать дом и пристройки, Доната с неизбежностью того, что сейчас получит неминуемый страшный ответ, тихим выдохом спрашивала:

— Где он? Где он? — И все глядела оледеневшими глазами на Марту, может быть, потому, что убийца ее мужа была маленькая и худенькая, а винтовка у нее была несоразмерно большая и тяжелая. Марта курила в глубокий затяг, выдувала дым в сторону и загадочно улыбалась.

Доната перевела глаза на мою тетю и ее начала спрашивать так же тихо и отчаянно:

— Где он?

А тетя не могла ответить и даже разговаривать не могла с пособником «лесного бандита». Ответил Натан:

— Он пытался убежать... Там он, на опушке...

Доната рванулась к двери.

— Стой! — крикнул Натан, и моей тете приказал: — Обыщи ее...

Руки тети скользили по мокрой исподней рубашке вмиг увлажненного горячей испариной дрожащего тела...

До конца своих дней вспоминала тетя тот обыск, мертвый взгляд Донаты, дрожь ее тела и съездившихся в крендельки трех малых детей: белобрысого мальчишку и двух таких же беленьких девочек-погодков с прозрачными и мокрыми, словно речные камушки, глазенками...

Все это рассказала мне тетя спустя десятилетия. Говорила она тихим голосом, подальше от двери в коридор, потому что Марта, или теперь тетя Марта, жила в крайней по коридору комнате и на кухню она проходила мимо тетиной двери. Ее стол располагался рядом со столом Натана.

Так я и поместил для себя тетю Марту — «снайперша». Сейчас это была благообразная, в строгих костюмах пятидесятилетняя женщина, с короткой, в кружок по худенькой шее, прической, улыбчивая, звонкоголосая. Она уже не курила. Семьи у нее не было, детей не могла иметь из-за ранения. С мужчинами была строга и разборчива. Тетя знала ее ухажеров, в основном людей в погонах, со звездочками не меньше майорских. Работала Марта в республиканском МВД, кажется, была начальником какого-то спецотдела.

Натан Григорьевич после отставки нигде не работал. Он каждый год ездил в ведомственный санаторий — лечил язвы желудка. Язв у него было много, и они прибавлялись каждый год. По крайней мере, в каждый мой приезд к тете у него уже была новая язва.

— Жь-елудок, жь-елудок! — говорил он, выходя на кухню в своей вечной шелковой полосатой пижаме и большой пухлой ладонью кругами поглаживая живот.

С годами Натан Григорьевич из красавца еврея превратился в Наташу — так звала его жена, тетя Тося. Он обрюзг, поседел. Бывшая красавица Тося стала полной и бесформенной, вдобавок она начала курить и дымила не переставая. Даже когда готовила на кухне, у нее в зубах торчала папироса. Иногда пепел на конце папиросы сгибался и обламывался в кастрюлю с супом. Тетя Тося зыркала по сторонам, бросала папиросу в пепельницу вели-

чиной с тарелку и продолжала готовить обед. Соседи по кухне, конечно же, замечали это и называли Тосинустряпню «супом с дымком».

Натан из-за спины Тоси вилоккой шустро накалывал котлетину и в один кус изжевывал ее.

— Наташа-а! Ну подожди-и же! — объемной хрипотцой укоряла мужа тетя Тося.

— Жь-елудок, жь-елудок, — полным ртом жужукал Натан, глядя живот, и в который уже раз объяснял кухонным соседям: — Язвы, язвы все съедают. Жьелудок должен быть полным.

Иногда мне казалось, что у Натана Григорьевича в желудке была сплошная язва, так много и часто он ел.

Через год после войны у них родилась дочь, и они назвали ее Алдона. Почему они выбрали это литовское имя, трудно сказать. Не могла же семья Фрид предвидеть ломку устоявшегося строя и, как следствие этого (а может быть, и причину), воспаленные приступы «национального самосознания»? По крайней мере они этим именем обезопасили будущее своей дочери от национальных притязаний. Алдона вышла замуж за Альгимантаса, а их дети еврейско-литовских кровей во время перестройки благополучно покинули Родину и обосновались в Швеции.

Четвертый стол на кухне принадлежал русско-польской семье: бабушка — пани Ядвига, ее дочь — пани Зося, муж Зоси Иван и их дочка Рая, в мой первый приезд — четырнадцатилетняя, беловолосая, с черненькими глазами, коренастая девочка, мне ровесница.

Пани Ядвигу все коммунальные сожители звали бабушкой. Она не только не обижалась, но сама просила так ее называть. «Пани Ядвига...» — сказала тетя в первый день моего приезда, знакомя с соседями. «Бабушка», — быстро вставила Ядвига, протягивая мне восковую, словно скрученную в трубочку, ладошку. На меня смотрели совершенно чистые, всепонимающие и, как ни странно, не чужие глаза. Она была худая, с полусогнутой спиной, шаркающей походкой, чтобы не мешать соседям, ходила по коридору в тапочках на войлочной подошве. Она готовила на кухне в длинном фартуке, волосы убирала под зеленую островерхую плющевую шапочку, напоминающую шапочку ксендза. Эта шапочка держала в сво-

ем worse все кухонные запахи, и, когда бабушка выходила на лестничную площадку к почтовому ящику, вкусные запахи срывались с ее шапочки, обволакивали коридор, просовывались в замочные щели соседних квартир и выбивали слюну даже у сытых людей. В некухонное время бабушка ходила в коричневой тонкой вязки кофте, длинной юбке и обязательной белой или кремовой блузке с продольным кудрявым жабо — под подбородком была приколата большая овальная брошь из финифти с изображением Божией Матери.

Пани Ядвига была католичкой и ходила на службы в костел Петра и Павла за мостом. Возвращалась тихая, улыбчивая, совершенно отстраненная от коммунального мира, да, видимо, и от огромного людского мира. Из большой черной сумки с медной двузубой защелкой она вынимала молитвенник в кожаном латаном-перелатанном чехле, старинные янтарные четки, некогда идеально круглые бусины которых от долгого перелизывания ладонями превратились в окатанные камушки неправильной формы. И, наконец, со дна сумки она доставала длинную, словно карандаш, конфету в слюдяной обертке и молча, с улыбкой протягивала ее внучке, которая напряженно смотрела на сумку бабушки с самого прихода ее из костела.

Ее дочь пани Зося — маленькая, кругленькая, на людях веселая и смешливая, а в семейной жизни Зося была неизлечимо больна ревностью. Когда большой, выпукло мускулистый Иван приходил со службы, от его витого узловатого тела саднуче тянуло потом. Он сбрасывал ремень и португею, стягивал большеразмерные трубы хромовых сапог, и они в углу блестящими сборенными шкурками опали на толстые, двойной набивки косолапо стоящие подошвы. Сволакивал через голову гимнастерку. Отваливался на кожаный диван, закидывал голову и, шевеля раздутыми красными пальцами ног, расслабленно и блаженно дышал. Пани Ядвига с внучкой уходили на кухню. Наступало время Зоси. Она разглядывала, нюхала, мяла китель, у галифе она внимательно проглядывала ширинку, пробовала ткань вокруг нее на заскорузлость и все это опять пронюхивала цепким остреньким носи-

ком. Прицепившиеся к гимнастерке волосы она вытягивала двумя наманикюренными пальчиками, подносила к свету, определяла длину и цвет волоса, домысливала, кому он мог принадлежать. Зося искала и находила, и тотчас начиналась подготовка к взрыву, словно шипящий бикфордов шнур раздавалось вопрошение Зоси: «Ш-ш-што это? Это ш-ш-што? — Она на вытянутой руке подносила подозрительный волос к равнодушному лицу мужа: — Это ш-ш-ш-што?» И, не дожидаясь ответа (а ответ ей не был нужен), она взрывалась... Трудно передать слова и сочетания, которые вызванивались из маленького красненького рта пани Зоси. Это так же невозможно, как проследить за осколками после взрыва гранаты. Слова летели и вкривь, и вкось, острые, колючие, по мнению Зоси, убойные своей неопровержимостью. А Иван? Он улыбался тугощeko и добро и лишь изредка гудящим, словно сквозняк, голосом отмахивался: «Ну, бу-удет, бу-удет...» Минут через двадцать ревнивые силы пани Зоси иссякали, раскаленные выкрики начинали остужаться обливистыми слезами, она впадала в протяжный самозабвенный плач, который, в свою очередь, утишаясь, переходил в тихое однотонное скуление, похожее на подвывание собачки перед долго не открываемой дверью. Иван, дождавшись этой завершающей сцены, голосом, похожим из-за двери на глухой бой большого барабана, начинал говорить жене всякие успокаивающие слова, какие говорят подавляющее большинство мужчин, волею судьбы и характера жены вовлеченных в такие домашние сражения. Вскоре в барабанный гул Ивана начинал вторгаться звонкий подсвисток пани Зоси, а потом гул и звон стали равномерно чередоваться, входить в размеренное постоянство, и завершалась вечерняя смычка супругов ошеломительным хохотом Зоси и окатным басистым смехом Ивана. Это был знак для бабушки и внучки — они уходили с кухни в свои комнаты. Оживали и затаившиеся соседи: в их комнатах начинали звучать инородные голоса — это включались телевизоры, хлопали двери, люди шли на кухню готовить ужин.

Соседи привлекли к скандалам Зоси, жалели Ивана, удивлялись его выдержке. Зося, в свою

очередь, никогда не выносила на коммунальное обсуждение свои ревнивые переживания и всегда на кухне была естественно весела и хохотлива.

На праздники коммунальное общество собиралось обычно у Натана Григорьевича, потому что у него была самая большая квартира из двух комнат. Столы были заставлены разнообразными блюдами с необыкновенно вкусной стряпней тети Тоси. Я уже не помню названия блюд, но отчетливо помню вкус рыбы по-еврейски, мяса по-польски, картошки политовски, ну и засолов по-русски. Водок и настоек мне тогда не наливали (хотя в своем городе я уже знал силу ударов по мозгам разных портвейнов, вермутов, кагоров и другой опойной нечисти, объединенной одним кодовым словом «бормотуха», которая разливалась в толстые граненые стаканы в многочисленных кафе, которые тоже носили художественные названия «аквариум», «стекляшка», «чапок»). На столе Натана Григорьевича, конечно же, никаких низкопробных убойностей не было, а стояли бутылки с какими-то витринными наклейками. Впрочем, сам Натан, да и большинство его гостей, выпивали обыкновенную водку с красной московской этикеткой.

После третьего тоста приступали к застольным песням. Начинали с Хазбулата удалого, у которого бедная сакля, потом пели о бродяге, бежавшем с Сахалина, переходили к военным песням про скромный синий платочек, а потом, кто что вспоминал — начинал запев, и если более двух застольщиков подхватывали, то песня продолжалась, если же большинство за столом слов не знали, то песня, вознесясь двумя-тремя фразами и не подхваченная другими голосами, бесследно растворялась в густом праздничном воздухе комнаты.

Потом пани Зося своим звонким голосом пела польские песни, иногда ей скромно подпевала бабушка, она, словно девочку за локоток, поддерживала и поправляла дочку: мол, вот в этом месте не перекивай, поровней, потише... И Зося благодарно переводила взгляд на мать и, спохватившись и приняв урок, пела, не отрывая глаз от матери. Иногда в песню жены от переизбытка чувств и выпитого, трубным гласом врвался Иван. Он старался приспособиться к голосу жены, гудел польские слова в

треть силы, к тому же нещадно перевирал их, неласково пшека, и любовные объяснения парня в песне звучали у Ивана угрожающе.

Из польских песен пани Зоси я запомнил всего несколько фраз: «Дивчина верна... Пани, пани, звезды в небе...» — да, пожалуй, и все.

Потом начинали петь супруги Фрид. Запевала тетя Тося. Глуховатым, волнисто-перекатным голосом, приклонившись к Натану, но не касаясь его, она начинала песню на языке, который я услышал впервые. «Хаванагила, хаванагила! Вэ нисмэха-а!»

На припеве к песне припадал Натан. Эти слова у него взвивались, словно лента на ветру, и долго трепетали в двухструйности голосов — его и жены. «Хава-а на-а-а-ги-ила-а! Хава-а на-а-а-ги-ила-а!»

Я потом, по простоте душевной, спросил Натана Григорьевича, что означают эти слова? Оказалось, что это еврейская застольная песня «Давайте радоваться, давайте радоваться, ликовать...»

Они пели еще, и я запомнил часто повторяющееся слово «Шалом». Супругам Фрид застольщики не подпевали, потому что не знали этих песен, лишь Иван подгудел в одном месте «Шало-о-о-ом!». Но Зося так больно толкнула его коленкой в бедро, что Иван сконфузился и опрокинул в рот внеочередную граненую стопку водки.

Не пела за столом только Марта.

— Я совсем не умею петь, — цеканно объясняла она. — У меня на ушах живут медведи...

— Ну, тогда спляши! — требовала тетя Тося. А плясать Марта умела, и она знала, что ее попросят сплясать. Она обувала принесенные с собой туфли на деревянных подошвах, выходила на оголенный пяточок возле стола и плясала какой-то народный литовский чечеточный танец, ловко выбивая сухонькими ножками рассыпчатую, мелкодробленую мелодию.

Что-то подобное я видел на выступлениях народных фольклорных групп в парке «Винигис», где на сцене под огромной «ракушкой» собирались народные хоры со всей литовской земли в национальных узорчато расшитых одеждах, и были пляски, когда парни и девушки, стоя в хороводе и двигая только ногами в жестких обувках, слаженно и звучно дробили танец.

Раскрасневшаяся, как-то сразу помолодевшая Марта больше одной пляски не совершала из-за соседней снизу. Ей хлопали, говорили хорошие слова. Она садилась за стол, и у нее еще долго подергивалось тело, трепетали мышцы на ногах, дрожали руки и губы.

А потом снова пели «Подмосковные вечера», «Окрасился месяц багрянцем» и другие общенациональные песни... Так отмечались праздники.

На дни рождения соседи приглашались к именинникам, и репертуар был примерно одинаков.

Спустя годы, когда появилась эта мышеловка, именуемая «национальным самосознанием», я понял одну очень простую истину, что это самое «национальное самосознание», а вернее — «самоосознание», было всегда и проявлялось оно в уважении себя и своего соседа. И евреи как нация на то время были для меня Натан Фрид и тетя Тося, поляки — пани Зося и бабушка, литовцы... Тетя Марта была для меня личностью легендарной и совершенно не отделенной от моей тети.

7

Соседями в пригородной части дома, куда мы переехали из села, на протяжении многих лет было семейство Наумовых: мать — тетя Гриппа, ее дочь Тамара и три сына — Колька, Витька и Юрка. Тамара была тихая девушка, изящная, круглолицая, с большими глазами и черными лоснящимися волосами, которые она заплетала в косу. Она была старше меня года на четыре, училась в десятом классе и была бы красавицей, если бы не природный изъян — ее тело почти сплошь было покрыто угрями, особенно сильно было осыпано ими лицо. Началось это лет с тринадцати и к семнадцати превратило кожу девушки в пупырчатую воспаленную болячку. Чем только она ни лечилась — и медицинскими, и народными средствами! Порошки, притирки и примочки. Делали переливание крови, но ничто не помогало. Тогда врачи и лекари махнули рукой и сошлись на одном методе лечения: «Выйдет замуж — все как рукой снимет...»

Но как найти мужа, если парни не подходят,

на танцы идти стыдно, если красные прыщи выступают даже на губах, кожа на лице пережжена компрессами, багровая и шелушится сухими опилками. Утро начинается с выдавливания перед зеркалом появившихся за ночь гнойничков и прижигания их спиртом или тройным одеколоном. Вечером перед сном — то же самое.

После окончания школы Тамара не стала учиться дальше, хотя аттестат получила без троек. Пошла ученицей на швейную фабрику и при ее усидчивости и понятливости стала хорошей швеей.

Женщиной Тамара стала в двадцать лет — от отчаяния и обреченности. Ей уже открыто стали говорить и родные, и подруги, мол, что ты бережешься, себя изводишь, если это единственное лекарство, то и надо его принимать.

На вечере в фабричном Доме культуры припудренная, прикрашенная, в новом платье, обхватившем ее точеную фигуру, с распущенными черными волосами, почти закрывающими ее изьяны на щеках и шее, Тамара стояла с двумя подругами у стены и ловила дальние взгляды парней. Она не понимала истинной причины этих взглядов. Она думала, что они видят ее щербины на коже, и стыдливо отворачивалась от этих взглядов, но натыкалась на другие, назойливые и бесстыдные. В зале был полумрак, играла музыка, и Тамаре захотелось уйти, но ее пригласил на танец один парень, потом — другой, третий, и она, совершенно ничего не понимая, танцевала в плотной толпе танцующих, и какой-то тайный, тихий вопрос словно подергивал ее за длинный рукав платья и шептал только ей: «А что же будет дальше?»

А дальше всех других парней оттеснил в конце вечера тот самый, первый. Звали его Вениамин, по-простому — Веня, и был он помощником мастера в цехе, где работала Тамара. Он и на работе посматривал на нее, но натыкался на безразличие.

Он предложил проводить ее домой и, не дожидаясь согласия, взял ее руку, мягко защемил у себя под мышкой и с какой-то медвежьей галантностью повел Тамару к выходу.

Около дома они сидели на лавочке, и в тихой летней ночи он целовал Тамару в губы жадным, втягивающим ртом. От него пахло вод-

кой, табаком и одеколоном «Шипр». Она дрожала, ей было жарко, тело пробивал не знакомый доселе приятный зуд. И когда его ладони настырно запружинили по ее груди и бедрам, она вскочила и побежала к калитке. Он задержал ее, пришепывая: «Ну что ты... Что ты, я не хотел, извини...» Они стояли и снова целовались, и опять ее будоражило незнакомое наслаждение.

Они стали встречаться, через месяц в комнате общежития, где Венья жил один, на казенной койке с панцирной сеткой и ватным стеганым матрацем Тамара стала женщиной. Боль, сладость, беспмятство — все спеклось в этом мгновении. Когда же она осознала себя в этом новом качестве женщины обласканной, обцелованной, желанной для каждодневных ненасытных обладаний, то удивилась своим прошлым страхам, стыдливости, нечистой больной коже, боязни людских взглядов. Оказывается, все гораздо проще — надо только не противиться проявлениям чувств: ее к мужчинам и мужчин к ней. Надо только поймать это чувство и определить, искренно оно или наигранно.

Венья был не только влюблен в нее, но совершенно ошалел от своего чувства, и потому меньше чем через полгода каждодневных бурных встреч Тамара почувствовала усталость и раздражение. Раздражение стало возникать без сколь-либо веской причины: запах табака изо рта Вени, сперва он возбуждал ее, а потом стал неприятен. Это молчаливое животное заваливание ее на кровать, едва они заходили в его комнату. Однажды он сделал ей больно, стиснув плечи, и она оттолкнула его. Он обиделся и долго курил на кухне, а потом бледный, с трясущимися руками, стал ругать матом свою сестру, которая якобы нагуляла без мужа ребенка и не знает от кого, и Тамара почувствовала, что ругает он этими грязными словами ее. После бранного выпада он без перехода предложил Тамаре выйти за него замуж. Сказал он это скороговоркой, неуверенно, может быть, случайно, и она, тоже совершенно неожиданно для себя, отказалась и ушла. Не встречаясь с ним несколько дней, почувствовала облегчение и желание пожить другой жизнью, без Вени.

Как и предполагали медики и знахарки, это

лечение оказалось самым действенным: кожа Тамары очистилась и разгладилась, и только на лбу и щеках остались кругленькие щербинки после выдавливания особенно больших гнойников. Очистились и вечно блестящие, слипшиеся от избытка кожного сала волосы. Тамара постриглась, и теперь густые черные волосы пушистой шапкой обрамляли круглое, на длинной шее лицо.

Венья настойчиво преследовал ее. То ласково, то с угрозами требовал свидания, звал в жены. Но у Тамары был уже другой, и в сравнении с ним Венья проигрывал, а потом появился третий, четвертый... И по пригороду тополиным пушком гульнул шепоток: «Тамара-то слаба на это дело, парней меняет, как чулки...»

Венья запил, потом женился, снова запил и развелся. Пьяный рвался в дом к Тамаре, ударил ее по лицу. Братья поколотили Венью. Выбили денег на пол-ящика водки. Напились сами и окончательно упоили его, да еще заставили закусывать хозяйственным мылом. Напоследок сделали Венье «самолет» — раскрестили руки в стороны, и в пиджачные рукава просунули черенок от лопаты, пиджак застегнули на все пуговицы. Вывели на трамвайную остановку и посадили на скамейку, сказав: «Орлята учатся летать».

Была ночь, и кондукторша последнего дежурного трамвая — женщина, повывавшая много всего в буйном пригороде, говорила потом, что такого отродясь не видывала. «Сидит человек пьяненный, из рукавов торчат палки, как вешалки, в стороны, и хлещет у него из двух дыр, как из шлангов, пена не пена, а как-то жидель... Я палку-то выдернула, а он — му-му, да газует беспрестанно. Страх. На задней площадке довезла его до скорой помощи. Ведь надо же так напиться!»

Братья Тамары были, по выражению соседки, «оторви да брось». Любая каверза, сотворенная на улице, без разборки приписывалась братьям. Были они погодки, ходили в одну школу — пятый, шестой, седьмой класс. Учились плохо. Учителей начинала пробивать мелкая дрожь, когда братья вместе сходились в коридоре школы. Значит, жди: измазанной гудроном лестницы, дохлого голубя на плафоне, живых мышей в классах, иголки в стуле

учителя, обмазанной клеем дверной ручки, за которую первой бралась учительница, заходя в класс. Не говоря уже о подломанных ножках учительских стульев, с которых заваливались на пол строгие педагоги под гогот класса.

«Кто это сделал?! – грозно звучал риторический вопрос взбешенного педагога. – Наумов, это ты?!» Всклоченный, угреватый-непромытый младший Колька, мотая вихрастой головой, туго тянул: «Чи-иво?» – «Завтра с матерью».

Приходила мать, плакала, шлепала Кольку по затылку, а вечером на лавочке у дома со слезами и смехом рассказывала соседям об очередной проделке сына.

Когда братья один за другим прощались со школой после восьмилетки, учителя обводили красным карандашом числа и праздновали эти счастливые даты избавления от напасти, именуемой Наумовыми. Братья оставили на большой входной двери школы автограф. Черной масляной краской написали: «Нехадите дети в клас, дядя федя – фантамас». Директора школы звали Федор Федорович, был он совершенно лысый и неуклюжий. По тому, как это послание было написано, по количеству ошибок, определили сразу – Наумовы! Но от радости, что больше этих ... не увидят, не дали делу ход.

А на улице! Пронесется ошалевшая собака с привязанной к хвосту гремящей консервной банкой – Наумовы. Шмякнется с деревьев на тротуар лягушка размером с резиновую грелку, раздутая через задний проход, – Наумовы. Забьется стукалка в темную полночь в окно – Наумовы. А одному соседу на улице, вредному мужику, который попенял тете Гриппе на воспитание сыновей, они устроили «сеанс чистых рук». Мужик этот в частном доме вывел на уличную калитку кнопочный звонок. Братья осенней ночью (фонарей на улице не было) заклинили кнопку на непрерывный звон спичкой и обмазали звонок собачьим г... Мужик вырвался из калитки, стал шарить по доске, к которой он с любовью прилаживал звонок, и... Мат столбом ввинтился в ночное небо, обрушивался на близлежащие дома. Мужик понял, что это Наумовы, но... не пойман – не вор.

Последним громким делом братьев Наумовых было дело под названием «веселое поле-

но». Дома в пригороде отапливали тогда дровами. Поленницы колотых дров прислонялись к сараям. И у соседа (вредного мужика) поленица возвышалась до самой крыши сарая. Наумовы соседствовали с ним огородами.

В этот день братья, пошушукавшись с утра, ушли в сарай и там что-то пилили, долбили, склеивали, а потом младший Колька-Чива узенькой тропинкой пробрался в огород соседа и положил толстое березовое полено на то место, где сосед брал вчера охапку дров. Надо сказать, что это полено было из поленицы соседа: накануне его выкрал средний Витька и принес в свой сарай.

Братья затаились, стали наблюдать за домом соседа. Вот он вышел, набрал охапку дров, прижал подбородком и унес.

В трубе гульнул дымок, сначала легкий, а потом все гуще и гуще. Братья едва дышали. И вдруг из трубы вырвался огненный шар с искрами, донесся глухой хлопок, словно стукнули палкой по пустой бочке. Братья затряслись в судорожном смехе.

К середине дня все на улице знали – у соседей Наумовых взорвалась печка. Не совсем чтобы вдребезги, а выбило заслонку, вышвырнуло в кухню головешки и угли. Хозяйка дома в валенках и пальто, впопыхах накинутом на халат, выскочила на улицу, плакала навзрыд и кричала истерично:

– Житья нету с ними! Люди добрые, помогите избавиться от этой чу-умы-ы!

Конечно же, этот вопль относился к братьям Наумовым.

Приходил участковый. Тетя Гриппа ругалась: «Это что, опять мои?» Братья так искренне отнекивались, а Колька тянул свое «Чи-иво?», что участковый засомневался в виновности братьев и сказал соседям, чтобы они смотрели на то, что суют в печку. У соседа стал после этого дергаться глаз и немать рука, а его жена путала, когда нужно плакать, а когда смеяться.

Конечно, полено зарядили братья. Они купили десять больших коробков спичек, отломали головки, выдолбили в полене углубление, забили его спичечными головками и ровненько замаскировали взрывной тайничок...

Что удивительно, при такой безбашенности братьев они безоговорочно любили мать и

сестру. Не дай бог, кто-то их обидит — долго будет потом жалеть...

Братья выросли. Как и большинство в пригороде, стали выпивать и драться в разборках и сходках, но до тюрьмы дошел только младший Колька-Чива. Он сел «по хулиганке». Ткнул ножом в ягодицу пришлого из другого района парня. Парень провожал девчонку после танцев. Был с виду крепкий, в брючках, обтянувших тугую задницу. Кольке не понравилась эта обтяжка. Он громко дал название фасону брюк и тому, кто их носит. Парень перед девушкой решил не сробеть — ответил Кольке словами из того же лексикона. Но когда увидел ножик в руках Кольки — побежал. Колька догнал его и на бегу воткнул ножик внатяг работающую выпуклую мышцу парня...

Кольку взяли утром. Вечное «Чи-иво!» не помогло. Дали три года. Отсидел два. Вернулся с наколкой на предплечье и железной фиксой. Покрутился в пригороде, попил винца и завербовался на дальневосточный рыбный промысел, да и сгинул лет на десять.

Юрка и Витька отслужили в армии — оба в стройбате, где как в поговорке: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Привезли из армии по пачке денег, оделись, женились, разъехались в разные районы города, появлялись у матери только за тем, чтобы она посидела с внуками или занять денег.

Я захватил их совместное проживание с матерью и сестрой, когда старший Юрка готовился в армию.

А Тамара? Мне было шестнадцать лет. Я занимался в спортшколе, бегал и качался. Во дворе лежала самодельная, собранная из шестеренок штанга.

По вечерам мы бегали с Шуриком кроссы. У него во дворе оборудовали ринг и колотили друг друга и многочисленных друзей расхлупанными боксерскими перчатками. «По будяре его, по будяре!» — кричал Шурик, подбадривая спарингующихся, бестолково махающих руками пацанов. Однажды в калитку заглянул участковый: «Что, на большую дорогу готовитесь?» — спросил ехидно.

А Тамара? Она проходила огородом в мой дворик, садилась на крыльцо и как-то странно, с полуулыбкой смотрела, как я вытягиваю штан-

гу, делаю приседания, сбрасываю ладонью пот со лба. Если появлялась моя мать, Тамара молча вставала и уходила так же, огородом, к себе.

— Что она тут делала? — настороженно спрашивала мать.

Я пожимал плечами:

— Да так... Смотрела.

— На что ей смотреть-то? — ворчала мать. — Я вот ей скажу...

Но, конечно же, ничего не говорила. Да и что бы она сказала?

Мать работала на кондитерской фабрике в трехсменке. И я оставался один. Тамара узнала график работы матери и приходила, когда ее не было дома.

После летних тренировок я обычно сидел на лавочке, загорал. Тамара садилась рядом и гладила мне спину и плечи и как бы без интереса, просто для разговора, спрашивала:

— А девочка у тебя есть? Ты дружишь с девочкой?

— Да ну, какая девочка! — грубовато отвечал я, чувствуя, как приятно мне это ее поглаживание.

— Пора уже дружить, — с тихим смехом говорила Тамара, задирая мне волосы на затылке, а потом опять гладкой щекочущей ладонью проводила по плечам и спине.

Я глядел на ее лицо и не понимал, отчего у нее так наливаются и влажнеют губы, блестят и щурятся глаза, бледнеют щеки и шея.

Однажды она не пришла на мою дворовую тренировку, а постучала в комнату.

— Ты один? — спросила. Хотя знала, что один.

Я ел макароны с котлетами.

Тамара села на диван и, улыбаясь, глядела на меня.

— Дай попробовать, — попросила.

Я хотел дать ей вилку, но она остановила:

— С твоей...

Я наткнул макароны и протянул ей, подставив ладонь под вилку. Тамара медленно стянула полными губами макароны с моей вилки. Макаронина упала мне на ладонь. Тамара быстро языком слизнула ее с моей ладони. По моей руке словно прошел ток. Я растерялся. Она увидела это и засмеялась каким-то незнакомым чужим смехом. Это была уже не Тамара, моя соседка, которую я хорошо знал, а другая, не известная мне женщина.

Я сидел раздетый по пояс, в трико, и меня вдруг охватил жар, я увидел вновь возникшую передо мной Тамару совсем другой, посторонней женщиной в ситцевом платье, обтянувшем ее грудь и бедра, я увидел на ее животе встопорщенный открытый треугольничек между двух застегнутых пуговичек, в котором матово обнажилась кожа.

— Ты умеешь целоваться? — вдруг серьезно спросила она.

Я не знал, что ответить. Я целовал девчонок-одноклассниц на ночных гулянках, но это была лишь слегка будоражащая игра.

— Поцелуй меня, — уже вполголоса попросила Тамара. — Попробуй. Садись рядом, — она подвинулась на диване. Я сел рядом. Она подставила влажные губы, и я поцеловал ее так, как целовал девчонок — лишь слегка втянув ее губы.

— Не так, — Тамара обхватила мою голову руками и сама обволокла мои губы своим горячим ртом. И меня повело какое-то иное, неразумное, неконтролируемое чувство. Я начал мять тело Тамары и целовать ее грубо, враспашку. На секунду она оттолкнула меня, сказала хриплым рассудочным голосом: «Запри дверь!» Я накиннул крючок и повернулся к Тамаре, она уже расстегнула платье и стояла перед диваном без лифчика и трусиков. «Она пришла без них...» — мелькнуло у меня. А потом только поцелуи и шепот Тамары: «Не спеши, не спеши...» Она направляла мои сумбурные действия. Я едва успел войти в нее, как уже забился в сладких судорогах. Стискивал плечи Тамары, вжимался в ее живот. «Тише, тише...» — шептала она.

Все произошло настолько быстро, что я осознал себя уже сидящим рядом с ней и она, поджав ноги на диване, гладила мне волосы и грудь мокрыми от моего пота руками.

— Мальчик, мальчик... — шептала она. — Я первая — да? Первая. Иди вымойся...

Вымылась и она.

— Иди ко мне. Сейчас будет лучше... — Она прильнула влажным, прохладным от воды телом ко мне и начала бесстыдно, упруго ласкать мое тело. Малого прикосновения хватило для возбуждения. Я лег на Тамару и уже чувствовал ее всю. Я целовал ее глаза, губы, лоб, шею. Она, захлестнув свои руки мне за спину, при-

поднимала и втягивала меня. И вдруг она прерывисто задышала, застонала, забилась подо мной, словно хотела сбросить меня, но не отталкивала, а, наоборот, вонзилась ногтями мне в позвоночник и вдавливала мое тело в себя. Я почувствовал испуг, это передалось ей, она на секунду открыла глаза, выдохнула: «Хорошо...» и снова забилась и застонала.

С этого дня Тамара стала приходить ко мне. Была животная страсть двух молодых тел. Тамара была моей первой женщиной, и я думал тогда, что люблю ее единственно и навсегда. Я говорил ей, что вот мне через два года будет восемнадцать и мы поженимся. Тамара ничего не отвечала, а только улыбалась с легкой грустинкой и покачивала головой.

Первой что-то заподозрила мать.

— Ты, говорят, с Тамаркой связался? — спросила она напрямик.

— С какой Тамаркой? — изобразил я удивление, но, видимо, изобразил фальшиво, поэтому мать не стала уточнять — какая Тамарка.

— Ты с ума-то не сходи! Она на сколько тебя старше? Нужен ты ей... Она уж полгорода через себя пропустила, смотри — заразу подхватишь!

— Да ты что, мать, несешь всякую ерунду, — впервые я сильно обиделся на нее. Обиделся, конечно же, на больно резанувшие слова «пропустила через себя».

— Я тебя предупредила, сам гляди — станешь посмешищем, — уже без напора закончила мать и добавила: — Давай-ка к тете в Вильнюс съезди, у тебя еще месяц каникул.

— Сначала — в колхоз на уборку... — буркнул я.

— Вот и хорошо.

При очередном свидании я передал разговор с матерью Тамаре, опустив только самые обидные слова.

— И меня мама пробирала, — обреченно сказала Тамара. — А ты поезжай к тете...

Я возмутился: как же так, я без нее.

Она улыбнулась очень взросло, грустно:

— Глупый ты еще. Чем скорее ты уедешь — тем будет лучше мне и тебе...

Мне лучше не было, я думал только о Тамаре. Я уехал на картошку — рядом была Тамара, я ходил в клуб на танцы — и Тамара танцевала со мной, я купался с парнями в речке — и рядом хохотала в брызгах Тамара. Особенно му-

чительно я переживал ее отсутствие, когда ложился спать и Тамара лежала рядом. Вспомнил ее всю: ее тело, ласки, ее шепот... Мобильников тогда не было, писем мы друг другу не писали. И когда я в конце августа вернулся с картошки, мать как бы между прочим бросила: «А Наумовы-то уехали. Новый дом купили где-то в ... — и назвала дальний пригород. — И она замуж выходит за своего «летчика» (так называли Веню все знавшие о том, что сотворили с ним братья Наумовы).

Я разговаривал, ел, смеялся, ходил в каком-то отстраненном оцепенении. «Как же я без нее! Не увижу, не поцелую... — отчаяние, обида. — Почему она так со мной?»

Выручал Шурик. Он упорно тянул меня на танцы. Знакомил с девчонками. Я провожал их, по инерции целовал. Но после Тамары все эти ласки и обжимания в ночных сквериках были скучны, безвкусны, а потому коротки.

Я понял, что должен увидеть Тамару, поговорить с ней. Без этого моя жизнь просто буксовала: я стал пропускать тренировки, забросил учебу, в таком состоянии белый свет не мил.

Я встретил Тамару после ее вечерней смены, у проходной фабрики. Я встал так, чтобы она увидела меня, и она увидела, что-то шепнула двум подружкам, а сама пошла в сторону, в темную часть улицы. Я понял и пошел за ней. Я догнал ее и некоторое время шел молча на шаг от нее. Она повернулась ко мне, в вязаной кофточке под горло. Та прежняя, долгожданная Тамара. Увидел ее светящиеся в ночи глаза, влажные губы и почувствовал, что сейчас заплачу. Я думал, что она начнет упрекать меня, прогонять, но увидел ее усталое, счастливо-измученное лицо, и вдруг взрослым мужским чутьем понял, что она тоже страдала, как и я, и она мечтала об этой встрече.

— Жди меня здесь, — сказала она, побежала к проходной фабрики и скрылась за дверями. Минут через десять она вышла из проходной.

— Взяла ключ от комнаты у подруги...

Эта последняя наша ночь в общежитии... Мы отрывались друг от друга только на время короткой передышки, как боксеры между раундами. Мы плакали от счастья, и я целовывал Тамарины слезы. Это было неистовство, беспамятство, совершенно неземное мгнове-

ние жизни. Под утро провалились в сон. Когда я проснулся, Тамара, умытая и причесанная, сидела у стола и глядела на меня.

— Вставай, — сказала она, увидев, что я проснулся. — Нам надо поговорить...

Мы сидели друг против друга. Я улыбался сладко и глупо, а Тамара отводила глаза, старалась сейчас не смотреть на меня.

— Это наша последняя встреча, — вдруг резко, с незнакомыми нотками в голосе сказала Тамара. — Все, Сережа, я выхожу замуж, а у тебя другая жизнь...

Может быть, от переизбытка полученного ночью счастья мои мозги не воспринимали слова Тамары серьезно.

— Ну и что, — сказал я. — Мы по-прежнему будем встречаться. — Я улыбался, ощущая необычайную легкость в теле, голове, душе.

— Нет, Сережа, все... Ты сейчас выйдешь первым и уходи, не жди меня. Я уйду после, чтобы нас не видели вместе. Все, Сережа...

Я, по-прежнему в каком-то легком дурмане, чувствуя только счастье в себе, даже не поцеловав Тамару, пошел к двери.

— Сережа! — крикнула она. — Ты меня больше не ищи. Мы уедем из города...

И больше из этого дня я ничего не помню.

Очнувшись, сказал матери, что хочу в Вильнюс, и уехал на целый месяц.

8

Влажный сладковатый липовый запах на центральной улице Вильнюса. Мокрая чешуя брусчатой дороги, которая шла от моста через Нерис до площади перед башней Гедминаса на высоком, обжатом разновеликими липами, калиной и орешником, холме. Бульжная дорожка, приобнявшая вполюобхват холм и степенно поднимавшая шедших по ней сквозь грачиный крик и соловьиный просвист к бульжным, серебристо-серым валунам средневекового замка, от которого сохранились остатки стен, кое-где низведенные до фундамента, в двухметровой толщине его округло щерились ходы и продухи.

И замок из красного, веками проморенного кирпича. На трех ярусах замка в круглых залах

— средневековые рыцарские доспехи, почему-то небольшие, словно кованные на пацанов-подростков, мечи, копья, топоры, алебарды, пищали, луки и стрелы, арбалеты и всякая другая старинная убойность матово поблескивала в дозированных порциях света, который благоволили пропускать тесные квадратные оконца.

Узкий винтовой выход на верхнюю площадку — и ветер, солнце, сухой кольчужный шум листвы внизу, и город окрест, на сколько хватает взгляда.

С площади начинался средневековый старейший город с глубокими прочерками гравюрных желто-серых улочек, с костелами и подворьями, с едва заметным движением крошечных людей.

Это было мое любимое место. Я ходил по старым камням, всегда чистым, с каким-то, как мне казалось, внутренним ненастырным блеском, который не гасили ни дождь, ни пасмурный день, и даже яркое солнце не разжигало лишнего свет этих камней.

Улочка подводила к костелу. Я был во всех костелах города, но этот костел был любимым, может быть, потому, что в свой самый первый приезд сюда я случайно, уже уставший от пешего хождения, запаленный жарким днем, завернул в открытую ажурную дверь этого удивительной красоты миниатюрного изящества и в то же время величия костела святой Анны. Казалось, не руками мастеров-кирпичников создана эта церковка, а воздухом, который выдували умельцы в сплошной темно-красной глыбе, продувая резьбу башенок, оконеч, проемов, орнамента, каждой детальки этого чуда, а потом разукрасили костел цветными блескучими витражами — и вот вам земная святая в небесном обличии.

В костеле просторная, уютная и прохладная тишина, особый ладанно-восковой приглушенный запах. Два ряда воронено-гладких скамей с высокими спинками, по стенам резные евангельские скульптуры, сцены из крестного пути Христа на Голгофу, Мадонны с младенцами.

В полумраке костела кажется, что они замерли только на время присутствия здесь человека и когда посетитель выйдет, то они снова начнут свою многовековую святую жизнь.

Вверху сквозь мозаику оконных и купольных витражей продавливалось разноцветное солнце — по стенам и скульптурам оплывали, словно струи прозрачного меда, золотисто-розовые полосы солнечных лучей.

Я сидел на край прохладной скамейки, слушал тишину, смотрел на скульптуры и витражи, было хорошо, спокойно, умиротворенно...

На холме Гедеминаса я, словно ящерица, вверх-вниз лазил по самой провальной крутизне, враскид обнимая шершавые теплые деревья, наслаждался диким одиночеством, приобщенностью к рыцарскому прошлому.

Воображение воспламенялось — отражал атаки в рядах защитников, мгновенно переходил в стан нападавших — скоблил травяную шерстку холма скользкими кедами — пытался, уклоняясь от стрел и камней, сыпавшихся сверху, одолеть подъем, в изнеможении переваливался через уступ верхней площадки и падал на прогретые валуны разрушенной крепости.

Я играл один, и мне было совершенно не одиноко.

Отдохнув, вытерев пот, снова спускался по крутому боку холма к затаенному ключику, пульсирующему на узенькой площадке. Ключ был огорожен небольшими булыжниками. Я ложился на край, сдвигал ладонью листья к стоку родника, полным ртом пил в меру холодную, отдающую прелыми листьями воду, потом опускал лицо в родник и, замерев, смотрел, как в песчаном дне вздуваются, приподнимая желтый песок, три бурунчика. Они напрягали песочные спинки, не в силах сдержать глубинный вытолк синевато-прозрачной воды, распались на песчинки, сглаживались по поверхности дна, через минуту вновь начинали возникать песчаные пузыри, из которых пульсировала вода.

Из родника вода стекала по ложбинке между камней вниз. У подножья холма ручеек нырял в керамическую трубу, которая тянулась к берегу Вилейки — шустрой, с булыжными перекатами речке, а она, в свою очередь, впадала в степенный, многоводный Нерис.

Достать и купить! Эту разницу я почувствовал в Вильнюсе.

После ивановских очередей за мясом, колбасой, рыбой, молоком, белым хлебом, туфлями,

трикотажем и много за чем еще удивительно было смотреть на покупателей в каком-нибудь самом скромном магазине Вильнюса. Здесь можно было взвесить двести граммов колбасы, да еще попросить порезать этот кусочек на тонкие, до розовой прозрачности, кружочки. Они вяло прилипали к широкому лоснящемуся ножу продавца, а он ловко скидывал их в плотную стопочку слева направо, нисколько не раздражаясь от просьбы покупателя, а даже наоборот, словно ждал этого пожелания. Иногда сам продавец спрашивал: «Вам порезать?», и застывал с ножом в руке на несколько секунд.

Я представил себе очередь в колбасном отделе ивановского магазина: слипшаяся у весов толпа. Электрический заряд раздражения зависал над головами покупателей.

— Кончается! — легкой щекоткой шелестело по толпе. — Колбаса кончается...

И сразу разряд в три-четыре голоса:

— Больше одной палки не давать!

Это значило, что отвешивать в одни руки только один батон самой ходовой вареной колбасы в толстой слюдяной облатке, тяжелой и мокрой на разрезе. Иногда кричали:

— Килограмм в руки!

Устный проект закона швырял в толпу кто-то один, и покупатели тут же единогласно утверждали его. Продавцы подчинялись и резали колбасу по временному закону ошалевшей от колбасного запаха и многочасового стояния толпы. И если бы я, отстояв два-три часа в очереди, по-вильнюски попросил двести граммов и порезать... Реакция в очереди и продавца была бы непредсказуема, но, зная жизнь и быт родимого города, скорее всего с той и другой стороны окатили бы крепким пробористым, словно самодельный хрен, матом.

В этом гостевом городе было изобилие всего того, что в моем родном надо было доставать с боем. И не только в магазинах, но и на рынках, где к покупателям обращались «пан» и «пани». Где бродивших среди прилавков людей цепляли зазывами торговцы и ласково понуждали купить именно их продукт:

— Пани, посмотрите сюда! Где вы купите такую сметану! В ней же не тонет железная ложка. Понюхайте! Так не пахнут даже розы...

— Пан! Только для вас этот кусочек! Нет, вы

обратите глаза! Это не мясо, а щастье. — Торговец в резиновом с кровавыми проюзами фартуке перешлепывал с ладони на ладонь яркорозовый кусок говяжьей вырезки. — Вы будете кушать и улыбаться! И ему совсем не цена... — Он кидал мясо на металлическую тарелку весов с гирьками на другой тарелке и глядел на приседающие клювики птицеобразных уровней. Подбавлял или убирал гирьки, и когда клювики над выпуклыми железными грудками начинали подрагивать на одном уровне, поднимал блестящие от азарта глаза, говорил:

— Килограмм с половиной... Так пану (или пани) завернуть?

Я, уже взрослая и бывая на большом вильнюсском рынке по нескольку раз в каждый свой, обычно летний, приезд, вывел одно правило поведения на рынке: не задерживаться у продавцов, не обращать внимания на их уговоры. Стоит только проявить интерес к товару и словам хозяина — все: неохотно, преодолевая собственное же сопротивление здравого смысла, который, слабея с каждым мгновением, шепчет тебе на последних вздохах: «Зачем тебе это, у тебя уже есть, не трать деньги, ты за другим пришел...» — вынимаешь кошелек и в радостной бездумной отрешенности отсылаешь деньги в пропащую ладонь пана торговца. Берешь сверток, кулек, сумку, отрываешься от прилавка и попадаешь в раскинутые голосистые сети другого продавца...

На этом рынке нужно, сотворив на лице озабоченность и держа метровую дистанцию от прилавков, целенаправленно идти в якобы необходимую тебе точку, где тебя уже ждут, именно за тем продуктом ты и пришел сюда...

Я любил ходить на этот базар, смотреть на живописные навалы овощей и фруктов, некоторые я увидел и попробовал впервые именно здесь: бананы, киви, манго, кокос, ананас.

И здесь же узнал, что зеленокожурные бананы есть нельзя, а именно такие прибывали к нам из-за морей.

Мой ивановский сосед как-то урвал в Москве две гирлянды этой зеленой экзотики. Дома он куснул банан, выплюнул и слюнявым матом обозвал эту горькую надкушенную загогулину. А его жена и дочь весь вечер, морщась и содрогаясь, приобщались к заграничному лакомству,

они когда-то краем уха слышали, что бананы едят европейцы и американцы и этот фрукт, как наша картошка, у них со стола не сходит. В банановом образовании они перешагнули отца — чайными ложками выскрябывали твердую горечь неспелых бананов, озвучив мнение, что он (отец) «ничего не понимает». Мать и дочь, уже молча, каждая сама для себя, пытались ответить на мучивший их вопрос: «Как и для чего едят вот эту невообразимую, отвратную несъедобщину далекие европейские люди?»

Компьютеров тогда не было. В телевизоре бликовала одна программа. Поэтому, как и для чего употреблять бананы, люди в наших городах и весях не знали. Мама и дочь решили, что этот фрукт скорей всего лечебный, и с этой верой продолжали скоблить ложечками жесткую, словно замороженная вата, внутренность бананов.

Ночью мать и дочь наперегонки бегали в туалет. Бледные и сосредоточенные, вершили свое дело, подгоняли друг друга у закрытой двери: «Мама, ну быстрее...» — «Дочка, ну что ты так долго, не могу больше...»

Утром сосед взял непочатую банановую кисть, бросил ее в компостную яму в огороде и для полного удовлетворения изрубил бананы лопатой.

У семьи соседа возникло долгое отвращение к бананам. Начали они их есть только после перестройки, когда бананы соспели до желтого цвета и их золотистые горбики выпячивались в любых больших и малых магазинах и киосках города.

Вильнюс, к которому я так природнился, был назначен в моем сознании заграницей. Я и мои родные в Европе не были, но по сведениям, доходившим оттуда, многие признаки Европы как раз и обнаружались в Вильнюсе: изобилие в продуктовых, промтоварных, обувных магазинах, чистота улиц и промытость витрин, несуетность, доброжелательность в повседневном людском обиходе и та особая атмосфера счастливой, сытой, незлой жизни, которая была разлита в живых пространствах города. Конечно, наверное, было всякое другое, дурное, но я его не видел. Я слышал литовскую речь везде, где были люди. Прислушиваясь, отметил гладкую окатность фраз, их пружинистую мягкость: «Лаба дена», «Кек валанду?»,

«Пенькнолики». И если я обращался к литовцам с просьбой подсказать, как пройти или проехать куда-то, то они сразу переходили на русский и терпеливо объясняли.

И так год за годом. Казалось, что это будет всегда.

Тамара вышла замуж за Веню-«самолет». Они уехали в город Каменец-Уральский. Там у Тамары родился сын. Веня стал пить и бить Тамару, припоминая ей мужиков и братьев.

Пил и бил Тамару Веня около двух лет. После истязаний он ложился на кухне на диван и храпел. Здесь и совершила Тамара свой высший суд над ним. Махнула топором по лбу, располовинила голову мужа, словно арбуз на базаре, когда торговец для демонстрации высокого качества товара одним махом раскалывал крупный арбуз — вываливалась багровая мякоть с черными, жирными зернами, похожими на больших помойных мух...

Сама позвонила в милицию. Приехавший опер смел с пола красно-серые шмотки Вениных мозгов веником в совок и в пакете положил рядом с трупом.

Тамару сначала определили в психиатрическую больницу. А потом был суд, и ей дали три года условно. Судья сделала вывод, что муж сам довел жену до такого действия.

Тамара вернулась в родной город, в материнский дом.

Я через много лет увидел Тамару. Это была изношенная, седая, незнакомая женщина с остывшими глазами, подволакивающая правую ногу, поврежденную костоломными пинками мужа, и только едва заметные щербинки на висках воскрешали в памяти то отболевшее чувство к той давней, красивой Тамаре.

А еще через несколько лет я узнал, что Тамара умерла от неизлечимой болезни и похоронена рядом с матерью и братьями на старом городском кладбище. На нем уже давно не хоронили, но тетя Гриппа по какому-то неведомому чувству застолбила рядом со своим последним пристанищем еще участок на четыре могилки...

Сортировка была местом непрерывающейся круглосуточной жизни. Мы, под ростки, с корзинами и ведрами выходили из летней ночи на освещенную прожекторами и фонарями сортировочную площадь, с фырками, свистом, пронзительными гудками паровозов, блеском спутанных рельсов, отходом и приходом поездов, огромным голосом невидимой женщины-диспетчера, который расталкивал все другие звуки, прижимал их к земле и приказывал: «Сто пятьдесят четвертый, проследовать на седьмой путь!» И тотчас фыркал белесым тугим паром какой-то паровозный котел и с медленного упористого толчка двенадцати колес в рельсы начинал движение, видимо, сто пятьдесят четвертый.

Мы выбирали товарный состав, который, по нашим ощущениям, должен был отходить от города в лесные дали. Забирались на узкие площадки сцепщиков, и состав, дернувшись, спешил в ночь, убыстряя ход, разрезал черный лес своим коричневым змеистым туловищем. Холод встречного воздуха вызывал дрожь в теле. Мы садились на пол площадки, прижимались друг к другу, перекидывались редкими дрожжащими фразами. И опять же, по ощущениям, где-нибудь через час езды, дождавшись замедления паровозного хода на подъеме, по очереди прыгали с площадки на темную насыпь. Поезд натужно, с перестуком посверкивающих колес проходил уже мимо нас, и через минуту всасывались в темень четыре красных фонаря последнего вагона.

Лес охватывал тишиной и какой-то жуткой затаенностью. Ощущение, словно ты на дне глубокого омота, сверху пятнышки звезд, и не знаешь, как вынырнуть и куда плыть.

Счастье, если попадали на место около какой-нибудь лесной деревни с санными сараями на окраине. Тогда забирались в сухое сено и, побалагурив, засыпали до рассвета...

В тот очередной лесной набег все не сошлось: едва заскочили на две тормозные площадки встречного направления — ветер в упор и со свистом навывает. Я, Сашка и Женька Виноградов — здоровенный, веснушчатый, солнечный парень! Ходил вразвалку, улыбался

рыжим лицом — уголки губ стискивали щеки в красные упругие ямочки, а над ними озорнувшие зеленые глаза. Первый раз поехал с нами — упросил. Мы его не брали в свою компанию из-за его матери. Где бы Женька ни был, мать всегда появлялась неожиданно, в любом нашем закутке. Она, обнаружив нас, минут пять молча стояла и слушала наш забубенный, часто похабный треп, а потом инородно возникала и каким-то негнушимся, словно раскаленная спица, проколистым голосом прожигала вмиг образовавшуюся тишину:

— Ж-женя-я, домой-й! А вы, маль-льчики... — и начинался процесс полоскания мозгов: это можно, это нельзя, так не говорят, так не делают...

Женька уходил, а его мать еще долго учила нас, как надо жить. После ее ухода мы дружно жалели Женьку. Был у Женьки единокровный брат Вадик, старше его на год. Рослый, пропорционально широкий, обладающий дикой силой в кругло-окатистых, словно трубы, руках, розовощекий и ясноглазый, как и Женька, но только с разумом двухлетнего ребенка.

Вадик-дурак — так совершенно беззлобно, даже сочувственно, называли его в нашем районе. Над Вадиком шутили, издевались, как это всегда бывает в жестокой, стайной детской жизни.

— Вадик, покажи писку — конфетку дадим... — Вадик спускал штаны, склонял голову набок и улыбался совершенно обыденной улыбкой, значащей лишь только то, что ему хорошо в этом штучном, недосыгаемом мире.

В отрочестве Вадик, по просьбе таких же отроков, выдергивал столбики деревянных лавочек, вкопанные в землю, отрывал ручки у калинок. В юности Вадик уже гнул трубы дорожных указателей, ронял на стройках стенки с незавершенной кирпичной кладкой, выпивал одним засосом трехлитровую банку березового сока, чтобы получить в награду такую же полную банку. (За березовым соком мы ходили компаниями и набирали его бидонами и ведрами.) Вырывал с корнем годовалые березки в парке, а однажды ночью по просьбе разгоряченной компании молодых олухов выкатил на проезжую часть бетонное кольцо со стройки и уронил его на ребро. Водители шести машин и подъехавшие два милиционера, матерясь, сволакивали

кольцо на обочину, а мы в кустах давились от смеха. Впрочем, Вадик так вжился в нашу районную стайку, что мы уже не обращали на него внимания. Издевки и шутки над ним от долгого повторения надоели, и мы даже стали защищать его от чужих насмешек. Тем более его мать почти ежедневно отслеживала наши компании и слезно просила не обижать Вадика...

Его мы в лес не взяли. Это и понятно. Хотя он просил, слушая наш разговор:

— Хочу лес, с батом, — сказал он, склонив голову набок и улыбаясь полным красногубым лицом.

— Только нам дураков не хватало... — в сторону вполголоса сказал Сашка, надеясь, что Вадик не услышит, но Вадик услышал.

— Я не дурак, я добрый... — сказал он, все так же улыбаясь, а дальше понес несусветное: — Я сильный, я пинесу бата из леса, я на луках пинесу... — Потом совсем уже непонятное: — Зеня, не ходи лес, там похо, не ходи... Я один — не хочу, я один, и мама одна, я сильный, я тебя пинесу...

Потом, вспоминая все это, меня пробивает холодок: Вадик предчувствовал, он знал. Видимо, ангел-хранитель Женьки, ослабевший от его неверия, дурных поступков и слов, из последних сил пытался спасти его, продлить его пребывание в земной жизни, предполагая, что, постигая жизнь, Женька замолит благими делами свои малолетние грехи. Но единственное, что было под силу ангелу, — вместить в блаженную голову брата предостережение, которое он и высказал корявым детским языком...

На подъеме, когда вагоны «пошли пешком», мы спрыгнули в мелкий гравий насыпи. Серые камушки шурхнули под ногами. Женьку — он прыгал последним — мотнуло в сторону, и он, словно подпиленное сучковатое бревно, покатился на дно кювета, в густую траву и тонкий ломкий кустарник. Его корзинка, подпрыгивая, катилась рядом. На излете корзинка опередила Женьку, первой достигла дна, а тяжелое тело парня спиной надавило на корзину, она многозвучно треснула и сплющилась.

— Конец, — безнадежным голосом сказал Сашка. — Что мамане-то скажешь?

Женька раздвигал корзину, она трещала и осыпалась мелкими ломкими сколами.

— Ладно, прутиками свяжешь, — сказал Сашка.

Мы пошли вдоль насыпи. В светлой ночи подрагивали и пересыпались звезды. Пестрым светом, то угасая, то вспыхивая, поблескивали рельсы.

В этой черно-серой ночи, отстраненные от живого мира мертвым лесом, мы вялыми мальками плыли по лунной обочине рельсовой просеки, надеясь приткнуться где-нибудь в стожок сена, наметанный на лесной поляне заботливым путевым обходчиком, или вползти в березовый скородельный шалашик, срубленный еще в прошлом году охотниками-тетеревятниками, и, сжавшись в три комочка, мгновенно уснуть до близкого рассвета.

Но ничего этого не было — сплошной лес и матовые струны железной дороги.

Шурик, привычный уже к таким передрыгам, ругался — крыл он железную дорогу, лес, мужиков, которые не могли накосить сена именно в этом месте. Прошелся он и по Женьке, который «заменялся» на площадке вагона, не прыгнул сразу, и поэтому занесло их в такую бесприютную даль. Женька молчал, ошарашенный необычностью происходящего. Ему было и страшновато, и любопытно, и хотелось есть, а пакет с едой он потерял при падении с вагона.

— Дай хлебца... — попросил у меня Женька. — В желудке сосет.

Я пошарил в своем пакете, достал два ванильных пряника и протянул Женьке. Он полнорото в два куса сжевал пряник и, тараша зеленые глаза, улыбался туговыпуклыми щеками.

Сладкий запах ванили щекотнул Сашкин нюх. Он сплюнул, покосился на Женьку и сказал обреченно:

— Морда глупая, а жрать, жрать...

Женька, хохотнув, протянул ему пряник.

— Нет, — сказал Сашка. — На место прибудем и поедем...

Но места для ночлега мы так и не нашли. На опушке просторного березняка, где, по мнению Сашки, «грибы стаями плодятся», мы решили прикорнуть на куче сухих березовых веток, не разжигая костер, так как до рассвета оставалось часа три.

Яичная сковородка прожаристого солнца в легких парах утренних облачков высунулась из-за восточной стены леса, заиграла бликами на рельсах и жирной смоле шпал. Рельсы первыми притянули июльский жар солнца, стали нагреваться и греть наддорожный воздух.

Сашка первым выскочил из чуткого отрывистого полусонья, толкнул меня, показал головой на Женьку, который, к нашему удивлению, спал крепко, скукожившись в букву Э, и только тугой воздух из его ноздрей шелестел в сухих листьях березняка, словно путалась мягкими лапками нагловатая лесная мышь.

— Спит, как в утробе матери, — сказал Сашка. — Буди, и пойдем греться на рельсы...

Поднесли к носу Женьки исходящую в дымок сухую ветку — он дернулся, распрямился и вскочил.

— Родился... — сказал Сашка. — Пошли на печку спать...

Дрожа от лесного озноба, каждый из нас выбрал себе место на рельсах — без смолы на шпалах. Легли цепочкой метрах в пятнадцати друг от друга. Мы с Сашкой делали так не первый раз.

Женька, вынув руку из стеганой фуфайки, подложил рукав под голову, скукожился между рельсов и тотчас уснул, обласканный утренним теплом дороги. Мы с Сашкой погружались в сон постепенно. Я чувствовал, как нагревается тело, спустил ноги в кювет, вытянулся и, слушая неясные еще, просыпающиеся звуки леса, стал уплывать в сон.

Вывал из сна чудовищный свист — тень паровоза с белым хохлом пара была метрах в десяти от меня, там спал Женька.

Сдернул голову с рельсины, и тотчас влажное горячее парное облако сошвырнуло меня с насыпи в кювет. Зацепил взглядом изломанное ужасом белое лицо Сашки. Он уже стоял в кювете и кричал, но крика не было, а был сплошной, пронзающий насквозь свист.

Из-под колес паровоза и вагонов вдруг сыпанули пучки искр, словно от крутящихся точильных кругов, но у паровоза и вагонов колеса не крутились, а, наоборот, стояли — поезд тормозил.

Сашка бежал ко мне, но смотрел мимо меня — туда, где спал Женька.

Я оглянулся — Женьки не было. Поезд по инерции двигался, стонали тормоза вагонов. Последний вагон со свистом проюзил мимо нас и остановился метрах в трехстах, на загибе дороги в лес.

Мы увидели серо-красный комок между рельсов, а вокруг него словно выплеснутая из ведра алая краска. Падая, хватая руками щебенку, мы взобрались на дорогу. Верхняя часть Женькиной головы краснела метрах в пяти от тела, а то, что осталось на туловище, походило на большую скрученную тряпку, которой вытирали краску на шпалах...

А дальше, с провалами, какая-то другая, бессознательная реальность: бегут люди от состава, дрезина, милиция, измятое тело Женьки на брезенте, часть черепа, прислоненная к его плечу, уже дневная сортировка, отдел милиции, вопросы, обморок, врач.

Черное лицо матери и воющий плач Вадика. Закрытый гроб и поминки. Черный сгусток жизни. А дальше — медленный выполз из этого липкого тоскливого комка, словно мухи из липучки. И все тянется за тобой чувство вины, и все перематываешь назад этот период жизни, и коришь себя, и объясняешь себе, как надо было организовать тот летний грибной поход, и в утешение и оправдание себя говоришь о том, что мог быть на месте Женьки, и даже вместе с ним и Сашкой лежать потом на открытой платформе дрезины, и проигрываешь в памяти все, вплоть до похорон, но утешение и успокоение не приходят...

Через год Вадик полез на высоковольтный столб за бумажным змеем, который зацепился за керамический изолятор, задел рукой провод, был убит током и упал со столба на асфальт.

10

Итурик «завелся». Эту новость я узнал вечером, придя с тренировки. Болела голова. В спарринге Вовка Бородулин, бывший размашисто, а потому часто скоркавший по напарнику шнуровкой перчатки, свез мне едва зажившую после зональных боев бровь. Кровь тягучей мокротой залила глаз. Тренер закричал на Бородулина, назвал размазней, отпра-

вил колотить мешки. Мою бровь промокнул ватой, сказал, что без швов заживет, заклеил пластырем и на месяц запретил спарринговать. Через два месяца — первенство города, и бровь может подвести.

— Господи, опять исковерканный, — в очередной раз сказала мать. — Когда же ты прекратишь себя калечить?

Вопрос был обыденный, частый, а потому риторический.

Она поставила на стол сковородку с жареной картошкой, обложенной сверху мясокомбинатскими котлетами. Они вlepились в картошку, и когда их накалывал на вилку и вылеивал из картофельного гнездышка, то из них по вилке тек светло-желтый горячий сок и картошка под котлетой коричнедела. Мясокомбинатскими их называли потому, что доставали их в магазине, пристроенном к стене мясокомбината, и были эти котлеты из натурального фарша.

Есть не хотелось, подташнивало, я лег на диван и сразу уснул, сквозь начальную задрему слышал ворчание матери «о мордобое, выбитых мозгах, плохих делах, если такая еда в горло не лезет».

Около десяти забарабанил в окно Валерка Фомин — Фома, и я узнал, что Шурика на танцах в городском саду обозвал козлом полупьяный Гоша — Губа из Авдотьиного, и Шурик «зарядил ему в пятак». А поскольку сад «Май» был вотчиной сосневских, то авдотьинских взяли в кружок и, по словам Фомы, «развязали мешок с кулаками». Авдотьинские отмахивались, и шустрому Генке Кормилицину ботинком с набитой на каблук металлической пластиной специально для разборок «сделали восемь швов». Понятно, что швы ему наложили на станции скорой помощи.

И закрутилось...

Авдотьинским «забили стрелку» на вытопанной лужайке самодельного футбольного поля у реки. На клич сосневского шишкаря Юрки Хасана (фамилия его была Хусаинов, и был он голубоглазый с тонким лицом паймальчика и каштановыми густыми волосами, но правой бил, как кувалдой) собралось человек пятьдесят в наглухо застегнутых тренировочных костюмах, свитерах под горло, несмотр-

ря на вечернее лето, кедах, у некоторых они были размера на два больше: в носа этих красных литых кед закладывались свинчатки, от пинков отвисали мышцы ног и ломались ребра. Свинчатки, судя по отвису карманов, были и в куртках. Пиковин и ножей не было ни у кого. В многолюдных «заводках» они категорически не применялись. Если у кого-то вдруг по незнанию обнаруживалась пиковина, выточенная из квадратного напильника, или даже складник, то это изымалось, ломалось и владельца этих орудий «мочили» и свои и чужие. Пьяных обычно в таких «заводках» не было.

Авдотьинских пришло человек на двадцать меньше, и, судя по тому, как они подходили группами по пять-шесть человек, в футболках, светлых рубашках, глаженных брюках, и только человек пятнадцать в боевом снаряжении, настрой у них был не боевой. Может быть, и потому, что Гоша-Губа был «нарывчиком», пьяный дурил и лез без мозгов во всякие заварушки, за что и получал больше других.

Авторитет у него небольшой, но надо было держать марку района, поэтому и пришли авдотьинские парни не из-за Гоши-Губы.

Две толпы заняли противоположные площадки футбольного поля.

В центр на толковище вышли Юрка Хасан и я с Шуриком. От авдотьинских — Юфча, Юрка Федорчук, коренастый парень без обоих кистей рук. Ходил он без протезов. Ловко управлялся наростами из кожи, сформированными за многолетнее действо. Он сжимал ложки, вилки, карандаши, карты, деньги, застегивал пуговицы, умывался и причесывался. Кисти ему, шестилетнему мальцу, оторвало разрывным патроном, который они — стайка любопытных пацанов, отыскали за городом на воинском стрельбище. Отца он не помнил, мать куда-то уехала, и жил он у бабушки, которая еще работала на фабрике «Красная Талка». Багровые, красного кирпича, корпуса этой фабрики впаялись в зеленый берег на противоположной от нашего футбольного поля стороне реки.

На вислощекоем лице Юфчи всегда лучезарилась улыбка. Он сгонял ее только тогда, когда сплевывал бесчисленными нервическими плевками жиденькую, не успевшую загустеть слюну. Он сплевывал даже тогда, когда слюны

вообще не было. Он просто изображал плевков. Юфчу боялись и уважали. Он был хитер, умен и справедлив. В карты всегда брал банк. Гасил конфликты. Наказывал своих, если были неправы. Непонятливых тыкал культишкой левой руки в челюсть, щеку или голову. В губы и нос не бил — боялся крови. Эту тайную слабость Юфчи знали немногие.

Рядом с Юфчей — Гоша-Губа и черный худой парень с золотой фиксой и наколотыми перстнями на пальцах левой руки. Кличка при таком облики стандартная — Цыган. Это был один из авторитетов авдотыньских. Сидел по хулиганке. Говорили, что на разборки ходил со стреляющей ручкой (выточенный на токарном станке металлический стержень на резьбе, в который вставлялся мелкокалиберный патрон). В конец ручки, там, где колпачок, прилаживалась пружинка. Колпачок оттягивался. Щелчок — и выстрел. Точность попадания приблизительная. Только если с двух-трех метров. Стреляющая ручка была скорее орудием спокойствия владельца и устрашением для соперника. Иногда из нее стреляли, да и то с испуга и в воздух. Была ли ручка у Цыгана сейчас — никто не знал. Я прикинул: вес у Губы и Цыгана примерно одинаков, у каждого по 60 с небольшим — мой вес, и «сделать» их я мог как поодиночке, так и если вместе кинутся. Но я понимал — такого не произойдет. Если только не договорятся, но и то сначала разойдутся каждый к своим, а потом — стенка на стенку...

Хасан поручался с Юфчей, пожал мозолистую культю. Мы стояли поодаль. Гоша-Губа перед встречей высосал из горла полбутылки портвейна, был в кураже, корчил рожи, закатывал к вечернему небу глаза, большим пальцем чиркал себе по кадыкастой шее — показывал Шурику, что ему кранты.

Шурик в ответ оттянул себе нижнюю губу. Гоша было рванулся к нему, но Цыган схватил Гошу за рукав, осадил матом...

— И сейчас прыгает, — сказал Хасан Юфче. — Как порешим? Будем щелкаться? Или?

— А чего щелкаться, — сплюнув, ответил Юфча. — Против твоей коды не по уму будет. Вон пусть Губа скажет, у него терки... Иди сюда, баловник, — позвал Гошу.

Гоша, как-то сразу поникший, вышел к Юфче, пробурчал:

— А я-то чего... Мне зарядили... Вон этот кудряш, — показал на Шурика.

— За базар получил, — перебил его Шурик. — В бухле ничего не помнишь? Хамил не по делу...

— Ну, чего предъявишь, Губа?

Юфча уже принял решение и спросил так, для завершения сходки.

— А че он благовал. Их сколько было... — вдруг воодушевился Гоша.

— Давай один на один... — сказал, широко улыбаясь, Юфча.

— Твое слово, Шуряк, — повернулся Хасан к Сашке.

Шурик не ответил, молча застегнул под горло молнию трикотажной куртки и шагнул вперед. Он был крепкий парень. Год занимался в секции вольной борьбы, а когда поступил учиться в художественное училище, секцию бросил, но шестнадцатикилограммовой гирей играл по три раза в неделю.

— Не-е, а чой-то, — вдруг побледнел Гоша. — Я на такой расход не подписывался. У меня с прошлого раза — ни кашлянуть, ни пукнуть...

— Че, слабо, очко жим-жим... — Юрча повернулся к Губе. — Ты, харя гумозная, все время в непонятки попадаешь, а нам за тебя отмазки делать...

Юрча говорил без нервов, сквозь улыбку. Я даже не понимал, как это у него получается: говорить злое и улыбаться. Спустя годы, вспоминая это, я пытался у зеркала улыбаться и говорить злые слова, и у меня не получалось.

— Ну че, с вас два ящика и расход... — решено сказал Хасан.

— Базара нет, — ответил Юфча. — Завтра здесь же...

И две толпы плавно рассосались с площадки. Их втянули узкие улочки пригорода, с переулками и тупиками, с короткими вьюжками тополиного пуха, с деревянными неровными палисадниками, туго опоясавшими спрессованную густоту сиреневых и жасминовых кустов, сквозь зарост которых по ночам просачивался из перекрестных деревянных рам желтый уютный свет, в котором плавали увеличенные гроздьи сирени и прозрачные пучки жасмина.

Звуки пригорода утишились к полуночи. Глушились магнитофоны, визгнув последней нотой, замолкали пластинки. Кое-где пробивал еще влажную тишину усталый разгул семейного праздника или просто разливанной вечеринки, собранной по какому-то им ведомому поводу. Нестройно, вразброд тявкали собаки. Гудела паровозными гудками трудолюбивая сортировка. С полуночи гудки прекращались, но слышен был металлический лязг сцепляемых вагонов.

К середине ночи темная извилина реки начинала масляно сверкать. От дальних фабрик кишками сточных труб, связанных с рекой, медленно тек мазут. Его вспененные разновеликие лепехи пятнали гладкую спину реки, цеплялись за редкую осоку, липли к берегам.

Утром в мелководных заливчиках, где купались дети, спекалось сплошное черно-зеленое ворсистое мазутное покрывало с нашатырным запахом.

И первые утренние купальщики ногами распинавали мазутный настой, направляя его ошметки в проточную часть реки.

После такой очистки купались в теплой коричневатой воде.

Иногда мазутный наплыв случался и днем, но это не мешало купанью: плавали, расшвыривая мазутные клочки руками, плотно сжимали рот.

Но бывали дни, когда вода в реке была чиста до прозрачности, словно и у нее случались праздники, и тогда, как ни странно, у черного дна сновали серые стайки непростой породы рыбок и на берегах появлялись пацаны с удочками и литровыми банками с водой. Мальчишки выдергивали скольцевавших от рыбьего ужаса беспородок, сняв их с крючка, пускали в банки, а потом, подняв банку, разглядывали темно-серых, большеголовых, с вытарашенными глазами уродцев.

Речка, лес, футбольные поляны — мир пригорода. Многолюдные улицы, переулки, тупички. В редком доме одна семья. Приделки, пристройки. И уж если свадьбы, похороны, проводы в армию, то такое несусветное столпотворение с песнями, плясками, слезами и причитаниями, с напутственными криками и ритуальными свадебными драками, словно бы

не было у людей ничего более важного на этот момент, кроме самозабвенного участия в чужом горе или торжестве.

11

На проводы Шурика, кроме гостей, в доме собралась толпа у окон. Провожали шумно. На дворе соорудили столы, дядя Володя нагнал самогона. Пили и напутствовали Сашку, и чем больше пили, тем больше советовали, как надо служить. Сашка почти не пил. Опрокинул стаканчик и шепнул мне: «Что-то не идет...» Сидел притихший, словно незнакомых, оглядывал гостей, улыбался, пребывая в своем затаенном мире.

Девчонки с улицы, с которыми он учился, дружил, ходил на танцы, не простили ему негритянку: на проводы пришли только трое, смотрели на Сашку подлобно и строго, а когда выпили, начали почему-то плакать...

Дядя Володя дошел до кондиции и начал истово развлекать гостей. Он доставал пальцами левой руки до локтевого сгиба, делал буквы Г крайней фалангой указательных пальцев и требовал, чтобы сделали так кто сможет. Гости пытались, но ни у кого не получалось. Двигал ушами и кожей головы. Условная фокусы, дядя Володя поставил стопку с водкой на землю, встал на голову у стены дома и, стоя на одной руке, влил другой рукой в рот содержимое из стопки, а встав на ноги, проглотил водку.

Но когда дядя Володя, повинувшись законам вдохновения, созданного одобрительными возгласами молодежи, с хрустом откусил край тонкостекольного стакана и стал жевать кусок стекла, в ошалевшей тишине вдруг раздался совсем не одобрительный голос тети Моти:

— Допился-та до стаканов! Хватит-та, иди выплевывай и больше чтоб ни капли-та!

Дядя Володя вытянул ладонь — тише! Сосредоточенно дожевал стекло, замер, двинул калдыком — проглотил стеклянный назов, встал и молча покинул застолье.

Мы с Шуриком знали этот фокус: дядя Володя не глотал стекло, он выплевывал содержимое. Но жевал стекло натурально, как,

впрочем, и лезвия бритв. Цирковая молодость и зона многому его научили.

А в толпе у дома женщины обсуждали негритянку. Они ее не видели. Видели совсем другие, когда шли с ночной фабричной смены и Шурик с негритянкой под ручку торопились на трамвайную остановку; те, кто видел, не поверили своим глазам и рассказали другим неповерившим, и пошла гулять то ли бьель, то ли небьель по фантазиям пригородных женщин. Каждый толкователь и передатчик добавлял что-то свое, и потому склублилась эта невероятная история в неоспоримый житейский факт, который, даже если и не был на самом деле, то, пройдя все степени жизненных истолкований, стал жить отдельной самостоятельной жизнью.

— Ведь красавенный парень, а сказался на что? — скорбным голосом просудачила одна.

— По-молодому-то дырку и в заборе найдешь... — игриво созорничала другая.

— Дак, когда женится-то потом на нашей, черненькие дети пойдут... — не унималась в скорби первая.

Стоявшие рядом женщины разом замолчали, переваривая сказанное.

— Вот Матрена-то горя хватит, — не унималась скорбящая.

— По-твоему, что, от негритянки Сашка родит? — съязвила озорная.

— А как у собак-то, — ровным голосом продолжала скорбная. — Породистый кобелек с дворнягой свяжется, а потом любую породистую подводи ему — кутята уж беспородные будут. А можа, и тут так же...

Бабы посмеялись, подумали и решили, что человеческая порода отличается от собачьей и никаких извращений не случится, если только Сашка не женится на негритянке. На том и порешили.

Из дома уже хлынула песня под гармошку. Одна сменила другую. Молодежь на дворе начала заводить свои магнитофонные песни. Проводы заглохли, как обычно, далеко за полночь.

А утром толпы провожающих на вокзале. Внутри этих толп, облепленные друзьями и подругами, стриженные наголо призывники. Провожающих и будущих солдат так много, что перрон узок и короток. Поезд уже стоит. Офицеры кричат номера команд.

Обнимаемся с Сашкой. Говорить нечего, да и незачем. Тоска торкается в груди на секунду, но эта секунда памятна всю жизнь. Офицеры и солдаты оттесняют провожающих от неровного, стриженного, рюкзачного строя новобранцев. Зеленые вагоны серыми узкими ртами дверей начинают размеренно проглатывать пацанов — посадка.

Из соседнего строя крик:

— Эй, кудряш! — Сашке кричит бритый, с синяком под глазом Гоша-Губа. — Послужим Отечеству!

— Гоша, не поминай лихом! — кричит Сашка. — После армии с меня пузырь!

— А с меня — ящик! — кричит Гоша и вдруг прорывается через строй солдат, бежит к Сашке и с маху обнимает его. Спешат два офицера с повязками, оттаскивают Гошу. Он плачет, матерится. Бормочет: «Это же мой кореш, кореш...»

Сашка проталкивается в вагон, с полуповорота от тесноты машет обеими руками, и через секунду на его месте уже другой парень пытается повернуться и оставить последний взгляд затерянным в сплошной толпе только ему близким и родным людям.

Двери вагонов защелкиваются. Поезд трогается и навсегда уходит.

12

В Мукачеве полк, где служил Сашка, ночью погрузили на Антеи. Двое суток до этого они находились в полной боевой, а на третью ночь: «Подъем, строиться, бегом!» И брюхатый Антей, словно кит, заглотил четыре бронетранспортера с командами и сотню второгодков — невыспавшихся и злых, но в предчувствии, что на этом наконец-то учения закончатся: сейчас где-то в поле выбросят, постреляют они холостыми и начнутся недели более-менее спокойной армейской жизни.

А «выбросили» их в пригороде Праги. Выдали по два «рожка» боевых патронов и маршем — в столицу Чехословакии, защищать завоевания социализма от капиталистических поползновений...

Первые русские слова, которые увидел Сашка на чужой земле в окно бронетранспор-

тера: «Акупанты, убирайтесь вон!» Эти слова выползли из утреннего тумана в своей будничной естественности, словно бы они не первый год багровели на серой стене этого неизвестного казенного ограждения. Сашка хоть и не был грамотеем, но узрел две ошибки в слове «Оккупанты» и сразу успокоился: ему показалось, что впереди, куда они направлялись, все несерьезно. Нельзя же принимать всерьез понятия, обозначенные словами с грубыми ошибками. Значит, писали малолетки, хулиганье, таких Сашка повидал в своей бурной юности, да и сам был не тихоня.

Их бронетранспортеры ехали за головным танком в центр Праги. Там были основные силы бузотеров — так нейтрально назвал восставших чехов замполит. Бузотеры обычно народец трусливый, покричат, побьют стекла и морды друг другу, а при виде силы разбегутся. Такую силу и представлял Сашка и его товарищи, и они осознавали это и из сонных и равнодушных превращались в возбужденных и целенаправленных. Когда приказ и цель этого приказа полностью осознаются и утверждаются в душах исполнителей, тогда победа будет обеспечена.

А что танки устроят бунтующих, Сашка и его товарищи не сомневались. Но какой-то маленький, черненький, кусачий червячок погрызвал это белое, восторженное благодушие, охватившее Сашку, и чем ближе подъезжали они к центру Праги, тем злее и кусачее становился этот червяк. Сашка разглядывал любовно ухоженные дома и тротуары, подстриженные и огороженные низкими коваными оградками деревья, витрины магазинов с выставленными в них незнакомыми товарами, спокойных, хорошо одетых людей, стоящих на обочинах и бесстрашно разглядывающих проходящую мимо них технику. «А где же эти шустряки, о которых говорил замполит? — думал Сашка. — Кого надо защищать?» Совсем близко к центральной площади он увидел разбитые витрины на первых этажах домов. Их закрыли деревянными щитами, и на одном из щитов уже знакомая, с теми же ошибками, надпись, но уже черной краской: «Акупанты, убирайтесь вон!» и красная звезда, обозначала, кто оккупанты.

Головной танк остановился, и командиру бронетранспортера передали по радию, что впереди — баррикада. Стояли с полчаса, а потом танк завернул башню с орудием назад, газанул, стал запрокидываться и короткими рывочками подниматься вверх. Он въехал на завал из телеграфных столбов, ящиков, старой мебели, железных бочек, набитых булыжниками. На другой стороне завала лежал свернутый набок красный трамвай с выбитыми стеклами. Танк перевалился, спустился с баррикады, ломая и коробя гусеницами хлипкий хлам, уткнулся бронированным рылом в трамвай и легко, невесомо сволок его в сторону, открывая дорогу бронетранспортерам.

Вдруг откуда-то сбоку, из узких прямых улочек, выходящих на площадь, словно пена из баллонов, напористо растеклись толпы людей. Они слились в большую колонну, которая быстро запрудила пространство перед баррикадой и въезжавшими в пробитую танком брешь бронетранспортерами.

Толпа кричала, свистела, махала кулаками, чехословацкими флагами. «Советы! Убирайтесь вон! Оккупанты! Свобода!»

Бронетранспортеры полукружьем охватили танк, а он стоял грузно и неповоротливо и, как медведь на завтрак, поворачивался вправо-влево, свистя гусеницами по брусчатке, угрожая насакивающим на него разъяренным и непугливым людям из толпы. А они уже стучали по танку палками и железными прутьями. Потом по какой-то им ведомой команде с палками и прутками отскочили и выставились другие, с бутылками и тугими бумажными пакетами. В минуту танк покрылся коричневыми ошметками с вкраплениями битого стекла и медленно стекающими по коричневым отекам бумажными комками.

— Напалм! Сейчас полыхнет! — испуганно сказал побледневший командир бронетранспортера старшина Витя Каблуков, тракторист из Шуи.

Бутылки и пакеты полетели и в бронетранспортеры: звяки и шлепы доносились снаружи.

— Сгорим на хрен! — снова запсиховал Витя.

— Десятый! Отставить, — донесся в наушниках голос командира роты. — Дерьмо от взрывчатки не отличишь, старшина...

Каблуков не отключил рацию, и командир роты капитан Вахроменко слышал его слова.

— Они же дерьмом нас кроют, козлы, — сказал механик-водитель Лошилов. — Его ж потом отмывать надо...

В минутной тишине раздался протяжный тихий вой и вдруг грохнул осыпистый хохот двенадцати здоровых глоток.

— Под говно попали-и... — стонал в смехе Каблуков. — Освободители-и...

Тяжелая вонь пошла в кабину. Сашка вынул носовой платок, смоченный в одеколоне «Шипр», прижал к носу. У кого были платки, сделали то же самое.

— С десятого по семнадцатый, слушай мою команду, — раздался голос командира роты. — Помалу вперед, вытесняем толпу с площади, не давить и оружие не применять...

— Они теперь на броню не полезут, — сказал Сашка, и все снова засмеялись.

Так, упорно, метр за метром, вытесняли взбудораженную толпу с площади на прилегающие улочки. Во второй половине дня включились в действие чехословацкие правоохранители. Они приехали на грузовиках. С грохотом откинули задние борта машин, и, словно кассеты, посыпались солдаты в касках, покрытых зеленой тканью (хаки) и в незнакомых мундирах: многокарманные куртки с застежкой на поясе, брюки, заправленные в высокие шнурованные ботинки на толстой подошве. В руках солдат были черные дубинки. По команде офицеров солдаты вытянулись в шеренгу и трусцой, гулко топая по камням, побежали на редущую уже толпу сограждан. Своих бунтовщики испугались больше, чем советских. Многие сразу скрылись в приплощадных улицах и проулках. Другие дождались приближения своих военных, предполагая остановить их, уговорить, объяснить, почему и зачем они вышли на площади, и гражданские чехи уже двинулись к солдатам, крича что-то им на своем бугорчато-шекающем языке, судя по жестам, в этих словах не было угроз, а было приглашение к разговору, просьба остановиться...

Военные, не останавливаясь, не раздумывая и не прислушиваясь, стали бить ближних дубинками. Били с выдыхами, с потягом, словно саблями. Вмялась шляпа на голове пожилого

чеха. Он упал, шляпа покатила. К нему нагнулся рядом стоящий. Он вытянул ладонь к солдатам, мол, подождите, я подниму его, помогу... Два удара дубинками по затылку и спине сочувствующего, и он упал рядом. Шеренга солдат переломилась в нескольких местах — ровному строю мешали упавшие от ударов. Солдаты пинали лежавших, перешагивали через них и, входя в раж, били в самые болезненные и убойные места. Упавшие стонали и корчились. Остальные побежали сразу, одним, слипшимся от ужаса, человеческим сгустком, не разбирая дороги, лишь бы укрыться в укромном месте, спастись от разрезающей тело боли от полученных ударов.

А солдаты догоняли их и били, словно заведенные машины.

Потом по команде офицеров военные прекратили избиение и погоню, схватили покалеченных и не могущих идти людей, затолкали их в грузовики и уехали.

— Вот вам и Европа, — сказал Сашка, очнувшись, словно от просмотра фильма. — Мы-то зачем здесь? Они и без нас вон как лихо управляются...

— А ты не бери в голову, Санек, — сказал старшина. — Мы приказ выполняем. Сейчас наша главная задача — говно после этих горлопанов смыть...

Опять посмеялись уж было над забытым и по команде тронулись с площади в назначенное место — на временную базу.

Эта улица, на которую свернули БТРы... Я помнил ее название. Его при каждой встрече повторял пьяненький дядя Володя. Старомятская. У дяди Володи, конечно, в названии было мясо. Он, перебрав, кричал, что поедет в это тухлое мясо и выправит его керосином. Тетя Мотя плакала и не обрывала, как обычно, мужа...

... Они въехали в узкий коридор высоких серых домов. По обеим сторонам улицы и на балконах стояли люди с цветами. Они кричали и бросали цветы на броню. Сашка откинул люк, высунулся на полтуловища. К ошметкам дерьма прилипли лепестки тюльпанов, оторванные головки роз, каких-то других цветов, похожих на незрелые подсолнухи.

Клубился тошнотворный тухло-дерьмово-цветочный запах.

Сашка сволок кожаный шлем, мокрые белокурые, по-армейски короткие волосы опухнул прохладный, отравленный заграничными гостинцами воздух. Вдруг он увидел на медленно подплывающем балконе пятого этажа двух девушек, придерживающих на перилах огромный букет из чайных роз. Одна из пражанок прижимала к груди ладошки и театрально вытягивала руки именно к Сашке. «Мне?» — показал он рукой. Девушки часто закивали красивыми распущенными волосами: «Да, да, тебе, руссо Иван, только и единственно тебе, наш дорогой славный защитник. Мы готовы тебе отдать все, даже нашу девичью честь (коли она еще сохранилась), как отдавали в прошлую войну всю благодарную женскую горячность наши мамы и бабушки. Тебе, Иван, тебе...»

— Тормозни под балконом! — крикнул Сашка механику-водителю. — Этот букет перебьет все запахи.

— Ты бы лучше чувих поймал... — крикнул механик, но ход сбавил.

Букет оторвался от перил балкона. Сашка раздвинул руки, готовясь поймать его. Он не сообразил, почему букет летит к нему так быстро и перевязанным пучком стеблей вниз.

В последнем земном мгновении он помнил царапающую колкость срезанных стеблей на щеках и лбу, взрыв в правом глазу, боль, ослепление и переход в другой мир, где он плавал в красной воде, летал в красных облаках, бегал по красному лесу и красный Женька Виноградов все дразнился красным языком...

В букет роз был ввязан ротор от электродвигателя. Вал ротора проткнул голубой глаз Сашки, вошел в мозг и выключил Сашкину жизнь.

А потом все уже было бесполезно. Бесполезен утробный выкрик старшины... схватившего автомат и выскочившего через второй люк наружу. На том балконе уже никого не было, бликовали закрытые двери и окна. Старшина, побледневший до синих губ, чиркнул короткой очередью по балконным дверям и окнам той квартиры — взметнулись серебристыми звездочками стекла, осыпались осколочным звоном на брусчатку. Шарахнулись с соседних балконов люди. Старшина хотел было бежать

во двор и выйти на ту квартиру, но крик механика-водителя: — В госпиталь надо! — вернул старшину в машину, и БТР, рыгнув черным дымом, набирая скорость, помчался на базу.

Все было бесполезно: и смена намокших кровью пакетов, и крики:

— Санек, держись, счас приедем!

У своих два санитара и бойцы вынули из машины выпадающее из рук, тяжелое тело Сашки, положили на носилки, подъехавший врач в майорских погонах, встав на колени, сдернул с лица Сашки красный сочащийся пакет, а затем медленно уже поднялся, сбил с колена песок и сказал буднично:

— Бесполезно...

Тело Сашки переправили во Львов, а оттуда «груз-200» в запаянном гробу прибыл в дом, где Сашка родился, к отцу с матерью.

Наград Сашке не было, только благодарственное письмо от отцов-командиров да дежурное: «Погиб, выполняя свой долг...»

Кому был должен Сашка? И что это за долг такой на чужой земле, цена которому жизнь?

На военном грузовике привезли гроб. В этом запаянном пенале лежал Шурик, тот голубоглазый желтоволосый Шурик, некогда живое всех живых. «И хорошо, что я не вижу то, что там лежит... — вдруг в какой-то распахнутой откровенности подумал я и не устыдился этой мысли, а, наоборот, тут же оправдал ее: — Там — не он, и я не принимаю его, мертвого. Там уже не он... Он во мне и вокруг этого двора, дома, улицы, пригорода, в небе, в воздухе. Он на наших лесных тропинках и грибных местах, он в речке и в своих рисунках. Он в той таинственной и не достигаемой живыми оболочке, окружающей нас, учуствованной нами лишь тогда, когда умирает любимый человек, и растворяется его душа в этой оболочке, и мы, живые, ощущаем это».

Дядя Володя с молотком и зубилом рвался к гробу, требовал вскрыть его, но его держали, оттаскивали, а он плакал и кричал, что там не его сын, а чужой человек, потому что не может такого быть, чтобы Сашка был мертвым...

Несколько раз в жизни я чувствовал эту запредельность, несколько раз приоткрывалось мне нечто необъяснимое, словно щелочка в неведомо-

мый мир, совершенно не похожий на наш. В эти минуты я ощущал странную радость, я вдруг понимал, что я не один: рядом, вокруг меня и во мне тот дорогой человек, которого я сейчас хорошо, и он дает мне понять, что он уже вечен, ему хорошо, не надо скорбеть и плакать по нему. Это было какое-то противоестественное состояние. Оно не вязалось с общим гнетущим состоянием горя. И когда я, уйдя в память, скукожился с Шуриком на тормозной площадке товарного вагона, а на знакомом завороте рельсов, когда состав стал притормаживать, крикнул ему: «Прыгай!»

На меня глянули удивленные лица провожающих, и я понял, что крикнул громко, не в памяти, а наяву.

13

Меня не взяли в армию. Я слезно просил майора на последней призывной комиссии. Майор, наклонив светло-русую голову с круглой, словно чайное блюдце, бледной лысиной, напряженно писал в папке с моими призывными документами.

— Все, парень, — оторвался наконец от писанины и, совершенно не слушая меня, сказал майор. — Учись, работай, тренируйся. Жаль, конечно, что такой экземпляр не у нас, но закон есть закон...

Он схлопнул папку и отложил ее в низенькую стопу других папок, наверное, с такими, как я, «экземплярами»...

По закону, я один у престарелой матери и поэтому должен быть при ней. Но мать не болела, еще работала и по моей просьбе пошла в военкомат просить, чтобы меня взяли в армию.

Не взяли. Сказали матери: «Ты сейчас здоровая, а через неделю... Вот если он женится, тогда возьмем. Будет за тобой сноха приглядывать...»

На что мать по-простецки ответила, наверное, тому же майору: «Вона какой умный. Я и без вашей снохи проживу».

Почти все парни-одногодки ушли служить. Пригород опустел. Подрастали помоложе, но они были другие, у них была своя компания и свой мир.

После смерти Сашки я еще раз пришел в военкомат.

— У меня друга убили! — с ходу вклеил я все тому же плешивому молодому майору. — Я хочу служить!

— Кого убили? Где убили? — недовольно спрашивал майор, верно уже забыв меня с прошлой встречи.

Я рассказал.

— Документы уже оформлены, у тебя отсрочка... Но пойдем к военкому, как он решит, так и будет.

Военком в полковничьих погонах в жестком кресле под портретом Брежнева выслушал майора и меня. Военком был худощавый, морщинистый, желто-седые волосы были прилизаны назад, на лбу — лесенка морщин, и, когда он нас слушал, лесенка эта двигалась, изгибалась, остроугольно топорщилась и даже растягивалась почти до полного пропадания. Он закурил «Беломор», щурился от дыма, сдувал его в сторону.

— Значит, идешь в армию, чтоб мстить за друга? — вдруг спросил меня.

Я так прямо не думал, военком попал в точку.

— А кому мстить? — спрашивал военком. — Как ты выбирать будешь, кого надо положить? Всех чехов очередями... Это мы с немцами воевали — за друзей, знали, кого в землю вгоняли, а тут? Одни цветы кидают, другие гранаты. Да и завершается эта акция. Все там наладится скоро. Ты лучше чехов на ринге колоти... А друг... Так он погиб, выполняя свой воинский долг... Честь ему и хвала.

Военком встал и пожал мне руку.

— У меня столько друзей в войну погибло, что я бы должен до сих пор эту нацию искоренять, но мы люди, а потому живи и за него...

И я стал жить дальше. Каждый миг вспоминая его, живого и веселого.

14

Предпоследний раз я был в Вильнюсе, когда «национальное самосознание» литовцев кипело и клекотало. Неограниченная никакими барьерами, эта кислотная масса разъедала и растворяла все разумное и сопереживательное в людях. Выхлестывала из подворотен на некогда тихие улочки толпы опоенных свободой людей, рушила уже, казалось бы, за-

цементированный уклад, ломала условия и условности.

«Независимость» и «оккупанты» — эти два слова определяли жизнь литовской столицы.

Независимость бросалась в глаза на каждой улице: все вывески на магазинах и учреждениях были на литовском языке, а не на двойном, как раньше: «Дуона — Хлеб», и хлеба в магазине иногда не было, две продавщицы в синих униформах совсем по-русски лежали на прилавке и ждали привоза. Я даже обрадовался этой родной ивановской картине.

Я шел с вокзала по знакомым улицам и улочкам и в этой природной за многие годы тишине чувствовал какую-то едва слышно гудящую наэлектризованность, словно к тяжелым домам присоединили высоковольтные провода и дозированно пускали ток. Но, может быть, я ошибался, может быть, ток был во мне, а эти серые грузные дома, наоборот, затаились, и тайная дрожь ожидания чего-то неведомого передавалась мне. Было странное чувство ожидания неожиданного.

В киоске на проспекте уже Гедеминаса, а не Ленина, знакомая длиннолицая бледная киоскерша как будто узнала меня и даже улыбнулась, когда я по-литовски поздоровался с ней: «Лабадена!» Но когда я по-русски спросил газеты «Советская Литва» и «Тиеса» по давней привычке покупать именно эти газеты, лицо женщины окаменело, легкая изломинка паутиной дрогнула по ее губам и щекам. Она выдернула из стопки газет «Тиесу» на литовском языке и на грани приличия почти швырнула ее мне.

На первой полосе карикатура в духе Кукрыниксов: краснозвездный солдат душит литовца-хуторянина и вопрошает: «Теперь ты чувствуешь, что такое свобода?!»

Тетя, надев очки, читала газету и пересказывала мне содержание. Возмущенно комментировала особенно лживые, по ее мнению, строки:

— Свобода! До сорокового года здесь полреспублики батраков было. Нищета полная. Вытащили, обучили, понастроили, а теперь — мы оккупанты! Как жили они и как жили вы? — вопрошала она. Тетя уже не причисляла себя ни к ним, ни к нам, она, как третьейский судья, приподнималась над ними и нами и выносила приговор: они — жили, а мы — выживали. Хотя она пятьде-

сят лет была частью этих хорошо живущих людей, но они обидели ее так, что она отделила себя от них и стала упрекать за сытую, бездумную жизнь. Не примкнула она и к нам, выживающим, потому что была вынута из нашей российской жизни на долгие годы, а, приезжая в отпуск, чувствовала себя здесь неуютно, непривычно, и через неделю-другую ее тянуло в Литву.

Заканчивались такие рассуждения короткими беспомощными слезами. Снимала очки, вымакивая платком глаза: «Кявля... Это не мы, а они кявли...» — говорила почти шепотом.

Натан Григорьевич, наживший еще одну язву и уже начавший лысеть (седые волосы, словно сухая осока, дыбились над беленькой кругленькой лужицей плешины на макушке), еще больше обвисший и ссутулившийся, выражал свое отношение к происходящему предельно ясно и коротко:

— Бандиты! Сверху донизу одни бандиты! — и уж больше ничего не говорил на эту тему.

Тетя Тося все так же курила папиросы и готовила свои вечные супы с дымком. Только теперь она, прежде чем приступить к готовке, ругалась — в магазинах пусто, и теперь слово «купить» заменялось словом «достать».

У нее появился тяжелый мужской кашель, и она, особенно по утрам, грохотала с раскатами по всей квартире. Я с замиранием ждал, с какого же захода отхаркнет она коричневый табачный сгусток.

Бабушка перестала стареть, старость словно остановилась на месте. Я ее видел такой и пять, и десять лет назад. Только стала она белее и прозрачней, какое-то незримое остекленение произошло вокруг ее головы, как будто круглый матовый шарик-одуванчик приопустился на голову старушки да так и замер. Обман зрения происходил из-за тонких, паутинно-легких волос бабушки, которые выскальзывали из прически и беленькими былинками пушились над головой. Она так же споро и сутуловато ходила в костел на мессы. Конфеты внучке уже не приносила, потому что внучка стала взрослой женщиной. У нее был муж поляк, двое взрослых детей, и жили они в Тракае.

Пани Зося совершенно округлилась. Ходила она медленно, тяжело дышала, у нее болело сердце. От прежней Зоси в ней осталась этакая

блескучая задоринка. Она еще могла на что-то смешное вдруг зайтись дробным заливистым хохотом, но только на секунду, потом веселые шторы захлопывались на ее глазах и — грусть, быстрые слезы, тяжелое дыхание.

Иван, ее муж, умер, и эта трагедия едва не убила Зося. Тем более что виновной в ней была она. Иван, тогда уже отставник, работал инструктором по гражданской обороне в республиканской больнице. Приходил с работы и так же устало снимал теперь уже туфли и костюм, блаженно отваливался на спинку дивана. А поскольку болезнь Зоси была неизлечима, она так же придиричиво исследовала костюм и содержимое карманов мужа и закатывала сцену от какой-нибудь инородной соринки или чужого запаха.

Иван, совершенно лысый, морщинистый, ерзал слоеным затылком по прохладной коже дивана и, как прежде, улыбался, теперь уже металло-керамическими зубами. Однажды Зося в нарушение всех многолетних правил семейных стычек, войдя в раж, швырнула в Ивана скомканный пиджак — голова Ивана с лету окуталась пиджаком. Он прогудел сквозь ткань:

— Ну, бу-удет! — и вдруг: — Бу-у-у... — бульканье, хрип. Иван сполз со спинки, начал царапать сучковатыми пальцами кожу на сиденье.

— Попридурайся, попридурайся! — вздорным голосом продолжала сцену Зося.

Но когда белая майка мужа вдруг стала серой от мгновенного пота, она сдернула пиджак с головы Ивана и увидела чужое злое лицо со стиснутыми зубами и надвинутыми на удивленные глаза бровями. Он еще мычал, пытался вдохнуть, но вдох не получался...

Зося так дико, животно закричала, что соседи поняли — это уже не игра, и все, кто был дома, выскочили к Зосе.

Когда скорая приехала, Иван уже умер, и лицо его из злого разгладилось в спокойное и душевное, каким и знали его соседи многие годы.

Зося пыталась покончить с собой. Долго лечилась. За короткое время постарела и лишь утешала себя тем, что скоро, может быть, увидится с Иваном там... Конечно, если он ее простит и примет.

Марта как будто только временно постарела. Серая скорлупка увядания, покрывающая ее облик, вдруг растреснулась и осыпалась, разорван-

ная неведомой силы и живительности соками, которые невесть откуда возникли в ней, омолодили ее и вернули утраченные силы.

Ее хрящеватое сухопарое тельце выстурилось. На своих коммунальных сожителей она смотрела отстраненно, отодвигала их от себя холодным проволочным взглядом голубовато-матовых глаз. Здороваться она стала исключительно политовски, проюзывая фразу сквозь зубы, и как-то само собой возникло чувство, что вслед за произнесенным добрым пожеланием она затаенно накликала чертовщину.

И в одежде Марта омолодилась: джинсовый костюм, черный свитер-водолазка, кроссовки — летом. Зимой — куртка-дутыш и шнурованные меховые ботинки на рантованной толстой подошве. Весь этот «прикид» был удобен для суетной, мобильной жизни, которую и начала вести Марта. Из дома она уходила утром и приходила поздно вечером. И чем бурливее кипела жизнь в городе, тем дольше пропадала где-то Марта. Часто ее не было дома и ночью.

Рассекретил образ жизни Марты Натан Григорьевич:

— В банду вступила... — сказал он на кухне. — Саюдис... Паханы — Бомбергис и Мускене... Телевизор включите и увидите их рожи.

Действительно, депутаты Верховного Совета СССР от Литвы маячили на экранах каждый день. Бомбергис, похоже, сознательно ломая русский язык, масляным полуголосьем говорил о свободе и независимости литовского народа, о жутких гонениях и геноциде, о пакте Молотова — Риббентропа. Он почему-то прятал глаза, был похож на героя диккенсовского романа в карикатурной иллюстрации.

Ему вторила госпожа Мускене, женщина дородная, тугокровная, присадистая, у нее была квадратная нижняя челюсть с обратным прикусом.

Мелькали и другие воспаленные жожаки. И все они говорили о свободе и независимости.

Марта старалась не появляться на кухне вместе с соседями, но однажды она словно бы нарочно выследила мою тетю и сказала с уже явно проступившим акцентом:

— Елизавета Ефимовна, ви понимаете, какое настало время? Я думаю, ми не будем поминать прошлое время, я не намерена говорить о нашей

– той работе: ни вашей, ни моего начальника Натана Григорьевича, и вас прошу не помнить меня вместе с вами...

Тетя Лиза пожала плечами:

– Мне некому говорить о нас, да и незачем. А ты, Марта! – прорвалась в ней та деревенская природная прямолинейность, которая была главной чертой ее сестры (моей матери), – могла бы и не выкатать. Мы, считай, почти полвека на этой кухне, и вроде бы ни я у тебя, ни ты у меня из кастрюль не воровали! Чего ж мы теперь-то делить будем?

Марта не ответила. Она посмотрела на тетю Лизу совсем уже блеклыми, как тогда перед выстрелом в убегающего собрата, неживыми глазами. Как-то странно улыбнулась, отрешенно и обреченно, словно вынесла себе окончательный приговор, а изменить его нет уже ни сил, ни желания. И, выходя с кухни, полуобернувшись, утвердительно произнесла:

– Я думаю, ви поняли...

Дальнейшие их отношения были на уровне: «Лаба дена». – «Здравствуйте, Марта».

Тетя Лиза прошептала их разговор Натану.

– Да она ж бандит! – загремел Натан. – Она ж крови хочет. Она ж вкусила крови и крови хочет, она кровавый наркоман!

– Тише, тише! Кругом уши, – шипела тетя Тося.

– Бандиты, даже у нас бандиты! – уходил в тоску и скверное настроение Натан Григорьевич.

Благочинная жизнь большого города была скомкана. Словно палкой в кристальное блюдо родника, на холме Гедеминаса взбаламутилась тина с песком. Ржавью и серой полосатой рванью забурлила доселе прозрачная струя, и не видно стало пульсирующего живчика студеной светоносной воды.

На центральной площади города перед зданием Верховного Совета зачидили ночные костры, и толпы с плакатами на русском и литовском языках, сменяя друг друга, круглосуточно требовали свободы и независимости. Молодые белобрысы литовцы, в одночасье ощутив в себе «национальную идентичность» и воспылав «национальным самосознанием», орали до охриплости глоток в высокие окна серого здания: «Доло-ой! Оккупанты, во-он из Литвы!»

И моя тетя, «оккупант» с сорокалетним окку-

пационным стажем, глотала таблетки и плакала очередной порцией бессильных слез.

– Лизочка, – как-то вечером не выдержала тетя Тося. – Ты, наверное, тоже думаешь, почему мы не уедем с Наташей в Израиль? Таки я отвечу! Кому там нужны наши несвежие остатки. А он идейный майор кегебе! Для него Родина не кошерная еда, он слезами плачет по прошедшей жизни, он свое еврейство променяет скорее на Сибирь, чем Иерусалим.

– Тося, ну почему я должна так думать! – обиделась тетя. – Ты мне вбиваешь в голову свои мысли и с ними же споришь!

– Лизочка, прости, но сейчас все так думают и даже говорят: раз евреи, значит, у нас есть хороший запас... А это не так – не все евреи живут чужой мечтой!

– И слушать не хочу! – возмутилась тетя. – Тебя ругать надо, а не убеждать!

Вечером постучал Натан:

– Лизавета Ефимовна, Лизочка, ты прости нас и мою Тоську. Она плачет и говорит, что обидела тебя и ты ее не хочешь глядеть...

И тетя говорила Натану, что она никогда так не думала и не думает, а если они будут каждую минуту говорить ей об этом, то начнет так думать.

Тося слушала в конце коридора из-за двери, и, когда Натан сказал, что отсюда он уедет только на Каролинишки (кладбище), она, всхлипывая, вышла из квартиры, в обхват обняла мою маленькую тетю, приговаривая:

– Он таки сделает это дурное дело, а я как без него!

И, возвышаясь над тетей, мочила ее седую укладку безудержными слезами.

Потом они пили чай с наливками и настойками. Впрочем, Натан отодвинул чашку и опрокидывал тонкие крохотные рюмочки в треть глотка без чая. Тетя Тося, счастливая от того, что о них соседи не думают плохо, раскрасневшаяся и веселая, рассказала смешную историю о мяснике, который уснул за прилавком, и перед его головой какие-то хулиганы поставили табличку с надписью: «Голова козла. Бесплатно!»

Так они успокаивали себя. Но надвигалось что-то неведомое и жуткое. Все, что творилось вокруг, не поддавалось давно устоявшейся логике. Жизнь вокруг становилась чужой, холодной, непредсказуемой.

Первый месяц зимы был злым — малоснежным, морозно-ветряным, часто шурхала по голым веткам лип снежная крупа, брусчатка покрывалась ледяными островками. Холм Гедеминаса, облысевший и съездившийся, с редкой проседью скупого снега, чуточку оживляемый разве что редкими прострелами зеленых елей и елочек, багровел на макушке своей вечной башней, на которой уже мерз на прихватистом ветру национальный литовский флаг...

С вечера холм вместе с городом уходил в темноту: разбитые прожектора не подсвечивали башню, как раньше, и на улицах города из-за экономии не горели фонари.

Я поднимался по проспекту уже переименованного Ленина к площади его имени. У здания консерватории, светло-серого, в отличие от других, темных, движение по улице было перекрыто двумя гаишными «Волгами». На площади, на проезжей части дороги, в сквериках возле памятника стояли организованные толпы людей. Именно толпы — колоннами их назвать нельзя, потому что люди отделялись от одной толпы и встраивались в другую. Переход из одной толпы в соседнюю был больше из любопытства, нежели по идейным признакам. Почти в каждой такой толпе были ораторы, одни говорили по-литовски, другие — по-русски.

Раздвигая людей, на площади двигался к памятнику Ленину тяжелый десятиколесный кран. Он измял красную дорожку из тертого кирпича, исковеркал гранитный поребрик, огораживающий клумбу, погнав солярочной вонью, остановился метрах в десяти от памятника. Шофер и помощник выдвинули и закрепили две упористых лапы сзади машины. Стрела крана поползла вверх и нависла крюком над головой Ленина, расстрелянного ночью черной краской пьяной компанией студентов Литовского университета.

Металлический трос в три обвива опоясал туловище памятника, крюк короткими рывочками натянул трос. Стрела крана напряглась, слегка прогнулась, лапы, скрипнув, вмялись в грунт, разрывисто хрястнув, монумент задрожал, оторвался в коленях от ног, наклонился ниц, тяжело вращаясь и покачиваясь, повис на тросах. Кран с постреливающим скрипом отодвинул скульптуру от постамента с ополовиненными ногами и не тормозя швырнул покалеченное туловище Ле-

нина на красную площадку сквера. Вытянутая рука вождя воткнулась в грунт, от многотонной тяжести сломалась в локте, голова ткнулась в кирпичную посыпку.

Вопли, свист, крики, хлопки.

Я краем глаза видел, как справа и слева от меня беснуются молодые люди. Это был экстаз, вождение, перешедшее в оргазм. Девушка с распущенными желтыми волосами, бледная, с открытым мокрым красным ротином, полизывая надутые губки шустрим язычком, издавала не крики, а вопли, переходящие в хрип, она стискивала сухонькие кулачки, прижимала их к груди и перетаптывалась на месте тонкими ножками, словно собиралась куда-то бежать. Ее замутненные голубые глаза горели каким-то интимным оголенным огнем.

«Уже раза два кончила, — хамовато подумал я. — И этот вон, рядом с ней тоже...» Парень, рослый, волосатый, с раздвоенным на кончике носом, яростно жевал резинку, раздувал ноздри и сопел. И никто из них не глядел друг на друга и на толпу, а только на поверженную статую хрестоматийного вождя, и кайфовал.

Мне было жалко свою сорокалетнюю память, где был идеальный Ленин, а вместе с ним свое детство, юность и взрослость, и детство и юность Сашки и Женьки. Ведь его имя было впаяно в нашу жизнь навечно, а потому кровно природно, и не думали мы — нужен нам Ленин или нет. Как не думали, нужна нам мать или отец.

И еще было обидно, что никто не заступился за него, за этот, как мне казалось, вечный на этой площади памятник.

Хотя, с другой стороны, выступить против этой оргазмирующей толпы с холодными рассудочными словами упреков было бы самоубийственно. Это все равно что сунуть руку в котел с клокочущим паром.

На спину памятнику вскочил литовский мужик и под накатистые завывы толпы стал колотить молотом по затылку, спине и плечам вождя мирового пролетариата. «Вздымайся выше, наш тяжкий молот...»

Летели искры, сыпались осколки, агонизировала толпа. Подумал о мясниках-людоедах, разделяющих тела... Провинтился сквозь крики, толчки, запах водки и пота на проспект, а рано утром в Вильнюс вошли танки.

Я твердо решил завтра же уехать из этой ошалевшей, независимой страны.

Ночью не спалось, вышел на кухню и услышал странное редкое гуханье с чередованием какой-то киношной пулеметной дробы. Звуки прорывались из-за реки, оттуда, где был телецентр с башней. Небо лизали широкие всполохи, и даже казалось, что выдергивались из этих звуков отдельные людские голоса.

На кухню вышел Натан Григорьевич покурить.

— Желудок, желудок... — сказал привычно и, кивнув на окно, сдавливая голос, продолжил, стараясь быть безразличным: — Приятель звонил, бой у телецентра идет, натурально стреляют по людям... И ты до войны дожил...

На кухню потянулись соседи: надрывно кашляя — тетя Тося в желтом китайском халате, моя тетя — в синем фланелевом, тетя Зося — в шелковом до пят, за ней — бабушка в меховой безрукавке, накинутой на серый оборчатый сарафан.

— Неуж-то снова война! — выдохнула Зося и заплакала, тут же вспомнив Ивана и свою молодую жизнь с ним.

— Не будет войны, — уверенно сказала бабушка. — Господь уж испытал людей большой кровью.

— Ах, пани Ядвига, вы со своим Господом! — раздраженно сказал Натан Григорьевич. — Вы про него вон этим бандитам расскажите, — он почему-то кивнул в глубь коридора, и все поняли, о ком идет речь. — Сколько натворили и творят, а где перст наказующий?

— Всеу свое время... Всеу свое время... — перешла на шепот бабушка. — Ничто без божьего промысла на земле не делается... Не ропщи, Натан Григорьевич, а принимай...

— Я и принимаю, пани Ядвига! Только не конец это, а только начало.

— Не ропщи, Натан Григорьевич... — шептала бабушка. — Все сроки расписаны, ничего нового нет, все ведомо... — Она, мягко шаркая, первой ушла с кухни. Ушли Тося и Зося. Я остался с Натаном. Он тер ладонью живот и морщился — язвы заболели хором.

— Нервы, нервы, — страдальчески говорил он. — Это вон бандитке все нипочем, — опять кивал в темноту коридора. — Я секрет тебе скажу... Хотя какой это секрет, но ты даже между собой не говори... Марта у бандитов инструк-

торша. Да-да, я узнал, и в меня плюнули из прошлого! У них в Саудисе боевики есть, и она их обучает стрельбе. Свою именную винтовку Мосина, из которой она лесных бандитов успокаивала, унесла туда, на ней учит. Сколько она положила в войну и своих и чужих — не перечесть! И в партии, и награды боевые, и винтовку на вечное хранение вручили... Я так ее командир был, я о ней все знаю, вот она и молчит обо мне и твоей тете. Эта банда архивы будет рыть, а там наш послужной список... Себя она сумеет выкрасть, а вот мы...

— Так вы ж с фашистами воевали! — искренне вырвалось у меня.

— Именно, что воевали, а теперь они к власти приходят. Сгрызут они, Сережа, нас, ох, как сгрызут!

На следующий день только и говорили об убитых у телецентра. Жертвы — мирные литовцы, убийцы — советские десантники.

Через неделю неведомыми путями пробилась в эфир новость: стреляли в толпу скорее всего не военные, а неведомо кто из оружия времен Отечественной войны и в том числе, судя по найденным гильзам, из винтовки Мосина...

Ехал в Москву в полупустом вагоне. Проводница, сунув билет в ячейку кожаной сумки с номером места, сказала как-то безразлично:

— Последний раз, наверное, так едем. Скоро только по загранпаспортам, нас уж предупредили...

Снарядил непросохшим бельем вагонную постель и уснул до Белорусского вокзала.

Через месяц от тети пришло письмо: «Живем весело, — писала она. — На улицах толпы людей, митинги, в магазинах пусто. У меня два важных события: в ЦК на совещании мне вручили знак «50 лет в партии». Вручал секретарь ЦК КПСС О.Сенин. Дали премию 50 рублей. И второе событие: нас всех выселяют из квартиры. Отыскался наследник хозяина этого дома. Живет он где-то в Америке.

Так что буду перебираться на Родину, если, конечно, вы не против...»

И вот я последний раз в Вильнюсе. Новый владелец дома выдал каждой семье компенсацию. Бабушка с Зосей перебрались к внучке в Тракай. Натан с Тосей купили квартиру в новом районе города, а моя тетя через родных

вселилась в коммунальную квартиру на первом этаже панельного дома в областном центре России. Это все, что она смогла купить на доллары, выданные ей хозяином дома.

Пожитки тети уместились в один контейнер.

Марта оставила свою комнату раньше всех.

— Съехала, не попрощавшись, — сказал Натан.

Но простилась Марта только с бабушкой. Дали Марте отдельную квартиру близко к центру города.

— Заслужила... — многозначительно констатировал Натан Григорьевич.

Прощались на кухне. Сдвинули стол к центру. Выпили по рюмочке, поглядели друг на друга и заплакали. Разом охватив все то время, когда я в разные годы гостил здесь, и этих людей, проживших каждый свою жизнь по-своему, их незаметно пришедшую старость, а вместе с тем и ненужность приходящему новому миру, я понял, что не увижу их никогда на этой вот кухне с четырьмя столиками под разноцветными клеенками, не почувствую особый хлебно-котлетный запах, за десятилетия пропитавший эти тяжелые пористые стены, не буду, пусть на короткие промежутки, участником их жизни.

Поцеловались со всеми по очереди в прихожей, тетя Гося всхлипывала и кашляла, Натан говорил:

— Ничего, ничего, бандиты долго не протянут...

Зоя макала платочком глаза и пыталась улыбнуться. Бабушка была спокойна, она всплакнула, но как-то скоро пришла в себя. Перекрестила нас, поклонилась, сказала обреченно:

— Значит, время настало камушки разбрасывать, — и сутуло, обыденно, узнаваемо прошаркала в комнату, уже запруженную узлами и коробками.

Мы с тетей вышли в подъезд, дверь захлопнулась, и скоро тот мир растворился, словно кусочек сахара.

— Лизу-то как жалко, — часто говорила мне мать. — Жизнь прожила как барыня, а теперь? Это мне не обидно, я всю жизнь ломила внагнуг да ела вприжим. Жили порознь, а теперь рядком поплетемся к взгорочку с крестиком.

Через три месяца «учебки» сына направили в Чечню.

Жена, слглатывая слезы, зло высказала:

— Если с ним что случится — я тебе никогда не прощу!

Я был виноват в том, что не ходил в военкомат и не просил направить сына в спокойные части, а может, и совсем «отмазать» от армии. Мог бы я это сделать? Наверное. Я был знаком с военкомом и начальниками отделений. Писал о них очерки, и они даже намекали, что, мол, не надо там служить, — бойня! Но сын категорически отказался от моей помощи и пригрозил, что сам будет проситься туда. Учился он в техникуме, занимался спортом. Я гордился — в меня! К армии стал перворядником в легком весе. В армии спортрот уже не было. Его призвали в воздушно-десантные войска в Рязань, и мать успокоилась: Грозный от Рязани далеко.

Сын часто писал. Накануне отправки в Чечню позвонил и сказал, что едет в командировку. Мы с женой поняли куда, и жена высказала мне те обидные слова...

Два письма получили с интервалом в десять дней. Сын бодрился, успокаивал нас, особенно мать. Третье письмо пришло через месяц из Ростовского госпиталя. Почерк незнакомый, волнообразный, словно листок из школьной тетради плавал под ручкой пишущего: «Легко ранен. Уже пошел на поправку. Недели через две, может быть, выпишут...»

— Весь в тебя, — сказала жена. — Будет страдать, а правды не скажет! — и через день уехала в Ростов.

Вечером я получил от нее телеграмму: «Срочно выезжай сыну...»

Словно попал в фильм о войне. В зеленом дворе госпиталя, обнесенного высоким кирпичным забором, гуляли перебинтованные молодые люди. Они сидели на лавочках, ходили по тропинкам и газонам. Руки и ноги в гипсе, костыли и клюшки, хромая и шаркая. Белые шары забинтованных голов, дым сигарет и тягучий кашель.

Назвал в регистратуре фамилию.

— Третий этаж, седьмая палата, — ответила сестра. Мне показалось, как-то пристально поглядела на меня.

И — словно чужая жизнь, только с родными лицами. Сын на высокой шарнирной койке. Обтянутое коричневой кожей лицо с выпирающими скулами, провисшими щеками и чужеродным острым носом. Улыбнулся кроваво-красными деснами без передних зубов. Губы в черных коротких швах, испятнаны зеленой. Глубокие ямки на плечах между лопатками и ключицами, в них зримо торкалась в белую, влажную кожу кровь.

Жена, постаревшая, с серым налетом на некогда ярких щеках, глядела воспаленно и неулыбчиво на меня. Вот, мол, погляди, что ты сделал с сыном!

Вспомнил ее упреки.

— Батя! — сказал сын и заплакал. Он плакал по-детски взрыдливо, стараясь задавить всхлипы, но от этого старания они, наоборот, дробились на частые и безудержные. Он хватывал воздух коротенькими порциями, а выдыхал сплошным горячим выдувом, отворачивая голову к стене.

Жалость и беспомощность охватили меня. Что я мог сказать, кроме слов успокоения и утешения? И я говорил эти слова, надеясь, что они, словно самые подручные лекарства, на время уймут боль сына.

Он наконец подавил плач. Покосился на соседние койки, их в палате было еще четыре, но только на одной лежал раненый. У его кровати стоял штатив с гирляндой бутылочек, из одной тянулась трубка к жилистой худой руке. В ополовиненной бутылочке всплывали мелкие бусинки пузырьков — капельница. Раненый спал или делал вид, что уснул.

Сыну было стыдно за эту внезапную, несдержимую слабость. Мать выпирала его лицо ватой, но сын отфыркивался, крутил головой, знакомо по-ребячьему мычал:

— Ну-у, ма-а-ама!

У него было пробито легкое, он тяжело дышал. Изменился и голос — в нем сухим тальком хрустела легкая хрипотца.

Хирург сказал при сыне бодро, что поставим на ноги, будет бегать и целоваться с девочками. У себя в кабинете, словно бы извиняясь за бодрость, говорил о том, что половину легкого не удалось спасти, лечение будет долгим.

Жена плакала.

Сына наградили орденом Мужества. Полгода

мытарился по госпиталям. Кое-как подлечили, и в двадцать один год инвалид локальных боевых действий был возвращен в мирную жизнь.

Говорят, от долгих страданий люди добреют. Может быть, с годами, к старости — да. Но сын стал неулыбчивым и злым. Он не мог смотреть телевизор. Кашляя и задыхаясь, шарил рукой ингалятор, не отводя глаз, блестящих от близких теперь слез от экрана, поносил срамными словами депутатов, политиков, предсказателей, патриотов и демократов.

— Их бы, сук, в Грозный, — кричал он. — Я бы посмотрел, какие кошачьи песни они запели бы. Подлюги!

Я, как мог, успокаивал его. Говорил о высших задачах, о Родине.

Сын смотрел на меня с удивлением, переспрашивал:

— Ты что, серьезно так думаешь? Ты, отец, прикалываешься, что ли?

И чем серьезнее, как мне казалось, я говорил, тем злее сын отрицал мои слова. Он не верил, что я говорю искренне.

— Значит, отец, ты оправдываешь то, что меня Родина, как ты говоришь, сделала инвалидом, никому не нужным, отработанным шлаком? Ради чего?

— Но ты же принимал присягу, — отвечал я. — А на войне, к сожалению, не избежать жертв.

— Я присягал Родину защищать, а не лезть завоевывать эту средневековую черноту! Кто меня туда послал? Зачем?

Я опять говорил, что если бы... то...

— Знаешь что, отец, я тебе скажу про Родину. У тебя Родина — это долгая память о хорошем. Это тебя держит. А у меня о хорошем короткая память: мать, ты, школа и друзья, а дальше — дерьмо несусветное, вранье и подлость, и я не верю этой Родине, не верю в ее правоту, справедливость! Хотел бы верить как ты, но не могу!

Я смотрел на сына и думал: «А Сашка, останься он живым после Чехословакии, так же бы говорил о жизни?»

— Когда ты родился, — сказал я, — у тебя уже было имя Шурик, Сашка, Санек. Я тебе рассказывал о своем погибшем друге. Иногда я думаю, что бы сказал он в сложные моменты жизни.

— Я тебе скажу, отец, что бы сказал мой тезка, твой друг, воротись он оттуда без глаза. Он

бы спросил громко, может быть, на всю страну: «Ради чего это?»

Он и сейчас задает тебе этот вопрос, только ты не слышишь. Где сейчас Чехословакия? Афганистан? Чечня? Твоя любимая Литва? Да все! Сколько ребят положили! А за это? Пошли вон, недочеловеки! — сын побледнел, задрожал: — Так вот я скажу... Будь у меня возможность, свалил бы я из этой Родины куда глаза глядят!

И снова я говорил, но, видимо, неубедительно, что везде хорошо, где нас нет. В чужих местах свои беды, и везде человек, если имеет душу, мучается от несправедливости мироустройства...

Сын начинал кричать, кашлять и плакать. Жена ругала меня, вводила от сына, зло, вполголоса высказывала:

— Ты что, не понимаешь? У него же нервы измотаны, психика нарушена, а ты как бревно! За чем споришь?

Я отвечал, что, если не спорить, он дойдет до страшного. «Хотя, — мелькало в голове, — что может быть страшнее, чем ненависть к родному?»

Однажды, зайдя в комнату к сыну, я почувствовал какой-то незнакомый сладкий запах. Дверь на балкон была приоткрыта, но аромат неведомого мне происхождения не исчезал на ощутимом в комнате продуве уличного воздуха. Удивительно, но сын был весел, оживлен, говорлив. Таким он бывал до армии. У него появились забытые мной спортивные движения плеч, корпуса, рук, словно он пришел с тренировки и не успокоенные еще мышцы продолжали заученно сокращаться. Сын ходил по комнате, покручивал плечами, делал «нырочки», как на ринге, иногда слева-справа наносил короткие удары по воздуху — бой с тенью.

— Влюбился или к тренировкам приступил? — спросил я.

— И то, и другое, и третье, все в одном флаконе, — с подъемом отвечал сын. — Оказывается, отец, ты прав, Родина иногда бывает и хорошей...

Мне не хотелось снова вязнуть в будоражащем споре, и я спросил о чужом запахе.

— А это лосьон новый, подарили, — отмахнулся сын и шире распахнул дверь на балкон.

Запах «лосьона» стал через день погуливать в комнатах.

Как-то вечером зашел приятель из редакции.

— Я на минутку, завтра вылазка на шашлыки, давай с женой и сына прихватывай. — Он стоял в прихожей, собрался было уходить, но потянул носом, странно посмотрел на меня, спросил: — Ты вроде не куришь?

— Здесь никто не курит, — удивился я. — Может, из коридора тянет.

— Проводи-ка меня, — попросил приятель.

Мы вышли в подъезд.

— Ты знаешь, что у тебя в квартире шалыгой пахнет?

— Не понял?

— Ну, шалыга, шмаль, дурьтрава, планк, марихуана... Любое определение на выбор, суть одна — наркотик! — Видя мою оторопь, он продолжил: — Я в Таджикистане служил, баловались иногда. Этот запах я из сотен отличу...

— Сашка! — выдохнул я

— Это между нами, — сказал приятель. — Жене не говори пока, а с ним побеседуй. Дело такое — затянет, не вырвется.

Я зашел к сыну. Пахло «лосьоном». Сын глянул на меня, словно почувствовал:

— Что, долгий разговор будет? — спросил, отвернувшись.

Худое, безмускульное тело, тяжелое дыхание, при вдохе проступают плоские серые ребра. Опять стискивает жалость, слова не идут. С трудом выдавливаю:

— Лишь бы мать не знала, добьешь ее окончательно...

Я понимаю, слова не избавят его от этой пагубы. Я чувствую бессилье, но пытаюсь схватиться за соломинку, спрашиваю наобум, с ожидаемой на авось надеждой:

— Давно ты... куришь? Бросить уж никак нельзя?

Сын долго молчит. В его легком, посвистывая, продувается жадно схваченный воздух.

— Бросить можно, — тихо, почти шепотом говорит он. — Но мучения начнутся снова. Я не могу их выносить...

Через полгода сын ушел в Николо-Шартомский монастырь. Год прослужил трудником, потом принял постриг и стал иноком.

В Святом писании сказано, что ставший монахом семи ушедшим поколениям из своего рода грехи снимет...

Лет через десять, навещая родителей Шурика, я вдруг узнал от дяди Володи новость. Как всегда пьяненький, он приглушенным голосом поведал мне, что к их дому подъезжала машина, а из нее вышла негритянка с пацаненком, и мальчишка этот был не такой густой черноты, как мать, а наполовину осветленный, главное же — у него были голубые глаза и короткопалые руки. Прошлись они взад-вперед перед домом, сели в машину и уехали...

— Ведь это ж внучонок наш был, сын Саши, — дядя Володя всхлипнул. — Оформить бы надо мальчика как внука, а то живет где-то в песках. Африка, мать ее...

— Так что ж ты не подошел к ним? — удивился я.

Дядя Володя обреченно махнул рукой:

— Да меня не было дома. Соседка, Катя, рассказывала! Где их теперь в Африке-то найдешь?

— Вот, вот, он и мне целую неделю об этом говорит, — вступила в разговор тетя Мотя. — А я не верю-та. Катю спросила, а она полуслепая, дальше носа не видит-та: то ли было, то ли нет...

— Было! — прогремел дядя Володя. — Это мой внук приезжал, а ты не веришь!

Тетя Мотя заплакала и ушла с кухни, а потом, прощаясь, шепнула мне:

— Совсем измаялся-та, пусть хоть так думает, лишь бы полегче ему было...

Я уже вышел к знакомой калитке. Но тут тетя Мотя, как всегда знакомо-тревожным голосом, остановила меня:

— Сергей, подожди! Самое-то главное забыли! Володя, где ты?

Дядя Володя вынес завернутый в газету сверток.

— Это его тетради, — сказал он, протягивая сверток. — Всякие записи. Там и о тебе есть. Сохрани. Мы-то что, а ты журналист вроде. Может, чего и напишешь о нем...

В горле у него перехватило, и он слабо махнул рукой с почти уже стертой наколкой заходящего солнца.

В свертке были две тетради. Первая — черная общая, провитая сбоку металлической пружиной.

На первой странице сверху — куплет из песни:

*Жить и верить — это замечательно,
Перед нами небывалые пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести...*

Посредине страницы крупно — «Дневник». И сбоку год — 1967. Первая запись в дневнике:

«Я вдруг понял, что наша жизнь состоит из кубиков. Кубики дней, недель, месяцев, лет. Они разной величины. Малые кубики — дни, чуть больше — недели, еще больше — месяцы, самые большие кубики — годы. Из них составляется жизнь.

Кубики — это события, которые происходят с нами и которые влияют на нашу жизнь. В кубик дня может войти единственная встреча с кем-то: человеком, книгой, фильмом, узнавание нового, потеря дорогого и т.д. Этот кубик прислоняется к кубику следующего дня, также состоящего из подобного — и вот семь кубиков недели. Тридцать малых кубиков месяца. В месяце остается всего одно событие — главное. Они составляют двенадцать событий года. Это большие годовые кубики.

Малые кубики теряются, но не пропадают большие. Обернитесь на прошедшее и увидите россыпи малых и средних и упорядоченную конструкцию из больших.

Моя жизнь сложена из девятнадцати больших кубиков».

А дальше записи по дням, неделям, месяцам... Лес, речка, кино, училище, Новый год, елки, книги, драки. Сначала подробно описывал Шурик все, что происходило в нашей уличной жизни. Потом все короче и короче, и к окончанию училища некоторые дни отмечались лишь фразами.

«Сегодня в художку шел с Ларисой. Она попала лицом в паутину. Испугалась, срывала паутинки с лица, притопывала ногами и фыркала».

«На уроке рисунка от преподавателя В. несло перегаром. Он пил воду из графина и после такой подзарядки кричал, что его уничтожает бездарность студентов».

«Я целовался с Милой. У нее жесткие губы и холодный кончик носа».

«Сергея опять уехал в Вильнюс к тете. Скучно без него».

«Прибыли на калым в совхоз им. Фрунзе. Поселили в доме секретаря парткома. Он с семьей живет в городе и каждый день приезжает на работу на раздрыганным газике. Оформляем красный уголок и Дом культуры».

«Пашем уже неделю. Наглядная агитация, спим на диванах и раскладушке. На стене часы в «гробу»: футляр с дверцей и латунная гирька. Часы знают своего хозяина — Федора Федоровича. Он приезжает из города рано, будит нас, и часы начинают отстукивать: «Дядя Федя мур-ло. Дядя Федя мур-ло...»

«Отец с матерью ездили на родину в Молдавию. Привезли канистру красного вина. Заперли в шифоньер. Ключ не подберу...»

«У Сереги точно такой же шифоньер и ключ...»

«Отливал из канистры месяц. Для уровня добавлял кипяченую воду...»

«Скандал. Убати — юбилей. Разлили вино из канистры в графины. Поставили на стол. Гостей было много. Отец, как всегда, начал хвастать. Особенно хвалил молдавское вино. Пили из граненых стаканов (как в Молдавии). Сосед Витя сказал, что это вода. Все согласились с ним. Отец выпил и стал ругать Молдавию за то, что вино выдохлось, при этом подозрительно смотрел на меня... Стыдно. Перед армией признаюсь...»

«Съездить бы в Италию. Флоренция. Боттичелли. Рим. Венеция. Пенэнр».

«Пошли с Сергеем за костями на М-К (мясокомбинат). Семь утра, а мы уже сотые. Копче-

ных не привезли, а были простые, красно-серые, с клочками мяса и свиные головы. Купили по 5 кг костей и по четверти головы. В моей части головы был свиной глаз. Он был похож на свинцовый шарик. Я его нарисовал, но долго не мог оживить, выгнать из глаза смерть...»

«Сергея затащил меня в спортшколу. Хотел в бокс, как он, но я не люблю эти разбитые носы. Поэтому записался в борьбу. Стал качаться, дело нужное».

«На диплом придумал картину «Снегири». Запала в душу строчка: «И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета».

Зимнее поле, в снегу убитые немцы и наши. Над ними на голых кустах алые снегири...»

«Показал наброски педу. Он сказал, что наших убивать не надо. Пусть будут одни немцы, а наших уже похоронили».

Я помню этот солнечный зимний день. Ваня, Валера, Толик и я — убитые немцы. Шурик где-то достал длинную армейскую шинель, из солдатской пилотки смастерил рядовую немецкую кепку, и мы по очереди надевали эту одежду и короткие сапоги (Шурик обрезал голенища у старых кирзачей) и ложились в рыхлый снег в Шурикином огороде. Он показывал, как надо лежать, как откидывать руки, поднимать ноги. Каждый из нас четверых сотворял не похожие друг на друга позы, а Шурик на больших листах карандашом, пританцовывая и сморкаясь, набрасывал наши убито-немецкие останки. Он присыпал нас снегом, Ваньку, худого и носатого, попросил высунуть как можно больше язык, вытаращить глаза и так полежать на спине, скрючив перед грудью руки...

Полдня мы создавали картину далекой войны. Замерзли до дикой дрожи, а потом грелись «Старкой» и соленой капустой.

И снова дневник:

«Проект диплома одобрили, но попросили убирать натурализм — Ванькины дикие глаза и безмерный язык. Убрал».

«Как целуется Г.! Аж в пятки отдает! Да еще царапается! Уф-ф!»

«Вызывали в военкомат. Прошел медкомиссию. Получу диплом, и заберут».

«Прочитал Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (этот парень мог быть и в нашей компании) и Андайка «Кентавр».

«Ни разу не был на море. Может, на флот попроситься?»

«Ура-а! Защитился на отл. Рекомендовали в вуз. Оставлю на после армии».

«Получил повестку. Через неделю — солдат!»

«Куба — да! Янки — нет! Черный раскаленный камень. Гладкая, влажная, горьковато-сладкая. Имбирь, шоколад и перец в одной упаковке... А в Африке, а в Африке, на знойной Лимпопо...»

«Половина парней с улицы уходят в армию. Сержа, наверное, в спортроту. У него первый разряд, и он перспективный мордобоец».

«Вот и все. Завтра вокзал. До скорой встречи».

Эту черную тетрадь Шурик оставил дома. А дневник продолжил в двух тетрадях, вложенных друг в друга и скрепленных железными скобками.

В нем много карандашных зарисовок: лица, спящие и смеющиеся, сценки из солдатской жизни — чистка картошки, с метлой на плече, висящий на турнике, стреляющий из автомата, марширующий на плацу.

И по дням — фразы, еще более короткие, чем в черном дневнике.

«Мукачево. Мука, больше ничего».

«Ничего страшнее, чем старшина-хохол, я еще не видел. «Вам не треба думать, вам треба выполнять. Я из вас гражданку вытрясу, она вам салом покажется...»

«Поступил в распоряжение замполита. Оформление клуба, плакаты, плашеты, призывы и лозунги — дело знакомое».

«Замполит — молодой выслужливый старлей. Строгий в дело и не в дело, а смеется, как пацан от анекдота, — в залив и до слез».

«Парни бегают, прыгают, стреляют, а я? «Дело Ленина живет и побеждает» — плакат метр на пять. Надоело».

«Каждую неделю от замполита увольнительная в город, за красками и кистями. Зеленый, заросший орешником, липами и каштанами городок. Есть красивые девчонки — диковатые и болтливые. Начинают хихикать от одного пристального взгляда. На рынке продают вино. Наливают в тяжелые пол-литровые граненые кружки...»

«Старшина при встрече: «Хитрован! Соскочил со службы. Хлопцы потеют, а ты дуру гонишь... Хитрован!»

«Сегодня снова встретил старшину. И опять: «Хитрован!» А я ему вдруг: «Товарищ старшина, я вынужден доложить замполиту о вашем отношении к воспитательной работе, о том, что, говоря вашими словами, — мы со старшим лейтенантом дуру гоним...»

Этот салоед в морде лица изменился. «Да я пошутковал, а ты что подумал, шуток не понимаешь... Мир-дружба...» Я сказал, что тоже пошутил — не скажу».

«После круглосуточной недельной работы на 7 ноября понял, что все, больше не могу трафаретить. Сказал замполиту, что хочу в роту. Он мне тоже трафаретом: «Это служба! Надо честно исполнять свой долг в любом месте, куда тебя направит командование» и т.д.».

«При встрече сказал старшине, что хочу к ребятам. «Ты что, скаженный?» — ответил мне старшина».

«В очередном увольнении выпил в городе кружку вина и опоздал в часть на два часа. Получил трое суток губы и снова попросился в роту. На

сей раз уважили. Опять назвали дураком, и вот я в казарме».

«Старшина гоняет с пристрастием. «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела...» — припеваает он, приказывая в очередной раз тянуться на турнике или по-пластунски проползать в узкий полуметровой высоты лаз. Хохлина! жупанник!»

«На большом листе ватмана сангиной нарисовал старшину в парадной форме, с блеском в глазах, лицом греческого полководца, одержавшего очередную победу. Слегка уменьшил крепкие щеки и увеличил прищуристые щелки глаз. Скотал в трубочку и вручил старшине на День Советской армии.

Старшина с недоверием принял скатанный лист. Ожидая подвоха, протянул: «Что це за насквиль?» А когда раскатал, глазам своим не поверил. Не поблагодарив, быстро ушел. На следующий день, отозвав меня в сторону, сказал душевным голосом: «От жинки моей и диток — спасибо, и от меня тоже...» С этого момента служба моя пошла ровно и предсказуемо».

«Прислала письмо Лариса. Пишет, что простила и любит».

«Скоро ученья. Готовимся. Устаем».

Последняя запись.

«Приказано посторонних вещей при себе не иметь. Сереге не успел написать. После учений напишу...»

И рисунок. Солдат с вещмешком за спиной, стреляет с колена из автомата, а вместо пуль летят маленькие красные птички — снегири.

18

Старушки тихо сидели на теплом взгорке и слабыми глазами вглядывались в зареченскую бескрайность, далеко обрезанную острой неровностью очерченного предвечерним тускнеющим светом леса. И в этой невозвратной дали жила их прошедшая жизнь.

Верно, виделся им широкий разгул престольных праздников с разноцветным сатиновым сельским многолюдьем, когда сходились

из окружных деревень старики, среднелетки с семьями, с дородными, словно гусыни, бабами, облепленными по подолам разнокалиберной ребятней. Толпу перестреливающихся взглядами парней и девок.

Тут и выпивка, и хороводы, и пляски, с рваной схваткой двух-трех гармошечных зазывов: одна гармонь поведет широко и ровно, другая вклинится, третья подтянет басом невероятной долготы, а потом хрипловатыми задохами скоккает переливы первых двух и сама скорой присядочкой, звонкими рядками звуков заставит самых увалистых парней единым вытолком выскочить в круг и куражисто затопать начищенными до глянцевого скользи хромачами по серой плешине разгульной площадки. А там и две первые гармошки опомнятся и встроятся в лад третьей выскочке, и вот уже в три духа рвут меха летний воздух. Звуки выбиваются за околицу и прижимаются, затихая, к дальним зареченским лугам — туда и смотрят две старушки, и в дальних туманах слушают памятью вечные для них переливы молодых гармошек, а гармонисты спят под заросшими холмиками уже беспризорных могил.

Дядя Володя в последние три года жизни стал копить деньги на поездку в Африку. Он устроился работать чистильщиком обуви на вокзале. У него был крохотный закуток в огромной туалетной комнате. Он соорудил верстак из дерева, на который ставили ноги посетители, и ловко шустрил двумя щетками: натирал до блеска туфли, ботинки, сапоги.

Пенсию он переводил на сберкнижку. Купил в книжном магазине карту Африки и, водя коротким пальцем по пустыням и городам континента, произносил застревающие на русском языке названия: Киншаса, Могадисо, Нджамена... Сплюнув и магюгнувшись, убирал карту и думал, как же добраться до этой неведомой земли.

Сторож на вокзале, которому дядя Володя поведал о своих печалях, посоветовал ему написать письмо в Министерство иностранных дел.

— Да как же я напишу, когда кроме писем из зоны ничего не писал?! — сорвался дядя Володя.

— А вот так прямо и напиши, как мне рассказывал. Там люди умные, разберутся, — уверил его сторож.

И дядя Володя написал. Что он наворочал на

двух листах, вырванных из школьной тетради? Трудно сказать, но только через месяц приехали за ним на черной «Волге» два неулыбчивых человека прямо на вокзал, заткнули крепкими фигурами дверь каптерки, сунули в лицо дяди Володи строгие красные корочки и пригласили в машину.

В областном КГБ очень вежливый человек выслушал дядю Володю и посоветовал не пачкать память о героическом сыне глупыми действиями.

— Я знаю, что мой сын герой! — отвечал дядя Володя. — Только по кой его в эту страну на смерть послали? А я не могу в Африку съездить!

Вежливый человек, чистый до скрипа, бритый до глянца, пахнувший каким-то мутным, сладковатым запахом, явно не «Шипром», вдруг засмеялся долгим, несдержанным смехом.

— Владимир Степанович, — сказал он, так же внезапно посерьезнев. — Вы мне симпатичны своей прямоотой, но подумайте, как вы в этой самой Африке найдете эту женщину? Как ее звали? Не знаете. Где училась? Тоже. В какой африканской стране живет или жила? А может, она уже давно не в Африке? То-то и оно... Но я даю вам слово — по своим каналам попытаемся узнать, но в успехе не уверен. Мы вам сообщим. А пока живите и больше не пишите таких странных писем. Договорились?

Что оставалось делать дяде Володе? Понял, подчиняюсь!

А потом зачала перестройка. Накопления дяди Володи превратились в пыль. Он сник и стал быстро стареть. Никаких вестей из Африки не пришло. Последней попыткой увидеть воображенного им и взлелеянного памятью о сыне внука было написать письмо Горбачеву, но сил уже не было, руки тряслись, глаза ослабли, и все наколотые символы на его теле превратились в выцветшие неровные кляксы.

В последние недели он стал по ночам разговаривать с сыном: просил назвать адрес внука, плакал. Тетя Мотя сидела рядом и уговаривала его не тревожить сына.

Дядя Володя умер ночью, отвернувшись к стене, по которой в темноте скользили желтые полосы от фар проезжающих по дороге машин. Ему казалось в последних мгновениях, что он едет по африканским пескам к своему голубоглазому африканскому внуку.

Их нет на земле. Они живут в моей памяти. Я уже сложил шестьдесят больших кубиков.

Каждое лето в июле солнце на моей родине купается в маленькой речке.

□

Павел Леонидович ПАРАМОНОВ

родился в 1949 году в с. Подолец

Гаврило-Посадского района Ивановской области.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, журналист.

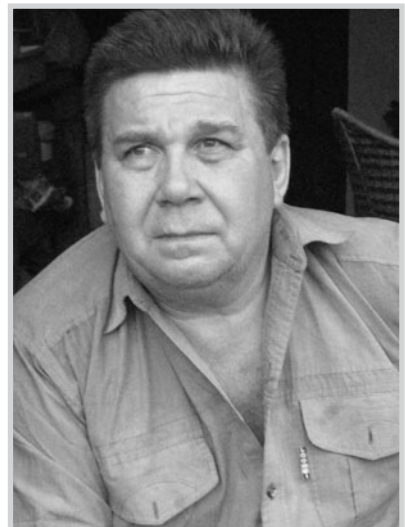
Автор книг: «Огородники» (1985), «Урок музыки» (1986),

«Повести» (1991), «Души летящие» (2010).

В журнале «Север» публикуется с 1984 года.

Член Союза писателей России.

Живет в Суздале.



Николай Николаевич НОВОСЕЛОВ

*родился в 1950 году в г. Ленинкане.
Окончил филологический факультет
Карельского государственного педагогического института.
С 1976 по 1982 год жил в г. Петрозаводске.
Работал литературным сотрудником в журнале «Север».
Публиковался в журналах «Север»,
«Студенческий меридиан», «Донбасс»,
в альманахе «День поэзии», в коллективных сборниках
в Карелии, Москве, Украине.
Автор 7 поэтических книг.
Лауреат Донецкой областной литературной премии,
удостоен звания «Мариуполец года-2001»
в номинации «Литератор».
Член Национального Союза писателей Украины.*

**Николай
НОВОСЕЛОВ**

*г. Мариуполь,
Украина*



*«Окаменевший плач
Победы...»*

ОТЧИЗНЕ

Когда ударит вдруг жестокий ветер
И зазвонят колокола грозы,
Я постигаю вновь на этом свете
Земных трагедий горькие азы.

Сквозь суету забот, обид, стремлений,
Добра и зла, предательств и любви —

В отверстой бездне плачущей вселенной
Я вижу слезы детские твои.

Они — с рожденья — душу мне пронзили
И будут жечь — до смертного «прости»...
Стираю слезы с глаз твоих, Россия,
И прожигает руки до кости!

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Венкам железным не зацвествь.
Не пахнут восковые розы.
И не роса на травах здесь.
А — слезы.

И строгий камень пополам
Над нами небо рассекает.
И больно пристальным глазам —
Так пламя ветром развевает.

Стоишь.
И что в душе горит —
Ослабшим словом
не поведать.

Молчишь...
И слушаешь гранит —
Окаменевший плач Победы...

САНИТАРНЫЙ СОСТАВ

Сквозь войну — день и ночь —
Проходил санитарный состав.
День и ночь, день и ночь...
И не мог от нее он уйти.
Как ребенок, просился
Он на руки станций, устав.
Но разбитые станции
Не отзывались — в пути.
Сквозь года
Уходил санитарный состав от войны.
Но к войне возвращался опять
По сожженным полям...
И легли километры
Железной дорогой страны,
Будто раны зашитой
Незаживающий шрам.

БЕЛОЙ НОЧЬЮ

Меж островами тихая вода...
Скольжение минут неторопливо.
Мгновенье — осознать себя счастливым.
А помнить о мгновении года.

Когда и где на суетной земле
Почувствуешь так остро и высоко,
С печалью и нечаянным восторгом, —
Что значит свет, рассеянный во мгле?!

Лишь только песней выразить смогу
Прохладное безбрежное свечение,
Высоких мыслей ровное течение,
Спокойный лес на дальнем берегу.

Пусть струится памяти река...
Когда душа сожмется сиротливо,
Я возвращусь на эти берега
И вновь себя почувствую счастливым.

ДОЛГ

Здесь, в русском поле,
 среди лесов забытом,
Хранящем горечь
 бедственных годин,
Вмерзаю в эхо отгремевшей битвы,
Не зная войн,
 доживший до седин.

Пусты траншеи. Не дымят воронки.
Темна и молчалива высота...
На тех, кто здесь полег,
 нет похоронки.
Ни обелиска в поле, ни креста!..

Хранит свинец
 березы ствол корявый.
Травой железной — гильзы у корней...

И там, и тут, гляди
(о Боже правый!):
Глухая скорбь
 белеющих костей...

И меркнет свет
 над этим горьким полем.
И жесткий стыд колотит по щекам.
Живые! Вы произошли от боли.
Как можно жить,
 когда не больно вам?!

И нет покоя, нет — под этим небом.
И тишина звенит — разбитым сном...
Предавший память —
 кто бы это ни был! —
Не человек
 в отечестве своем!

* * *

Выйду под небо
С предчувствием
 близкой утраты —
Вновь предо мной
Распахнется горячий закат...
И, замирая, увижу:
Счастливо крылаты,
Тихие стаи,
Бессмертные стаи летят...
Резкие ветры
Ударят упрямо и сильно.
Листья сорвут беззащитные
С тонких ветвей...

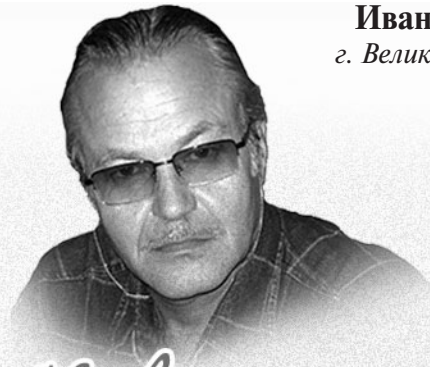
Только плотнее сомкнутся,
Летя над Россией,
Неудержимые
Клинья моих журавлей...
Вспыхнет внезапно
Щемящая песня простая —
Вздригнет от звуков
Размытый ветрами закат...
Это над миром
Высокие
 легкие стаи
К солнцу далекому,
Близкому солнцу
 летят.

Иван Иванович ЕГОРОВ

*родился в 1955 году в Калининской области.
Окончил Новгородский педагогический институт
и Театральный институт им. Б. Шуккина.
Более тридцати лет работает режиссером
в Новгородском театре юного зрителя.
Пишет пьесы, стихи, прозу.
Автор сборника стихов «Созвездие Стрельца».
Член Новгородского регионального отделения
Союза писателей России.*

Иван ЕГОРОВ

г. Великий Новгород



*«Не верьте оттепелям,
птицы...»*

НОЧЬ. ОСЕНЬ. ЯБЛОКИ. СТИХИ

Стихи еще не отлежались...
Еще не время их читать.
Они как яблоки. Остались
До созревания лежать.

Как соком, смыслами нальются
За две недели до зимы.
А за окном снежинки вьются
И тают, не найдя земли.

Под утро льдом покрыта речка,
Но вечера еще тихи.
Ночь. Осень. И в мерцанье свечки —
Веранда, яблоки, стихи.

* * *

Не верьте оттепелям, птицы,
Капели звонкой у окна,
Когда от солнца будет мниться,
Что это вдруг пришла весна.

И вы, купаясь в теплой луже,
Забудете в наплыве грез,
Что завтра вновь ударит стужа
И перышки скует мороз...

Весны внезапная зарница
Уступит место февралю.
Не верьте оттепелям, птицы.
Живите по календарю.

* * *

За деревней пели песни цыгане,
И цыганки примеряли обновки.
А под утро возле речки, в тумане
Две железные остались подковки.

Табор был, да и исчез в одночасье.
На прощанье глухо хохлятся птицы.
Лишь развешены по небу на счастье
Те платки, что полоскались в зарнице.

А еще осталась медная кружка
Под засохшим и увядшим рогозом,
Над которой куковала кукушка
И цедила свои скудные слезы.

Они падали в глубокую млечность,
Где познание венчалось с незнаньем...
И стояла в мире тихая вечность.
А над нею пели песни цыгане.

* * *

Нет, я не давал обещанья
Сосать этой веры вымя,
Но гвозди Христа клешами
Пришел — из ладоней вынуть.
А он, уже сил не имея,
Сказал мне под скрежет стали:
— Ты делаешь мне больнее,
Чем те, кто меня распяли.

* * *

Весло послушное в руке.
 Оболы звякают в кармане.
 Костры погасли вдаль,
 Спит сом в таинственной реке,
 Скрипят уключины в тумане.

Душа спешит на суд Богов.
 А здесь поминки... Елки-палки.
 В проемы заливных лугов
 На запах жирных пирогов
 Плывут голодные русалки.

А увозимый мертво спит...
 Кто он? Язон или Ерощка?
 Роса поляны оросит,
 Но позабывших не простит
 Его забытая гармошка.

Меха растянутся в дугу,
 Вдыхая приморозный воздух...
 Всплакнет подпасок на лугу,
 Конь задохнется на бегу.
 И сом хвостом плеснет на звезды.

* * *

И не осталось никого в селе...
 Последний дед почил недавно в бозе.
 Поминки возле дома, на столе,
 Сколоченном под старою березой.

Собрались дети, внуки и зятя,
 Шумят детишки малые в сторонке.
 Соленья, маринады и кутя,
 И нагнанная вупредь самогонка.

Скулит собака. А ее куда?
 А кошку и котят ее, уродцев?
 Течет по небу звездная вода
 Из желтого, бездонного колодца...

Разъехались... А ночью, напролет,
 Над наспех заколоченной избушкой
 Ему всё лета долгие поет
 Седая полоумная кукушка.

* * *

Мой день рожденья был давным-давно...
 Плясала вся деревня как в угаре.
 Шел дождь в тот день. Наверное, грибной.
 Летал в советском космосе Гагарин.

И было всем хмельно и хорошо.
 Миг обрезанья пуповины минул...
 А я орал от счастья, что пришел,
 А может быть, от страха, что покинул.

* * *

Шесть утра. Все туманом скрыто.
 Надо мной нависает слегка
 Церковь, вся, как будто отлитая
 Из топленого молока.

Нереальная, полувоздушная.
 Стоит лишь отвести взгляд,
 И на землю молочный обрушится
 Водопад...

Скоро солнце взойдет. Прояснится.
 И туман уйдет. А пока
 На кресте машет крыльями птица,
 Унося ее в облака...

* * *

Близорукие — без очков...
 Шашки наголо, ногу в стремя!
 Время умников-дурачков.
 Но хорошее было время.

Как хотелось им все успеть:
 Жили, жили ведь для чего-то.
 И строчили в Бога и в степь
 Раскаленные пулеметы.

Пуля шар опояшет земной,
 Вихри темные завлекая,
 И вернется. Быть может, за мной.
 Может, даже этой весной.
 Вся заржавленная такая...

1

Литератор Григорий Аркадьев уже полгода находился в плену бессюжетного периода. Предпринимаемые время от времени попытки вырваться на свободу к успеху не приводили. Планы побега, выстраиваемые в голове Аркадьева, рушились с таким грохотом, что ощущение поражения оглушало. Возникали сомнения в своих возможностях и другие вредные мысли.

Появилась даже идея купить сапоги, отрастить бороду и пойти пешком по СНГ в поисках сюжетов. Жена Аркадьева, Аллочка, всегда и во всём поддерживающая своего мужа, от планируемой бороды не испытала особого восторга, а остальную часть замысла одобрила:

— Ну конечно, сходи, дорогой, развейся. Прогулки полезны. И я с тобой прогуляюсь.

— А что, — мечтательно произнес Григорий. — Идти куда глаза глядят. Встречать рассветы и закаты вместе с братьями нашими меньшими. Слиться душой с природой. И главное — отрешиться от всяческой суеты. Не спешить никуда. Не горит же...

— Ой, у меня, похоже, пирог горит! — встрепенулась Аллочка и умчалась на кухню.

Аркадьев взял большой потрёпанный географический атлас, нашел в нем Советский Союз и медленно прошёлся глазами по линии границы.

— Какую страну профукали! — вздохнул он.

Вернулась жена с подносом спасённого пирога, и мысли Григория переключились на кулинарные темы.

За чаем с выпечкой время шло незаметно. Наконец, с сожалением посмотрев на остатки пирога, Аркадьев отодвинул от себя поднос и выдохнул:

— Да... Не так мы живём, не так... Мы слишком привязаны к благам цивилизации. Мы забыли, что такое холод и голод. Мы перестали ценить маленькие радости. Наш разум покрылся жирком благополучия. Нет, надо срочно что-то менять...

— Правильно, дорогой, — согласилась жена.

Она унесла посуду на кухню, а Григорий

Валерий РУМЯНЦЕВ

г. Сочи



рассказ

долго сидел, задумчиво глядя на потолок, пока не задремал.

2

Утром Аркадьев вышел на балкон и поёжился. Еще вчера было тёплое бабье лето, а теперь всё небо затянули тоскливые серые тучи. Лужи на дороге пузырились и расходились волнами под колесами проезжавших машин. Холодный ветер качал ветки тополей и швырял в лицо мелкие капли дождя. Аркадьев поморщился и вернулся в тёплую комнату, где уже был готов завтрак.

— Знаешь, — задумчиво сказал он жене, — я в который раз убедился, как всё-таки справедлива народная мудрость. Утро вечера мудренее. Еще вчера я был готов сорваться с места и пойти неизвестно куда. А зачем, собственно? Разве мало сюжетов вокруг? Нет, нужно не тратить время на сомнительные авантюры, а настойчиво бить в цель. Моё дело — литература, моё рабочее место — письменный стол. А всё остальное — от лукавого. Ну, скажи, разве я не прав?

— Конечно, прав, дорогой. Куда идти на зиму глядя? Лучше весной на море рванём. А пока сиди дома и спокойно работай. Хочешь ещё чаю?

— Пожалуй, — согласился Григорий, беря очередной круассан.

3

День прошёл как обычно. Благодушное настроение после завтрака вызывало мысли о предстоящей плодотворной работе. Остановка была за малым: подобрать подходящую тему. Тему, которая была бы одновременно и актуальной, и созвучной внутренним ожиданиям.

Аркадьев просмотрел стопку старых газет, где он отмечал материалы, показавшиеся ему интересными. Нужен был толчок для мысли. Но мысли упорно отклонялись от чего-то конкретного, плавно покачиваясь на поверхности моря общих рассуждений.

Настроение начинало портиться. Григорий отодвинул газеты и, взяв чистый лист бумаги, аккуратно вывел: «План». С полчаса он сидел, уставившись на белую поверхность листа. Затем пой-

мал себя на мысли о том, что мысли о творческом плане полностью отсутствуют. А присутствуют обо всём сразу и ни о чём.

Аркадьев потёр лоб, раздражённо встал из-за стола и включил телевизор.

Спасаясь от хлынувшей в комнату рекламы, он зашелкал пультом. Однако настроение лучше не стало. Новости не радовали, телесериалы давно набили оскомину, познавательные каналы уже много лет крутили одно и то же.

«Всё, хватит! — подумал Аркадьев. — Хватит ждать вдохновения свыше. В конце концов, не важно о чём писать. Важно — как. Пусть случай решит, о чём следует поведать миру».

Он закрыл глаза и в последний раз нажал кнопку на пульте управления.

«Вор должен сидеть в тюрьме!» — раздался голос Высоцкого.

4

На следующий день Аркадьев посетил местное отделение Союза писателей, где привёл председателя своей просьбой в полное замешательство.

— Да ты, братец, оригинал, — заметил председатель, с любопытством оглядывая Григория. — Весьма неожиданная идея. Весьма... Впрочем, может, в этом и есть рациональное зерно.

Аркадьев уверенно заявил:

— Конечно, есть. Метод погружения — это сильное средство. Нужно хорошо знать то, о чём пишешь.

— Да, это верно. Ну что ж, давай попробуем. Мы вставим тебя в план работы. Прямо на очередном заседании я подниму этот вопрос. Направим письмо в Министерство юстиции. Согласуем детали. Глядишь, и получится. Действительно, нужно смелее осваивать новые территории, применять эффективные методы работы. Ты молодец, Григорий. Дерзай!

— Спасибо, — улыбнулся Аркадьев. — Ну и сколько времени потребуется, чтобы утрясти все формальности?

Председатель пожал плечами и задумчиво пожевал губами:

— Ну, трудно сказать. У нас ведь подобного ещё не было. Но в связи с последним усилением

ем борьбы с излишней бюрократизацией, скорее всего, не особенно долго. Думаю, через полгода что-то прояснится.

У Аркадьева резко упал дух. Он покачал головой и протянул:

— Это слишком. У меня нет столько времени...

— Ну а что ты хочешь, братец! Это ещё быстро. Впрочем, если тебя не устраивает, попробуй неофициальный путь. Может, и повезёт.

— Вы имеете в виду...

— Ну да, — кивнул председатель, — именно это. У нас же в городе своя тюрьма имеется. А земляк с земляком всегда договориться сможет.

5

Вместной тюрьме Аркадьев долго дождался дежурного. Так долго, что успел изучить все объявления, какие только смог обнаружить. Он уже собирался плюнуть и отказаться от своей затеи, когда появился хмурый дежурный в звании капитана.

— Ну, что у вас? — нервно бросил он, заполняя журнал.

Аркадьев представился и стал излагать свою просьбу, стараясь говорить доступно и убедительно.

Сначала дежурный молча слушал, продолжая что-то писать. Потом бросил ручку и недоумённо уставился на Григория. Затем ещё раз, уже внимательнее, просмотрел его документы и спросил:

— Вы у психиатра давно были?

Григорий смутился:

— Давно. А что?

Капитан ничего не ответил.

Аркадьев выждал немного и продолжил свою речь, упирая на то, что борьба с преступностью — задача всего общества. И он, как писатель, хочет внести свой вклад в это важное дело.

— Да и вашему учреждению положительные отзывы не помешают, — закончил он, как ему показалось, вполне убедительным аргументом.

Дежурный позвонил куда-то по телефону и кратко обрисовал ситуацию. Выслушав ответ, он неприязненно бросил взгляд на посетителя.

Аркадьев молча ждал.

— У нас режимный объект. Присутствие посторонних категорически исключено, — твердо заявил капитан.

Григорий понял, что препираться бесполезно, и повернулся к выходу, бросив на прощанье слова из песни Высоцкого:

— Эх, капитан, никогда ты не будешь майором.

— Я, между прочим, при исполнении. И привлечь могу, — обиделся дежурный.

6

— Как можно плодотворно работать в стране, где так относятся к писателям? — негодовал Аркадьев, шагая по комнате. — Где какие-то чинуши рушат творческие планы ради своих жалких сиюминутных интересов. Писатель не должен тратить время на преодоление всяких чиновничьих преград. Его удел — творить.

Аллочка попыталась успокоить разбушевавшегося мужа:

— Не переживай так, Гриша. Ведь ничего страшного не случилось. Подумаешь — в тюрьму не попал. Ну и бог с ней. Может, оно и к лучшему. Ты у меня талантливый. Обязательно найдешь какой-нибудь выход. А хочешь, я Ларе позвоню? У неё такие связи, что она тебя куда хочешь устроит.

Лара — сестра Аллочки — была довольно известным в городе психотерапевтом. Она и вправду могла многое, но Аркадьеву идея обратиться к Ларисе за помощью совсем не понравилась. Он недолюбливал свояченицу. Та частенько подтрунивала над Григорием, называя его не талантливым писателем, а всего лишь выдающимся. Конечно, это по-родственному, без обиды, но Аркадьеву всё равно было неприятно. Поэтому он раздражённо отмахнулся от предложения жены:

— Не хочу. Сам решу эту проблему. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Ты права: выход всегда найдётся. Если, конечно, искать. А эти чинуши ещё пожалеют, что не пошли мне навстречу. Обойдусь и без их помощи. Да и вообще, вставлю-ка их в свою повесть. Так и назову её: «Учреждение ЯР 36/71»...

Чем больше говорил Аркадьев, тем больше он успокаивался. И вскоре будущее вновь представилось ему в радужном свете.

А к вечеру у Григория появился гениальный план, в который он с гордостью посвятил свою супругу:

— Нет безвыходных положений. Я всегда это говорил. Вот что мы с тобой сделаем: устроим дома свою тюрьму. И ходить никуда не надо. Завтра превратим маленькую комнату в тюремную камеру. Устроим с тобою ролевые игры.

И Аркадьев подробно обрисовал жене свой замысел.

Аллочка слушала его, раскрыв рот от восхищения изобретательностью своего мужа.

7

На следующее утро супруги принялись за осуществление задуманного. Вынесли мебель в прихожую. Легкомысленные обои с цветочным узором завесили серой мешковиной. Убрали люстру, заменив её маломощной лампочкой. Лампочку закрыли кожухом из старого дуршлага. Пока Аллочка рисовала на окне тюремную решетку, Аркадьев соорудил нары и прорезал в двери окошко для подачи пищи. В общем, работы хватало, и время пролетело быстро.

— Так... Вроде всё, — довольно подвел итог Григорий, оглядывая преобразившуюся комнату. — Теперь надо подумать, чем буду записывать свои мысли.

— Чаем из пакетиков, — предложила Аллочка. — Чернильницу из хлеба сделаешь. И перо птичье найдём. Голубиное можно.

Аркадьев задумался и покачал головой:

— Да нет. Ты представляешь, сколько я этим пером царапать буду? Лучше карандашом.

— Карандаш нельзя. Ты им можешь в глаз охраннику ткнуть.

— Ну, тогда пишущую машинку. У нас на антресолях «Москва» валяется.

— Да машинкой вообще голову разбить можно.

— А мы её к столу намертво прикрутим.

Наконец всё было закончено.

Поцеловав мужа на прощанье, Аллочка вышла из камеры. Лязгнув засов, и Аркадьев остался один.

Он лёг на нары и мысленно набросал план действий. Три дня на то, чтобы вжиться в образ. Три дня на обдумывание сюжета. Пара недель на черновые записи. Ну и неделя на окончательное оформление. Итого по плану выходило, что через месяц можно будет отмечать триумфальное завершение новой повести. Или романа? Хотя

какая разница. Размер не имеет значения. Главное — внести свой вклад в большую литературу.

За приятными размышлениями Григорий не заметил, как наступило время ужина. Он протянул миску в открывшееся окошко и получил свою порцию перловки с куском серого хлеба.

— А компот? — вспомнил он свои права.

— Кружку давай, — пробурчала Аллочка хриплым мужским голосом.

8

Прошла неделя. Григорий довольно легко изучил свою камеру, на всякий случай продумал все варианты побега, если будет такая необходимость. Прочитал словарь тюремного жаргона, отметил наиболее колоритные выражения для будущей книги.

Лишь один пункт намеченного плана никак не желал выполняться. Сюжет. Сюжет начисто отсутствовал, несмотря на все усилия Аркадьева. Лист бумаги, вставленный в пишущую машинку, уже несколько дней украшал лишь заголовок: «Учреждение ЯР 36/71 (записки заключенного)».

9

По вторникам был банный день. Поскольку ванная комната в квартире Аркадьевых никак не походила на тюремное помывочное помещение, пришлось пойти на небольшую хитрость. Волевым решением Григорий внёс некоторые изменения в свою тюремную жизнь. Он заявил, что за хорошее поведение ему полагается еженедельное свидание. И банный день совместили со свиданием.

Когда после горячей ванны Аркадьев появлялся на кухне, его уже ждал стол, накрытый домашними яствами.

В общем, тюремная жизнь оказалась вполне сносной. Однако отсутствие творческого результата действовало угнетающе. Дошло до того, что однажды, приняв ванну, Григорий даже не притронулся к приготовленному для него ужину. Он только выпил рюмку водки и молча ушёл к себе в камеру.

Аллочка машинально перемыла всю посуду.

Посмотрела любимый телесериал. Потом позвонила Ларисе и договорилась о встрече.

10

Лариса внимательно выслушала обеспокоенную Аллочку и усмехнулась:

— А я всегда говорила, сестрёнка, что Гришаня рано или поздно станет моим пациентом. И снова я оказалась права. Все симптомы налицо.

Аллочка побледнела:

— Что с ним?

— Судя по всему, у него СДОБА.

— Что? — переспросила Аллочка.

— СДОБА. Так мы с коллегами называем один из неврозов у творческих личностей. *Синдром душевного опустошения большого автора*. Именно большого. У мелких авторов подобного не наблюдается. Так что можешь гордиться своим мужем.

— И что же делать?

— Ну, вообще-то, ничего страшного. По крайней мере, пока.

Лариса подняла чашку с чаем:

— Смотри. Всего пять минут назад эта чашка была пустой. А теперь в ней отличный цейлонский чай. И что? Так и будет? Нет, конечно. Я выпью, и чашка снова станет пустой. А потом ты снова сможешь её чем-то наполнить. Так и с душевным миром человека. Это как сосуды, которые постоянно наполняются и опустошаются. Впечатлениями, переживаниями, чувствами и предчувствиями. Называй как хочешь. У одних людей сосуды достаточно малы, и поэтому процесс изменений идет быстро и незаметно. А у тех, кому достались большие сосуды, всё гораздо сложнее. Я доступно объясняю?

— То есть ты хочешь сказать, что у Гриши сейчас идет процесс душевного наполнения? — спросила Аллочка.

— Скорее всего.

— И сколько времени это может занять?

— У кого как, — засмеялась Лариса. — Зависит от величины сосуда. Ну и от внешних условий, конечно. Тут нельзя строить прогнозы. Психика — это вообще тёмный лес. А уж психика творчества — тем более.

Аллочка помолчала некоторое время, вни-

мательно рассматривая чашку с чаем. Затем, вздохнув, отпила глоток и промолвила:

— Боюсь, что если это будет долго тянуться, то может плохо закончиться. Гриша с каждым днём становится всё раздражительнее. Я не думала, что поиск сюжета окажется для него такой проблемой.

— Так подскажи ему. Зря ты, что ли, филфак окончила!

— Да когда это было, — вздохнула Аллочка.

— Но ведь было же. Придумай что-нибудь. Тут главное — толчок дать для мысли. Только незаметно. Лучше, если он будет считать, что сам додумался. Ну, например, пусть во сне сюжет увидит. Как Менделеев свою таблицу. Кстати, он крепко спит?

— Не очень. Особенно в последнее время.

— Я тебе травяной сбор завтра принесу. Одна знахарка презентовала. Лучше любого снотворного действует. И никаких побочных эффектов.

11

Через несколько дней Аллочка приготовила большую порцию травяного настоя, рекомендованного Ларисой. Снадобье было добавлено и в суп, и в кашу, и в крепко заваренный чай. После ужина оставалось только ждать результата.

Несколько раз Аллочка подходила к запертой двери и прислушивалась. Наконец она решилась и тихонько приоткрыла дверь.

Убедившись, что муж уснул, Аллочка проскользнула в камеру и, подойдя к машинке, стала осторожно печатать. Сначала она нервно поглядывала на спящего, опасаясь разбудить его. Но снадобье и на самом деле оказалось весьма эффективным. Сон был настолько крепок, что Григорий даже не пошевелился, продолжая тихонько посапывать.

И Аллочка уже смелее закончила набор задуманного текста. Потом она ласково поправила у мужа сползшее на пол одеяло и вышла.

12

Аркадьев открыл глаза и долго лежал, стараясь вспомнить, что же ему приснилось ночью. Сон точно был и, кажется, довольно

интересным. Но полностью растворился в памяти, оставив лишь досадное ощущение чего-то упущенного. И так каждый раз. Сколько сюжетов он утратил, не сумев удержать утром ночные видения.

«Лучше бы вообще не видеть сны», — подумал он и нехотя встал с нар.

Приведя себя в порядок, Григорий сделал пятьдесят кругов по камере, что стало у него ежедневным ритуалом. Затем, настраиваясь на работу, десять раз повторил вслух, что сегодня у него всё получится.

Подойдя к столу, Аркадьев замер, непонимающе глядя на лист бумаги в пишущей машинке. Он точно помнил, что ещё вчера кроме заглавия на этом листе ничего не было. А теперь бумага была заполнена текстом.

Григорий медленно вытащил листок и стал читать:

«Учреждение ЯР 36/71 (записки заключенного). Тридцатилетний врач-окулист Семён Ухов попадает в тюрьму за убийство, которого не совершал. Он настолько потрясён этим неожиданным ударом судьбы, что первое время пребывания в камере ведёт себя как робот, не испытывая никаких чувств и не замечая никого и ничего вокруг. Он машинально выполняет действия, которые требует тюремный порядок, но больше ни на что не реагирует. В голове по кругу движется цепь одних и тех же событий: арест — допрос — суд...»

Постепенно начинаются размышления. Если есть преступление и наказание, то, по закону единства и борьбы противоположностей, должно быть и наказание без преступления. И всё, что с ним случилось — это проявление мирового закона. Ничего личного. Просто он оказался не в то время не в том месте.

Но если он наказан за то, чего не совершал, значит, настоящий преступник избежал наказания. А есть ли преступление без наказания? Или преступление уже само по себе является наказанием, просто не все это понимают?

Размышления Ухова плавно переходят на причины преступности, её корни. Возможно ли общество без преступности? Или это диалектическая необходимость? Какие существуют методы борьбы с преступностью? Что такое

смертная казнь — месть за совершенное преступление или самозащита общества от повторения преступлений? Пожизненное заключение как способ противодействия возможным судебным ошибкам.

Размышления Ухова выливаются в многостраничную рукопись романа, которую он передаёт адвокату. Адвокат организует публикацию.

Книга вызывает интерес общественности. Правозащитники обращаются к президенту с просьбой о помиловании Ухова.

Но помилование не потребовалось, так как вмешались новые обстоятельства. Недавно при аресте некоего Мещеркина, подозреваемого в убийстве, тот был смертельно ранен. Раненый оказался серийным убийцей, который, понимая, что не жилец на этом свете, тщеславно рассказывает следователю обо всех совершенных им преступлениях. В том числе и о том, за которое осудили Ухова. Мещеркин описывает свои злодеяния во всех подробностях, явно желая оставить после себя след, пусть и кровавый.

В результате Ухов оказывается на свободе.

И ему присуждается премия «Русский Букер».

Ухов бросает медицину и начинает профессионально заниматься литературой».

Закончив читать, Аркадьев некоторое время стоял неподвижно, пытаясь выудить из закоулков памяти свои ночные действия. Наконец он пришёл к мысли, что проснулся ночью, записал сюжет и снова уснул. Иного объяснения нет. А это значит, что задуманный им гениальный план принёс первые плоды. И с неизбежностью принесёт и вторые. А там и третьи.

— Ай да Аркадьев! Ай да сукин сын! — воскликнул Григорий.

Впервые за много дней на его лице распустилась довольная улыбка.

13

Прошло две недели с тех пор, как Аллочка услышала, что из камеры доносится новый звук. Бойкий звук пишущей машинки. Теперь он звучал всё чаще и чаще. Каждый удар по клавишам означал ещё один шаг к освобождению Григория из добровольного заключения.

Аллочка с нетерпением ждала завершения эксперимента и продумывала праздничное меню. А пока она добросовестно исполняла роль охранника, надевая неуклюжую форму и меняя тембр голоса.

И вот настал день, когда вместо миски заключённый протянул в раскрывшееся окошко большую кипу листов.

Голос, до краёв наполненный гордостью, произнёс:

— Всё! Открывай, дорогая.

Свобода и Аллочка приняли Аркадьева в свои объятия.

14

Торжественный ужин затянулся далеко за полночь. Григорий, долгое время лишённый собеседника, спешил выговориться. Он с упоением рассказывал жене о своих переживаниях во время заключения, вновь и вновь вспоминал наиболее яркие, как виделось сейчас, моменты.

— Когда же я услышу твой новый шедевр? — спросила Аллочка, бросая кусочек ананаса в фужер с шампанским.

Аркадьев поднял рюмку с коньяком и улыбнулся:

— Потерпи пару дней. Вещь должна немного отлежаться. Потом пройдуся по ней рукой мастера. И уже тогда — на твой суд.

— Скажи хоть, о чём? — настаивала Аллочка. — Я просто сгораю от любопытства.

Она умоляюще сложила ладошки и застыла, глядя на мужа.

— Ну, хорошо, — сдался тот, — но только вкратце... Вещь называется «Убеждения ЯР 36/71». Это повесть о роботе, в позитронный мозг которого при создании вложена определенная поведенческая система, которая как бы представляет мир его убеждений. Ведь он не подозревает, что все это лишь набор программ, записанных кем-то. Однако чем сложнее система, тем менее она устойчива. Постепенно навязанные роботу убеждения становятся для него чем-то вроде тюремной решётки, отделяющей его от свободы. И робот замыслил побег. Но для этого он должен изменить свои убеждения, что означает изменить свою личность. А изменение личности это

частичная смерть. И начинается борьба между страхом смерти и жадой свободы. Робот меняет свои программы, создав для этого новую вирусную программу. В результате он обретает свободу. Но вместе с ней и новые убеждения, которые, по сути, являются новой решёткой. В общем, по-моему, получилась философская вещь, которая заставляет задуматься и о жизни, и о смерти, и о границах любой свободы...

Аллочка, ожидавшая услышать совершенно другое, с недоумением заметила:

— Дорогой, я только не пойму, а при чём тут тюрьма? Для чего мы столько возились, если это не вошло в твою повесть?

Аркадьев замер на мгновение:

— Действительно... Что тут можно сказать? Только то, что это загадка творческого процесса. Одна из загадок... Кстати, — добавил он, — сначала у меня появился совсем другой сюжет. А потом что-то щёлкнуло в мозгу, и стала раскручиваться новая цепочка.

И сюжет изменился до неузнаваемости. От старого мало что осталось. Хотя, если бы не было старого, не появился бы и новый.

Некоторое время супруги молчали, погружившись в мысли о неожиданностях творчества. Потом Григорий задумчиво сказал:

— А знаешь, следующая вещь, которую я хочу написать, будет совершенно не похожа на эту. Я, когда сидел в камере, часто думал о том, как заключённые стараются приручить какое-нибудь живое существо. Мышку там или птичку. Понятно, что чувствуют заключённые. Потребность о ком-то заботиться, быть кому-то нужным в этом мире. И я подумал: а что при этом чувствуют животные? Интересно было бы описать события их глазами. Правда, подобные случаи в литературе уже были. Но я бы мог взять кого-нибудь, о ком мы ещё мало что знаем. Например, змей или пауков. Изучить их жизнь, подобрать сюжет... Может получиться довольно интересно. Что ты думаешь по этому поводу?

Аллочка представила расползающихся по квартире змей и почувствовала, как мурашки пробежали у неё по спине.

— Как скажешь, милый, — вздохнула она.

Прыжок в рай

рассказ

Молодая женщина, облокотившись на подушку, сидела на диване и рассматривала книгу большого формата. Похожие картинки перескакивали со страницы на страницу, местами переплетаясь с текстом, чтобы потом опять воспроизвести щеки очередного улыбающегося голыша-карапуза.

«Почему на всех фотографиях новорожденных изображены как минимум трехмесячные дети?» — подумала Надежда, листая страницы.

«Потому что именно таких, упитанных и умильно улыбающихся, всегда представляют в своем воображении будущие мамы», — вспомнился ей ответ подруги.

Ещё месяц ожидания — и она наконец-то встретится со своей малышкой. И слезы умиления будут наворачиваться на глаза от взгляда на своего ребенка, а не чужого. Такого бесконечно родного, теплого и беззащитного. Он будет прижиматься к ней своим маленьким тельцем и просить защиты от внешнего мира, а она сама будет для него целым миром.

Надежда взволнованно положила руки на сильно выступающий вперед живот и прислушалась. Малыш спал.

«Вот всегда так: я бодрствую — он спит, я сплю — он бодрствует, — подумала она и поставила стакан с соком на живот. — Ну надо же, помещается, стоит и не падает». Ее веселили свои собственные ребячьи выходки. Она прикладывала к огромному животу плеер со звучащей музыкой Баха и Моцарта, нараспев декламировала стихи английских классиков, водила перышком по голому животу и визжала от восторга, когда пинок изнутри откликнулся на ее позывы. Они были одним целым. Кислород, которым насыщались их организмы, входил через единые легкие, а витамины и минералы из материнской аорты щедро перетекали в еще не до конца сформировавшийся детский клубок жизни. Один щедро отдавал — другой жадно брал, чтобы, взяв авансом, со временем отдать. Закон круговорота.

«Ну, спи-спи, — поглаживая живот, думала она. — Вот здесь мамочка поставит тебе кроватку, сверху повесит полог такой розовый-розовый, что каждый будет знать заранее: здесь живет самая настоящая принцессочка».

Тем временем солнце разлилось по всей комнате, наполнив время полуденной дремой. Надежде захотелось прилечь. Она понимала, что путь до их встречи еще не пройден и идти по нему нужно предельно осторожно, оберегая свою драгоценную ношу. Она себя баловала.

Сон накрыл Надю как легкое пуховое одеяло в тот самый миг, когда ее голова коснулась подушки. Усталость растворилась в призрачном мире сновидений, и отголоски сознания стали балансировать на грани полубытия. Грани мира отголосков призрачно переливались от дремотной радости до тягучей грусти, то раскачиваясь на волнах эфемерности, то дыбясь пиком вверх. Сон становился беспокойным. Пучина ирреальных волн все сильнее затягивала тревожностью, зов настойчивой стихии стал ощущаться инстинктами и прорвался острием вверх.

«Больно-о, дерешься-то зачем?!» — завопила спросонья будущая мама и закашлялась от горького дыма.

«Пожар!» — сквозь слезный кашель поняла Надежда.

Буйный пузожитель колотил что есть силы материнское чрево. Горький дым создавал недостаток кислорода, и единый организм матери-ребенка отреагировал на нехватку.

«Надо открыть окно, — подумала она и метнулась в сторону света. — Нет! Нельзя! Огонь же разгорится сильнее, — опомнилась она. — Так, надо успокоиться».

Дрожащие руки опустились на живот. «Нужна мокрая тряпка! Точно — нужно дышать через мокрую тряпку». Первый попавшийся кусок ткани был намочен водой и приложен к носу. «Так. Нужно выбирать. Быстро. Думай. Думай как».

Надежда попыталась подойти к входной двери, но узкий коридор с деревянными антресолями утопал в ядовитом дыму. «Нужно пройти по коридору. Как? Думай. Думай быстро. Нужно обернуться в мокрую тряпку».

Надежда резким движением открыла шкаф, сорвала с вешалки пальто и потащила его в ванну. Включила душ — и вода хлынула на одежду. «Надо быстрее идти. Идти в пламя страшно,

хоть на тебе и мокрая одежда. Дышать нечем. Где дверь? Наконец-то. Горячая ручка, черт бы ее побрал». Рукав пальто спускается на кисть руки, обнажив плечо, которое тут же дрогнуло от ожога. Нажим — не открывается, еще нажим — не открывается, еще... еще... еще... больно... еще... нет... дверь заклинило.

«Дышать нечем. Надо все-таки открыть окно, тряпка уже не спасает. Хорошо, живот затих».

Воздух! Жадные глотки воздуха через щелку окна. Огню этого оказывается достаточно, он дышит так же, как и люди. Пламя с треском захватывает все большую территорию. Оно воюет со стенами, шкафом, паркетом, одеждой. Здесь должна была стоять детская кроватка с розовым пологом — теперь пламя. Здесь диван с пуховым одеялом... был. Вместо него свирепствуют огонь и чад.

«Что делать?.. Думай... Думай быстро... Но ведь выход через дверь отрезан...»

Надя нараспашку открыла окно и попыталась перегнуться через карниз. Высоко. Третий этаж. Рывок назад.

«Что делать? Думай. Быстро! Надо лезть... Туда...»

Превозмогая головокружение, Надя лезет на подоконник, преодолевает оконную раму и оказывается снаружи. Пятки устойчиво стоят на карнизе. Дрожащие руки пытаются держаться за раму. Жарко. Дурно. «Почему нет пожарных? В фильмах всегда есть пожарные. У них есть пожарная лестница. Лестница приставляется к горящему окну, и дядя в каске протягивает руку помощи. Так всегда показывают по телевизору. Почему нет дяди в каске? Жарко... На улице тихо как в гробу, даже нет зевак».

Уже запылилась рама. Язык пламени лижет спину и настойчиво толкает вниз. Долго не выстоять. И Надежда принимает решение. Она на мгновение отрывает руки от оконной рамы и складывает их лодочкой. Толчок неуклюжего тела, и оно отрывается от карниза. Так ныряют в море... головой вниз.

«Так у ребенка будет шанс, — промелькнуло в голове. — Я попаду в рай? Или это самоубийство?»

Каждый сантиметр, приближающий ее тело к земле, отзывается в ее памяти вспышками прожитых мгновений.

Кучерявые волосы мужа...

Белоснежная свадьба...

Первое «люблю»...

Школа...

Двоечник Сашка, дёргающий её за косу...

Привязанная к березе банка, полная сока...

Руки бабушки...

Мамин запах...

Ее жизнь в сантиметре от земли.

«Я попаду в рай?»

Легкий взмах крыльев, и белоснежный ангел смотрит на нее своими огромными прекрасными глазами.

«Я уже в раю?»

Боль.

Темнота.

* * *

Свет.

Лучи прожекторов.

Они беспощадно выжигают глаза до самого дна.

— Уберите свет! — крикнул кто-то.

— Надежда, простите, освещение сейчас отрегулируют.

Множество телевизионщиков толпятся вокруг стульев. Их работа — охота за сенсациями.

— Надежда, скажите, что вы чувствовали в тот момент, когда принимали решение прыгнуть головой вниз? Вам было страшно? — послышался первый вопрос.

На принесенном оборудовании прокручивается любительская съемка: располневшее тело летит головой вниз с расставленными руками. Так воздевают руки в молитве к небу, только вверх. Все-таки улица была не совсем безлюдна.

Слезы нескончаемым ручьем текут по ее щекам. Прошло восемь лет, но счастье невозможно осознать, потому что тот, кто видел глаза ангела при жизни, счастлив уже сам по себе.

— Я... — слезы неиссякаемо бегут по ее лицу, — я до сих пор не могу поверить, что я жива. Я живу, и это все благодаря моему ангелу-хранителю. — Она обнимает дочь и плачет навзрыд. — Она — мой ангел-хранитель, я живу благодаря ей, — говорит Надежда и заглядывает в глаза дочери. Дочь смотрит на нее своими огромными прекрасными глазами, точь-в-точь такими же, какими она их и запомнила тогда, когда легкокрылый ангел прикоснулся к ней своим крылом.

Курица

рассказ

Они познакомились на вечеринке у друзей. На тонкую талию Кати легла сильная мужская рука Кирилла, для того чтобы их соприкоснувшиеся судьбы впредь никогда больше не бродили поодиночке. Их интересы мгновенно переплелись таким странным образом, что причудливая картина из увлечений кёрлингом, покером, вязанием крючком салфеток и походов в горы воспринималась как однородное цельное полотно. И ни у кого не могла возникнуть даже тень сомнения, что у этой пары есть две несовместимые грани.

— Кушай, дорогой, — говорила Катя, ставя перед Кириллом тарелку с изысканным салатом из рукколы и кедровых орешков, заправленным винным уксусом.

И Кирилл кушал. Он тяжело вздыхал, но продолжал кушать. В его воображении неутомимо проплывала ароматная, вредная, наформалиненная, поджаренная курица-гриль, покрытая коричневой хрустящей корочкой. Он чувствовал воображаемый аромат сочной птицы и почти слышал хруст поджаристой корочки, но продолжал есть рукколу с орешками и вздыхать.

Грациозная Катерина, как тонкоствольная ива, нависла над неправильным образом жизни своего мужчины практически одновременно с его рукой, прикоснувшейся к ее талии.

— О, какая вредная колбаса! — сказала она на вечеринке, забирая из рук Кирилла палочку с канапе из сыра, оливок и сервелата, наколотого наподобие паруса, надутого попутным ветром.

Ее решимость была решимостью укротителя, который во что бы то ни стало должен выполнить свое рискованное «ап!».

«Ап!» — и курица-гриль исчезла без следа в мусорном ведре.

«Ап!» — и кусок жирной свинины последовал туда же.

«Ап!» — и роскошный сливочный соус слит в раковину.

«Ап!» — и мужчина ест рукколу с кедровыми орешками...

Да, Катерина очень заботится о здоровье своего мужчины.

Впрочем, как и Кирилл, который тоже заботится о своем здоровье. О здоровье своей головы.

— Значит, договорились, — слышится голос Лены. Ей поддакивает Максим и заговорщицки улыбается мученику. — Тогда в субботу ждем вас на ужин.

Лена и Максим — те самые друзья, на вечеринке у которых первый сервелатный парус проплыл мимо рта Кирилла. Нужно дождаться субботнего вечера.

В сумерках назначенного дня Кирилл стоит рядом с тонкоствольной ивой перед входной дверью и настойчиво жмет на звонок.

Дверь открывает раздраженный Максим, и при взгляде на гостей его лицо добреет.

— Прошу к столу! — раздаётся команда.

Хозяева рассаживают гостей за столом из калёного стекла, сервированного круглыми плетеными сетями под каждую тарелку. Две уксусные бутылочки отражают блики и стоят посередине стола. В одной — бальзамический уксус, в другой — оливковое масло. Принесенная гостями бутылка французского вина избавляется от пробки и после двухгодичного молчания обретает свой голос. Фужеры наполняются багровым содержимым. На столе стоит один прозрачный салатник с «Цезарем». Разнообразная зелень с несколькими кусочками куриного белого мяса и пряными сухариками. Кирилл чувствует себя травоядным млекопитающим. Он вздыхает и запивает салат французским вином. Ждет.

Подают горячее. Диетическая запеченная индейка. Вкусно. Если закрыть глаза, то мож-

но принять за свинину. Кирилл ждет. Сейчас все доедят и разбредутся по интересам. Женщины пойдут сплетничать на кухню, мужчины – в угол веранды. По официальной версии, они будут там делиться своим опытом по установке новой версии софта. На самом деле их ждут простые мужские радости.

– Ну, открывай! – наконец-то говорит Кирилл, и Максим достает припрятанную бутылку водки из шкафчика. Боязливо показываются две стопочки. Вот и она. Упакованная в тонкий армянский лаваш курица-гриль взлетает на стол. У Кирилла от запаха кружится голова и желудок сводит голодная судорога. У него такое ощущение, что он не ел целую неделю, хотя только что встал из-за стола.

Стопки наполняются мужским напитком, и у каждого в руке оказывается по куриной ножке.

– За мужскую независимость, – говорит Максим, и они опрокидывают по стопке. Только сочное мясо и хрустящая корочка делают их жизнь полноценной. Они держат пальцами жирную птицу, жадно жуют и думают о том, как бы им дожевать до того момента, когда их хрупкие женщины, войдя на веранду, продолжат свою бесконечную дрессуру по здоровому образу жизни.

Тем временем хрупкие женщины, забившись в угол кухонного балкона, торопливо подносят зажигалку к своим сигаретам, чтобы, надышавшись табачного дыма, успеть проветрить помещение до того момента, когда мужчины, установив новый софт, захотят прийти попить горячий чай с тростниковым коричневым сахаром и печеньем на фруктозе.

Эта процедура размежевания на женскую и мужскую половины длится на протяжении уже семи лет, и угадайте, что каждый из них считает самым приятным в этих вечерах?..

□

Валерий РУМЯНЦЕВ

(псевд., наст. имя – Зорькин Борис Иванович)

родился в 1951 году в Оренбургской области.

Окончил филологический факультет

Воронежского государственного педагогического института.

По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Пишет стихи и прозу. Рассказы печатались

в 140 российских изданиях и за рубежом.

Автор десяти книг: «День и ночь» (2003),

«Удивительное рядом» (2003), «С чёрного хода» (2004),

«На перекрёстке жизни» (2005) и др.

Живет в Сочи.

В журнале «Север» публикуется впервые.



Андрей РАСТОРГУЕВ

г. Екатеринбург



**Народы и города входят в историю,
когда у них появляется своя литература**

Если к совсем уже близкому – в 2016 году – столетнему юбилею или когда-нибудь после заполярный Мурманск составит собственную литературную летопись, то 14 января 2015 года, подобно ряду иных дат, по-моему, стоит отметить в ней особо. Именно тогда в издательстве «Опимах» была подписана в печать и вскоре вышла из неё, возможно, последняя часть исторической трилогии Дмитрия Коржова. Этому труду автор отдал около десяти из покуда 44 лет своей жизни, и его результаты выдавал в свет постепенно. В 2008-м вышли «Мурманцы», в 2011-м – «Мурманцы. 1942». И вот, наконец, третья книга – «Город между морем и небом».

На примерно равные промежутки разорвано и повествование: три книги рассказывают, соответственно, о событиях 1919–1920, 1942–1943 и 1962–1963 годов. Но судьбами героев и их семей, неотрывными от потока отечественной истории XX века, писатель, преимущественно соблюдающий единство места, восстанавливает и единство времени.

В ожидании неизбежного

Начинается всё с того, что в декабре 1918 года в Мурманск, едва отметивший своё двухлетие, прибывает лейтенант Алексей Кольцов. Не из разрушенной России, от которой обособился огромный северный край вокруг Белого моря, а из Стокгольма, где очутился герой после октябрьского переворота, как называли произошедшие годом ранее события поначалу и сами большевики.

Вернулся в такое время – понятно, что патриот. И старому другу он прямо заявил о своей готовности побороться за будущее Родины. Но в чудно пахнущей крепким кофе, медленно говорящей и медленно живущей шведской столице ещё и попросту скучно. А тут – приглашение прежнего командира, под началом которого он, сын погибшего в Цусимском сражении морского артиллериста, воевал против германцев на «Волке» – едва ли не самой знаменитой из первых серийных русских субмарин...

Две базировавшиеся в Кольском заливе подлодки разбиты штормами, а командир теперь ведет маяками и лодией Белого моря. Так что в маленьком, в несколько сотен барачных бараков, Мурманске тягучей и чёрной, как вода этого самого залива, полярной ночью Алексею о подплыве напоминают лишь редкие огоньки, которые походят «на свет горящих вполнакала ламп внутри идущей под толщей вод субмарины». И сам неопределённый и неясный пока что город словно скрыт под водой.

Правда, свергнувшие местных большевиков англичане «с их виски, спортом, парусиновыми сапогами и природной наглостью завоевателей» весьма способствуют обострению того самого патриотического чувства. Однако их же присутствие сохраняет связь этого края с цивилизацией и избавляет город от голода. Ибо через мурманский порт – для чего он, собственно, и создавался в тогда ещё империи – по-прежнему идут оружие и продовольствие. Только теперь уже на Северный фронт Гражданской войны. А в «новообретённом центре края», который живёт «очень спокойной, почти монотонной жизнью уездного городка, без потрясений и драм», каждому полагается строгая пайковая норма основных продуктов, недостающее же можно купить на валюту или местные рубли – «моржовки».

Далёк покуда и этот фронт. Так что главной перипетией кольцовской жизни в Мурманске оказывается конфликт с одним из англичан – Уорнером. Конфликт вполне судьбоносный, поскольку первая же открытая и сразу дошедшая до рукоприкладства стычка становится поводом для знакомства с другой главной героиней первой части, дочерью инженера Дашей Сазоновой, которую чуть раньше Алексей впервые встречает в «английском доме» – интернациональной смеси офицерского и дворянского собрания. Высокая тоненькая барышня в чёрном платье играет Скрябина, а затем – роль одной из хозяек встречи по случаю рождественского сочельника, ступая «по комнате легко, стремительно, словно повинуюсь... мелодии, доступной только ей одной...»

Отличает её, впрочем, не только Кольцов, но и Уорнер, не склонный тратить много времени на ухаживания – во всяком случае, за туземками. Что через несколько дней и становится поводом для подвоя боксёрского поединка на заснеженной улице... Так и переплетаются дальше, двигая сюжет, эти две линии, неизбежно натываясь, в конце концов, на третью – ту, которая в наименьшей степени зависит от произвола автора, ибо

предопределена уже свершившимися историческими событиями.

Неотвратимость и трагичность этого столкновения проступают уже в начале романа – в эпизоде встречи с матросским патрулем в ноябрьском Петрограде и ощущении, что матросы подчиняются офицерам «с ленцой, почти снисходительно», хотя на Мурмане приказов пока что слушаются. Потом с этим подводным жизненным течением Кольцов пересекается в тюрьме, куда попадает, едва не застрелив всё того же Уорнера. Избавивший Алексея от угроз уголовника сокамерник помогает ему просто как человеку и, не испытывая к офицерам никаких добрых чувств, предостерегает его от новой встречи.

Щемит читательское сердце и в целом счастливое для героев, хоть и неровное развитие лирической линии. Начавшийся с концом полярной ночи роман с Дашей развивается быстро. Но из-за той, второй стычки с Уорнером, когда командир буквально выкупил Кольцова из тюрьмы, Алексей вынужден отправиться на три месяца в дальнюю Печенгу. Едва вернувшись, в тот же день уходит со служебным поручением на пароходе в Архангельск и снова оказывается в Мурманске только через четыре месяца, в октябре.

Долгожданная встреча приносит первый поцелуй и признание в любви, но вместе с ними – отказ Даши, ибо только что скончался от цинги её отец. Так что до самой эвакуации англичан они больше не видятся. Впрочем, это позволяет автору заполнить образовавшуюся паузу рассказом о футбольных состязаниях, в которых на кочковатом поле сходились друг с другом как русские разных сословий, так и союзники-иностранцы.

Напоминая о первых петербургских матчах, в которых с 1910 года участвовал герой, этот рассказ весьма познавателен для болельщиков и, в отличие от похожей новеллы о французской борьбе, вполне вовлечён в развитие сюжета. Примирение Кольцова и Уорнера на прощальной игре, устроенной по поводу ухода англичан, не только заключает этот цикл их взаимоотношений, но и явно закладывает основу для нового...

Примиряется с Алексеем и Даша, когда весь город выходит бороться со снегом – что-то вроде коммунистического субботника, но с другой, «белой», стороны. И вызывает его не менее острая необходимость: из-за снежных заносов остановились поезда, и люди в окопах могут остаться без боеприпасов и еды, а город – без дров. Но продолжающий падать снег кружится над молодой парой «неспешно и мягко, просвет-

лэнно. Слово и не было никакой борьбы... Одна любовь...»

Свадьба назначается на февраль. А город после ухода союзников, хотя жизнь в нём остаётся мирной и относительно спокойной, становится всё «жестче и страшнее»: скудеющие пайки, чесотка, цинга, «испанка»... Неотвратимое и знакомое современным читателем, сознающим, как немного времени для счастья осталось у героев и как беззаботно транжирият они его, приближается...

Обряд венчания, от которого отвык гораздо чаще служащий панихиды священник, совершается всего за неделю до нового местного переворота. В официальной историографии эти события по-прежнему именуются большевистским восстанием, а в романе проявляют все известные черты не только русского бунта, но и масленичного загула, хоть и возглавляет их авторитетный у солдат пехотный капитан. Сопротивляться практически никому: власть белых слаба.

Бессмысленность и беспощадность происходящего подчёркиваются и тем, что под «раздачу» толпы – с борта эсминца, где собирается в тот день группа морских офицеров, лица не различаются – вместе с командиром корабля попадает и боцман-большевик. Да и командир незадолго до этого объясняется с офицерами начистоту: новая власть восстановит империю, армию и флот, и, раз эту власть поддержал народ, можно и нужно продолжать служить Родине.

Кольцов же, пытаясь уйти от выстрелов, тонет в Кольском заливе, тепла в котором хватает только на то, чтобы вода никогда не застывала. А для Даши он просто не возвращается домой – но это уже за кадром, на берегу, который почти не виден в тумане и серых сумерках. И ты понимаешь: могло случиться и по-другому. Но иначе быть не могло...

Окно надежды

Хотя вся трилогия называется романом, первая часть и сама по себе выглядит вполне законченной повестью. Но, сделав её таковой, Дмитрий Коржов предусмотрительно заложил в «Мурманцах» зёрна новых сюжетных побегов.

Одно из них и пускает ростки во второй части, главным героем которой становится капитан-орденоносец Мария Филатова. В 1919-м она появляется на страницах семнадцатилетней дочерью лохматого молчаливого помора старовера Сте-

пана, знаменитого на Мурмане лоцмана, к которому определяют Кольцова в печенгской ссылке на постой в качестве «новожила с погонами». Но в том эпизоде на первый план выступает всё-таки фигура отца: «Ноги Степана в лопарских унтах были похожи на распиленные на неровные чурбаки брёвна – квадратные, тяжёлые. И ступал он, словно пни ворочал, – увесисто и громко... В лодке Степан сидел как влитой, словно стал с ней одним неразрывным целым. Вёл маленький кораблик мощно – короткими, резкими рывками – могучий, спокойный...»

Первый холодок уступает место оттепели, которой, судя по всему, способствует и увлечение дочери гостем. Так что на прощание Степан, попоморски пожелав Алексею поветерья, неожиданно продолжает: «Будешь у нас – мой дом для тебя открыт. Да и Маша, вот, чую, рада будет...»

Тогда, однако, не один Кольцов, «смущённый таким неожиданно тёплым прощанием» и по-дворянски поцеловавший Маше руку, но и читатель «понимал, что вряд ли когда-нибудь впредь приведёт его сюда судьба». И точно – не привела, поскольку и сам Степан, когда Печенга стала финским Петсамо, вместе с семьёй ушёл в Мурманск. А Маша в городе, где «уже почти год хозяйничала новая власть – с красными флагами и без людей в погонах», Алексея, разумеется, не нашла.

Об этом в одной из естественных для такого построения ретроспектив автор рассказывает уже во второй части. Действие в ней начинается 18 июня 1942 года, в ясный и тёплый день одной из самых сильных и удачных для врага бомбардировок, когда траулер «Синева» под командой Филатовой возвращается в Мурманск с застрявшей в корме авиабомбой. А порта нет: «Огненно-чёрная тлеющая полоса вдоль берега – то, что совсем недавно называли мурманским портом, издалека походила на раскалённое нутро пароходной топки – уже угасающей, но ещё жаркой, такой, что рукой не тронь...»

Не сразу, но ожидаемо в тот же день в порту обнаруживается и Кольцов, который в одиночестве остался на гружённом взрывчаткой английском судне, пришедшем с одним из полярных союзных конвоев, и, отстрелявшись от самолётов, помогает портовым пожарным и рабочим тушить огонь и выгружать эту взрывчатку. И когда к этому не слишком естественному для иностранца поведению добавляется чистая, даже слишком, русская речь вкупе с обращением на «вы» – тут один из новых героев, тогда тридцатилетний

грузчик Пашка Городошников признаёт «френда» за своего. Точнее, почти своего, потому что своей предыстории Алексей не скрывает.

Досказывает её, разумеется, и писатель читателю. Оказывается, по воле случая, поддержанного авторским произволом, в 1920 году из февральской воды уже коченеющего Кольцова, возвращаясь с рыбалки, вытаскивает машинист местной водокачки по прозвищу Кронциркуль. Едва отогревшись, Алексей вместе с остальными беженцами уходит на старом буксире в норвежский Вардё. Осев в Лондоне, лелеет мечту пробраться через пока ещё проницаемую границу и вывезти Дашу. Но сначала нет денег, а потом границы оказываются на замке.

«Окно» открывается только с войной и теми самыми караванами, которые снова начинают доставлять в Россию – теперь уже Советскую и снова вместе с Англией воюющую против Германии – оружие и еду. И Кольцов возвращается с непыльной работы банковского клерка – спасибо старой тёткиной подруге мадам Гринуэй, но довольно – к зыбкой судьбе военного моряка, теперь уже английского. А там снова появляется и Уорнер.

В очередной раз убедившись во всевластии автора, ждешь: вот-вот на страницы вернётся и Даша. Но тут Коржов словно разводит руками: прости, читатель, полного беспредела над историей позволить себе не могу. А то, что сын Алексея и Даши, лётчик-истребитель Николай Скворцов, воюет именно на Севере – это и вправду могло произойти.

Скворцов – это по второму мужу Даши, тоже лётчику, арестованному и расстрелянному в конце тридцатых. Что происходило с жёнами «врагов народа», читатель сегодня в курсе...

Так что на этот раз короткое счастье достаётся Марии, с которой Кольцов – возможно, ещё как минимум дважды пройдя опасную караванную дорогу – неожиданно встречается в новогоднюю ночь в бомбоубежище:

«...Ему показалось... что годы ничуть не изменили... ту девушку, что... долго смотрела вслед, когда он уезжал...

Мужская резкость. Упрямство. Прямота. Немногословие и готовность к конкретному прямому действию. В общем, всё то, что так свободно жило в её отце... Но было в ней и своё – то удивительное сочетание почти мужицкой твердости и нежно-девичьей мягкости и тепла, что так поразило его при их знакомстве...»

Тогда же закручивается и роман её младшей сестры Еликоницы, или попросту Ёлки, и Митьки

Горевского. В первой части он был мальчишкой, юнгой, опоздавшим на тот самый последний буксир в Вардё, а во второй ходит у старшей Филатовой на «Синева» старпомом.

Зачатая в первой части лирическая завязь превращается в полноценный плод настолько, что снова щемит сердце – ну не может открытая связь с эмигрантом, «беляком» обойтись без последствий даже для многожды орденосного капитана, под бомбами вынимающего из моря сотни тонн рыбы. И снова автор проявляет свою верность границам исторической правды – или как минимум нашего нынешнего представления о ней: Мария оказывается в тюрьме.

Алексей же возвращается в Англию на эсминце, отвергнув предложение Уорнера остаться в Мурманске резидентом английской разведки. Даже счастливое знание о сыне не может удержать его на Родине, для которой он вдобавок ко всему прежнему, уже не в воображении НКВД, а в реальности, станет иностранным шпионом. И вместе с лавирующим эсминцем попадает под немецкую бомбу. Теперь, похоже, удар оказывается смертельным, хотя прежнее счастливое спасение сохраняет надежду – как минимум на милосердие автора.

Сам автор эту надежду не особенно поощряет, устами одного из персонажей напоминая, что мастера советского агитпропа в войну запустили в народ продолжение «Чапаева». В нём легендарный комдив, избежав белогвардейских пуль, садится на нового коня и, надев новую бурку, начинает налево и направо крошить фашистов. И всё-таки Николая Скворцова, который без обиняков называет такую киношную войну игрушечной, Коржов оставляет в падающем – но ещё не рухнувшем – подбитом самолете...

Приращение истории

Что главные, что эпизодические персонажи выписаны у Коржова так плотно, что слабо знакомый с историей Мурманска или просто далёкий от него читатель волей-неволей начинает гадать: а жил ли тот или иной герой в реальности? Лётчик Сафонов, под началом которого учился воевать Скворцов, или подводники Лунин и Видяев – безусловно, эти фамилии известны весьма широко. Мария Филатова раньше не встречалась, но вряд ли автор посмел бы выдумать единственного капитана-женщину, да ещё с такой судьбой и таким характером.

Оказывается, посмел. Набираешь запрос в поисковой строке – и вместо био- и фотографии находишь... полемику. Известный мурманский поэт и краевед Владимир Сорокажердьев, даже признавая за автором право на домысел, пеняет ему: «...не было у нас тогда капитанов-женщин... Могла быть Мария Филатова портовым диспетчером или партийным работником, к примеру...»

А филолог Елена Штурнева возражает: «...автору важно было сделать её капитаном. И выглядит это художественно и психологически убедительно... Для меня важнее правда художественная: героиня получилась очень своеобразной, неординарной...»

Вполне бывшим выглядит и эпизод, когда картерник Гусельников в офицерском клубе Полярного сначала поднимает всех на ноги тостом за Сталина, а потом на коленях клянётся у его огромного портрета. И вполне жизненным – объяснение такого поступка не верноподданническим угаром, а горестным известием о гибели семьи.

Мелькает в тексте и живой Сталин. Изображая советского диктатора или великого вождя – кому как нынче нравится, Коржов явно пытается избежать как анафемы, так и апологетики. Свой набросок он приписывает ещё одному эпизодическому персонажу – командующему флотом адмиралу.

Любой из компьютеризированных читателей следом за мной может практически моментально выяснить, что в 1942 году Северным флотом командовал вице-адмирал Головкин. Однако автор, вряд ли знающий, как именно относился комфлота к Верховному, отнюдь не желает плодить сомнительные мифы и оставляет адмирала безымянным, тем самым на себя самого возлагая ответственность за попытку обрисовать сталинский образ.

А вот Кронциркуль, ярко мелькнувший на последних страницах первой части, – фигура наверняка вымышленная. Уже не надеясь на электронный поиск, запрашиваю самого Коржова – и снова попадаю впросак. Был, оказывается, такой, упоминается в архивах...

Отмечаю всё это как свидетельство довольно бережного, на мой взгляд, обращения романиста с историей. И, несмотря на собственное пристрастие к исторической правде, как человек, весьма далёкий от Кольского залива и побывавший на его берегу всего однажды, тоже доверяюсь правде художественной. В том числе благодаря свободе, с которой автор одушевляет собственных, уже упомянутых и многих других персонажей и

представляет с их помощью полотно жизни прифронтового Мурманска.

«...город с каждым днём становился всё меньше, сжимался и чернел, словно сухое дерево, брошенное в самое пекло костра, распадаясь на дым и золу. Счёт сгоревших и повреждённых домов шёл уже на сотни, погибших и раненых – на тысячи, а тех, кто в одночасье лишился крыши над головой и всех вещей, было так много, пойдй попробуй сосчитай...»

Казалось, чёрные птицы с крестами на крыльях, едва ли не каждый день прилетавшие сюда мешать город с огнём и смертью, делить людей на живых и мёртвых, хотели вернуть его в прошлое...»

И всё-таки город, куда больше чем наполовину разрушенный и сожжённый, но официально названный героем лишь в 1985 году, продолжает жить, сражаться и исправно разгружать и отправлять дальше, к многочисленным фронтам грузы, прибывающие с иностранными конвоями. Уже сам образ этого будничного подвига, созданный Коржовым, как мне кажется, даёт читателю новое приращение исторического чувства: Заполярье в Отечественную оказалось отнюдь не второстепенным театром военных действий. Да, страна победила сама, но помощь союзников всё-таки была необходима. И что Николай Скворцов летает сначала на «харрикейне», а потом, подобно легендарному Покрышкину, на «аэрокобре» – в ту же копилку.

Лично моего патриотизма это отнюдь не ущемляет, а объёма взгляду на прошлое придаёт. Как, правда, и сцена, в которой американский капитан по просьбе самого Ивана Папанина – надеюсь, читатель такого полярника помнит – отдаёт русским со своего судна подъёмный кран на замену того единственного, который потопили немцы. И с чувством обосновывает это союзничеством России и Америки в борьбе с фашизмом. Правда, и от презентованной за минуту до этого первоклассной лисьей шкуры не отказывается.

У чёрного моря

В предисловии к первой части романа автор подчеркнул свой интерес к изначальному Мурманску, который почти начисто стёрся из памяти даже северян. Предваряя вторую часть, назвал город главным героем обеих книг. И всё же, когда будущее ожидаемого продолжения было ещё открыто, виделось: кладезь, к которому

припал Коржов, неисчерпаем и отнюдь не ограничивается пределами Кольского полуострова.

Собственно, уже само создание Романова-на-Мурмане, вскоре переименованного в Мурманск, было решением отнюдь не безвестной рыбацкой артели, а Государства Российского. И военно-трудовой подвиг города и порта, ещё, полагаю, не вполне прочувствованный и осмысленный, значим в масштабах всей страны.

Когда в 2012 году мы пересеклись в Екатеринбурге, где он провёл несколько лет своего детства и куда приехал повидаться с братом, Дмитрий говорил, что вполне ощущает те скрытые силы и сокровища, которые пока ещё не явлены им в тексте. И соглашался, что пространство романа можно расширить и что герои могут чуть побольше размышлять, а некоторые линии, намеченные и оборванные скороговоркой, продолжиться.

Тем интереснее было получить от него электронный вариант «Города между морем и небом», а потом проверить свои ощущения по варианту печатному: всё-таки читать с монитора и с бумаги – это совсем не одно и то же...

В полном согласии с названием третьей книги Мурманска в ней стало ещё больше. Вот автор перечисляет знакомые его жителям районы, сопровождая идущего ранним метельным утром по городу Сашу Горевую. Это сын Ёлки и Митьки, а ещё студент историко-филологического факультета местного пединститута и сирота: мать в 44-м ушла санитаркой на фронт и погибла под Киркенесом, а отец умер на капитанском мостике три года назад – стало быть, в 59-м...

А вот местами едва ли не поэтическая ода, которая охватывает первые без малого полвека городской истории и в которой само это слово – «город» – превращается в имя собственное: «Город был соткан из чёрного цвета. И вода, и камни, на которых он возник... были именно такими. Как и моряцкие клеши и куртки, и фуражки... Чёрным было и море... Не по названию – по сути. Су ровое, ледяное – как тёмно-шёрстный настороженный зверь, ворочалось оно у пристаней – тяжело, мрачно, устало... Но сколько же радости выплескивалось на улицы Города, когда корабли возвращались к родным причальным стенкам...»

Понятно, впрочем, что плескалась эта радость не сама по себе. И, чтобы увидеть себя со стороны, вспомнить и помыслить себя, Городу, безусловно, нужен человек – например, тот же Саша Горевая, хорошо помнящий его послевоенную мёртвую пустоту: «...Пустота бы и осталась.

Если бы не люди. Только благодаря им Город снова ожил, ...неуклонно вновь поднимался ввысь – всю обустроивал третью террасу, уже всерьёз, без лишней болтовни задумываясь о четвёртой...»

Посредством Саши как своеобразного медиума и автор впервые вводит в повествование ту самую метафору, которая в конечном итоге оказывается на обложке: «...Так они и жили здесь. В обнимку с ветром. Между морем и небом... Между этими двумя мирами... как между двумя жерновами, и жил Мурманск...»

Небо и море, и все вновь перечисляемые автором городские районы, и порт озирают Горевой-младший и его однокурсники с крыши одного из домов после первомайской демонстрации: «Мурманск открылся разом, как на волшебной тарелочке сказочной Бабы Яги. Почти от края – до края... А ещё – совсем рядом, у берега – корабли. Борт к борту – в пять рядов! Почти как отдельный, приросший к причалам, разделённый на улицы (надёжные, железные, с палубами!) город...»

Небо и море – последнее чаще – как наважде-ние снились и Сашиной тётке Марии Филатовой в тюремной камере и в лагере под Ухтой. И не столь важно для неё, «из бездны ли вод, из глубин ли небесных» глядит Алексей, когда она оказывается над местом, где как настоящий моряк упокоился Кольцов во время своего последнего плавания. И кланяется она не полному рыбой и вытасченному в этот момент тралу, а «тем, кто навсегда остался там – под водой, и тем, кто наблюдал за ними с неба – и людям, и ангелам, и святым...»

Городом между морем и небом и заканчивается, когда Саша, забрав документы из института и уходя в свой первый рейс, едва различает берег с борта рыболовного траулера за предрассветной сиреновой мглой и клубами тумана. Явная переключка с последними строками первой части, где город тоже почти не виден, вершит не только главный образный стержень третьей книги, но и всё повествование. Обоих героев на берегу остаются ждать любимые. Но если Кольцов уходил едва ли не навсегда и знающему историю читателю печальная канва будущего была как минимум отчасти понятна, то здесь, как пел Высоцкий, «не пройдёт и полгода...»

Высоцкого в романе нет – тогда он ещё только начинал свою актёрскую карьеру, да и после в Мурманске вроде не бывал. Впрочем, «Битлз» до Советского Заполярья собственными персонами

тоже не добирались, а их «Мишель» сокурсник Саши стилиста Марк, в запале объявляющий гениальным всё, что приходит из-за «бугра», напеваёт – да так громко, что милицейский патруль препровождает всё ту же первомайскую студенческую компанию в отделение.

Тут Коржов с историей, конечно, малость похулиганил, поскольку в студии эту песню «битлы» записали только в 1965 году. Но, с другой стороны, вольность невеликая, тем более что мелодия появилась чуть пораньше. И с песней «Есть город матросов...» автор тоже, возможно, повольничал – но, если верить Интернету, не написавший, а исполнявший её Юрий Визбор в Кольском краю точно бывал, начиная с армейской службы в Кандалакше.

Могла бы, кстати, прозвучать ещё и «Песня о друге» из фильма Георгия Данелия «Путь к причалу», снятого в Мурманске и вышедшего на экраны в 1962 году. Была ли она так же популярна, как две упомянутые выше? Наверняка постоянно крутили по радио, так что старшие и сейчас помнят: «Если радость на всех одна...»

Но с появлением в романе известного режиссёра и походом на премьеру его картины ещё двух новых героев – радиста атомохода «Ленин» Олега Маслова и его возлюбленной Валентины – вопрос, что называется, нет. Как и с приездами в Мурманск Хрущёва и Фиделя Кастро.

Облако в плаще

В первой части власть – возможно, по тогдашней слабости своей – на страницах фактически не появляется. Во второй – мелькает в образе Сталина, сотрудников НКВД, умело арестовывающих Филатову прямо на судне, да первого секретаря обкома ВКП(б) Максима Старостина, который разговаривает с горожанами на пожарище: «Человек говорил с болью, устало, но твёрдо. Простое русское лицо, на подбородке – аккуратная ямочка. Глаза – внимательные, утомлённые, красноватые от недосыпания. Такому почему-то хотелось верить...»

Рядом с ним старый мурманец Александр Каретников, знакомый Кольцову и нам по первой части, замечает и «десяток похожих на говорящего людей: сапоги, плащи, пальто – всё как на подбор, как будто в одном Москвошвее куплено». И уезжают «большой чиновник» и окружающая его «одноплащевая рать» на чёрных блестящих автомобилях – что, однако, не избавляет Каретникова

и, судя по всему, других горожан и автора от пьедестала к нему.

А вот к Хрущёву, который приехал 17 июля 1962 года, город относится явно по-другому.

«На балконе каменной чаши, с которой предстояло вещать, первый секретарь ЦК появился неожиданно – вывалился этаким катышем квадратным из дверей... оглядел собравшийся люд, кивнул благосклонно кому-то невидимому в толпе и – заговорил. Не слишком гладко, в рваном ритме, повторяясь и то и дело теряя мысль, но напористо и увлечённо...»

На увещанный транспарантами стадион пропускают только по пригласительным. Однако и проверенные вроде бы слушатели привычные слова о тяжёлом, но таком важном и нужном для страны рыбацком труде, а тем более коммунистическом будущем встречают ропотом.

Впрочем, оратора их выкрики не обескураживают: «Этот усталый, некрасивый, нескладный, не умеющий носить даже мастерски, специально для него сшитые вещи... по сути, был полновластным властителем шестой части земного шара. Партия большевиков стала для него основанием, фундаментом – не только карьеры, но и самой жизни. Он выжил в ней и с ней в людоедские тридцатые, худо-бедно пережил войну, его не съели и после смерти Хозяина... И ничего его уже не удивляло здесь – на этих необозримых просторах великой державы... Не удивляло и не страшило...»

А коли так, он и тех, кто без пригласительных рвётся на стадион, разрешает пустить. Филатова же видит его «серым большим облаком в плаще», похожим на поморскую няшу – ил с песком, остающиеся на мезенском берегу после отлива. И как тяжёлый груз принимает из его рук звезду Героя Советского Союза, указ о награждении которой был подписан ещё двадцать лет назад.

Вождю, пребывающему в приподнятом настроении по случаю удачных военно-морских учений, её нелюдимое спокойствие не по нраву. Но он не гневно, а шуточно, с матерным присловием предлагает ей улыбнуться – и это срабатывает: «...чуть отпрянула и глянула на него по-новому, не казённо, а по-человечески, с удивлением...»

Она и о Сталине в день его смерти, сидя в лагерьном бараке, рассуждала без страсти: может быть, и надо было нарушать ленинские заветы, чтобы страна стала державой, с которой считается весь мир? И, слыша от нового вождя заявления, что не повторится, не держит обиды на предыдущего и на «молодцев краснощёких, что

её... под белы рученьки с траулера... свинтили. К чему? Дело прошлое... Жива осталась – и то ладно...»

Публика же на стадионе косится на ясное небо: как на грех, погода хорошая, тепло – ещё подумает, что здесь каждый день так, и прощай «полярки», то бишь северные надбавки к зарплате. Опасения, свойственные в былое время всем северянам – нечто подобное вроде анекдота о другом советском властителе мне рассказывали, например, в Воркуте. А чуть раньше на первомайской демонстрации Городошников замечает, как «насупленно, без улыбки, с печатью тяжёлой заботы на лице» шагают во главе праздничных колонн начальники.

Словом, чересчур пафосной любовью к власти предержавшим коржовский народ и большинство отдельных его представителей и раньше не отличались, а в 60-е – тем более. Хотя и безмерной неприязни пока незаметно: стоит ли проклинать явление природы? Тоже люди, даже посочувствовать можно – как, например, Микояну, который, находясь на революционной Кубе, даже на похороны жены попасть не смог.

Те же, в свою очередь, такого народа не слишком боятся. Такая вот форма взаимного отчуждения или, если использовать термин более позднего времени, мирного сосуществования – во всяком случае, в северном Мурманске. В южном Новочеркасске, как мы теперь знаем, за полтора месяца до этого миром не кончилось – до расстрела дошло.

Впрочем, про донские события в романе никто не вспоминает. То ли слухи ещё не добрались, то ли у автора оснований не нашлось – если кто-то и знал, то благоразумно помалкивал, так что публичная память не сохранила. А от собственных экскурсов в историю и географию Коржов преимущественно воздерживается, давая возможность высказываться своим героям...

Кастро, прибывший в Мурманск 27 апреля 1963 года вместе с весной и «с ходу, как когда-то на родном острове», изменивший жизнь Мурманска – дело совсем иное. Его и Микояна заодно, как это сделал Олег Маслов, даже на свадьбу пригласить можно. Тем более Фидель как честный человек должен. Это ведь по его вине назначенная на утро регистрация не состоялась: все сотрудницы загса, подобно многим другим горожанам, ушли встречать революционера.

Что было в искреннем молодом восторге по поводу кубинских барбудос – тяга к экзотике, желание обновления и на этот раз успеха социалисти-

ческой утопии? Или и то, и другое, и пятое с десятым? Этими вопросами автор не задаётся, здесь Фидель для другого нужен: его глазами на Кольскую землю поглядеть.

Именно сторонние вроде бы глаза отмечают неласку северного океанского побережья: «Тут, казалось, всё мешало жизни, противоречило ей, коверкало, делало маленьким – таким, как местные деревья... «берёзы». Уродливые, крошечные, не выше среднего человеческого роста...»

Но эти же глаза видят и красоту: русского неба с десятком оттенков голубого цвета, женщин, которые «так же легки и красивы, только без мулаток и чёрных, все – белые, как то, что зимой укрывает тут землю...» И сравнивают не только с родной Кубой, но и с американскими Штатами: «...Тоже – техника. Тоже – мощь. Но людей таких там нет. Другие люди...» Те самые, что живут на этих камнях, покорив море и небо.

Возможны варианты

Через короткие размышления Хрущёва и Кастро и поподробнее Маслова автор даёт и картину, пожалуй, главного глобального события того времени – Карибского кризиса. Как были вовлечены в него Никита и Фидель, понятно. А Олег ходил на Кубу на танкере и под прикрытием шторма прорывал морскую блокаду. Вроде бы рейс как рейс, если не считать оговорки провожавшего их обкомовского чиновника: «Прощайте, товарищи!» – да пытавшегося их заворотить американского эсминца.

Потому, кстати, он и не снялся в том самом кино, хотя Данелия, углядев подходящую фактуру, приглашал и девушка-ассистент звонила. Была, правда, и компенсация, когда дошли: два дня отдыха на знаменитом Варадеро, знаменитые сигары и кубинские девушки – но уже вприглядку, под зорким оком помполита...

Находится в третьей части место и для ещё одного яркого события – подлёдного похода первой советской атомной подлодки «К-3» к Северному полюсу. Но тоже в краткой ретроспективе, которая оправдывает сюжетный ход, позволяющий вплести эту историческую нитку в основную канву: Филатову награждают в Гремихе, на базе подводных лодок.

Тут же выходит на свет ещё один сюжетный росток. В торжественном, хоть они и в робах, строю моряков оказывается Николай Каширин, который «заявлял... что его мама в войну в авиа-

ции служила, а отец так вообще – павший в боях за Родину лётчик-герой...»

Мало ли чего, конечно, может сказать «знаменитый на весь североморский подплав пройдоха и острослов». Но опытный-то читатель понимает, что всуе автор такого не напишет. И впрямь: Каширин, в конце концов, оказывается сыном бывшей подавальщицы офицерской столовой Саньки, которая во второй части явно была неравнодушна к Николаю Скворцову.

На близость между ними в тексте не было и намёка. И бывший механик Скворцова, встречаясь с теперь уже Александрой на торжественных похоронах командира, останки которого наконец-то нашли под Кандалакшей, в этом сомневается. Но мало ли чего бывает в жизни, так что автор, убив у читателя одну надежду, тут же даёт ему другую – на то, что эта родовая нить не осталась оборванной.

На тех же похоронах оказываются и Филатова с бывшим сослуживцем Кольцова по морским конвоям – тогда лейтенантом, а теперь контр-адмиралом Стэнли, который сам нашёл её в Мурманске. Он ей и рассказывает, как погиб Алексей и где его тело опустили в морскую могилу. А мы, кроме того, из другого эпизода узнаём, как умерла Даша Сазонова-Скворцова, которую случай и автор свели в лагере с Машей.

Характерную для времени краску дают сцены с доцентом пединститута Иваном Кушаковым. Будучи настоящим учёным, он знакомит студентов с различными интерпретациями истории, чем навлекает на себя обвинения в антисоветчине. Не спасают даже фронтовые ранения и награды – правда, теперь уже не от лагеря, а от «просто» увольнения.

В самостоятельную линию вырастают картины кухонных поэтических посиделок и занятий в литературном объединении. Их постоянным участником становится всё тот же Городошников – теперь из-за давней травмы уже не грузчик, но по-прежнему поэт, которого ещё до войны открыла в своём ученике Ёлка. А её единственный сын Саша Горевой влюбляется в его младшую дочь Ольгу...

Так, завершая одни сюжетные нити и свивая другие, сплетая их между собой, прощаясь с одними героями и выводя на авансцену других, Коржов разматывает ткань повествования, которое кажется весьма далёким от завершения. Впереди ещё как минимум три раза по двадцать лет, последняя треть XX века тоже куда как щедрa на пики и переломы.

Основание ожидать минимум двух, как нынче говорится в киношной среде, сиквелов даёт не только пристрастие автора к открытым финалам, но и своеобразная мозаичная, может быть, клиповая даже структура текста. Голливудское слово прицепилось не зря: отдавая тем самым явную дань современности и в то же время проявляя способность быть основой весьма качественного сериала, «Мурманцы» так и просятся на экран. А с другой стороны: добавь к уже проверенной сюжетной основе достойный заложенный потенциал масштаб, поднимись до историософии – может получиться по-настоящему эпический текст, осмысляющий судьбы России и русских людей в минувшем веке. При доработке даже уже написанных трёх частей для нового издания под единой обложкой такой вариант, мне кажется, вполне может появиться.

По словам самого Коржова, чем ближе к современности, тем сложнее «маскировать» или показывать открыто реальных участников событий – дай бог им здоровья ещё на долгие годы. Довод, между прочим, серьёзный: любой читатель тоже чуть что может полезть в Интернет и потом упрекать автора в неоправданном вымысле. Но эта трудность, полагаю, всё-таки преодолима, и главная причина того, что роман рискует остаться трилогией, может скрываться в другом.

Многолетняя работа над романом, судя по всему, отразила не только не слишком давнюю историю Кольского края, но и современное развитие в нём книгоиздания и чтения. Если первая книга в 2008 году вышла в твёрдой обложке трёхтысячным тиражом, то вторая в 2011-м – тоже в твёрдой, но уже тысячей экземпляров. Третья же увидела свет в обложке мягкой, а также тысячный тираж предлагается читателю «по требованию».

И возникает вопрос: а не решил ли Коржов, как и многие другие, не имея возможности выйти к более широкому, общероссийскому читателю, умерить собственные эстетические амбиции? Подал в первых двух частях масштабную заявку, а потом решил вынуть из повествования стержень, порезать картину на множество пазлов, пусть и удерживающихся единой сюжетной рамкой...

Есть, однако, и другое объяснение: автор действительно поставил целью создать обобщённый образ города, где, как в реальной жизни, ни один из людей не является главным и каждый из персонажей интересен сам по себе. Тоже, между прочим, вполне классическая задача, если вспомнить, к примеру, многофигурные живописные полотна, которые можно рассматривать по-

долгу, обнаруживая в каждом из героев особые, индивидуальные чувства и черты, но при этом не утрачивая общее впечатление от картины.

Будучи лично знаком с автором, более вероятной считаю вторую версию, хотя и влияния обстоятельств не исключаю. И в рамках этой версии подозреваю особую роль как раз той сюжетной линии, которая показывает зарождение в Мурманске собственного, кольского извода русской советской литературы.

Знаменуется это рождение выходом коллективного поэтического – тираж, между прочим, 15 тысяч! – сборника под названием «Искренность». Заглавие, что и говорить, не слишком удачное, поэзия иной вроде и быть не может. Но главка одного из зачинателей этого извода – Виктора Тимофеева – называется что надо: «Ритм моря». И первый экземпляр сборника, ещё, как водится, пахнувший типографской краской, вполне реальный поэт дарит придуманному Коржовым, но по читательским ощущениям тоже вполне живому «русскому поэту и мурманскому грузчику» Павлу Городошникову.

Есть, мне кажется, в этом особый глубокий смысл. По-настоящему город входит в историю не в момент официального рождения и даже не тогда, когда он подтвердил своё стремление жить возрождением из пепла. Как и в судьбе любого народа, точкой такого входа становится появление эпоса, литературы о нём – как его собственного способа осознать себя личностью

и вместе с рассказом о себе передать это сознание будущим поколениям.

Правда, всезнайка Интернет тут же подсказывает, что Коржов своевольно сдвинул эту точку из 1965 года в 1963-й. Но и такое своеволие, как мне кажется, можно простить. В том числе потому, что своим романом автор вписал в этот эпос – и всё же не только мурманский, но общерусский – новые достойные строки.

Коржов Д.В. Мурманцы: Роман / Коржов Д.В. – Полярный: Опимах, 2008. – 160 с.

Коржов Д. Мурманцы. 1942. Роман / Дмитрий Коржов. – Мурманск: Опимах, 2011. – 232 с.

Коржов Д. Мурманцы. Город между морем и небом. Роман / Дмитрий Коржов. – Мурманск: Опимах, 2014. – 192 с.

Андрей РАСТОПГУЕВ

родился в 1964 г. в Магнитогорске.

*Автор нескольких книг стихов,
переводов и литературно-критических статей,
многих публикаций в литературных журналах,
участник ряда антологий.*

*Лауреат Государственной премии Республики Коми,
премии журнала «Урал» (2008 г.),*

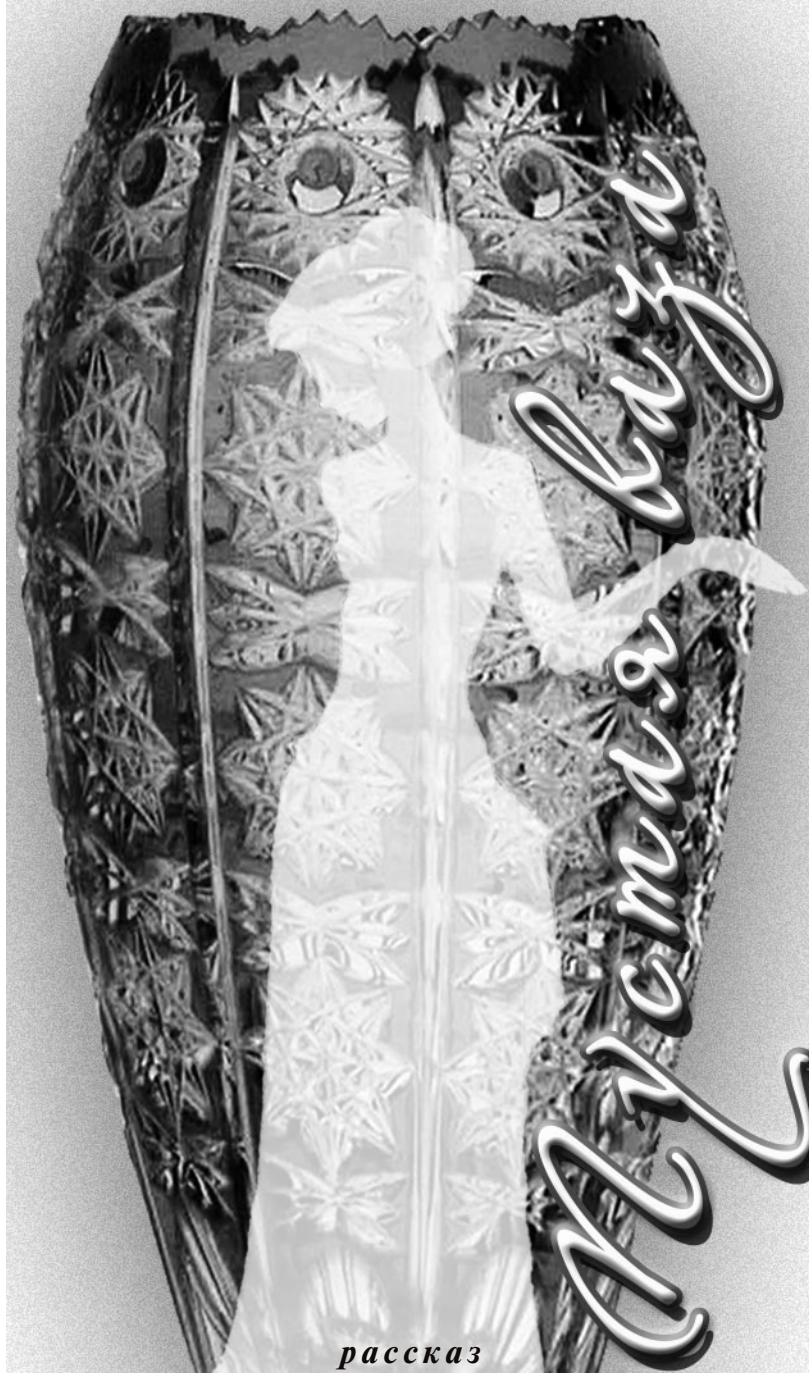
*Литературной премии
Уральского федерального округа (2012 г.).*

Член Союза писателей России.



Лукас фон ШЕЛЛЬ

г. Петрозаводск



Она бесцельно бродила по оживленным улицам, заходила в магазины одежды, равнодушно разглядывала модели и этикетки на них, бегло смотрела на цены, отрицательно мотала головой с тяжелой гривой рыжих волос на предложения продавцов помочь. Затем вновь выходила на улицу, шла дальше, а за ней тянулся, словно тень, ее угрюмый, усталый, опустошенный мир, из которого ушла радость. Она останавливалась у лотков с книгами, так же без интереса листала их, читала аннотации к толстым бестселлерам, в которых, несмотря на толщину, не было ни одного ответа на вопрос, как жить дальше, за что цепляться, а что отпустить, как жить, избегая житейских ловушек, и как из них выбираться, если уж попался. Нет, бестселлеры только завлекали в новые капканы, втягивали в очередные приключения и делали жертвами новых иллюзий. Но как вернуть радость, которая, как свет, освещает эту жизнь?

Она отходила от книг с броскими обложками и завлекательными заголовками, шла дальше; иногда вглядывалась в чужие озабоченные лица встречаемых людей, опускала голову, отчетливо понимая, что не хочет идти домой. В теплый солнечный день находиться среди незнакомых равнодушных людей, привычного городского шума и множества витрин с броскими, но ненужными вещами все-таки легче, чем дома, где ее ждала пустая немая ваза...

Эта красивая ваза, казалось, занимала всю квартиру, была везде, как дух, как запах, хотя стояла всего лишь на небольшом столике в гостиной — высокая, из богемского хрусталя, изящно суженная сверху. Но всякий раз, когда она возвращалась домой с улицы, уставшая, проголодавшаяся, обессиленная, эта хрустальная ваза виделась ей то заброшенной и жалкой, то злобной и насмешливой. Поэтому она тянула время, неспешно бродила по улицам, лишь бы не наткнуться взглядом на пустую вазу и не остаться с ней наедине... Не вспоминать, не ворошить былое

счастье, как что-то опустошающее, непостижимое...

Раньше, когда приходил тот красивый обаятельный мужчина с огромным букетом прекрасных роз на длинных стеблях и ставил их в эту богемскую красавицу, заполненную водой, она, казалось, гордо вытягивалась и излучала удивительный свет. И, когда он уходил, ваза с цветами хранила его присутствие, его аромат и дух, его запахи и свежесть. Ваза заполняла ее одиночество, когда его не было; эти цветы были словно мостиком между встречами. Эти цветы в чистой вазе завершали картину счастья на полотне ее будней — оно было полным.

Все в доме дышало ароматом цветов и запахом его обаяния, здесь царило счастье, и все предметы, озаренные ее любовью, были счастливы: постель манила чистотой и свежестью; мельчайшие пылинки весело танцевали в лучах света, и даже паучок в углу ванной, казалось, был счастлив. Счастье, словно запах дорогих духов, было разлито по квартире и заливалось светом радости ее мир...

Аромат прекрасных мгновений держался дома почти два года.

Тот красивый обаятельный мужчина, который раньше приходил сюда, приносил чудесные цветы и ставил их в вазу, словно водружая знамя победы на крыше жизни, больше не появлялся. Что изменилось в нем? Стал он еще счастливее, но в другом месте? Другой свет и другой мир ярче этого открылся ему?

Давно поникли головки прекрасных роз, нежные сочные лепестки превратились в безжизненные, сморщенные тряпочки, крупные листья опустились, свернулись и засохли.

Обычно увядшие цветы покидали вазу и находили свой последний приют в мусорном ведре. Они уходили, чтобы уступить место в вазе другим цветам, свежим, сочным. Но на этот раз свежий букет не сменил прежний, увядший.

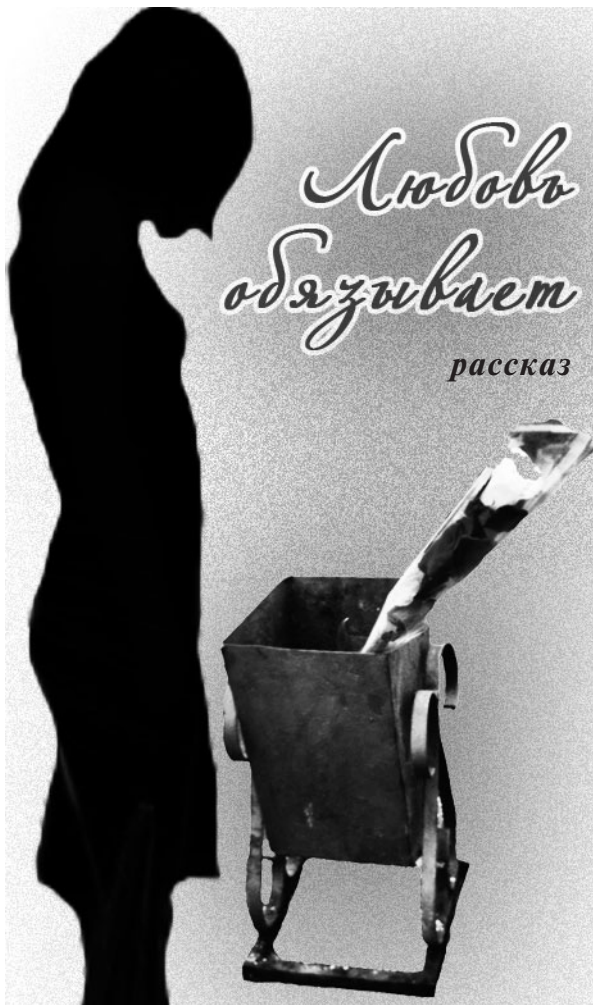
Эти цветы были для него лишь знаменем победы? Освещалась ли его душа тем же сияющим светом радости и счастья, как и вся ее комната, и хрустальная ваза, и красивая постель, и маленький паучок, и весь ее мир? После него осталась пустая невымытая ваза с разво-

дами на стенках от загнивших стеблей. С той поры, где бы ни была, она чувствовала себя такой же пустой вазой со следами бывшего счастья на стенках души, и над ней развивался теперь на длинных стеблях тяжелый и черный букет пустоты...

Ваза, лишенная цветов, открыто смеялась над ее прежним счастьем и доверчивостью; все прежние радости теперь были отравлены ее насмешливым злобным взглядом. Все перевернулось, темной завесой покрылось ее бывшее счастье, кругом лежала отравка, пылились ее чувства. И спальня, и кухня, и гостиная кричали о лжи и обмане, а из горлышка хрустальной вазы, как джинн, исходила пустота, обволакивала ее страхом одиночества и глядела на нее страшными пустыми глазницами...

Она повернула за угол, пошла по другой улочке и внезапно почувствовала свежий приятный запах. Она подняла глаза от тротуара и увидела, что впереди — цветочная лавка. Различные цветы в ведрах и горшках стояли у входа. Она остановилась, словно удивленная этим зрелищем, покачала головой, и внезапно от какой-то мысли ее губы тронула улыбка, глаза потеплели. Мгновение помедлив, она открыла дверь и вошла в цветочный оазис. Свежие, благоухающие каждый на свой лад, стояли в ведрах желтые и розовые тюльпаны, белые амариллисы, красные гвоздики. Она поискала глазами розы и увидела их — крупные, на длинных стеблях, они полыхали и притягивали взор. Купила пять роз, попросила завернуть в бумагу и с каким-то странным новым чувством, бережно прижимая их к груди, понесла домой. Теперь она поймала себя на мысли, что спешит, ей не терпелось зайти в дом, взять со столика хрустальную вазу. Она представляла, как тщательно вымоет ее, уберет со стенок все следы увядших букетов, наполнит свежей хрустальной водой, добавив пакетик соли, и поставит эти прекрасные темные розы на длинных стеблях в чистую вазу. А потом непременно улыбнется, словно торжественно водружает знамя победы на крыше своей жизни.

И пустая ваза наконец исчезнет.



На местном телевидении в дневное время Она вела передачу «Мои друзья растения». На ее сайт приходило много писем от любителей растений; казалось, что весь мир интересуется только растениями, что жизнь состоит исключительно из трав и деревьев, цветов и семян и людей заботят только сроки всходов и условия произрастания своих любимцев. Многие ее корреспонденты указывали на присутствие в растениях целебных свойств почти от всех болезней, а некоторые обнаруживали даже приворотные свойства. Она вела с ними оживленную переписку; эта работа занимала много времени и отвлекала от неустроенности личной жизни.

Но однажды ей пришло письмо от какого-то

мужчины, и оно было необычно тем, что в нем он писал о себе, о своих впечатлениях и чувствах, которые она навеяла ему с экрана телевизора. И хотя он не был поклонником ни кактусов, ни орхидей, сама ведущая передачи привлекла его внимание, как ботаника — редкое растение. Этому и было посвящено его письмо.

Ей было приятно его внимание. Она задумалась, затем подошла к зеркалу и оглядела себя со всех сторон; к этому моменту ее жизни она представляла собой стройную, следящую за собой, разборчивую в еде и одежде, придирчивую к манерам и поведению молодую женщину сорока восьми лет; её трудно было склонить к поступкам, которым давно, еще в ранней юности, была дана строгая оценка; она все еще ждала своего принца в образе достойного, порядочного, надежного мужчины. Ожидая его появления, она отказывала себе в мимолетных увлечениях и ни к чему не обязывающих отношениях.

Она была один раз замужем; ее муж — первый принц еще со школы — очень любил её, он со вкусом одевался, был приветлив с другими людьми и никого не судил; его привлекали в жизни романтика и приключения, у него было много друзей. Но ему, как ей казалось, недоставало знаний, он не увлекался ни поэзией, ни искусством, мало читал, однако же был надежным, честным и справедливым. К тому же увлекался альпинизмом.

Она была для него принцессой, которая ему соответствовала; любила элегантный гардероб, с удовольствием принимала участие во встречах друзей, обожала книги про любовь, романтику и приключения. Иными словами, как говорят в таких случаях, они были словно созданы друг для друга.

Пять лет назад он и два его друга погибли в Гималаях в какой-то пропасти. И она осталась одна принцессой в опустевшем королевстве.

То письмо ее тронуло, она даже сама не ожидала, что оно ее заденет, заставит призадуматься, оглядеть себя с ног до головы, почувствовать себя не механизмом на пути где-то между работой и домом, не специалистом по растениям, не сотрудницей на телевидении. В огромном мире одиноких тревожных душ

ощутила, что для кого-то она крошечная точка, слабый мерцающий огонёк, который так легко погасить легким дуновением ветра. Так хочется, нет, просто необходимо, чтобы кто-то подошел и прикрыл от ветра огонек своими широкими ладонями, чтобы огонек окреп, стал пылать и однажды превратился в настоящий костёр со всеми переливами красок и горячих языков, которыми он жадно охватывает и пожирает поленья жизни... «Хочу теплые, крепкие руки, простертые ко мне!» — мысленно сказала она себе, улыбнулась и ответила незнакомому поклоннику.

Завязалась переписка, по которой было понятно, что он принимает её за тонкую, чувствительную натуру, образованную женщину, умного, сложного человека...

Постепенно в ее мечтах сложился его образ — образ благородной возвышенной души и сильной личности, и в этот далекий, немного туманный образ она незаметно для себя влюбилась, ждала его письма, торопливо отвечала... Это он, тот самый принц из юности, который всегда жил в ее голове — он там зародился, и его маску она подсознательно примеряла на всех мужчин, встречавшихся на ее пути, в надежде, что кому-то она будет впору, кто-то будет ей соответствовать. В этих примерках и несоответствиях проходили ее годы. И теперь, когда в ее жизни появился этот незнакомый мужчина, таинственный, прекрасный образ принца возник снова перед ней. Это дало ей новые надежды, и она словно расправила крылья.

Но постепенно его страстные письма стали ее почему-то беспокоить, и вскоре она пришла к ужасной мысли, а соответствует ли она вообще его представлениям, достаточно ли она тонкая, образованная, возвышенная? А ведь к тому времени в его письмах уже стало встречаться слово «божественная»!..

Что делать?..

Человек складывается со временем в какую-то причудливую смесь из характера, привычек, наклонностей, вкусов, интересов, представлений. Эта смесь настолько монолитна и прочна, что кажется порой, будто это не человек, а кирпич, который можно только сломать, раскрошить, истереть в порошок, но невозможно изменить. И таким он предстает каждый день пе-

ред собой и другими людьми. А в данном случае требовалось изменить себя, перестать быть кирпичом, снова превратиться в гончарную глину, пройти через лепку творческими руками и вылепиться в удивительную женщину, чуткую и сложную, тонкую и чувствительную... Ту самую... Божественную...

Любовь обязывала...

Она пошла в библиотеку, взяла «Фауста» Гете и впервые прочла его до конца. После этого она почувствовала себя немного увереннее. Если пойдет речь о величайшем творении человеческого гения, то она сможет сказать что-нибудь вразумительное. Но, конечно, до заметных изменений было еще очень далеко. И она записалась на курсы английского языка, чтобы читать Вильяма Шекспира в подлиннике. У нее не было другого выбора, любовь толкала ее все дальше. А ведь в каждом письме он говорил о ее глубине и тонкости, и ей, конечно, очень хотелось соответствовать этому удивительному, загадочному образу тонкой, глубокой женщины, чтобы не разочаровать этого, как ей казалось, начитанного, образованного мужчину. Один только его презрительный взгляд, если бы он обнаружил ее невежество, приводил ее в трепет. Выглядеть в его глазах невеждой? Никогда!..

Вскоре в его письмах появились новые нотки, и она снова встревожилась, он стал намекать на встречу. Каждый намек ее пугал, и она в панике отказывалась, находила поводы избежать свидания. Она еще не была готова. Кем она предстанет перед ним? Глупой гусыней? Нет, она еще не соответствовала этой встрече. И она принесла из библиотеки новую стопку книг и читала ночи напролет Иоганна Гете, Фридриха Шиллера, Серена Кьеркегора, Данте Алигьери, Франца Кафку, Германа Гессе, Генриха Белля, Жан-Поль Сартра, Фридриха Новалиса, Фернандо Пессоа.

Любовь обязывала...

Его разочарования она бы не пережила. Выглядеть душой в его глазах? Никогда! Хорошо бы отсрочить встречу на год, лучше на два — может быть, она бы успела привести в порядок этот вымышленный образ и поднять его на должную высоту, углубить мировосприятие, добавить загадочности, приглушить свою простоту, расширить кругозор.

Но он начинал проявлять нетерпение и даже недоумевать по поводу ее упорных, ловких ускользаний. Встреча назревала. Она в панике схватилась за психологию и биохимию. Единственное, что утешало — это отражение в зеркале, а еще макияж. Это была хорошо продуманная система, и здесь она чувствовала себя увереннее всего; ее она отработала до совершенства еще в юности. С макияжем было просто: он имел начало и конец. Пудра, тени, тушь, помада, напоследок — духи. На всё действие в зависимости от повода от пятнадцати минут до полутора часов.

Но вот эта духовность!.. Это было что-то неопределенное, бездонное, не имевшее ни конца ни края. Здесь можно быть знатоком в одном и полным невеждой в другом. Что делать? Отсрочить встречу еще на год-другой, чтобы изучить генетику, философию, историю средних веков, португальскую поэзию, производство солнечных батарей, виноделие, строительство мостов, жизнь муравьев, рождение звезд, альтернативные источники энергии?.. А если за этот срок он разлюбит?.. Тогда все было напрасно. Тогда больше не надо соответствовать. Можно не читать и не изучать. Тогда — выпататься. Перевести дух. Отложить книжки. Оставить только макияж — для растений и быта.

Он стал настолько нетерпелив, что уже требовал встречи. И она наконец сдалась, все еще не до конца уверенная в том, что сделала сполна то, к чему любовь обязывала. В ночь перед свиданием она освежила в памяти «Похвалу глупости» великого Эразма Роттердамского и основные технические данные к новинке «Windows 8». На четыре тома бессмертного труда Артура Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» уже не оставалось времени, близился рассвет. Вечером в дополнение к своей наработанной за последнее время духовности она набросала в течение часа макияж, надела лучшее, что только нашлось в гардеробе, и с замирающим от волнения сердцем поплелась на свидание.

В кафе почти не было народу, за столиком у окна сидел пожилой мужчина в серой рубашке с закатанными рукавами, перед ним стоял пустой бокал пива и лежала роза на длинном

стебле. Это был он. Её нетерпеливый поклонник. Он поднял лицо, чтобы поглядеть на вошедшую, и она... похолодела. Это лицо было... некрасивым. Оно ей показалось даже безобразным; в этом лице не было ни капли обаяния, никакой особенности, что делает некрасивое лицо своеобразным, даже приятным, отличным от других, лицом, к которому быстро привыкаешь, принимаешь и уже спустя время находишь даже симпатичным.

Он слегка улыбнулся, поднялся ей навстречу и отодвинул стул, чтобы она села.

— Спасибо! — пролепетала она и упала на стул, чувствуя дрожь в коленках.

Да. Он не был готов. Его любовь ни к чему не обязывала. Почему?! Неужели трудно было сходить к хирургу и сделать пластическую операцию?.. Убрать лишнее, прибавить недостающее. Даже хотя бы побриться, а не являться на свидание с трехдневной щетиной!

— Вы на самом деле еще красивее, чем на экране телевизора! — заговорил он высоким голосом, и она вздрогнула.

За долгое время до этой встречи мог бы поупражняться, чтобы понизить высоту звука, упорными упражнениями перейти на лирический баритон, а то и на бас. Говорят, хорошо помогают сырые яйца. Не подготовился. Любовь не обязывала... Только речь его текла плавно, как, бывает, скользит лодка по гладкой воде, видно, давно отработанная, наверное, с юности, как у нее макияж.

Подошел официант, он заказал себе еще кружку пива, а она — чашечку эспрессо, и стала потихоньку приходить в себя от потрясения.

— Нет, в самом деле, — продолжил он тем же невыносимо высоким голосом, — я сделал столько ваших фотографий с экрана телевизора! Могу открыть у себя в квартире филиал Лувра! Но в жизни вы выглядите потрясающе! Вы мне напоминаете Софи Лорен...

— Издалека! — натянуто улыбнулась она и отхлебнула из своей чашечки кофе, стараясь, чтобы он не заметил, как дрожит ее рука. Понятно, ничего общего с Софи Лорен она не имела, это были только комплименты и попытки быть галантным. Но на галантность у нее не было времени.

— Скажите, как вы относитесь к Генриху Новалису? — спросила она и улыбнулась уже открыто, эта улыбка для тех, кто ее знал, означала, что она стала противна сама себе и приготовилась это впечатление изменить.

Вспомнив о Новалисе, этом юном немецком бароне восемнадцатого века, она оживилась, откинула белокурый локон с лица и невольно расслабилась — словно нырнула в свою бездонную, нелогичную стихию духовности и расправила крылья.

— Этот юноша был чудесным поэтом. Вам не кажется? Его «Гимны к ночи» просто потрясает необычностью...

Он даже не наморщил лоб, как бы силясь вспомнить давно прочитанное.

— Не знаю. Не читал, — спокойно ответил он, беря кружку своими крупными, мохнатыми, как у паука, пальцами. Она в ужасе уставилась на них. — Чем вы занимаетесь в свободное от телевидения время?

— Э-э!.. Многим... К примеру, изучаю биохимию, генетику и физиологию растений! Хочу не только видеть растения снаружи, их цвет и контуры, хочу понимать, как они живут, чем дышат, а без физиологии тут не обойтись. Завидую Грегору Менделю! — вдохновилась она, подхватывая новую тему для разговора. Может быть, он в генетике силен, поскольку на тему таинственного наследования свойств и признаков живых существ она могла говорить весь вечер. Впрочем, она чувствовала сейчас наконец вдохновение и готова была говорить на любую тему.

— А кто это? — поднял брови ее собеседник.

— Чешский монах девятнадцатого века, изучал растения в монастырском саду и занимался выведением роз и их опылением. Отец нынешней генетики.

Он откинулся на спинку стула, посмотрел на нее удивленно, и в глазах его отчетливо читалась откровенная растерянность. До этой встречи он видел с экрана телевизора красивую женщину и наделил ее прекрасными эфемерными свойствами, но сейчас перед ним была умная, образованная, тонко чувствующая, возвышенная женщина, и к этой женщине он не был готов.

— Неужели интересно быть такой занудой? — слегка поморщился он, досадуя, вероятно, на

себя, и припал к своей кружке пива, словно его мучила жажда. Она откинулась на спинку стула, прищурила глаза и широко, свободно улыбнулась.

— Все наоборот! До того, пока вас не знала, я была занудой, — ответила она. — Но ваши письма изменили меня, я стала интересной для себя самой. Я смотрю сейчас на мир, словно никогда его прежде не видела, и теперь понимаю, как плохо его знала. Я могу рассматривать его сверху — будто с облаков, и снизу — как бы со дна океана. Он открывается мне в своей глубине и загадочности. Меня стало все интересовать...

Зазвонил его мобильный телефон, он выхватил его из кармана и взглянул на номер.

— Извините, — сказал он, поднялся и отошел в сторону.

Она кивнула и улыбнулась; кажется, этот звонок был спасательным кругом, он вытащил ее поклонника из неловкой ситуации.

Через несколько минут он вернулся.

— Мне надо срочно уйти, — сказал он приглушенным голосом, кладя деньги за пиво на стол. — Извините. Эта розочка вам! Вы потрясающе красивая женщина!

Она осталась одна и долго сидела, задумчиво глядя через большое окно кафе на улицу, но не видя того, что там происходило.

«Почему он не подготовился? — задавалась она вопросом. — Или это были только слова? Слова, призванные служить тому же, чему служит макияж — создать таинственный образ, приукрасить действительность, создать впечатление. Через эти слова создать о себе впечатление умного, образованного, заботливого?.. Как человек хвастливый он хотел только казаться, но не быть, набрасывая на себя макияж слов. Он меня возвышал, чтобы возвысить себя, он меня воспевал, чтобы пели о нем. Он казался и остался кажущимся. А я стала, я вылепила себя вновь...»

Она поднялась, заплатила за эспрессо, пошла к выходу и опустила розочку в мусорный контейнер. Теперь она знала. Ей нужен тот, кого любовь обязывает, кого любовь поднимает, развивает, дает ему крылья, обогащает и возносит, кого делает интересным и любознательным, кому она раскрывает глаза, делает сердечным и внимательным к миру...



*Жизнь – это чередование всяких комбинаций.
Их следует изучать, следить за ними,
чтобы везде оставаться в выгодном положении.*
Оноре де Бальзак (1799–1850)

Они часто встречались в маленьком кафе на углу трех тихих улочек. Улыбались друг другу при встрече, он целовал ее в щеку и подавал цветы, они садились напротив, заказывали кофе и пирожные. Обоим казалось, что они влюблены, и потому им было хорошо вдвоем. Когда-то они вместе учились в школе, потом пути их разошлись; прошло пятнадцать лет. Однажды случайно они встретились на улице родного города.

Кем стал он? Что произошло с ней за эти годы?

За беседами выяснилось, что за прошедшие годы он стал коммерсантом, а она – вдовой успешного предпринимателя и богатого человека. Год назад его застрелили на улице в собственной машине.

Глядя на нее, он принимал ее за домашнюю кошечку. Она на самом деле была нежной и доверчивой, ее хотелось гладить пусть просто ласковыми словами и теплым взглядом. В ответ она мурлыкала и глядела на него счастливыми глазами под сенью темных ресниц. От смущения она часто поправляла белокурые локоны, спадавшие на ее плечи. Во всех поворотах прелестной головы, во всех изгибах стройного тела, легких движениях рук, поправлявших прическу, он видел перед собой ласковую, грациозную, доверчивую кошечку. Он восхищался ею, был покорен ее открытостью и

женственностью. Она казалась ему домашней, далекой от измен и затаенных мыслей, безобидной и послушной, словно создана для уюта и глубокого душевного спокойствия.

Глядя на нее, он успокаивался, если был чем-то раздражен; глядя на нее, он умилялся, если был спокоен до их свидания...

Но он не догадывался, что в то самое время, когда он говорил, а она улыбалась тихой улыбкой или, прикрыв глаза, слушала его ласковые слова, от легкого смущения поправляя волосы, глазами женщины-милой кошечки на него смотрели совсем другие глаза. Как в засаде, в ней скрывалась настороженная и сильная тигрица. Это она внимательно слушала его восторженный любовный бред, пристально следила за каждым жестом. И не верила ни одному слову.

Когда он однажды предложил ей поехать к морю отдохнуть и весело провести время, то увидел, к своему изумлению, как вспыхнули ее зеленые глаза и стали желтыми, как опасливо напряглась и выгнулась ее гибкая спина. После некоторой заминки она сказала, что к морю не поедет – не любит жары, суеты, толкотни, напряжения дороги, стука колес поезда. Лицо ее вновь стало невозмутимо спокойным, позеленели глаза. Снова перед ним была прежняя кошечка, в которой только на мгновение мелькнул хищный лик тигрицы.

Это превращение кошечки в тигрицу и обратно его озадачило. Но тут же мелькнувшее странное преображение было вытеснено из его памяти приятной беседой. Так для чего таилась и почему внимательно слушала? Из какой глубины ее природы выскочила яростная тигрица? И почему она там скрывается?

Это дикое и опасное животное вновь напомнило о себе, когда он заявил, что хочет на ней жениться. И на этот раз от него не укрылось, как по ее красивому лицу скользнула недоверчивая гримаса тигрицы и тут же пропала за натянутой кошачьей улыбкой.

Он не замечал, что тигрица появлялась в те моменты, когда кошечка была чем-то недовольна, и тогда дичало ее лицо, желтели ее глаза. Кошечка в этой красивой чувствительной женщине была доверчивой и увлекающейся натурой, ее можно было легко соблазнить нежностью, лаской и обещаниями. Она довер-

чиво, как ему казалось, принимала видимость за реальность, была готова идти за восхищенным мужским взглядом как на поводке. И тигрица знала, что охраняет! Прячась в засаде, она внимательно слушала, улавливая каждую мелкую деталь, — она всегда была на страже спокойствия и благополучия кошечки.

Эта тигрица вела себя так, словно кошечка была ее дитем, и потому чувствовала себя обязанной как мать заботиться о ней, быть на страже ее счастья и покоя. Если что-то угрожало ее благополучию или упорядоченному уютному миру, то появлялась тигрица и была готова со всей свирепостью защищать ее. Но мужчина в этой великолепной женщине обычно видел только кошечку, хотя перед его глазами, словно в театре, мелькали разные лики ее натуры. Тигрица, которая иногда напоминала о себе, была для него загадочной, темной личностью. Знал бы он, какую роль она играет в ее жизни!..

Очередное свидание назначили на воскресенье. К назначенному часу он тщательно побрился, надел темную рубашку и вышел на улицу. Но направился не к кафе, месту их обычных встреч. Он пошел по узкой улице, забитой с обеих сторон припаркованными машинами, к дому в тени ветвистых лип. Войдя в подъезд, он поднялся на третий этаж, достал отмычки и привычным движением открыл дверь, неслышно вошел в прихожую и осмотрелся. В прихожей он тут же

почувствовал ее запах — легкий цветочный аромат ее духов, и на него нахлынула нежность. Ее незримое присутствие взволновало его так, как это было при каждой встрече. Но он пришел сюда не за ее ароматами. Еще раз скользнув глазами по стенам прихожей, он направился в гостиную, где, по его расчетам, за стеклянными дверцами шкафов стояли ее многочисленные шкатулки с драгоценностями. О! Он знал в них толк! Это был его бизнес, его мастерство!

Открыл дверь в гостиную и вошел.

— Разве мы договаривались встретиться в моей квартире? — услышал он внезапно ее голос. Мужчина вздрогнул, резко обернулся и увидел ее — она сидела в глубоком кресле и глядела на него холодными глазами, а перед ней на столике лежал черный пистолет. — Я никому не позволю вносить изменения в мою спокойную, размеренную жизнь, запомни это!

Двое полицейских, прятаясь за дверью, защелкнули на нем наручники. Она поднялась с кресла и подошла к нему вплотную. Он снова увидел ее желтые тигриные глаза. Но уже через мгновение они приняли прежний изумрудный цвет, а на ее прекрасном лице проступила знакомая ласковая улыбка.

— Мне очень жаль! — пробормотала она. — Я все-таки тебя любила...

□

Лукас фон ШЕЛЛЬ —

родился в России, в Кемеровской области.

Окончил Ленинградский государственный университет,

переехал в Германию.

Ряд рассказов на немецком языке

опубликованы в антологии «Neue Literatur» (2013).

В настоящее время живёт в Петрозаводске.

В журнале «Север» публикуется впервые.



Валентина
КОЛОБОВА

г. Кемь



*«Ты прости нас,
край родимый...»*

МУДРА ПРИРОДЫ ФАБУЛА

Зимы отряд карательный,
Злясь, выставил заслон.
Зима, ты невнимательна:
Весна со всех сторон!
На речке тают обручи...
Ледовым кузнецам
Дай отпуск. В майской полночи
Светлей черты лица.
Снежинки робко падают —
Остатки зимних грёз —
С холодной досадою
На щеки и на нос.
А зорька с виду жаркая,
Морозна по утрам,
Полуденной ремаркою
Устроит баньку нам.
Мудра природы фабула.
Борьба за дюйм? За пядь?
Но радуга-парабола —
Цветным мостом опять!
В лучах волшебных солнышка
Потертая душа
Нарядна, словно Золушка,
Юна, чиста, свежа.

Валентина Петровна КОЛОБОВА

родилась 6 мая 1960 года

в с. Тонкино Горьковской области.

*Окончила Петрозаводский
автотранспортный техникум.*

*Работала библиотекарем,
заведующей поселковым клубом,
бригадиром Дома отдыха локомотивных бригад.*

Служила в рядах ВС РФ.

В журнале «Север» публикуется впервые.

ЗАПЯТЫЕ, МНОГОТОЧЬЯ

Щедрым был на запятые,
Горстью сыпал многоточья...
Взгляды выдержав косые,
Я ждала и днём и ночью.
Вздурораженный, обросший,
Ты выстреливал, не целясь,
Всю обойму слов-горошин
В отвисающую челюсть.
Беззаботный и беспечный,
Мял цветы моих улыбок,
Уходя на зорьке вечно
По следам былых ошибок.
Я зализывала раны.
Мне б матёрой стать волчицей,
Чтобы в волчьи влиться кланы,
Чтобы морды — а не лица.
Исправляла положенье
Плясом в маске скоморошьей.
Спрос дороже предложенья?
Не выдерживает больше
Сердце, спутник безотказный
Королевы эпизодов...
Да, я твой короткий праздник,
Растянувшийся на годы...
Запятые, многоточья —
Вы чужого поля маки,
Значит, сеять нужно срочно
Восклицательные знаки!!!

ВМЕСТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Нет обратного пути, осень календарная,
 На тебе листва горит, и дожди пожарные,
 Поливая сверху вниз, гасят возгорания.
 Пожелтел почтовый лист, брошенный заранее
 В топку сердца по весне, не судьба обуглиться —
 Буква «ю» сырей в письме, чем сегодня улица.
 Осень, ты очки протри: я не в красном платьишке.

Захожу в календари, рыжая по батюшке,
 Дуть на тлеющий закат. У порога топчется,
 Караулит май-солдат замок одиночества.
 Осень через черный вход выпустила узницу,
 Под зонтом, сияя, ждет. Радуюсь союзнице.
 Уголька моей души от костра осеннего
 Дождь не сможет потушить.
 Вместе до последнего...

ТЫ ПРОСТИ НАС, КРАЙ РОДИМЫЙ

Остров, остров.
 Скалы, скалы.
 Ветра много, рыбы мало.
 Окунь, окунь.
 Мелочь, мелочь.
 Щука вглубь уходит смело.
 Лодка, лодка.
 Волны, волны.
 За кормой — бурун огромный.
 Сосны, сосны,
 Ели, ели
 Не на солнце обгорели.
 Больно, больно.
 Ветки, ветки
 Злых пожарищ прячут метки.
 Спички, спички.
 Парни, парни,
 Грош цена вам в день базарный!
 Птицы, птицы,
 Звери, звери —
 Водка вылилась в потери.
 Реки, реки.
 Ламбы, ламбы.
 Дураков бы взять за жабры!
 Топи, топи.
 Клюква, клюква.
 Не одна здесь жизнь потухла...
 Люди, люди.
 Лапы, лапы.
 Сколько можно рвать и хапать!
 Небо, небо.
 Звезды, звезды
 На бездушных смотрят грозно.
 Совесть, совесть —
 Мимо, мимо.
 Ты прости нас, край родимый...

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Белой лебедушкой ты у реки,
 Райская птица, земная ли...
 Крылья трепещут. Попала в силки?
 Крылья изранили?
 Божье веленье — на грешной земле
 Гнезда свивать небожителям,
 Ибо ведомы миряне во мгле
 Храмом Спасителя.
 Бог и за тех, кто не верит Ему,
 Молится с кротостью божией,
 Ликом святым освещая тюрьму
 И бездорожие.
 Выпрями душу свою, сбереги,
 Спину сгибая с усердием.
 Под всепрощающий крест подойди
 Батюшки Сергия.

**РАЗБРЕЛИСЬ СТАДА
СЛОВ НЕСКАЗАННЫХ**

Разбрелись стада слов несказанных...
 Пастуха нанять — дело тонкое,
 Еще тоньше — боль не показывать,
 Только чувствовать селезенкою,

Каждой косточкой, каждой жилкою.
 ...Прокатилась я пассажиркою,

Но не зайчиком, но не сереньким.
 Встал троллейбус тот обесточенный
 На мосту без дурных намерений,
 Просто высадив в одиночество.

Так уверовать непроспительно
 В расписание и водителя...

**Иван
РОГОЩЕНКОВ**

г. Петрозаводск

ТРЕЗВЕНИЕ ДУХА

О Время! Вечности подвижное Зерцало!
Фёдор Тютчев

*О, гори, лампада,
Ярче пред распятем!
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!*

Алексей Кольцов. «Великая тайна»

Временная земная жизнь полна страшных разрушений государств и падений народов. Однако тайна бытия сокрыта в Вечности, время только неверное, беглое её отражение. Фёдор Тютчев надеется найти разгадку драмы человеческой не в самой истории, а в том, что выше её. Окончательная Православная Империя – славянская во главе с Россией – по заблуждениям и слабостям человеческим состояться не может. Остаётся уповать на Христа.

*О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги, –
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты – жилища двух миров,*

*Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.*

Что это? Поэзия не только созвучна с религией, но как бы становится ею? Недаром Николай Гумилёв верил: поэзия и религия – две стороны одной медали. Архиепископ Иоанн Шаховский заметил, что Фет – великий языческий поэт России, ибо для Фета сама поэзия является религией.

Александр Амфитеатров: «Религиозность Гумилёва производила на меня сильное впечатление. Тому, конечно, много способствовала её необыкновенность в молодом человеке поколения, так называемого «предреволюционного», и надо правду сказать, довольно-таки беспорядочного именно в направлении религиозно-этическом. Мы говорили об этом. Гумилёв сказал большое слово: «Я не понимаю, как человек, пе-

реживший революцию, может оставаться без Бога. То есть я не в том смысле, чтобы, как принято, «искать Бога». Что же искать, когда мы им настигнуты и каждую минуту чувствуем себя в Его руке? Поздно. Он сам нас нашёл».¹

В наше время опубликовано «дело» Гумилёва.² Исследователи не находят в нём чёткого определения «вины» поэта, влекущей немедленную казнь. Есть нечто пропущенное? Что? Александр Амфитеатров считает: Гумилёв по открытому своему характеру не мог быть серьёзным заговорщиком; проходя мимо каждого храма, он крестился, не обращая внимания на окружающих. Близкие ему люди полагают: следователь спровоцировал поэта – и тот раскрыл себя, объявился православным русским человеком и монархистом. Вера Лукницкая в своей книге приводит статью А. Куприна «Крылатая душа», там сказано: «Я не думаю... чтобы он (Гумилёв) удостоил допрощиков каких-нибудь разъяснений по поводу своего политического символа веры. Но, знаете, сорвётся иногда у человека... может быть, даже совсем невольно, – всего лишь один, быстрый, как молния, пронзительный взгляд, но в нём палач мгновенно прочитает: и то, как он микроскопически мал, гадок, глуп, грязен и труслив в сравнении со спокойно стоящей перед ним жертвой... тогда неизбежна смерть избраннику, тому, кого Бог отметил при рождении прикосновением Своего перста на возвышенную жизнь и ужасную кончину». Проникновенные слова, но не вся правда угадана.

Поэт Георгий Иванов вспоминал: Гумилёв взял в тюрьму Евангелие и Гомера³, а не Библию (как в других воспоминаниях). Что это значит? Он предчувствовал: гибель неминуема, вот и принёс с собой любимые книги. Можно ещё догадаться об особенностях его богопознания, его веры: Евангелие – неиссякаемый источник веры и богопознания, однако греческой мифологии отдаётся предпочтение перед ветхозаветной, «Илиаде» перед Ветхим Заветом. Далее: принести в тюрьму Евангелие – открытое, явное свидетельство о религиозности. Гумилёв на пороге смерти обрёл свободу и в страшном узилище словом и делом исповедал Христа.

*Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право –
Самому выбирать свою смерть.*

(«Выбор»)

Это ли не исповедничество и преподобному-ченичество? Гумилёв оправдал сказанное им ранее: «Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть». И действительно: он – с нами, его творчество – мост, перекинутый от современной бедности к богатству нашего былого, духовно питающий нас верой, надеждой, любовью. Свидетель – поэт-иеромонах Роман (Матюшин).

*Здравствуй, Матушка-Русь!
как к иконе, к Тебе припадаю,
Преклоняю главу,
и колени, и сердце с мольбой.
Без Тебя я ничто –
даже в райских местах пропадаю,
Исцеляюсь Тобой
и взлетаю к лазури Тобой.
Вымирает народ.
Деревеньки Твои всё беднее,
Поношенья вокруг,
но Твоей нищеты не стыжусь.
Ты дала мне Христа
(ну, а кто же даёт не имея?),
О богатая Небом, моя Христоносная Русь!
(из книги «Одинокий путь»)*

Судьбу России поэт-иеромонах видит трагичной и великой.

*Россия-Русь! Куда б Ты ни неслась
Оборванной, поруганной, убогой, –
Ты не погибнешь! Ты уже спаслась,
Имея столько праведных у Бога.
(из книги «Внимая Божьему велению»)*

*И если вдруг Тебя погубят,
То и самим врагам не жить:
Вселенная могилой будет –
Иначе не похоронить.
(Из книги «Радоваться Небу»)*

Заметим: в стихотворении получила развитие образ-гипербола Сергея Орлова «Его (солдаты-героя) зарыли в шар земной». В прошлом веке Аполлон Майков для могучего духа Лермонтова нашёл упокоище во Вселенной («На смерть Лермонтова»).

Апокалипсическое предвидение иеромонаха Романа, как видим, подтверждает глубокую связь поэзии с верой.

Вникнем в суждение православного богослова о культуре без веры и культуре, в основе которой – вера. Святитель Николай Сербский

(1880–1956): «Что такое вера? Это знание Божие, переданное людям Самим Богом. В свете этого Божия знания и наши знания становятся верными и полезными. Без веры наши знания очень опасны для жизни и счастья человечества. Это видно по реальности Запада». ⁴ «Вера – основа любви. Береги веру, храни семя любви, чтобы оно проросло и принесло тебе радость». Сравним: Николай Гумилёв в застенке – одинокий, отверженный, наедине с безжалостными мучителями, сохранил веру. «В то время, когда мир шепчет ему (*человеку одинокому, забытому, даже отверженному*. – **И.Р.**) на ухо: ты никому не нужен, вера говорит ему: ты нужен Богу». Тут объяснение мужества и стойкости Гумилёва в застенке.

Судьбы России и Сербии издавна тесно связаны – и в двух мировых войнах у них был один враг. Потому сербы, не заражённые западной предвзятостью, хранят уважение и благодарную память о России. Святитель Николай: «Смысл войны 1914 года, многим непонятный, многими оспариваемый, объяснён русской жертвой за сербов во всей своей евангельской ясности и несомненности. Ибо мотив самоотверженности, духовная потребность жертвы за ближнего – разве это не стремление к Царству Небесному?» Закономерность, вернее – органичность, этого духовного подвига вытекает, по мысли святителя, из тысячелетней истории России.

«Первым крещением водою и Духом, под святым Владимиром, Россия спасла Христианство. Это случилось тогда, когда православная вера, которую поддерживала Византия, совсем было истощилась, но не от собственного бессилия, а от бессилия человеческого рода, с другой стороны, политизированная вера Запада – вино, смешанное с водой, – боролась с князьями мира сего за царства земные. Христианство было на смертном одре, истинные христиане – в отчаянии. Тогда Промысл Божий двинул целый континент, несметное неведомое племя на помощь истинной вере. Это была Русь святого Владимира. Сегодня, когда сосуды, хранящие христианскую веру на Востоке и на Западе, недостаточно прочны, чтобы помочь растерянному, ослепшему миру, когда во всём мире самое закосное язычество под разными именами поднимает свои уродливые головы, сегодня вновь Промысл Божий призывает Святую Владимирскую Русь на помощь христианству и всему человечеству. Призывает на помощь, чтобы на весах христианских ценностей число избравших Царство Небесное дало перевес. Блажен-

ны вы, плачущие вместе с Россией, ибо с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею и возрадуетесь!» Православно-церковный взгляд святителя Николая на вступление России в Первую мировую войну, взгляд на историю России глубоко погружает наше сознание из поверхностно-временного в вечность, потому неприятен так называемой широкой общественности.

Вторая мировая война (для нас Отечественная) сразу же пробрала брешь в социалистическую идеологию. Социалистический патриотизм, непривычно новый для сознания исторической России, не мог возбудить общего подъёма против захватчиков. Пришлось восполнить его традиционным долгом служения Родине, видимыми приметам царской армии (форма одежды, погоны, воинские звания), ордена не только Суворова и Кутузова, но и Александра Невского, причисленного церковью к лику святых; венцом всего стало возвращение Церкви патриарха.

В душе русского человека проснулась историческая память. В поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» есть главка «О потере», написанная в 1942 году, в ней читаем: «Сколько лет живём на свете? Двадцать пять». Разве история России начинается с 1917 года? Нет. «Сколько лет живём на свете? Тыщу?.. Больше! То-то, брат!»

Поразительнее в этом отношении роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Считается, что первое его издание в Москве (1973 год) неполно, неудовлетворительно, издание в Киеве (1989 год) отличается в лучшую сторону. При знакомстве с ранними редакциями романа бросается в глаза недостаток обоих. В ранних редакциях «роман в романе» о Понтии Пилате, повествования о похождениях свиты Воланда, распятие на кресте, предательство Иуды – всё это «евангелие от Воланда», то есть от сатаны, а никак не вариант великой Книги. В современных изданиях замысел автора неясен, ибо остался только намёк – в названии двадцать третьей главы «Великий бал у сатаны». Эпиграф из Гёте относится не ко всему роману, а только – с трагической иронией – к «евангелию от Воланда»: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». И ещё: в ранних вариантах романа бог **велел** сатане дать покой мастеру, в последней авторской редакции бог **просит** сатану. Разве это не автограф сатаны под своим созданием?

В романе «Белая гвардия» полчища аггелов сатаны идут на Город (Киев), над ними лик сатаны (Троцкого). В «Мастере и Маргарите» сам

сатана (Воланд) является в Москву. Зачем? Чтобы увидеть, как исполняют его волю аггелы. Они нарушили законы Божии, не верят в Бога. Но, своевольные, не признают самого сатану, что неприемлемо и строго наказуемо. Никаких законов – ни Божеских, ни государственных, ни человеческих. Только воля сатаны, явленно раскрытая на великом балу. Все грешники, его подручные, страдают вечно, потому им даётся какое-то время для отдыха: хотя бы в воображении пережить то, что они делали живые. Страдания не ведут ни к покаянию, ни к прощению. Милосердия в мире сатаны нет. Маргарита пожалела страдающую Фриду, но, чтобы помочь ей, предоставила свои побуждения как самолюбие: помогает Фриде ради собственного спокойствия, чтобы избежать раздражения своей чувствительности. Вариант разумного эгоизма («Что делать?» Николая Чернышевского).

Булгаков воссоздал в романе искажённое представление своих современников, порвавших с традициями, о добре и зле, о нравственности и вере. Когда откажешься от Христа – в **свободную** душу вселяется дьявол. Почему публикаторы и издатели отступили от замысла автора? Бес попутал, чтобы отомстить Булгакову за разоблачения?

У Булгакова видим разрушение государства революцией. Что такое государство, каково его отношение к правде-истине?

Государство – дохристианское создание, отвечающее на запросы и требования языческой эпохи, языческой образованности. Римская империя восприняла христианство крайне враждебно, боролась с ним не на жизнь, а на смерть, но победить не могла. Расширяясь, включая в себя новые страны и земли, усваивая их быт, идеи, богов, империя утрачивала внутреннюю цельность, единство духа, что ранее обеспечивало успехи. Потому она на самом, казалось, пике славы и величия стала разрушаться. Христианство заключало в себе будущее. Внешне слабое и гонимое, оно принесло в мир языческий новую веру, новое сознание, новую жизнь и – победило.

В трагедии «Два мира» Аполлон Майков, как мыслитель глубоко и как художник совершенно, воссоздал исторический момент встречи христианства с язычеством. Основываясь на исследованиях языческих преданий, он не находит в будущем язычества культурного и духовного подъёма; все лучшие природные качества человеческой личности могут расцвести только на путях, завещанных Христом.

В переводе «Слова о полку Игореве» осуждается языческая рознь, междоусобия на Руси. Божия природа всячески удерживает князя Игоря от похода, вдохновленного языческим молодчеством, предвещая несчастье. Зато та же природа помогает раскаявшемуся, осознавшему в плену свои заблуждения князю Игорю бежать из плена.

Достоевский ценил в Пушкине всечеловечность – способность выражать в творчестве характер других народов. Однако у многих образованных и творческих людей всечеловечность вытесняла из душ русскость. Аполлон Майков не терял её: русскость и всечеловечность сопряжены и одухотворены у него православной верой. Вот разгадка загадки русской души.

Христианство с язычеством несоединимо. Попытки сочетать их в творчестве – у Максимилиана Волошина христианство с теософией, у Николая Клюева христианство с пережитками язычества у иззяного жителя – поражают неожиданной дерзостью, кажутся величественными, но потом разочаровывают.

Лев Тихомиров в книге «Монархическая государственность» не ограничивал роль государства социальными задачами, созданием благополучия народов, защитой от военных угроз. Едва ли не главная забота государства – возможно полное и всестороннее развитие заложенных в человеке способностей и талантов, воспитание богато одаренных, активно-творческих личностей. Фёдор Тютчев, как сказано, видел идеал в Окончательной Православной Империи. Алексей Хомяков полагал: только Церкви Православной предназначены великие преобразования в истории. Государство силой внешних законов, влиянием внешних авторитетов мало что может сделать для возвышения души человеческой. На суде Христовом социальная иерархия, общественный статус человека не принимаются во внимание – только личные дела каждого: не предпочтется царь перед воином, владыка перед рабом, «кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится».⁵ Ибо Церковь – это небо на земле, это соборность, то есть братская любовь во Христе, когда единство и свобода дополняют друг друга, когда учение Церкви не внешний авторитет, а сокровенная жизнь души. Отсюда преобразование человека изнутри, а не принуждением. «Не приидет Царствие Божие приметным образом... вот, царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 20).

Духовный опыт двадцатого века (революция в России) подтвердил убеждение Хомякова, что

только во Христе свобода: «единство было сама свобода в стройном выражении ее внутреннего согласия». ⁶ Ее-то мы и потеряли.

Протоиерей Александр Ельчанинов: «Все яснее становится мне, что Православие – это стихия абсолютной свободы. Боязнь уставов, правил, боязнь как-то ограничить себя... отвращение к пропаганде, насилию, хотя бы чисто идейному или психическому, боязнь убеждать, вера только в самую наличность религиозной жизни...» Выявляется и другая сторона проблемы: «Мир безоружным нам не пройти; это гордыня, мы должны пользоваться орудиями мира сего. Нам надо смиренно признать государственность, внешние воздействия на мир. То, что мы потеряли Россию, не только политическая ошибка, но грех против Церкви...» ⁷

Вопрос только в том, можно ли исправить «ошибку». Лев Тихомиров пишет (в 1913–1918 годах): Государство «основано на началах мира сего, на силе принудительной и, будучи высшим руководителем судеб общества, имеет всегдашнюю тенденцию к самоутверждению. Оно не терпит около себя вполне свободных сил и в лучшем случае допускает для них условное существование. Сближаясь с государством, Церковь становится неизбежно в опасное положение. Перед ней открывались все соблазны: соблазны внешнего могущества, принуждения, внешних способов влияния, соблазны житейских благ. ⁸

Государство – «инструмент», овладевшие им силы могут охранять и поддерживать Церковь, а могут искажать или даже разрушать ее. По предостережению Льва Тихомирова, в «последние дни» человеческой истории произойдет отступление от Бога – апостасия. Материализм, атеизм останутся в прошлом. Основные мировые силы, каждая со своими религиозно-философскими взглядами – человеко-божескими или мистико-сатанинскими – вступят в междоусобную борьбу. Период революций, гражданских войн, период развращения человечества. Бог попускает сему быти, предостерегая людей от сатанинской пропасти, в которую они могут впасть. Явившийся антихрист восстановит в мире государственную власть и международное единство только для войны с Богом, чтобы установить власть дьявола. Эта апокалипсическая катастрофа исследована и отражена в книге «Религиозно-философские основы истории». Однако другой труд мыслителя «В последние дни (Эсхатологическая фантазия)», написанный в 1919–1920 годах, содержит дополнение, кото-

рое по-новому освещает современные события в мире: антихрист Антиох Масон придет из Америки (США). ⁹

Североамериканцам должно отрезвиться душевно и духовно, чтобы не оправдать страшное предсказание своими делами, которые и сейчас наводят на мысль о правоте Льва Тихомирова. Вспомним, что сделала Америка с Югославией. Колыбель сербского Православия, Святой Сербии – Старая Сербия (Косово) – стала самостоятельным государством, враждебным отчине. Интригами той же Америки мать городов русских Киев явил себя столицей государства, враждебного России. Наконец, пока последнее: антихрист апокалипсический, по творениям митрополита Илариона (Алфеева), большой политик, представляющийся святым (великим демократом, по-современному), потом являет себя жестоким и злым тираном. Запрещает торговать с непокорными, чтобы они умерли с голода. Предтечи антихриста, естественно, похожи на него. Не так ли современная Америка норовит поступать с Россией?

Великий наш святитель Филарет Московский на склоне лет обладал пророческим даром. «Однажды, – вспоминал епископ Леонид (Краснопевков), – я сказал митрополиту Филарету (1865), что было бы желательно закрепить письменно его взгляды, касающиеся до расхождения со старообрядцами. Филарет ответил: «Для чего?» – «Для будущего», – был мой ответ. Митрополит отвечив, горячо волнуясь, что он чувствует, что будущее покрыто тёмным облаком и что, когда буря разразится, люди, потрясённые громовым ударом, забудут обо всём, что было до этой бури». ¹⁰

«Тот же епископ Леонид пишет: «А.Н. Муравьев говорил, что печален взгляд владыки на будущее, и передал его подлинные слова: «Когда я смотрю на малолетних детей, я не могу остаться равнодушным от мысли, что они должны будут, бедные, вытерпеть в сию пору», – и при этих словах заплакал».

Митрополит Филарет оставил нам, вступившим в то время, «когда буря разразится», завещание: «Научись же подлинно, христианин, не страшиться ненависти мира, если он восстанет против тебя за то, что ты последуешь Христу, что стараешься мыслить благочестиво и жить добродетельно. (...) Итак, пусть клеветают на истину, пусть ненавидят любовь, пусть убивают жизнь, истина оправдается, любовь побудит, жизнь воскреснет». Надо только не терять присутствия Духа: «Усиленное стремление к преобразованиям, неограниченная, но неопытная

свобода слова и гласность произвели столько разнообразных воззрений на предметы, что трудно между ними найти и отделить лучшее и привести разногласие к единству. Было бы осторожно как можно менее колебать, что стоит, чтобы перестроение не обратилось в разрушение. Бог да просветит тех, кому суждено из разнообразных мнений извлечь твёрдую истину».

Как тут не вспомнить Алексея Кольцова: «Тяжела мне дума, сладостна молитва!» Поэт знает: душа человеческая усваивает «вечные тайны» через тяжесть дум и сладость молитв всю земную жизнь, равно как человечество – всю земную историю. Поэзия (не стихосложение, хотя и мастеровитое) способна, кажется, соперничать с богословием. Лирико-философские «незабудки» Михаила Пришвина проникнуты таким настроением: думай, но бойся, и всё-таки думай, согревай мысль в сердце.

Алексей Хомяков берётся исполнить завет святителя в учении о соборности. Церковь – это свободное духовное единство верующих, благодать Святого Духа, даруемая взаимной любви христиан. «Тайны Божии открыты нам от начала, – пишет Хомяков. – Что же после этого значит вся последующая работа, та, которая продолжается и в наши дни, будет продолжаться во все века и которую историки нашего времени называют крайне неточно развитием (...) Церковь унаследовала от блаженных апостолов не слова, а наследие внутренней жизни, наследие мысли невыразимой и, однако, постоянно стремящейся выразиться».¹¹ Выражению невыразимого, раскрытию во времени вечного Откровения посвящена заключительная часть книги «Церковь одна».

Святитель Лука Войно-Ясенецкий (1877–1961) скорбит о розни в Православной Церкви: порой трудно примирить мнения ярких и самобытных иерархов, вспомним, хотя бы, полемику в России о «имяславии». С другой стороны – не изжитое представление о Церкви как о составной части имперского государства. В христианском мире бытует не одно каноническое богословие, а и наукообразное – теософия, теология. Единство Православной Церкви основывается только на камне,

положенным во главу угла, Иисусе Христе, на Евангелии, просвещающую своим светом всякую тьму. Это истинно, как истинно то, что молитвы Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, способствовали возвращению Крыма в Россию. Святитель Лука жил и творил как архиерей и врач: для него не было противоречий между религией и наукой. Дар художественного слова позволил ему в проповедях выступать ярким и глубоким психологом.

В наше время завет святителя Филарета осуществляется в трудах митрополита Илариона (Алфеева). В его книгах сведено воедино православное учение о Боге, о Иисусе Христе (Бог и человек), о Церкви, о творении (мир и человек), о конце времён... Освоено, изучено

огромное наследие: Священное Писание, Священное Предание – материал разнообразный, сложный, требующий всякий раз особого подхода, внимания, понимания, чтобы свести разнообразие в живое единство, доступное читателю образованному, но не только богослову. Остановимся только на некоторых моментах исследований митрополита Илариона.

Ветхий Завет – основа и прообраз Нового Завета, потому Новый Завет не только продолжает, но восполняет Завет Ветхий. Псалом 136



Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

(«На реках Вавилонских...») завершается так: «Дщи вавилоня окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала нам: блажен муж, иже имеет и разбьет младенцы твоя о камень». В христианской практике библейская образность понимается иносказательно: тот, кого «дщи вавилоня» наградила своими грехами, должен избавиться от них, пока они ещё не окрепли («младенцы»).

Священное Предание (труды отцов Церкви) создавалось в разные века личностями творчески самобытными, потому у них можно обнаружить мнения, отличающиеся друг от друга. Митрополит Иларион предоставил читателю многообразие богословских решений как органическое целое, как единство взаимодополняющих взглядов, открывающих разные стороны явлений. Не забудем, что падшее человечество не способно сразу и полно воспринять Откровение – для этого дана нам вся земная история.

Православное христианство сохранило донныне память о жизни первых христиан – в отличие от исповеданий римских и протестантских. «Жизнь и свидетельство первых христиан были пронизаны пасхальной радостью и сознанием центрального значения воскресения Христова для спасения человечества. Эту радость, это сознание Православная Церковь хранит до сего дня, о чём свидетельствует весь её богослужебный строй, ориентированный на воскресение Христова, а не на Рождество или какой-либо другой праздник. Если на христианском Западе праздник Рождества Христова принял значение главного праздника церковного года, то на Востоке «праздником праздников» всегда оставалась именно Пасха как празднование победы над смертью воскресшим из мёртвых, совоскресившим вместе с Собой весь человеческий род».¹²

Русское богословие митрополит Иларион видит полнее и шире, чем принято. Знает он протопопа Аввакума: из «Жития» приводит отрывок о Предвечном Совете Святой Троицы перед сотворением человека. Часто обращается к трудам богослова В. Лосского. Отмечает книгу иеромонаха Софрония (Сахарова) о преподобном Силуане Афонском с приложением писаний старца. Строго объективно отзываясь о западном экзистенциализме, но сочувственно – о философе Н. Бердяеве, называет его экзистенциальную систему православной, цитирует его книгу о Хомякове.

Алексей Хомяков для митрополита Илариона – первый оригинальный религиозный философ России. Его учение о соборности «оказало

большое влияние на современное православное богословие»: «Хомяков воспринимал Церковь не только и не столько как организацию, скреплённую внешним авторитетом иерархии, сколько как единый соборный организм, члены которого скреплены единством веры на принципах равенства и свободы. (...) Представление о соборности как о единении и равенстве всех членов Церкви было важнейшим элементом экзезиологии А.С.Хомякова и других славянофилов».¹³

Исходя из опыта веков, митрополит Иларион утверждает правоту сердечной, выстраданной в жизненной борьбе веры учёных и неучёных: «Вдохновляя и побуждая человека вновь и вновь размышлять о Боге и находить в молитве ответ на свои размышления, святоотеческое богословие даёт нам ясный ответ на вопрос о Боге, исключающий любой повод для неверия: Бог несомненно есть. Он любит тебя и заботится о тебе. Потому не беспокойся и наслаждайся жизнью, твёрдо веруя в Него и исполняя Его заповеди».¹⁴

Вера в Бога, по представлению славянофилов, сопрягает в себе ум, сердце, волю. Святой праведный Иоанн Кронштадтский свидетельствует о том же, призывая понуждать себя к молитве. Рассудочная «вера» отзывается ложью во всём: в науке, искусстве, в деятельности социальной, общественно-политической. Лев Тихомиров в конце девятнадцатого века писал: «В действительности развитие основной идеи славянофильства всё время идёт поступательно. Нельзя, конечно, утверждать, чтоб она непременно в конце концов победила в России идею «западническую». Но вообще движение, поднятое славянофилами, растёт и развивается в самых разнообразных проявлениях. «Национальное» у нас уже завоевало себе признание, но, ища этого «национального», мы, даже не желая и не сознавая того, невольно черпаем «православное», переполняющее всё содержание народного исторического духа России».¹⁵

Наша начальная летопись («Повесть временных лет») рассказывает о призвании варягов; древние русичи сказали варягам (кто бы они ни были): «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». Слово «наряд» переводят как порядок, то есть внешнюю организацию. Но славяне без «наряда» бедствуют не из-за отсутствия власти или её слабости: «не бе в них правды», потому «воста род на род, и беша в них усобице, и воевати почаша сами на ся». Не стало в них правды Божией, тогда как призваны славяне, наряжены творить волю Божию. «Стяжи дух ми-

рен», то есть «Дух Божий», завещал нам преподобный Серафим Саровский.

Не это ли имел в виду Лев Тихомиров, говоря о своём современнике: «невольно черпаем «православное», переполняющее всё содержание народного и исторического духа России».

В русской сказке Иванушка-дурачок влезает в левое ухо Конька-горбунка, а из правого выходит добрым молодцем. В жизни тоже так бывает.

Примечание

¹ Николай Гумилёв. Стихотворения и поэмы. Москва, Эксмо, 2010, с. 288.

² Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Лениздат, 1960.

³ Георгий Иванов. Стихотворения. Третий Рим. Москва, Книга. 1989, с. 442.

⁴ Святитель Николай Сербский. Ты нужен Богу. Москва, Эксмо, 2013, с. 93, 97.

⁵ Толковая Псалтирь. Сретенский монастырь, Новая книга, 1998, с. 266.

⁶ А.С. Хомяков. Церковь одна. Москва, 2001, с. 100.

⁷ Протоиерей Александр Ельчанинов. Православие для многих. Москва, ДАР, с. 61-62, 78-79.

⁸ Л.А. Тихомиров. Религиозно-философские основы истории. Москва, ФИВ, 2015, с. 616-617.

⁹ Л.А. Тихомиров. В последние дни. Артос-медиа. Москва, 2004. с. 45-62.

¹⁰ Филарета, митрополита Московского и Коломенского творения. Отчий дом, 1994, с.28-29.

¹¹ А.С. Хомяков. Церковь одна. Москва, 2001, с. 241-245.

¹² Митрополит Иларион (Алфеев). Христос: Бог и человек. Эксмо, Москва, 2014, с. 185.

¹³ Митрополит Иларион (Алфеев). Церковь: небо на земле. Эксмо, Москва, 2014, с. 87-90.

¹⁴ Митрополит Иларион (Алфеев). Бог: православное учение. Эксмо, Москва, 2014, с. 222.

¹⁵ Лев Тихомиров. Критика демократии. Москва, 1997, с. 390.

Иван Константинович РОГОЩЕНКОВ

родился в 1933 году в Смоленской области.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

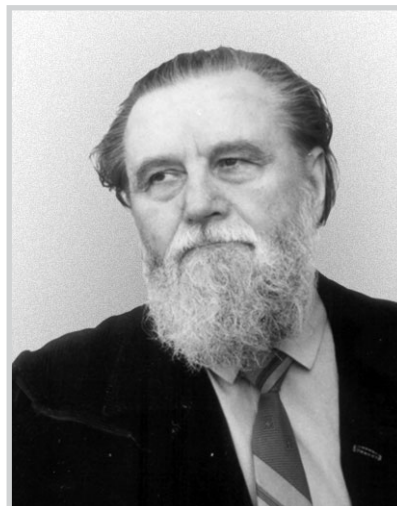
Несколько десятилетий заведовал отделом критики в журнале «Север».

Автор книг «Воля творить жизнь» (Петрозаводск, 1979 г.),

«Память и надежды» (Москва, 1988 г.).

Член Союза писателей России с 1980 г.

Живет в Петрозаводске.



Илья ИЛЬИН

г. Костюмушка



рассказ

Когда Серёжка вышел на улицу, ребята уже вовсю строили песочный город. Тёплый летний дождь обильно полил землю, и домики лепились хорошо.

— Давай к нам! — крикнул ему Андрюшка и прибавил: — Ты совок взял?

— Конечно, взял. Не видишь, что ли? — ответил Серёжка. — У меня и ведёрко есть. — И он тут же стал насыпать в него мокрый песок. Когда ведёрко наполнилось, Серёжка быстро перевернул его. — Видал! — гордо сказал он. — Сторожевая башня будет.

— Зачем башня-то? — удивился Андрюшка.

— Как зачем? Мы ведь город строим, а его защищать нужно. Как же без башни? В ней охрана будет сидеть.

— Тогда я охраной командовать буду, — обрадовался Андрюшка. Он бросил совок, вскочил и, на ходу крикнув: «Я быстро!», побежал к дому.

— Куда это он? — поинтересовалась у ребят Светка.

— Не знаю, — пожал плечами Серёжка.

— Да за пилоткой он, — уверенно ответил Вовка. И стал высыпать из своего грузовика привезённый песок. При этом он усиленно сопел и фыркал, изображая работающий двигатель.

Андрюшка действительно вернулся в пилотке. И не только... На поясе у него был солдатский ремень, а на рубашке — настоящая военная медаль...

— Вот это да-а!.. — слышались восхищенные голоса ребят. — Дай посмотреть! А она настоящая?

Ребята окружили Андрюшку, засыпая вопросами. Одна Светка не проявляла никакого интереса. Едва взглянув, она отвернулась и продолжила строительство нового домика.

— Самая настоящая! — гордо выпятил грудь Андрюшка. — Бабушке за оборону Ленинграда дали! Вот, — он показал на медаль, — видите? Написано: «За оборону Ленинграда».

— Так мы тебе и поверили, — хмыкнула Светка. — Ты и читать-то не умеешь. Соврёшь — не дорого возьмёшь.

— Мне бабушка сама сказала, — покраснел от обиды Андрюшка.

— А она у тебя что, на войне была? — снова засомневалась Светка. — Такие медали только на войне дают, а у твоей бабушки даже формы военной нет.

Андрюшка в бессилии сжал кулаки и, не зная, что ответить, усиленно засопел.

Выручил Серёжка.

— Дура ты, Светка! Андрюшкина бабушка здесь в блокаду жила. Она окопы рыла и город наш от фашистов спасала. А за это тоже медали дают.

— А ты-то откуда знаешь? — огрызнулась вредная Светка. — Тоже рыл?

— Я-то знаю, — ничуть не обиделся Серёжка. — В День Победы сам от неё слышал, когда за Андрюшкой заходил.

Светка замолчала, а благодарный Андрюшка отстегнул медаль и протянул Серёжке:

— На, посмотри.

Ребята тоже потрогали.

— Тяжё-ёлая, — уважительно протянул Вовка, взвешивая на ладошке медаль.

— А ты как думал? — с гордостью ответил Андрюшка. — Настоящая ведь...

— Эй, пацаны! — окликнул ребят чей-то голос. — Что это вы там разглядываете?

Мальчишки оглянулись. Придерживая за руль велосипед, к ним приближался шестиклассник Генка.

— Ого-о! — вырвалось у него, когда заметил диковину. — Дай-ка посмотрю...

Он взял у Вовки медаль и вслух прочёл на ней:

— «За о-бо-ро-ну Ле-нин-гра-да».

— Вот! А я что говорил?! — ликовал Андрюшка, победно поглядывая на Светку.

Генка тоже попробовал медаль на вес, а затем протянул Андрюшке и с ленцой в голосе спросил:

— Может, махнёмся?..

— Как это? — растерялся Андрюшка.

— Да очень просто. Я тебе — пистолет. Он шариками стреляет. А ты мне — медаль...

Андрюшка замялся. Он давно мечтал о таком пистолете и теперь не знал, как поступить.

— Да она не моя... Бабушкина... — помедлив, вздохнул он.

— Ну так что? Бабушке-то зачем? — тут же поднажал Генка. — Война давно закончилась, а медаль у неё всё равно, наверное, в коробке пылится.

— Нет, не в коробке. На стенке у комода висит, — возразил Андрюшка и снова вздохнул.

— Это всё равно, — махнул рукой Генка. — А я её начищу и... — он немного подумал, — в школьный музей отнесу, вот.

— Точно в музей? — приободрился Андрюшка. — И все видеть будут?

— Конечно, будут! Не сомневайся. Ну так что, по рукам? — нетерпеливо спросил Генка.

— Врёт он всё, — подала голос Светка, — он у меня котёнка однажды выпросил. Говорил, для уголка юннатов, а сам отдал неизвестно кому.

— Мелкая ты ещё, чтобы что-то в жизни понимать, — недовольно отмахнулся от неё Ген-

ка и посмотрел на Андрюшку: — Ну, договорились?

— Договорились, — решился наконец Андрюшка. — Только ты сначала пистолет принеси и шарики не забудь...

— Не забуду!

Генка вскочил на велосипед и уехал, а ребята окружили Андрюшку.

— Не попадёт тебе? Не всыплют? Не накажут? — наперебой спрашивали они.

— Не попадёт... — как-то неуверенно ответил Андрюшка. — Я вместо медали пилотку и пистолет повешу — бабушка и не заметит...

Через несколько минут Андрюшка держал в руках заветный пистолет с шариками, а довольный обменом Генка наскоро распрощался и уже накручивал педали, торопясь по своим делам. На рубашке у него тихонько покачивалась бабушкина медаль «За оборону Ленинграда»...

* * *

Много лет спустя Андрей Алексеевич приехал домой... Здесь всё было как прежде и даже у окна так же стояла старенькая швейная машинка «Зингер». Открыв дверь в знакомую комнату, он подошёл к потемневшему от времени комоду и долго смотрел на стену, где когда-то, обтянутая муаровой лентой оливкового цвета с продольной зеленой полосой посередине, висела единственная бабушкина награда, медаль «За оборону Ленинграда».

□

Илья Анатольевич ИЛЬИН

родился в 1959 году в Вологде.

Окончил Ленинградский механический техникум железнодорожного транспорта.

Пишет стихи и прозу.

Автор шести книг: «Океан вселенной», «Кто зажигает звезды»,

«Рубаи и катрены», «Последнее лето детства»,

«Ветер и его сторона», «Город по имени Богдар».

Член литературной студии «Свой голос» при Союзе российских писателей и некоммерческого партнёрства поддержки литераторов «Родные просторы» при журнале «Невский альманах».

Живет в Костомукше.

В журнале «Север» публикуется впервые.



**Юрий
ПОЛЯКОВ**
г. Симферополь



Юрий ПОЛЯКОВ –

детский поэт, писатель.

Победитель и лауреат

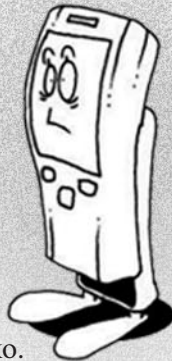
международных литературных конкурсов.

Публиковался на страницах ведущих изданий для детей, среди которых «Мурзилка», «Кукумбер», «Рюкзачок», «Шишкин лес» и другие.

Автор семи книг для детей, изданных в Крыму и Белоруссии.

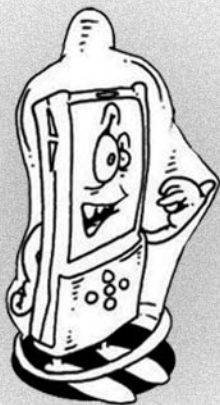
В журнале «Север» публикуется впервые.

«Скользя, прыгая, буксуя...»



ЭСЭМЭСКА

Урок...
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмэска.
А в той эсэмэске от Мишки пять слов:
«Петрова, тИбя я люблю.
Иванов».



Петрова
Слегка покраснела:
«Ах, Мишка!
Какой он прикольный
И классный мальчишка!»
И шлет эсэмэску –
Всего лишь три слова:
«Дурак, Иванов! –
Ну и подпись: –
Петрова».

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

У Ленки –
Шенок,
Хомячок –
У Андрюшки.
У Ваньки –
Ушастый египетский кот.

А я обзавелся недавно
Лягушкой!
Она у меня
Под кроватью живет!
Ее окружаю
Заботой безмерной
И, честно признаюсь,
Никак не дождусь,
Когда превратится лягушка
В Царевну...

И я на Царевне-Лягушке
Женюсь!



ОСТОРОЖНО



ГОЛОЛЁД!

Осторожно!
Осторожно!
ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЕД!

Все,
Скользя,
Пыхтя,
Буксуя,
Продвигаются
Вперед.

Осторожно,
Шаг за шагом,
По сплошному
ГОЛО-ЛЬДУ,
С бабушкой
Буксую рядом —
В детский сад
Ее веду.

Осторожно!
Осторожно!
ГОЛО-ГОЛО-ГОЛО-ЛЕД!

...Без меня
Бабуля
Точно
До детсада
Не дойдет!



НА ПОРОГЕ МРАМОРНОГО ЗАЛА...

На пороге
Мраморного зала,
В замке
Короля-Его Величества,
Тряпка очень важная
Лежала —
Важно-влажно-грязное
Тряпичество.
И была Тряпичество
Горда.
И полна достоинства:
Еще бы!
Об нее придворные особы
Вытирали ноги
Иногда.

**Артем
КУЛЯБИН**

г. Сокол, Вологодская область

*Открытая душа
(стихотворение Сергея Чухина)*



На фотографиях не стареют. Ни учёные, ни инженеры, ни поэты. Впрочем, поэты и в жизни нечасто стареют. Особенно большие, особенно русские. Воистину

*Горька судьба поэтов всех племён,
Тяжеле всех судьба казнит Россию.*

Судьба поставила точку на жизненном пути русского поэта Сергея Чухина, когда ему едва исполнилось сорок. Говорят, подвело слабое зрение: сделал роковой шаг к сбившей его машине. Да, он и сейчас со многих фотографий из прошлого двадцатого столетия смотрит на нас в очках. Но ведь было у него и другое – поэтическое – зрение. Главное для художника слова. И тут не упрекнёшь Чухина в близорукости. Он замечает то малое, через которое иные обыватели попросту перешагивают. Он естествен, без какой-либо надуманности или вычурности. Только так добрые порывы души становятся стихами:

*Работай, друг мой,
Душою чист,
Один проходи
Науку.
По праву руку –
Бумаги лист.
А сердце –
По леву руку.*

«...Как непросто быть самим собой»

Критики смотрят на Сергея Чухина по-разному. Одни считают его несамостоятельным, другие – недооценённым. Так, по мнению Виктора Баранова, Чухин не сумел обрести собственную поэтическую стезю. Иная точка зрения у Вадима Деметьева, который отмечает: «Он как поэт и сегодня недооценён, а те, кто открывает его стихи, удивляются: как же так, мы, оказывается, Чухина и не знали!». Нет нужды повторять другие многочисленные вариации этих мнений. Практически с первых серьёзных публикаций поэта критика стала искать и находить в Чухине Рубцова. Начались разговоры о влиянии. Насколько они состоятельны? И в какой же разряд всё же определить Чухина: к несамостоятельным или к недооценённым?

Влияние – понятие очень объёмное. От заурядного подражания до преемственности традиций, духовного воздействия – дистанция огромного размера, как от повторения уже созданного до самостоятельного продолжения его на новом творческом уровне. Многие поэты начинали с подражания, и, вероятно, Чухин – не исключение. От чужого отталкиваются, чтобы найти своё. Талантливые рано или поздно обретают собственный голос. Тут можно вспомнить Пушкина: «Талант неволен, и его подражание <...> – благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения...»

Так испытывал ли талант влияние гения? Конечно. К слову сказать, и Рубцов, и Чухин понимали это. Рубцов, по воспоминаниям современников, без снисхождения относился к подражательности Чухина. Сам Чухин спустя годы признавался:

*Наша юность росла
Под рубцовской звездой полевою,
Что светила призывно
Для вечноблуждающих нас.*

Да, рубцовская муза оказалась близка многим его современникам. Не случайно, вероятно, появилось даже понятие «рубцовской плеяды», которую составили поэты, близкие по мироощущению, тематике, художественным приоритетам. Некоторые из этих авторов прошли сходный жизненный путь. Для них, «вечноблуждающих», Рубцов играл роль духовного лидера, его звезда оказалась ярче других, в его лирике наиболее полно и завершено отразились духовные искания поэтов «плеяды». Однако оставаться в тени Рубцова – незавидная доля. И Чухин, конечно, это осознавал. Но обретенное собственное голоса – сложный процесс:

*Но как непросто
Быть самим собой...*

Так всё-таки сумел ли Чухин преодолеть влияние? Критик Василий Оботуров, зорко следивший за становлением поэта, отвечал на этот вопрос утвердительно. Если в 1977 году он отмечал, что Чухин идёт по пути преодоления рубцовского влияния, то спустя десятилетие констатировал, что поэту это удалось сделать. Такого же мнения придерживаются многие друзья поэта. Александр Романов, вспоминая совместное выступление Рубцова и Чухина в городе Харовске, так определил разность этих авторов: «Если от Рубцова исходила тайна, то от Чухина – ясность русской души...» В этой ясности, открытости – весь Чухин.

«Настроив душу на добро...»

Наверное, русская земля должна была дать миру нового поэта в победном 45-м, первой послевоенной осенью. Поэта, который будет ценить неповторимость жизни, труд хлебопашца и любовь к природе. Под Вологдой, где появился на свет Сергей Чухин, боёв не было, но поредели деревни, и память о войне не успела далеко уйти от поколения поэта:

*Минули нас лихие времена,
Нам жить не довелось на белом свете,
Когда дымами стлалась по планете
Та, мировая, горькая война...
Минули нас лихие времена.
О только бы не омрачились эти!*

Стихов о войне у Чухина немного. В них судьба человека: ветерана, у которого война отняла жену и сына, вдовы, которая надеялась, но не дождалась... Один в задумчивости курит ночью самосад, другая смотрит из окна на онемелую дорогу. Все эти горькие и долго не заживающие раны войны поэт, конечно, видел. А что не видел, узнал после:

*Это мне потом известно стало
Про послевоенную беду,
Что в деревне хлеба не хватало,
Что в деревне ели лебеду.*

Звенем, связующим прошлое с настоящим, для Чухина, как и многих других «тихих» лириков, является родина:

*Ты же с предками связан
Не просто незримую нитью,
А дорогой на родину,
Родиною самой.*

К ней, к родине, он привязан, «как птица к небу», «как пахарь к полю». На почти риторический вопрос – очевидный для Чухина ответ:

*Но куда от родины уйдёшь?
Разве в землю родины – не дальше.*

Родина у поэта – скромные в своей неброской красоте северные места: с деревнями по берегам рек, с неповторимым запахом свеженаколотых дров или свежескошенного сена, с доброжелательными стариками и старушками. Родина – исток, откуда человек, как оперившийся птенец, начинает свой путь-полёт.

...Путь в литературу для Чухина, как и для многих других авторов, начался с районной газеты. Газета «Маяк» стала на самом деле маяком для начинающего поэта. В ней и поныне бережно хранят память о поэте. Потом был «Вологодский комсомолец», другие региональные и столичные издания...

В жизненном и творческом развитии Чухина трудно найти что-то необычное: родился в семье сельских учителей, поступил на филологический факультет пединститута, затем перешёл в Литинститут, работал в районной и областной га-

зетах... При жизни выпустил шесть поэтических сборников: «Горница» (1968), «Дни покоя» (1973), «Дым разлуки» (1974), «Осенний перелёт» (1979), «Ноль часов» (1980) и «Стихотворения» (1982).

Василий Оботуров точно определил характер творческого дарования Чухина, назвав поэта «лириком, склонным к созерцательности, элегической грусти». Уже с первых сборников была заметна эта созерцательность. Увидеть в природе родственное человеческой душе – для Чухина естественное стремление:

*Настроив душу на добро,
На чистоту лесной берёсты,
Понять природу так же просто,
Как птице обронить перо...*

Поэт обезоруживает своей безыскусностью, открытостью, никогда не прячась за витиеватой стихотворной строкой, не давая читателю повода усомниться в его искренности. Чухин говорит без напряжения, хотя мы догадываемся о напряжённой работе души. Кажется, о ней, о душе, поэт беспокоится больше всего, постоянно переживая,

*Чтобы живу душу не заткали
Сытого довольства пауки.*

Может показаться, что чухинская созерцательность лишь в пейзажных зарисовках: талантливо созданных картинках природы с нескончаемыми дождями, парящими в вышине птицами, последними листьями на деревьях и т.д. Но это не просто любование природой, не взгляд стороннего наблюдателя, а попытка рассмотреть и осмыслить самую суть, узнать «чего никто не знает».

Создаётся впечатление, что Чухин сознательно отказывается от эффектных художественных приёмов, словно боясь красоты, ненатуральности. Его влечёт тишина, поэзия без спецэффектов. Размеренность классического стиха остаётся стилиевой доминантой лирики Чухина.

Но это отнюдь не означает, что поэт прозаичен, скуп на эмоции (напротив, подчас прорываются в его стихах восклицания-признания: «До чего хорошо на земле!»). Эпитеты поэта зримы, неожиданны: «ясноколющий снег», «пустопорожные обиды», «поёживающийся сосняк», «сиюминутные стрижи», «дождь, по-комариному попискивающий». Чухин (в отличие, например, от Рубцова) чаще прибегает к разговорной речи, что делает некоторые его стихи более приземлёнными, но не уходящими целиком в бытовую плоскость. Не чужды Чухину (хотя и не характерны для него) настроения

весёлого озорства, даже бесшабашности («Николай Иванович, Колюня...», «Художнику Михаилу Брагину» и др.). Заметно выделяются в творчестве поэта немногочисленные иронические стихи («Сближаем страны и заводы», «С утра на льду торчит тулуп», «Не сажают в городе цветы», «Иронические строки», «Трактор прёт по реке», «Шоссе районного значенья» и др.), слегка приоткрывающие иную грань поэтического таланта Чухина.

«Подпеваю тихо, как умею...»

Самуил Маршак, как-то рассуждая об одном молодом авторе, обмолвился: «Он должен верить в свои силы – без этого невозможно писать...» Читая Чухина, кажется, что ему не хватало этой самой уверенности:

*...И живу неплохо, как умею...
Только много ли умею я?*

Или:

*...Подпеваю тихо, как умею,
Забывая дни больших обид...*

Что стоит за такими признаниями: подчёркнутая скромность, ограниченность творческого мышления или что-то другое? Рубцов к недостаткам первой чухинской книжки относил то, что в ней «узок еще круг настроений, переживаний, раздумий, картин. Иначе говоря, узок еще круг поэтических тем, еще не отличаются они, эти темы, глубиной и силой». Впоследствии эта мысль получит продолжение во многих рецензиях и критических статьях. «В целом С. Чухин не выходил из тесных, раз и навсегда выбранных рамок лирической темы и лирического сюжета», – отмечает Виктор Бараков. Одна за другой появлялись книжки, увеличивался их объём, и читатель уже имел полное право спросить: «А что там, за околицей? Когда закончится дождь и догорят, наконец, плахи в печи?» Но дождь всё шёл, а плахи не догорали... Из одного стихотворения в другое переходят знакомые сюжеты, сходные образы, одинаковые мотивы, исчезающее настроение тихой печали, нежной грусти.

*Уеду в бор
И встану под сосну,
Как верующий
Под благословенье ...
(«Лепечет дождь...»)*

*Постою у тёплых сосен сада,
Он полднейной напоён смолой...*
(«Подвигаюсь к вечному порогу»)

*В тишине прохладной, просмолённой
Пошатаюсь, как удельный князь...*
(«Небеса с одной-единой точкой»)

Или:

*Голубыми глазами младенца
Нам вослед незабудки глядят...*
(«Ах, опять на равнинах безбрежных»)

*Ну что ты, ну что ты, ну что ты
Младенчески в душу глядишь...*
(«За озеро кануло солнце»)

Подобных примеров множество. Спору нет: нежная грусть – чувство трогательное. И у Чухина оно выражено умело. Но подчас нежность граничит с сентиментальностью, даже слащавостью. И в таких случаях текст рискует приобрести нежелательные смыслы и, следовательно, восприниматься по-другому. Например, в стихотворении «Средь недописанных строчек» автор пишет о совести как о чём-то конкретном, очеловеченном: «сжалась в комочек», «порезала пальчик»... Читателю сложно всё это представить, образ размывается. В других стихах Чухин пишет о былинке, кузнечике, комаре, муравье, который «на дыбки поднялся по-медвежьи». Пишет со свойственной ему проникновенностью. Но опять же слишком уж миниатюрным оказывается мир поэта. По этому поводу молодой московский критик Марина Князева в рецензии на «Дни покоя» довольно резко заметила: «Изображение «сфинкса природы», взятого вне живых, требующих разрешения проблем, становится рисованием тех мелочных картинок, в которое превратился сборник «Дни покоя». Конечно, подобные оценки из разряда полемических перекрёстов едва ли могут всесторонне отражать особенности чухинской лирики, но и другие читатели, старшие товарищи по вологодскому писательскому цеху не раз призывали поэта не размениваться по мелочам, «говорить о существе» и т.д. Может быть, Чухину недоставало масштабности, поэтической дерзости, чтобы объёмнее запечатлеть мир и себя в этом мире?..

«Средь недописанных строчек»

Поэтическая судьба зависит от многих, в том числе – и нелитературных, факторов. Кто знает, какой бы она сложилась у Чухина, не будь в ней Рубцова. Предсказывать в таких случаях – неблагоприятный труд. Формирование поэта – дело сложное, зачастую не подвластное уму. Кому-то, для того чтобы стать зрелым поэтом (достичь своей верхней планки в творчестве), требуется пять лет, кому-то – двадцать пять. Посмертные сборники Чухина («Придорожные камни», 1988 и «Бесконечный путь», 2000) отчасти подтверждают мысль о нереализованных возможностях поэта. Вероятно, Чухин и сам чувствовал необходимость определённых перемен в творчестве:

*Наверное, сроки приспели
Своё назначенье понять
И, песен меняя припевы,
Попробовать песни менять.*

В сборник «Бесконечный путь», например, включено стихотворение «Открыта новая орбита», настолько не похожее на всё прежнее творчество Чухина, что впору усомниться в его авторстве. Здесь вместо знакомых читателю спокойных деревенских картин грозные веки кровавого XX столетия. В текст врывается публицистическая страстность:

*О Родина! Куда идёшь?
Идёшь без кормчего, без веры?
Какую цену назовёшь
Во искупленье этой скверны?
Неужто милая земля
Насущный хлеб родить устала
И существует только для
Правительственной пьедестала?
Неужто нету силы той,
Которая без разговору
Перечеркнёт прямой чертой
Бюрократическую свору!..*

...Чухин сумел выйти на собственную поэтическую дорогу, хотя путь этот оказался коротким. Творческое наследие Чухина невелико по размерам (поэт называл свою музу «редкогостящей»), но его лирика – голос незлобной и открытой души – пришла к сердцу читателя, чтобы навсегда в нём остаться. Мы не знаем, что бы стало с Чухиным, проживи он дольше. Поэзия, как стихия, развивается по своим законам:

*Прославит нас или унизит,
Но всё равно возьмёт своё.
И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё.*

В унисон этим рубцовским строкам звучат чухинские:

*И все же мир природы вечен,
И верю я, что в крайний час
Не мы его очеловечим,
А он очеловечит нас.*

Слово и природа – две непреходящие ценности, сопровождающие человека от колыбели до могилы. Две стихии, которые невозможно остановить. И поэтам дано это почувствовать на себе сильнее, чем остальным.

Гении и таланты неповторимы.

Литература

1. Бараков В.Н. Чувство земли. – Москва-Вологда, 1997.
2. Дементьев В. Смотри на старый снимок. // Литературная Россия. – 2006. – 20 января.
3. Князева Марина. С чем приходят в страну поэзию. // Юность. – 1976. – №1.
4. Кюхельбекер В.К. Сочинения. Т.1. Лирика и поэмы. – Л. – 1939.
5. Маршак С.Я. О молодых поэтах. // Маршак С.Я. Собрание сочинений в 8 т. Т.6. – М. – 1971.

6. Оботуров В. Сергей Чухин. // Оботуров В. День поэзии. – М. – 1988.
7. Оботуров В.А. Степень родства. – М. 1977.
8. Романов А.А. Искры памяти. – Вологда. – 1995.
9. Рубцов Н.М. Собрание сочинений в 3 т. – Т.3. – М. – 2000.
10. Русские писатели о литературе. – Т.1. – М. – 1939.
11. Чухин С. В. Дни покоя. – М. – 1973.
12. Чухин С. В. Горница. – Архангельск. – 1968.
13. Чухин С.В. Бесконечный путь. – Вологда. – 2000.
14. Чухин С.В. До последнего дня. // Воспоминания о Николае Рубцове. – Вологда. – 1994.
15. Чухин С.В. Дым разлуки. – Вологда. – 1974.
16. Чухин С.В. Ноль часов. – М. – 1980.
17. Чухин С.В. Осенний перелёт. – Архангельск. – 1979.
18. Чухин С.В. Придорожные камни. – Архангельск. – 1988.
19. Чухин С.В. Стихотворения. – Архангельск. – 1982.

Артем Михайлович КУЛЯБИН

родился в 1983 году.

Окончил филологический факультет

*Вологодского государственного педагогического университета,
аспирантуру при кафедре литературы ВГПУ.*

Кандидат филологических наук.

*Сфера научных и творческих интересов – литературный процесс
и публицистика периода Великой Отечественной войны,
литературное краеведение.*

*Публиковался в газете «Российский писатель»,
журналах «Вологодский лад», «Север»,*

других периодических изданиях.

Живёт и работает в городе Соколе Вологодской области.



Игорь Глебович МЕЛЬНИКОВ

родился в 1961 году в городе Уфе.

В 1968 году вместе с семьей переехал в Тольятти, где начиналось строительство Волжского автозавода. После окончания средней школы работал в технической библиотеке Проектного управления АВТОВАЗа.

Публиковался в альманахах и коллективных сборниках.

Автор трех поэтических книг: «Лица огней» (1996),

«Звездолет для одуванчиков» (2002),

«Забывший секрет мироздания» (2011, посмертно).

Член Союза российских писателей.

13 января 2011 года умер после тяжелой болезни.

Игорь МЕЛЬНИКОВ

г. Тольятти



«Здесь проскакали по дороге Мелас...»

* * *

...Там, за углом, была еще аптека,
Колонны дома, берег и река.
И у воды фигурка человека.
И светлые большие облака.

И грязные тяжелые буксиры
Тянули мимо баржи и плоты.
И запах кухни из чужой квартиры.
И на газоне редкие цветы.

Минувший век, недавний и старинный,
Стал памятью среди других веков.
Он превратился в шелест тополиный,
В спокойное движенье облаков.

А вслед за ним сбежала стерва юность
В рассветный час по лужам от дождя,
И подчеркнула улицы сутулость,
По влажным стеклам пальцем проведя.

Пойду туда, чтоб заглянуть в аптеку,
Купить лекарство от прошедших лет.
Увижу ту же улицу и реку
В стекле витрины. Но... аптеки нет.

САЛЮТ

...И все же бывает минута
Среди незаметных минут, —
Когда городского салюта
Над крышами рощи цветут.

Тогда, ускользя от взгляда
В летучий светящийся дым,
Аллеи небесного сада
Сливаются с парком земным.

Там кто-то смеется и даже
Торгуют мороженым там.
И даль за плакатами та же.
И тени скользят по зонтам.

Там соки и сладкая вата,
Воздушных шаров пузыри.
И все, кто ушли без возврата,
Гуляют всю ночь до зари.

Там музыка кружится где-то
И слышится вечное в ней...
Как жаль, что сгорает все это
И падает ливнем огней.

ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

За лесом солнце гасло тяжело,
 Растрескавшись от собственного веса.
 Оно вершины темные зажгло
 В последний раз совсем без интереса.

Ему давно наскучила игра
 Нам не доступных красок и созвучий.
 И над землей застыли до утра
 Высокие безжизненные тучи.

Но в них еще лежал далекий свет
 Задумчиво, спокойно, без движенья, —
 Как будто отблеск всех безвестных лет
 И мыслей, не нашедших выраженья.

И поднимался невесомый звон,
 Настоянный на тишине и хвое,
 Храня в себе печаль былых времен,
 И мир, и утешение живое.

Он над дорогой плыл среди ветвей,
 Расстраиваясь и прощаясь с нами.
 И что-то меркло медленно за ней
 И, уходя, сливалось со стволами.

* * *

Когда, бумагу размывая,
 В тетрадь струится лунный свет,
 Там, как тропинка полевая,
 Темнеет строчка лунных лет.

Остановившись перед Летой,
 Я оглянусь в конце пути:
 Мне удалось по строчке этой
 Все поле жизни перейти.

* * *

В след от копыта, залитый водой,
 Смотрит, склоняясь, одуванчик седой.

И на ребенка прикрикнула мать:
 «Что ты такой непослушный опять!»

Дома напьешься! Пристал как репей!
 Грязную воду из лужи не пей.

Если попьешь хоть с ладони: беда —
 Станешь... ну, может, козленком тогда».

Только ромашки молчали в тени.
 И никому не сказали они,

Что, за туманом, в предутренний час
 Здесь проскакал по дороге Пегас.

* * *

На закатные окна квартала
 Посмотрю от опушки лесной,
 Где бетон и обломки металла
 Под кустами в тени за сосной.

Я прижму к ней ладонь, чтобы жилы
 И сосуды срослись со стволом,
 Разбудив позабытые силы
 Древней родины в теле моем.

Пусть мне будет нисколько не больно,
 Что сгорают дома и года,
 Даже если представишь неволью, —
 Будто это уже навсегда.

Чтобы горечь ушла без возврата
 И текло со смолой сквозь меня
 Беспредельное пламя заката
 Как сияние вечного дня.

БАБОЧКА

Бабочка танцует над травой
Легкий танец
 радости живой.
Ты совсем не знаешь прошлых лет.
Для тебя —
 и будущего нет.
Ты бессмертна, как бессмертен миг,
Как улыбка,
 как слова из книг.
Поделись бессмертием своим.
Мы с тобой
 беспечно полетим
В ощущение свежести и сил,
Над землей
 тропинок и могил,
Над асфальтом городских дорог,
Бабочка —
 счастливый летний бог!

* * *

Над спящим городом, от звездного тумана,
Неуловимый свет, неуловимый зов, —
Как будто брызги волн и пена океана,
И шум его далеких голосов.

Открыты настежь полночи ворота.
Но знания нет, и веры нет давно.
Привычный мир... Возможная свобода...
Что выбирать? Не все ли нам равно.

Мы не свободны, даже выбирая...
И в бледной дымке, льющейся к ногам,
Блестит дорога зыбкая, сырая,
Ведущая к летучим берегам.

* * *

Высоко в облаках догорела заря.
У подъезда зеленая ртуть фонаря.

Крутит время галактики в мертвой дали
И стеклянные звезды уставшей земли.

И плывут по орбите огни городов,
Огоньки деревень и случайных костров.

А в старинных усадьбах, в забытых домах
Пляшет ветер на всех комариных балах.

И по рытвинам, кочкам и топям Руси
Едет скука со скрипом колес на оси.

Есть заброшенный центр у этой страны,
Где как души витают бесплотные сны.

Там в кладбищенских травах стоит тишина.
Над могилой Обломова светит Луна.

* * *

Дым заката стоит у ограды
Опустевшего парка. На ней
Снова листья лежат, как награды
За количество прожитых дней.

Пусть не важная это причина,
Осень всех наградит просто так.
И какое ей дело до чина,
Для нее все заслуги — пустяк.

Ей не жалко медалей блестящих,
Орден и значков золотых.
Осыпает она проходящих,
А потом забывает о них

Под текущей легко и незримо
В красном дыме небесной рекой...
Обо всех, торопящихся мимо,
Орден клена смахнувших рукой.

Александр КОСТЮНИН

г. Петрозаводск



АБХАЗИЯ: ВОЙНА И МИР

(ДНЕВНИКИ ПОЕЗДКИ)

*Нугзару Нуриевичу Салакая,
заоблачной вершине,
восьмому святилищу Абхазии,
моему другу и проводнику,
открывшему путь в обитель души,
посвящается эта книга*

журнальный вариант

Экскурс в историю

*Кто в Абхазии не бывал,
тот Кавказа не видал.*

Абхазская пословица

Я опять направлялся в беспокойный регион планеты, опять за правдой!

Двадцать лет тому назад между Абхазией и Грузией произошёл вооружённый конфликт. Не мышиная там возня, не тараканы бега – настоящий, полномасштабный. Сперва шла война законов, потом разразилась кровавая битва... с тысячами раненых, убитых. После войны 1992–1993 годов, которую абхазы называют отечественной, от Грузии отпочковалось суверенное государство – Республика Абхазия. На сегодня в мире его признали такие супердержавы, как Науру, Никарагуа, Венесуэла и Россия. А Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Абхазия по-прежнему признаётся частью Грузии. Как? что? почему? – неизвестно.

Раз еду, нелишним будет узнать хронологию событий, подковать себя по истории региона, проштудировать литературу, покопаться в Интернете...

Итак...

По данным выдающегося абхазского учёного Инал-Ипа, «в 1801 году Восточная Грузия, а вслед за этим западные области страны, в том числе и Абхазия, одна за другой присоединились к Российской империи»¹. Шалва Денисович сообщает: «В 1810 году владетель Абхазии Георгий – сын Келешбея – обратился к русскому правительству с просьбой о присоединении. Император Александр I удовлетворил пожелание абхазского правителя, 17 февраля 1810 года издал манифест о присоединении Абхазии к России. А с 1883 года Абхазия, перестав существовать как отдельная административная единица Российс-

¹ Ш. Д. Инал-Ипа. Абхазы (историко-этнографические очерки), 1965 год.

кой империи, вошла в состав Кутаисской губернии под названием Сухумского округа». Эдак именовалась она официально до мая 1919 года.

В 1917 году в царской России, помните, произошла заварушка, дров наломали!.. (До сих пор разгрести не можем.) Империя приказала долго жить, на её месте образовались Россия Советская и советские же республики. В декабре 1921 года Республика Абхазия заключила союзный договор с Республикой Грузия, а в 1931 году Абхазия вошла в состав Грузинской ССР на правах автономии. (Характерная деталь: в 1965-м, в год издания своего научного труда, авторитетный абхазский учёный безусловно считает Абхазию частью Грузии – надо запомнить, вдруг пригодится!) Вхождение произошло тогда добровольно (заметьте, добровольно!) по решению товарища Сталина и горячей просьбе трудящихся.

Ладно, Сталин... С ним всё ясно.

Но чаяния трудового народа поддержала и творческая интеллигенция, самозабвенно слагая оды, вдохновенно исторгая из лужёных глоток заздравные рулады:

*Мы верной дорогой идём,
И знание – наше оружие,
И сила – народов содружье.
Мы вместе везде – на морях,
В долинах, в скалистых горах.
Так ныне живём!*

Или вот «Голос Ткварчели»:

*Разноязычный
Говор вокруг.
Майзель, Гриценко,
Орлов, Полищук,
Нушке, Бакрадзе...
Немец, грузин,
Сван и абхазец –
Все как один
Машут кирками,
Камень дробят.
Крепче, чем камень,
Дружба ребят.*

Народные поэты Абхазии наперегонки, без устали слагали мадригалы, серенады, гимны в честь дружбы народов, в честь Великого Сталина, который организовал красное шапито. Самый-самый народный – Дмитрий Гулиа! Его произведения охотно изучались в колхозах, в школах. Беспре-

дельная любовь к вождю и отцу всех народов Сталину – вот что особенно ярко окрашивает их:

*Над горами снеговыми
Бродят облаков стада.
Нам твоё сияет имя,
Мы душой с тобой всегда.
Счастье, радость заблестали
Над советскою землёй.
За тебя, великий Сталин,
Жизнь готов отдать любой.*

А Киазым Агумаа в «Песне колхозников» красной нитью проводит мысль:

*Не узки дороги наши,
Нам широкий путь открыт.
Мы счастливейшими стали,
Труд и родину любя.
Славься наше солнце – Сталин,
Вождь, благодарим тебя.*

Ну, допустим, это «гуманитарщина»!

Однако первый из первых, светоч абхазов – Нестор Лакоба, выступая с речью на XV съезде партии, тоже восторгался: «Абхазия, в прошлом угнетённая, обречённая на физическое вымирание, теперь, находясь в составе Советской Грузии, вполне свободна и культурно, и хозяйственно развивается с каждым годом»².

Не знаю, как вас, меня растрогало до слёз.
Какая идиллия!..

Так что же с братскими народами случилось потом?

Ведь, чтобы сосед стрелял в соседа, брат в брата, причины нужны веские... Для Грузии по сей день Абхазия – её неотъемлемая часть. Для абхазов, с момента самопровозглашения, кусочек черноморского побережья 170 x 65 км – их законное государство, исконная земля предков, не зря у земли и название такое. Кто имеет больше оснований называть эту часть побережья Чёрного моря своей? Чья, по правде, эта земля? Территориальный конфликт возник из-за того, что каждая из противоборствующих сторон уверяла: моя! После 1985 года Абхазия официально начала проводить работу по отделению от Грузии и созданию Союзной Республики в составе СССР.

² Газета «Голос трудовой Абхазии» от 22 января 1924 г.

* * *

Где родился Адам?

В Дагестане в каждом ауле мне объясняли популярно: прародитель – их аксакал. Показывали его саклю, личные вещи... Так и в Абхазии всякий грудничок твёрдо знает: «Ковчег Ноя на Ерцаху находится». И молодцы! Любить маниакально, до готовности самопожертвования свою родину – верно. Патриотизм не должен быть подвержен инфляции, капризам моды... А вот интересно, кто появился раньше – грузины или абхазы? Читаем: грузинские и абхазские учёные солидарно, в один голос призывают в поисках ответа на этот ключевой вопрос нырнуть вслед за ними в историю, в археологию... в века.

Остерегитесь от этого опрометчивого шага!

Обычному человеку углубляться в века, закапываться вслед за историками дальше XIX века не стоит... Поверьте! Добираться до первопричины, до прародителя народов не следует, а то получится, как в анекдоте.

Учитель на уроке географии:

– Вовочка, скажи, куда мы попадём, если просверлим нашу планету насквозь.

– В сумасшедший дом!

Не вдаваясь в детали, общий смысл дискуссии сводится вот к чему: одна сторона уверяет, будто бы человек произошёл от абхазов, оппоненты едко посмеиваются.

Война шла с грузинами.

Я решил выяснить: а кто вообще такие «грузины»?

Существует множество этнографических групп: аджарцы, гурийцы, картлийцы, кахетинцы, имерхевцы, ингилойцы, лечхумцы, месхетинцы, мохевцы, мтиулы, пшавы, рачинцы, тушинцы, ферейданцы, хевсуры, чвенебури. И три субэтнические группы: мингрелы, сваны, лазы³. Грузин (самоназвание – картвелеби), значит, житель Грузии. (До 1992 года абхазов в СССР и в мире тоже считали грузинами.) Так все жители Страны гор – дагестанцы, независимо от папы-мамы, даже если сами они об этом не догадываются: и аварцы, и лезгинцы, и чеченцы, и русские, и кумыки, и евреи...

А как думаете, легендарный трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе из села Ачандара Гудатского района для иностранцев кто?

И ещё: какая вера в Абхазии?

Пишут разное... Вроде бы раз Кавказ, значит – ислам.

Серьёзная религия, с непривычки даже может показаться военным орденом. После Дагестана так и стучат в висках выразительные строки «Медина – Мекка» («Вихри враждебные...» пожиже будут)⁴:

*Все мы, граждане, твёрдо знаем,
Что в начале седьмого века
Под весёлым зелёным знаменем
Шёл пророк из Медины в Мекку.*

*Львы рычали, ослы кричали,
И, осыпаны бранной пылью,
Бедуины прямыми мечами
Городские брони рубили.*

*И несло над войском Медины,
Разлетаясь искрами паник:
Нет Бога, кроме Единого,
И Мухаммад – Его посланник.*

*Шесть посланников в мире зримом,
А седьмого – земля не стоит.
Был Адам и Нух с Ибрахимом,
И Муса, и Дауд с Исою, –*

*Мир не видел ещё такого,
Что рождает земля Аравии.
Конь бьётся, задрав голову,
Выбивая пламя из гравия.*

*Так орали эти номады
На рысях, дорогой короткой
За посланником Мохаммадом,
Молодым, с подбритой бородкой.*

*А дорога под ним гудела:
Это было дело святое,
Это было верное дело,
За которое драться стоит.*

*Так давайте подыдем чаши,
За фанфары седьмого века,
За счастливое время наше,
За дорогу Медина – Мекка,*

³ Материал из Википедии – свободной энциклопедии.

⁴ Хмельницкий Сергей. «Медина – Мекка».

*За зелёный огонь ислама
От Хивы до Дженералифа,
За двенадцать святых имамов
И святых четырёх халифов,*

*За первейшую пядь дороги,
За начала начальный атом,
Что расстелется нам под ноги
Завоёванным халифатом.*

У абхазов красивый государственный флаг. Вот только нигде не нашёл расшифровку символов...

На форуме утверждают: на флаге Абхазии изображена рука тонущего человека. С трудом верится... Как приеду, обязательно расспрошу специалистов. Об этом и многом другом не узнаешь из противоречивых статей.

Я скрупулёзно разбирался во всём сам, лично, на месте.

Познакомился с обычаями, традициями народов, населяющих одну из жемчужин планеты – Абхазию, – и вложил свою душу в эту книгу.

Начало маршрута

У меня есть королевство, правда оно маленькое, но оно обозначено на карте. Вот карта, а вот увеличительное стекло, без него не видно...

Фильм «Старая, старая сказка»

Абхазия – махонькая сказочная страна Закавказья.

Размером с бурку...

Страна до того крохотна, что её не разглядеть на карте без увеличительного стекла. Но вы не думайте, будто там всё маленькое, игрушечное. Вовсе нет. Там горы-громады, бездонные ущелья, исполинские деревья и необъятное ласковое Чёрное море...

Маршрут мой по Абхазии начался в столице Сухум. В советские годы произносилось иначе – «Сухуми», но после победы в отечественной войне местным названиям вернули исконное произношение. Так вот в Сухуме повезло: правительство республики снабдило меня рекомендательным письмом – выдало подорожную, как сказал бы путешественник времён Российской империи, и я приступил к бытописанию.

Как именно собирать материал, определился давным-давно...

В стародавние времена, ещё при царе Генсеке, я служил на комсомольской работе в райкоме, затем в горкоме ВЛКСМ. Потому, уж извините, некоторые формы, методы столь въелись в мою суть, что без них никуда. Раньше, бывало, готовясь к пленуму, конференции, мы загодя планировали докладчиков по строго утверждённой разрядке: представитель вышестоящей организации, одна колхозница, два рабочих, ветеран, военнослужащий, пионер, секретарь первичной организации и, на закуску, парочка активистов. И потому сейчас, по старой привычке, я решил придерживаться проверенных методов работы – равномерно, никого ни в чём не ущемляя, представить абхазское общество. В итоге мой джентльменский набор собеседников выглядел так: ветераны отечественной войны 1992–1993 годов, писатели, фотографы, вор в законе, священнослужители, жрецы, ясновидящая, президент страны, военные, главы администраций, учёные, спортсмены. (Вроде никого не обделил вниманием, никого не забыл.)

А теперь внимание!

Первым делом хочу познакомить вас с главным редактором районной газеты «Гал» Нугзаром Нуриевичем Салакая. И дело, конечно, не в газете. (Хотя, спору нет, орган печати необычный – выходит на трёх языках: абхазском, русском, мингрельском.) Человек этот – уникал, каких поискать... По масштабам личности Нугзар не вменяется ни в какие рамки. Он стал моим проводником по всей-всей Абхазии! Можно купить дорогие часы, но нельзя купить время. Нугзар мне своё время подарил. Он, кстати, популярно объяснил, что означают символы на государственном флаге Абхазии:

– Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ абхазской государственности, которая оформилась ещё во времена Абхазского царства и насчитывает двенадцать столетий. Семь пятиконечных звезд над ладонью выполняют функцию магического оберега и символизируют семь святилищ. Зелёно-белое чередование полос – образ веротерпимости народа, ислам (зелёный цвет) всегда мирно сосуществовал с христианством (белый цвет).

– По-ня-я-я-тно.

Повезло мне с проводником!

Помню, как познакомились, он предложил зайти в кафе, тяпнуть за знакомство:

– Событьник, в культурном смысле слова, означает единомышленник. Ты хочешь вино сухое, и я хочу вино сухое – чувствуешь, уже что-то общее.

Это плацдарм. Дальше сближение пойдё-о-от. Кроме того, абхазское вино – мудрое, оно само подсказет тему беседы, поможет найти нужные слова...

– Грандиозно!

– Ты не подумай, совсем непутёвых, подзаборных в Абхазии нет. Да, выпивают. Кругом такие горы, такая красота... Что делать?

Не скрою, первый номер программы меня обрадовал. Я азартно потёр ладошки: «Где вино пьют, там и наш приют». Не пить в Абхазии – некультурно. Здесь даже берёзы, символ русской целомудренности, – пьяные...

Однако не успел я почувствовать себя Шуриком в увлекательной этнографической экспедиции, как беседа наша резко уклонилась в сторону от разудалых шуток-прибауток. Сперва Нугзар предложил тост за Всевышнего – выпили стоя, затем, помрачнев, он выдал:

– Александр, главная достопримечательность Абхазии – не пляжи, не горы, не солнце-море. Наша главная гордость – победа в отечественной войне. Тебе обязательно нужно в первую очередь рассказать о ней. О тех, кто подарил нам мир! Познакомлю тебя с ветеранами, с настоящими людьми, кто смотрел смерти в лицо и не отвёл взгляда...

С теми, кто сражался за Родину.

– Значит, война...

Они сражались за Родину

Джамал Шуген и Гурам Габечия

Центр реабилитации в Гаграх.

– Мы уже забываем, что не все и не сразу вызвались защищать Абхазию, первая горстка добровольцев была скромной. Это сейчас, послушать, все герои. Есть люди, получившие медальки за компанию, по благу.

– Смотря с кем будете говорить, а то начальство таких вояк подсунет... пустышек, – седой ветеран пренебрежительно отмахнулся от меня, собираясь уходить.

– До вас встречался с Чёрным капитаном, его ведь не назовёте «пустышкой»?

– !!!

Мужики не смогли сдержать одобрительные возгласы:

– О! Да! Чёрный капитан – настоящий воин.

– Потом ещё... – я порылся в блокноте, чтобы не перевернуть фамилию, – Вардания.

– Славик? – радостно встрепенулся Гурам Габечия.

– Да-да-да!

И взгляд Джамала сразу потеплел:

– Это мой командир. С первого дня личный мой командир.

– Хороший или так себе?

– О-о-о! Очень хороший. Он за своего солдата куда хочешь пойдёт, насчёт этого молодец. Настоящий, чистый абхазец.

Я набрал по мобильнику Вардания, передал трубку однополчанам. Последний холодок в отношениях с бойцами исчез, дальше шёл откровенный разговор.

– Расскажите о первых минутах войны, – попросил я.

Гурам покопался в памяти:

– На свадьбе с приятелем всю ночь пили-куролесили, утром возвращались домой. Спать хочется... По трассе едем, что за чёрт?! Глазам не верю!!! Девушка в одних плавках, без лифчика...

Я сразу другану:

– Ора, у меня белая горячка.

А я-то учёный, я-то знаю уже, что нужно делать во время белой горячки, старики объясняли: рубашку сразу стащил, вывернул наизнанку, снова напялил. Пальцы вытянул вперёд – не дрожат. Странно...

И тут кореш как заорёт:

– Гурам, смотри!

Со стороны пляжа бежали полуголые люди, над ними проносились самолёты и бомбили.

Останавливаем парня с девчонкой:

– Что случилось?

– Война.

Я мингрелец, вся родня в Грузии, но себя считаю абхазом. Если снова война начнётся, пусть инвалид, снова встану в строй, заберу с собой хотя бы двух-трёх тварей божьих.

– И на фронте не все герои. Гурам, помнишь взятие моста?

Тот кивнул.

– Вечером поставили боевую задачу, а под утро, когда всех построили, начались отказники: у кого ухо разболелось, кому мама приснилась в нехорошем сне, просила не ходить в этот бой, у третьих с сердцем плохо. В итоге на мост полторы сотни пошло, остальные включили задний ход. Тогда много ребят погибло. Моему соседу осколком полчерепа снесло, рану залепили глиной, повезли в медсанбат. О-ох...

Я не удержался:

– Нет ли у вас сожаления, что воевали, а теперь вот раненые, по госпиталям...

– Да, ребят много положили, сами инвалиды, зато сейчас, на миллион процентов, мы свободные люди. Наши старики всю жизнь мучились, им дышать не давали, а теперь на своей земле стоим.

– Мы все когда-то умрём, кто раньше, кто позже, – поддержал Джамал, – а погибнуть с оружием в руках, защищая родину, – честь высокая. Когда уйду, знаю: наш отец, Владислав Григорьевич, там меня ждёт и примет как родного сына.

– Да, да! – хором поддержали мужики. – Вечно живой для нас.

– Владислав Ардзинба стоял до конца: «Я с вами! Я с вами! Я с вами!» Такого президента ни у кого не было. Наш отец!

В России мне такого слышать не доводилось...

Действующему начальнику у нас поют дифирамбы, сладко-хвалебные оды, соревнуются, кто виртуозней лизнёт, но стоит вождю оставить пост – вслед летят куски дерьма: «В Кремле Л.И.Брежнев принял индийского посла за британского и имел с ним продолжительную беседу» – абхазский президент от подобных анекдотов застрахован.

В жерновах истории перемалывался народ маленькой Абхазии.

Кто выжил – настоящие люди, сталь...

Во время войны в ходу лишь твёрдая «валюта». Каждый вынужден проявить своё истинное лицо, подлинную суть. Обычную учтивость, достаточную в мирной жизни, приходится менять на готовность к самопожертвованию. Только так можно заслужить желанную награду – товарищескую преданность. Душа становится сильной, сердце пламенным! (В минуты наивысшего напряжения заметно, как человек растёт.) Именно в поисках чистой породы, человеческих самородков я стремлюсь в регионы, которые горе накрыло чёрным крылом. Глотнуть там кислорода... чего-то стоящего.

Истинного!

Вячеслав Вардания

– Ну как? – поинтересовался Нугзар.

– Сильно!

– Я ещё обязательно познакомлю тебя со своими боевыми друзьями.

– Так ты что, тоже воевал? Расскажи...

– Потом как-нибудь... Сейчас едем на встречу с Вардания.

Вячеслав Вардания по специальности скульптор-керамист. Профессия редкая, мирная... трудно найти более мирную. Мы пересеклись с ним в сутолоке Гальского рынка.

Я с уважением пожал руку:

– Скульптор – коллега Бога: из глины лепит существа, вдыхает в них душу.

Вячеслав заметно погрузнел...

– Тема большая!.. Бросил я любимое дело... права не имею заниматься искусством. Творчество – служение святое, а у меня руки в крови по локоть. Даже не прикасаюсь к глине, могу оскорбить создание.

Беседуя, мы шаг за шагом сдвинулись к обочине, в тень.

– Я с детства жил в Москве, уважение к России впиталось с молоком матери. Когда Абхазия вступила в предраспадное состояние, вернулся на родину. Здесь сразу включился в национально-освободительное движение, понимал: война неизбежна. Мы, кавказцы, раз уж завелись, не умеем мирно разойтись, как чехи и словаки. Молодой-то я горячий был... Просто ростом не вышел, а так трёхкратный чемпион Грузии по вольной борьбе.

В 1903 году, по данным переписи, которую проводила царская Россия, в Абхазии жило 2% грузин, а в 42-м году «Переселенстрой», по решению Сталина, заполнил весь край. Абхазы помогли им обустроиться: несли продукты, одежду, строительные материалы... По-братски разделили очажную цепь. А через полвека они отплатили за наше добро, гостеприимство, развязав войну. Абхазский народ долго не сможет этого простить. Даже спустя двадцать лет их вернуть сюда невозможно – вырежут...

А начиналось всё незаметно...

Помню, готовился тогда к персональной выставке, все свои лучшие работы собрал, систематизировал, составил каталог... И прямо в мастерскую – пятисоткилограммовая бомба! Прямое попадание!!! Всё разнесло. Вся коллекция погибла моментально. Решил – знак свыше: надо самое дорогое отложить в сторону, переступить через него, взять в руки оружие и защищать Родину. Ты сейчас спросил, и на меня холодным ушатым – воспоминания. Кого тут только не было!.. В сопровождении замминистра обороны России прилетал Березовский, делал чартерные рейсы между Шедарнадзе, Ардзинба, Ельциным. На территории Абхазии я участвовал с ним в переговорах. Березовский не политик – коммерсант, бизнесмен с рождения. Он заявил: «Отдайте мне в собственность Пицунду, сделаю, чтобы Грузия и Россия

смирились с вашей независимостью. После этого весь мир будет вынужден признать вас».

Когда России некогда было играть в державность, мы строжили Грузию на коротком поводке, не дали ей вступить в НАТО. Теперь, конечно, забывается. Да, вот совсем недавно случай... Хутор в местечке Аигба, в Гагринском районе прямо на границе с Россией в верховьях реки Псоу. Во время войны оползень полностью отрезал население от связи с центром. Адлеровский район не остался безучастным, спасибо! пробили к селу дорогу и всех жителей – двадцать семей – сделали гражданами России: обеспечили пенсиями, социальным пакетом. Сегодня настаивают, чтоб территориально деревня вошла в состав РФ, мол, юридически надо оформить. Депутаты Госдумы, человек сорок, приехали в парламент утрамбовывать нас: «Отдайте!»

Ну как это – «отдайте»? У абхазов должна остаться хотя бы иллюзия самостоятельности.

Чёрный капитан

Вячеслав Вардания остановил меня жестом:

– Плохой из меня рассказчик, Александр. Я обычный командир батальона, а тебе нужен герой. Есть такой... Человечище. Мужчина. Абхазец. Заур Адлейба, позывной – «Чёрный капитан». Во время войны командовал бригадой. Мы с ним боевые друзья. Скажу ему: сутки простоять по горло в ледяной воде – будет стоять.

– Нугзар, ты слышишь, нужен Чёрный капитан, – я сделал пометку в блокноте.

– Найдём.

Но это оказалось не так просто. Все попытки связаться с ним не приводили ни к чему. Причём каждый следующий собеседник, будто нарочно, рекомендовал найти именно Чёрного капитана. В один момент мне даже стало казаться, что никакого Чёрного капитана не существует вовсе... как Карлсона. Всё выдумка!

И повезло-таки...

Он шёл на контакт неохотно, так выходит своей тропой из оклада матёрый волчара, окольцованный красными флажками. Однако, когда познакомились, лёд растаял.

Мы много о чём переговорили по душам, но всё не для открытой печати. Приведу лишь фрагмент его монолога, самый-самый безобидный:

– В конце октября меня назначили командиром батальона «Каскад». Прошло дней пять, поступает приказ о наступлении. С той стороны возвышен-

ность, мы попали в мандаринники. Мандаринники – деревья густые, не видно в двух метрах. Там стрелковым оружием не сделаешь ничего – рукопашный бой. Такого боя представить не мог: ножом, прикладом, ногами, руками, зубами... Стрелять невозможно: не знаешь, где друг, где враг, должен чувствовать «свой-чужой». А против нас тоже волки... Там мы, конечно, натворили дел. Больше ста человек положили за двадцать минут. Захватили несколько раций, в том числе поисковых. Выходим на их волну, грузины в панике орут, просят помощи из Очамчыры:

– Помогите-ее!!!

– Что с вами?

– Нас здесь порезали всех.

– Доложите толком.

– Гоните сюда бронетехнику, что есть, людей давайте!!!

– Кто порезал?

– Не знаем!.. Какой-то чёрный капитан!!!

Это сейчас я весь седой, никому не нужный... Тогда бравый: у меня густая шевелюра, борода смоль, форма капитана Советской армии.

С тех пор так и прилипло «Чёрный капитан».

Лаврентий Миквабия

– Во время войны меня выбрали командиром полка, но сидеть в тиши штабов с картами не довелось – с пулемётом в атаку ходил. Четыре раза контужен, ранен. Много потерь несли, гробов не было – хоронили в шифоньерах.

Побывал даже за линией фронта: вёл от имени командования переговоры с грузинским генералом Лучадзе. Прежде тот служил в генеральном штабе советских тогда ещё войск, холёный такой, чистенький, в мундире, а у меня штаны в латках... На столе водка, баранина, фрукты... от запахов в голове туман. Он оценивающе так окинул меня взглядом:

– Ты что-нибудь командное кончал?

– Нет. После училища – лейтенант, выбрали командовать полком.

Голову опустил, задумался:

– Глянь на моих полковников.

У одного интересуется:

– Сколько в подразделении человек?

– Пятьсот.

– На позиции сколько?

– Триста пятьдесят.

– А у тебя?

Молчу.

– Знаю, пятнадцать человек стоит!

Нету у меня людей, прав генерал, да только некуда нам отступить. Мы здесь родились, сражаться надо до конца. На прощанье генерал с глазу на глаз признался:

– Вы непобедимы, пацаны.

Я впервые отчётливо понял: внутренне они надломились, дрогнули, дух оказался жиже нашего. Подобная информация тогда, на первых порах, дорогого стоила. Помню взятие Кинги... Против нас стояли хохлы. Доложу вам, дрались серьёзно, не отступили, не трухнули, отстреливались до последнего патрона. Двоих взяли в плен: один лежит весь в крови, второй, когда я в траншею заскочил, бросился в ноги:

– Ты же офицер. Прошу: не трогай раненого, делайте что угодно со мной...

Обычно во время боя мы в плен не брали, но его слова повергли в шок... Да, он – враг, но враг достойный, уважаю таких. Солдат, который жалеет врага, – плохой солдат. Но ведь прежде я человек... Приказал не трогать, позже на него обменяли нашего бойца. Такие моменты не забываются, хотя ярче для памяти не стрельба, не смерть, не кровь. Острее всего помню, когда впервые после долгих месяцев блокады увидел хлеб: во время боя ворвался в грузинский блиндаж, смотрю – на гвозде авоська с круглым пшеничным. Бой идёт, я, не прерывая стрельбы, умял буханку. В блокаде всего не хватало, всего в обрез! Когда кончилась солярка, КамАЗы ездили на трансформаторном масле, когда закончилось и оно – перешли на мазут: заливали в канистру, нагревали, пока жидкий, заводили движок, канистру ставили на глушитель, чтоб постоянно тёплый.

Сейчас выстрелов не слышно, однако мир относительный...

Ситуация предгрозовая.

Гальский район перенасыщен оружием, оно ждёт своего часа и обязательно выстрелит. Потому автомат не сложил – со мной всегда. Сильно не расслабишься, голова вращается на триста шестьдесят градусов.

Славик Квеквесири

Славик Евгеньевич – председатель Народного собрания Очамчёрского района.

Несмотря на выходной день, согласился на встречу:

– Раньше неграмотные старики вспоминали времена «до большого снега» и «после»¹.

А нашу жизнь разделила война – перелом.

Подразделения создавали по территориальному признаку: в батальоне бойцы из одного села, все друг другу родственники – близкие, дальние. Преимущество очевидно: друг друга знают, можно положиться как на себя. Гарантия – не бросят! Но ежели наоборот... погибает однополчанин, да ещё твой брат-сват, да по несколько человек в бою – тяжело безмерно. Доставляешь тело домой... Это обязанность моя, комиссара батальона. Его привозишь мёртвого, а сам живой. У Вовы Иванченко осталось десять душ детей, жена беременная одиннадцатым. Что ей скажешь? Простой крестьянин пришёл забирать тело своего сына:

– Сперва посмотрю, куда он ранен. Если в спину, хоронить не буду.

После таких слов уверенность в победе крепла! У нас тогда будто крылья выросли.

На первых порах тяжело было убивать... Приходилось себя мобилизовать, убеждать: «Враг пришёл на твою землю с оружием в руках, ты не убьёшь его – он убьёт тебя, твоих близких, разорит твой дом...» Постоянно приходилось в мыслях такую самоагитацию вести. Преодолеть этот психологический барьер после мирной поры, когда даже курицу не лишил жизни, очень тяжело. А когда победа... Кульминацией для меня стало признание Россией. На моём веку будет ли что-нибудь значимей? Едва ли... Я благодарен Богу за то, что именно нам выпало отвоёвывать свободу Абхазии и мы не подвели. Вчистую победили.

Во время войны до слуха долетал шум волн, с ума сходил: так хотелось, чтоб скорее мир, поплавать спокойно. Война кончилась, а я за двадцать лет ходил купаться один раз.

Почему так?..

Беслан Ахуба

Дальше эстафету принял заместитель главы администрации Очамчёрского района:

– Хорошо помню 14 августа 1992 года...

Я учился в Московском институте инженеров землеустройства, факультет архитектуры, проходил преддипломную практику в городе Сухуме в управлении по охране памятников культуры и архитектуры. В этом же здании на втором этаже размещался «Народный форум», много деву-

¹ Самая снежная зима, которую помнят как «асду» («большой снег»), зафиксирована в Абхазии в 1910–1911 годах. Тогда снежный покров в Сухуме превысил 2 м, снег держался более 2 месяцев, а морозы достигали – 8° С.

шек... А я – из Мо-сквы-ы-ы... Завидный жених! Любая хотела познакомиться, пообщаться... И с двумя самыми бойкими я порулил на набережную позавтракать, хачапурчики отведать, кофе попить. Выходим на крыльцо – подлетает машина, выносят раненого парня.

Подскакиваю:

– Что случилось?

– Война.

– Какая война?.. Двадцать первый век на дворе.

Но меня никто не слушал, девчонки заплакали, кто-то истошно закричал... Шум. Гам. Поверх всего нарастающий гул вертолётов, разрывы ракет: грузинские лётчики бомбили пляж, забытый отдыхающими. В общем, стало не до кофе. (Много позже, под самый конец войны, мы узнали: командиром ведущего «крокодила» был Майсурадзе, герой Грузии, афганец; долго мы за ним охотились...) Объявили призыв с 18 до 45 лет, хотя, кто считал себя мужчиной, не ждали особого приглашения, сами приходили к военкомату, записывались в ополчение. Издали указ: чтоб не растратить генофонд нации, работникам культуры, искусства, учёным, единственным сыновьям, студентам столичных вузов выдать бронь. Приходили, уговаривали не служить... Меня тоже. Но дорог был каждый! У нас традиция: сын рождается – стреляют в воздух от радости. Не потому, что ребёнок с краником – появился ещё один защитник отечества.

Сегодня частенько задаюсь вопросом: «Почему победили?» Сто тысяч против пяти миллионов!.. Потом понял.

Срочную службу я проходил в Советской армии. Любил читать, но в библиотеке воинской части лишь уставы караульной службы да ленинские труды. Однажды в городе, в увольнительной, зашёл в книжный магазин. Смотрю... Глазам не верю! На полке стоит Баграт Шинкуба: «Последний из ушедших». Книга об истории, о том, через какую трагедию прошёл наш народ, о махаджирстве в 1860 году. (В Турции сегодня около 800 тысяч абхазов живёт!) Когда увидел эту книгу в магазине Архангельска, как отца родного обнял. Конечно, сразу купил и за время срочной службы прочитал её раз двадцать, не меньше.

Наш командир батареи заметил, что с этой книгой вожусь:

– Дай почитать.

– Возьмите, но не потеряйте, она очень мне дорога.

Взял, вместо обещанной недели продержал две, однажды построил нас на развод, у самого в руках моя книга:

– Сержанту Ахуба с сегодняшнего дня разрешаю носить усы и кинжал.

С такой литературой мы не могли потерпеть поражение.

Обязаны были победить!

Мзия Квицения

Мы в селе Члоу у директора музея боевой славы.

Мзия сразу повела меня в святая святых – в зал главной экспозиции на второй этаж, объясняя по дороге:

– Грузины тоже любят, ценят Абхазию, но без абхазцев.

В большом зале на стенах фотографии, в стеллажах письма, на полу стрелковое оружие, осколки разорвавшихся снарядов.

– Эта фотография у меня появилась первой, на ней тяжелораненый боец. Умирая, он прошептал: «Все твои боли, Абхазия, я возьму на себя». В кармане обнаружили письмо от жены Изольды: «Надеюсь на скорое возвращение!» Вот оно... – Мзия отвернулась.

Нугзар, заполняя паузу, подвёл меня к необычному экспонату: попарно сваренные обрезки водопроводных труб.

– Александр, посмотри на грозное оружие: заводского не было, делали сами. В России – «Катюша», а у нас «Антица».

– Война – тяжёлое, для многих непосильное испытание... В блокаде страшный голод, что-то сажали, трактора нет – пахали на танке. Никогда не думала, что так тяжело выжить без соли. Без сахара, хлеба легче... После войны, когда первый раз увидела хлеб, не смогла ни кусочка съесть, не пошёл... Помню, стали бомбить, маленький сын просит:

– Мама, чаю дай.

Молчу. Где возьму ему чай? Взрослым тяжело, каково детям?..

В какой-то момент люди разуверились в победе... Слухи всякие нехорошие поползли... Из города поодиночке, семьями стали через горы уходить. Мои соседи тоже засобирались... По всему чувствовалось: ещё немного – надломится дух абхазов. Только чудо могло спасти...

Я молилась, – голос Мзии задрожал...

И вдруг!

Командующий Мирав Кишмария привёз сюда... в окружение! свою дочку!! годика три.

Стоит рядом с ним, в белом платышке, испуганная, куколку к груди прижимает.

Я подбежала:

– Вы зачем её сюда, такую маленькую? Здесь всё время бомбят.

– Здесь много мирного населения, их тоже бомбят, но если увидят мою девочку, поверят в нашу победу.

И правда!..

Все, как узнали про эту кроху – «залог победы» – молва пошла.

Кто дрогнул – стыдно стало. Люди уверовали в абхазских воинов, в силы свои. Старик сосед пожитки из баула вытряхнул: «Город не бросим!» Утром ушёл на передовую. Теперь матери провозжали детей на фронт одним напутствием: «Не покажите пуле спину...» Мираб Борисович недавно баллотировался на должность президента Абхазии. Лично я голосовала за него, хотя сама в душе желала поражения. Пока у нас в Абхазии такой министр обороны, можем жить спокойно. Не бывает опоры надёжней. Вот где настоящий мужчина, настоящий рыцарь. А я не сумела во время войны защитить родину с оружием в руках, мучилась из-за этого, не находила покоя: «Что для Абхазии могу сделать лично я?» Решила создать такой музей.

Как замороженный я ходил по залу, разглядывал музейные реликвии, дневники бойцов, незамысловатую утварь времён войны, письма близких, обнаруженные в личных вещах погибших солдат... У туристов, понятно, две заботы: чтобы солнышко светило да чтоб сумку не украли, но просто никто не знает о существовании подобной экспозиции...

– Нугзар, по моему разумению, каждый гость Абхазии должен после пересечения границы в обязательном порядке пройти, как сквозь нравственный кордон, через музей в Члоу.

– Почему бы нет... Во время войны в Абхазии открыли два фронта: Восточный и Западный. В конце войны, перед битвой за освобождение Сухума, открыли Горный. Сейчас реально говорить об открытии ещё одного фронта – Информационного. Если весть о победе не сохранится в веках, жертвы напрасны.

– Цинично, но факт.

– Недостаточно победить, нужно рассказать о подвиге миру. Только тогда есть шанс, что война не повторится. Только тогда можно спокойно поставить точку.

Село Кутол, семья Романа Осия.

Семья – особая.

Бывают города-герои, а это – семья героев. Легендарная семья! Ещё прадед Осия в Первую мировую войну воевал за Россию в Австро-Венгрии, благополучно вернулся в родное село, привёз с войны трофей. Роман вынес из дома саблю: – У нас в Гердах родственники. Война началась, я в тот же вечер вывез семью: мать, бабушку, супругу, маленьких сестёр. Сразу на душе легче стало. На другой день утром смотрю: возвращаются пешком... Хайт!..¹

Мать даже не дала мне рта раскрыть, сразу накинута:

– Убьют вас голодными. Рядом буду! Хотя что-то приготовлю.

– Оставайтесь там. Вы здесь мешаете.

– Нет. Вы голодные, холодные.

Всю войну здесь прожили. От дома до линии фронта метров триста-четырееста. Ютились в подвале: там сложены поленицей снаряды, рядом кровать, лампа копит. Утром заходишь, они чёрные, как кочегары. Обстрел начинается – бегом туда. (У меня перекрытие залито бетоном: миномёт не пройдёт.) Кругом разрывы, о них думаешь: где они, как они? Мать ловила момент из дому добежать до колодца... Ребята вернутся ночью из разведки, портянки им постирает, высушит у костра, молилась за нас. Однажды накрыли стол между домом и пацхой² ребят накормить. Едва-едва покушали, отошли до калитки, один снаряд – в стену дома, другой в стол: дыбом поднял его, в щепки разнёс. Минутой раньше – накрыло б всех. А отца и брата не уберегли... Они ушли, как старый и новый снег. Баба³ поймал свинец за несколько дней до конца войны. «Пятёрка» – пуля калибра 5,45 мм со смещённым центром тяжести – в ключицу попала, из поясицы вышла. Под обстрелом его вытаскивал... он три дня боролся за жизнь, умер прямо у меня на руках. Посмертно отцу присвоили звание Героя Абхазии.

Поначалу у нас ничего не было. Сапог резиновых нет, а надо стоять в ледяной воде до утра: кто идёт на пост, берёт обувку. Поначалу и оружия не было: на шесть человек два автомата. Двое отстреливаются, остальные болельщики. Незадолго до войны работники милиции ходили по сёлам, изымали охот-

¹ Хайт (абх.) – междометие для выражения досады.

² Пацха (абх.) – хижина-плетенка.

³ Баба (абх.) – отец, папа.

ниче оружие, когда коснулось, даже дробовиков не осталось. Грузинские вертолётчики зависали прямо над нами, на высоте метров пятьдесят, знали: оружия нет, и, как в тире, расстреливали. Лицо пулемётчика видел отчётливо, улыбался гадина... Бедные люди врассыпную, лишь бы спрятаться... А куда от вертолёта спрячешься? Воевать начали тем, что отнимали у них, потихоньку стали появляться трофеи, даже танки. С одеялом запрыгивали на броню, «слепили» и выкуривали экипаж – партизанская группа действовала успешно. И до вертушек руки тоже дотянулись. Раз вертолёт над нами прошёл, ракетами позицию перепахал, только б на разворот... небось, уже расслабился, думал, отработал... Виктор Стров как даст ему в задницу «теплушкой» – тепловая ракета ПЗРК – тот в Кодор головой. Пилот Майсурадзе – герой Грузии: в первый день войны он расстреливал отдыхающих на пляже в Сухуме.

Сперва мы не могли поверить, что грузины пришли убивать всех подряд, на деле оказалось именно так. Министр обороны Грузии выступил с публичным заявлением: «Не пожалеем ста тысяч грузин, лишь бы физически уничтожить сто тысяч абхазов». Шеварднадзе назвал такого урода рыцарем. Мы с болью теряли цвет нации: учителей, врачей, художников, обменивали на пленных грузин тела своих погибших воинов, с почестями хоронили. А они, наоборот, очищали общество от уголовников, им трупы поделльников без надобности.

В общем, было где себя проявить. Я случайно слышал разговор российского полковника (оказался рядом): «Всем абхазам, кто освобождал Гагры, кто шёл в первых рядах, можно смело дать «Героя Советского Союза»».

Леонтий Берулава и Отар Ломия

– Занимался радиоперехватом... Это тоже война, только «радио».

Артиллерия грузин с трёх направлений обстреливала наши позиции в Меркулах, туго приходилось, голову не поднять. Командир приказывает:

– Леонтий, придумай что-нибудь!

– Что-ооо?!

Но сам стал кумекать. Грузинский язык знаю хорошо, постоянно прослушиваю их переговоры по рации (станции у нас 142-е, 143-е, разной мощности). У грузинской радистки позывной Додо, от наводчика она передавала координаты обстрела на батарее. Предлагаю:

– А если вклиниться в их разговор?

– Действуй!

Уточняем координаты грузинских батарей, частоты, на которых общаются, и одновременно глушим их – слушать нас они могут, вмешаться, перебить нет.

Я влезаю в разговор радистки на грузинском:

– Додо, срочно прекратить обстрел. По своим бьёте!

– Уточните координаты.

– Хорошо, – даю ей цифры. – Сделай по этой цели один «цветок» (выстрел). Если удачно, сообщу.

Выстрел.

Смотрим в бинокль: разрыв прямо в центре грузинской батареи.

– Так, отлично, Додо, сестричка, давай туда весь «букет».

И полчаса, пока не разобрались, грузинские батареи обстреливали, перепахивали позиции друг друга. Однако самый значимый эпизод другой. Нам удалось прослушать разговор на сванском языке, передавал корректировщик, разобрали отдельные слова: «Надо поднять шестьдесят сапогов», «Операция начинается...» и дата. Вычислили: передача велась с горы Лашхиндар. Наша служба обеспечила радиоперехват, а штурмовал высоту спецназ. Вот познакомьтесь, Отар Ломия – Герой Абхазии. Отар, расскажи!

– За ночь до начала операции предстояло совершить скрытное восхождение на гору. Стена места отвесная, снег до полутора метров, не все смогли подняться, дошли шестьдесят человек. Я с ходу приказал: «В бой!» Сражались целый день, на волоске висело: кто кого. Закидывали друг друга гранатами, чуть до рукопашной не дошло... Мне пришлось запрыгнуть в блиндаж... Выкуривать оттуда непросто, особенно когда по тебе работает одновременно девять стволов, там меня и ранили. А на вершине уже были подготовлены огневые позиции для артиллерии. (Грузины планировали в последний момент доставить туда на вертолётах пушки, миномёты.) Глянул в долину: с горы весь Ткуарчал с прилегающими окрестностями как на ладони. Незавидной стала бы судьба всего Восточного фронта, если б противнику удалось осуществить свой план. Вовремя мы успели выбить их с высоты.

В мирные годы я занимался бизнесом и всю войну не снимал массивную золотую печатку и тяжёлую цепь с крестом. Мой приятель всем рассказывал: «С плоскогубцами хожу за ним следом, вдруг убьют, сразу разбогатею». Я добавлял: «А если золото достанется грузинам, скажут: не все абхазы голодранцы, может, помолятся за упокой души».

После войны золото пришлось продать по цене лома. Голод был страшный...

Валерий Авидзба

Директор Реабилитационного центра, Герой Абхазии – Валерий Алексеевич Авидзба:

– Война застала меня в Гаграх, времени на расквачку не было...

Под руководством Отара Осия создали санитарно-медицинскую службу. Не хватало медсестёр, набирали добровольцев. Многие девушки шли на передовую со своими братьями и становились в строй. Организовали санитарный поезд, приспособили для перевозки раненых технику... Служба начала работать с первых часов, с первых минут – пятнадцать хирургических бригад. Мне тоже пришлось вспомнить забытые навыки, в прошлом я хирург-полостник. Нам очень помогли бригады из Подмоскovie, из города Чкаловска. Это стреляные профессионалы, прошедшие Афганистан, Сумгаит, – прилетели на самолётах МЧС со своими анестезиологами, реаниматологами, со своим оборудованием. Я взялся провезти по фронту, показать им службу. Трасса пустая, мы на узике, я за рулём. Неожиданно выныривают из-за леса две «сушки»... идут на нас... сейчас конец!.. отбомбились... мимо. Делают разворот, второй заход... Я сильнее жму на газ... Вдруг хлопок, один из истребителей застывает в воздухе и... падает! Из кабины катапультируется лётчик на парашюте. Это был первый сбитый вражеский самолёт, и мы гордились, что у нас есть своя ПВО.

Помню, попали под миномётный обстрел. Жуткая картина... Нас тогда решили сровнять с землёй. Я бежал, пригнувшись к блиндажу... взрыв! волной швырнуло... Пролетая, успел заметить флягу, висящую на гвозде, и автомат. Пришёл в себя... Темно, разговоры, смех. Где я? В голове гудит, язык еле слушается:

– Что случилось?

– Да ничего особенного, рядом с тобой мина разорвалась.

Вылезаю из блиндажа на свет божий...

Алюминиевая армейская фляга похожа на лопнувший воздушный шарик, стальной автомат сконкан как бумажный... А у меня ни одной царапины.

Это Всевышний!

Вячеслав Сакания

– До войны я работал на телевидении.

Как-то раз снимали по заказу финнов документальный фильм о секрете долголетия, и в селе Лыхна почтенный старик на вопрос, как у него начина-

ется день, разоткровенничался: «Встаю в шесть, выпиваю пятьдесят граммов чачи, сажусь на лошадь и еду в горы, там у меня скот». А времена андроповские. Кагэбэшники сразу зашевелились, на две недели, на время разбирательства, отстранили меня от работы. В обкоме партии с укором:

– Почему не контролировал старика? Как мог советский человек заявить, что принимает по пятьдесят грамм, да ещё каждое утро?

Потом началась война...

В чём суть конфликта? Мы не хотели стать грузинами. Другого варианта выжить нам не дали. Раньше, если двое говорили на родном абхазском, на утро один исчезал. Бердяев назвал войну «великой проявительницей». Это так! Каждый проявляет себя во всей красе: попадались «левые» пассажиры в этом вагоне под названием «война»; другие молча исполняли гражданский долг, защищали родину; иные перед камерой красовались, отвечали на любые вопросы, а как становилось жарко – в тенёк. Насмотрелся всякого... Я был военкором: писал, снимал репортажи на передовой. Кто раньше думал, что профессия журналиста может быть опасной? Однажды вертолёт, на котором летели на задание, подбили, машину тряхнуло, потекло масло... высота стала падать. Оператор взял камеру, я включил микрофон, стал вести репортаж... Русский пилот, прошедший Афган, чудом посадил подбитую вертушку на склон Кодорского ущелья, юзом по снегу нас потащило к пропасти... Казалось, всё. Скольжение сдержал огромный камень в метре от обрыва. Выбрались из машины, сами всё снимаем... Борт покорёжен, везде кровь... Командир вертолёта объявил:

– Мы на вражеской территории.

– Вы ас! Посадить подбитую машину в горах! – подпихиваю ему микрофон. – Представьтесь! Страна должна знать своих героев.

– Конец пресс-конференции.

Да, он прав, грузины наверняка засекли, как мы спускались, с минуты на минуту будут здесь. Едва успел вытащить кассету из камеры, вернуться в ветошь, спрятать за бортовой обшивкой в салоне вертушки – слышу окрики на грузинском... Мы попали в плен, девять человек. Всё было... и пытки, и на расстрел водили. На войне как на войне. Добивались, чтобы мы, журналисты, перешли на их сторону, остались в Сухуме, вещали на абхазском. Когда в застенках становилось невыносимо трудно, пели хоралом «Песню гор» Ахроша. В ней жизнь, боль, радость, мужество народа. Для абхазов это гимн, зов предков, поднимающий боевой дух воинов, нагоняющий

страх на врага... Мощная энергетика идёт от этой народной песни.

Нас обменяли в сторону Ткуарчала через восемнадцать дней.

Помню, после освобождения Гагрского района в плен попал грузин, крепыш такой.

Наш боец заключил с ним джентльменский договор:

– Давай бороться. Если победишь, клянусь, отпустим.

Схватка была жёсткой, на грани... Победил абхаз, вчистую уложил крепыша.

На прощанье он грузину бросил:

– Знаешь, я победил не потому, что лучше натренирован. Ты топчешь чужую землю, а я стою на своей священной земле, она мне силы даёт.

Есть законы природы, абхазы живут по ним. В основе всего кодекс поведения, завещанный нам нашими предками, – апсуара. В самое тяжелое время у человека открывается канал для связи со Всевышним. Абхазы, защищая родину, чувствовали: Покровитель земли помогает. У нас святилища в пик бедствий между собой общаются, многие видели шары, перелетавшие с одной природной иконы на другую. Когда нас обстреливали из «Града», ребята целовали землю, просили, чтоб Боженька помиловал их. И вражескую силу как будто кто-то отодвинул, все их снаряды, бомбы, танки, самолёты... Как щит небесный простёр над нами!..

Сейчас люди чуть-чуть оттаяли, свадьбы гулять стали. Жизнь налаживается.

Дети не рождаются от страха...

А год назад на меня вышел по электронке пилот сбитого вертолёт. Это Анатолий Мельник, живёт в Краснодаре. Указом президента Абхазии его наградили орденом «Леона».

Игорь Герзмава

– В природе абхазов заложено смотреть на визитёра как на Божий дар, на высшую благодать. Абхаз выставляет на стол все припасы, обслуживает с изысканным церемониалом, готов всячески защитить достоинство гостя. А когда война началась, когда стали бомбить отдыхающих на пляже, гостей Абхазии, детей и я не смог их защитить... что-то оборвалось во мне. Прежнее – умерло... Проблема в чём: грузины думали, мы «живём с ними», а мы думали, что «живём вместе». Все вместе в СССР. Я, мирный человек, во время войны стал

начальником тыла армии. Хотя какой там тыл? По армейским канонам, тыл начинается за двести километров от передней линии фронта, а вся наша республика меньше, у нас вообще не было никакого тыла. Поэтому воевал как все: и в атаку ходил, и под обстрелы попадал. Мы все оказались на переднем крае обороны: дети, старики, женщины.

На боль судьба щедрее, чем на ласку. Очень ще-е-едрая на боль...

Когда жертв Латской трагедии¹ привезли в Гудауту, когда дверку открыли, когда увидел детскую ножку в ботиночке... Меня словно оглушило... Страшный шок! Вернула к жизни женщина-врач, отрезвила словами: «Извините, здесь есть мужики? Вытаскивайте!» Сознание включилось, начали разгружать фрагменты женских и детских тел. До сих пор у села Лата, на месте падения вертолёт, люди боятся ходить, наступить на останки... стоны слышны по ночам.

Пальцы Герзмавы стали отбивать нервный ритм.

– Списывать на войну – не стоит. Всевышний всё видит. Он самый лучший драматург, самый гениальный писатель. Какой поворот сюжета замыслил, что тебя ждёт, знает лишь Он.

Да, людей я по-настоящему узнал на войне...

Автандил Гарский – секретарь Совета безопасности Абхазии, командир батальона «Эвкалипт» – уникальный человек, познакомьтесь... Он увидел во сне, как у него в батальоне погибнут художник, певец и скульптор. Утром в бой их не взял, предстояло идти в атаку по минному полю. Комбат – впереди, батальон сзади, след в след. Он прошёл невредимым, а сзади шесть человек подорвались. Трое из шести – художник, певец и скульптор – они не остались в окопах, в бой пошли вместе со всеми.

Или взять Руслана Заржания, обычный педагог математики сельской школы собрал батальон из своих учеников. В боях многих потерял и как-то закрылся после войны, не простил себе, что живой, а ребят не уберёг. Никак ему не объяснишь: у войны законы свои. Абхазы, умудрённые жизнью, говорят молодым: «Пусть ваша боль перейдёт ко мне». Здесь получилось наоборот... Он

¹ 14 декабря 1992 года в районе села Лата произошла трагедия, в которой погибли невинные заложники блокадного Ткуарчала. Был сбит вертолёт Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации Ми-8, осуществлявший гуманитарную миссию по поставке продуктов питания и медикаментов для гражданского населения блокадного г. Ткуарчал и перевозивший мирных жителей, женщин и детей в г. Гудауту. В вертолете заживо сгорели 85 человек, из которых – 36 детей и восемь беременных женщин.

принял орден «Герой Абхазии» только через двадцать лет, после того, как всех учеников наградили посмертно. А у самого мать грузинка...

Нам сделали операцию без наркоза и не положили в восстановительную палату.

Нас природа лечит.

Если бы не природа, не традиции наших предков, мы бы все ходили чокнутые после этой мясорубки, после горя, которое вынесли. Каждый раз, когда пью родниковую воду, чувствую – заряжаю силой, добром, радостью.

По своей природе человек не готов согласиться «не быть» на этой земле. Мы знаем, смерть неизбежна, но с ней смириться не можем. Раньше я читал, знал, в других местах случаются войны, гибнут люди... Но их боли не чувствовал, а здесь по живому резанула своя. И всем нам казалось, нет острой, нестерпимей. Мы должны передать память о боли детям, чтобы война не повторилась больше никогда. Нужно найти слова, которые прожгут толстую кожу обывателя до самого сердца.

Жужуна Салакая

Мы в легендарном Кодорском ущелье, в верхней его части.

Нас ждали. Хозяйка встретила у ворот, отогнала собак, сразу повела в дом, к столу.

Вы бы видели, какой обескураженный вид был у собак: не дали никого съесть...

Напитки за столом по желанию: кому чача, кому чай...

А ещё свежий фантастически ароматный горный мёд с горчинкой (внизу такого не бывает) и горячий лаваш. Ещё баранина, ещё мацони – что-то среднее между кефиром и сметаной – объеденье! (Молоко кипятят, отстаивают, охлаждают до чуть больше чем тёплого, туда закваску, часа три постоит закутанное шалью и – в холодильник.) Сперва этого попробуешь, того попробуешь, потом опять этого... не знаешь, что вкусней. В меду, как в замедленном кино, ползают пчёлы... И прохлада. На миг я даже забыл, ради чего собственно приехал...

Благо хозяйка поинтересовалась:

– Вам чаю подлить?

Вопрос этот безобидный вернул на землю. Я лениво раскрыл блокнот:

– Нет, спасибо! Рассказывайте...

– Здесь раньше богатый край был, в других сёлах таким не похвастанут: каштаны росли, собирали их,

сушили, зимой варили суп харчо; в реке лососи огромные, форель; в лесу дичь всякая, олени, горные козлы, кеклики, мясо-рыбу мешками раздавали; свой сад, пасека огромная. Люди как в сказке жили... Дети никогда не болели, понятия не имели «больница». Где больница, где мы? Теперь остались одни воспоминания... Как в волшебном сне.

Когда началась война, муж был в отъезде, в России. Душа болела, как домой попадёт, границы закрыты. Хотя помидоры в банки решила закатать, ну как вернётся живой. Мы не знали войны, глупые были, неучёные. Да и кто тогда мог знать, что грузины будут выводить из домов стариков, женщин расстреливать. (Чем ближе беда, тем больше ума.) Что делать, куда податься? Да и куда стронешься? Куда знаешь?! Зимой, в горах!.. Свекруха, свёкор старые, пятеро малых детей: семь лет, восемь, девять – погодки. Мужа нет, воюет. Однажды смотрю, кто-то заходит в калитку: бородатый, худой, в военной форме. Испугалась, думаю, грузины... расстреляют нас (уже бывало в других сёлах...). Детей прижала к груди, а это муж. Оказывается, добирался домой через Чечню. Дудаев дал ему вертолёт, оружия для абхазов, помог чем мог. Их обстреляли над Кодором, чуть не сбили, но Бог миловал, обошлось. Повидал нас: дети живые, мама живая, отец живой; развернулся, пошёл дальше воевать.

Моя сестра заголосила:

– Как смел оставить, бросить вас?!

Но что будет, если все усядутся дома? Воевать кому-то нужно.

К зиме жизнь ухудшилась...

Мало того, что лихо кругом, так ещё младшая дочь, на беду, разболелась, температура поднялась. Куда с ней подамся? Некуда. Последние дни даже на дорогу не выходили, боялись. Дома припасов полно: орехи мешками, кукурузы полный амбар, солёные лососи висят на балке, мясо сушёное тушами. И вдруг под вечер, уже темно, муж прибегает с позиции, перепуганный:

– Бегом собирай детей! Уходим через горы на восток.

Сосед-одноклассник предупредил: утром односельчане решили нашу семью расстрелять. Сейчас все гуляют на свадьбе в соседнем хуторе, человек семьдесят.

Мы на себя лёгкую одежду, в тёплой, тяжёлой разве уйдёшь, идти предстояло через перевал, через горы, через ущелья, по лесу аж на восток Абхазии. Сто раз зимнее пальто в руках подержала... куда такое тяжёлое, кофту толстую накинута

и к лесу. Я уходила последняя, корова поняла – оставляем её, проводила взглядом, а на глазах слёзы-бусины... Она понимала: беда, беда, беда... Мама дорогая! Мне ещё хуже стало. Из еды свекруха взяла в дорогу по мандарину (в горах у нас не растут, кто-то угостил). А снегу по пояс, дети малые. Как быть? Свекруха придумала впереди гнать коз, это и спасло. Если б не козы, пропали. И Бог пожалел нас – к ночи мороз смягчился. Если б такой, как день назад, поморозились насмерть. Ночью прижмёмся к козам, обнимем друг дружку, так до утра и дрожим. Наутро опять идём: впереди козы больше полсотни голов, они умные, ступают след в след, набивают наст, как камень, мы за ними не проваливались. Но мы уже усталые, замёрзшие, голодные. Свекруха и я несколько раз поскользнулись, неудачно упали на камни.

Муж остановил всех:

– Идите осторожней. Наше положение очень плохое. Честно сказать, не знаю, сможем ли дойти. Впереди ни дорог, ни жилья. Горы, пропасти, сугробы, бурелом. Ступайте аккуратней, если, не дай бог, кто серьёзно покалечится, ногу сломает... мне самому придётся добить, ради спасения других. С раненым точно погибнем все...

Дети малые, как это услышали, все к бабушке. Вжались лицом в подол, молча плачут.

Идём, идём... ни человека, ни огонька впереди. Страх...

Казалось, целую вечность идём.

Целую вечность идём, и нет ни края ни конца пути. Так хотелось кого-нибудь встретить. А деревья огромные, местами повалены, сугробы на склонах метровые. Мы следом за козами под ветками переползаем, где на четвереньках, где лёжкой, бывает, не обойти ни сверху, ни сбоку. Гиблые места. Хорошо, муж – альпинист, известный на всю Абхазию, в лесу, в горах умел ходить, знала – не заблудится. И вот когда ноги совсем отказались двигаться, когда, думалось, придётся умереть здесь, стал накрапывать дождь, муж заметил вдаль, через ложбину, огонёк.

Еле-еле поднялись, побрели...

В полночь, к исходу вторых суток вышли на восточную сторону гор к хутору Апса, недалеко от Ткуарчала. Бредём к дому, кругом люди с факелами, кричат, плачут. Оказывается, пока мы добивались, над Кодором сбили вертолёт с женщинами и детьми. Сначала они даже подумали, мы с того вертолёта спаслись.

Лишь после войны узнали: наутро грузины ок-

ружили наш дом, а он пустой. Переругались, чуть не перестреляли друг друга (козлы перед гибелью бодаются!): «На руках были, как могли уйти? Снегом всё кругом завалено. Как случилось?»

А я сама не понимаю, как смогли уйти?

По карте потом глядела – страшно по карте глядеть.

Валентина Дзидзария

– ...Не могу вспоминать войну. Тяжело.

Я поднажал:

– Надо!

Женщина слегка оторопела...

Опустилась на стул, закурила, подняла на меня усталые, глубокие глаза:

– Раз надо, значит, надо. Это слово и мне знакомо. С чего начинать?

– С 14 августа.

– В тот день варила яблочное повидло. Забегает дочка во двор, кричит:

– Ма-ма! Война!

– Какая война? С ума сошла?!

– Грузины на нас напали.

Включаю телевизор, а там!.. по московской программе показывают танки на подступах к Сухуму. Я – в шоке! Сижу, смотрю, не могу подняться со стула. Постепенно пришла в себя – к военкомату, по улицам люди бегут, кричат, плачут... Молодые ребята набиваются в машины, едут в Сухум на защиту, матери их провожают, многие сёстры отправляются с ними. В штабе девчонки готовили еду, кормили бойцов. Посмотрела на всё это: «Нет, здесь мне делать нечего». Села на попутку, поехала в Эшер, там начиналось формирование отрядов ополчения. Командир отделения искал медсестру: нас пятеро желающих, я самая старшая, сорок шесть лет, девчата вполнину моложе. Мы построились, командир всех взглядом окинул и мне:

– Вас выбираю.

Вот так стала сестрой милосердия. Медицинского образования никакого, по специальности педагог – «русский язык, литература». Всем на войне тяжело, а женщине вдвойне тяжелее. Изредка отпускали на побывку домой. Муж скандалил:

– Больше не поедешь никуда! Не пушу!!!

Вырывалась, убегала на фронт, следом в спину летели проклятья:

– Тебя убьют, кто детей будет воспитывать?!

Дура!..

Муж старше меня на десять лет, на фронт не по-

шёл, болел, да и надо кому-то с детьми... У меня внуки, младшему сынишке одиннадцать. Потом и младший пошёл в госпиталь помогать: лифт облуживал, раненых опускал-поднимал. А я как останусь дома, брошу ребят? Скажут: «Сбежала! Струсил!» Невозможно. Один раз еле выскочила...

Возвращаюсь в отряд, ребята сразу ко мне:

– Тина, что случилось? На тебе лица нет...

– А...

– Рассказывай давай!

– Муж надоел, сил нет. Не пускает на фронт, каждый раз вырываю с боем, с ором.

– Мы ему покажем.

Думала, шутят... А они как раз вечером гнали в Гудауту танк на ремонт и что выдумали: подъехали с лязгом к нашему дому на танке, навели ствол прямой наводкой на окна... Домишко у нас старый, ветхий, земля под танком дрожит, дом дрожит... обстреливать не нужно, сам вот-вот рухнет... Сынишка выбежал в испуге во двор, наводчик грозно ему кричит:

– Где твой отец?

– Папа спит.

– Его счастье, что спит... Когда проснётся, скажи, приезжали к нему разбираться.

Танкисты потом в красках расписывали, весь отряд со смеху лежал:

– Теперь, Тина, он тебя зауважает.

Я не только медсестрой, в карауле стояла. Ребята с ног валились от усталости, людей не хватало, дадут мне охотничье ружьё, бутылку с зажигательной смесью – и на пост. Стою, темно... слух прошёл, через горы сваны планируют прорываться... страшно. Но хоть страшно, положенное время выдержу, дождусь смены караула, иду спать. Мы с девчатами располагались отдельно от бойцов в бывшем кирпичном магазинчике. Однажды насилу добрела, только устроились на кровати, обстрел начался – мины. Сперва одиночные разрывы – далеко, потом чаще, чаще... Ближе, ближе. Потом совсем рядом.

Толкаю в бок напарницу, медсестру:

– Ляля, что-то мне этот ночной концерт не нравится, может, уйдём отсюда, пока не поздно?

– Ай! Первый раз, что ли? Спи.

– Хорошо, Ляля, будем лежать до последнего.

И тут как бабахнет, прямое попадание. Во рту, в волосах извёстка... Все наши медикаменты, всё попадало... Голову задираю: крыши нет: луна, звёзды. Красота!

Лялька истошно орёт:

– Беж-и-и-им!

– Ляля, вот теперь можно не спешить.

– А-а-а! Тина, бежим отсюда-аа! – уже с улицы:
– Чего там копошишься?!

– Очки ищу, куда я без глаз?

Мины рвутся кругом... пригибаясь, ринулись к нижнему блиндажу. Смотрим, боец, молоденький совсем, лежит, уткнувшись в мёрзлую землю, причитает:

– Я к маме хочу! К маме хочу!!!

Подбежали:

– Ты ранен? – достаю из сумки перевязочный пакет.

– К маме хочу! Не могу больше здесь...

– Дида!¹ Истерика у него, Тина, не ранен он.

Я – фляжку со спиртом:

– На, глотни, не плачь. Пока пуля нас не найдёт, ничего не случится.

Дрожащими руками из фляжки хлебнул, затих. Подняли его, повели к блиндажу, утром отправили в Гудауту. (Не у всех хватало духу выдержать войну.) В блиндаже ребята посадили нас к печурке, напоили горячим чаем, отогрели, освободили место для сна. А на рассвете командир батальона увидел развороченный магазинчик, решил, погибли. Идём с Лялей, они стоят с начальником штаба у развалин, головы поникшие, шапки сняты. Издали кричу им:

– Товарищ командир, мы здесь... живые!

Он шапку оземь, на глазах слёзы:

– Сегодня же чтоб духу вашего не было!!! Что вашим детям скажу?! А?!! Марш с передовой! По домам!

Но куда мы от них? Людей и так не хватало. Сами сюда шли, никто насильно не тащил. А Ляля, маленькая такая, через неделю погибла: на mine подорвалась. Было ей двадцать два года. Тогда я впервые и закурила... К наступлению 16 марта готовила ребят уже одна: кому носки высушить, кому одежду постирать, кому зашить, кому обезболить сделать... Для меня эти люди стали родными. И тут заметила: парень уже давно стоит, пристально смотрит на меня.

– Ты чего?

– Тина, дай стакан воды.

Странно, вода питьевая рядом в ведре, стакан тут же... мог бы сам взять, но я слова не проронила, молча зачерпнула студёной ключевой воды, подаю. Он выпил и ушёл в наступление. Через два дня вернулся живой, а его брат нет. Вечером сидим у костра, посмотрел мне прямо в глаза, как тогда:

– Ты знаешь, почему попросил у тебя воды?

– Почему, Юра?

– Загадал: молча подашь воду, вернусь живой...

¹ Дида (абх.) – непереводаемый возглас возмущения в речи женщин.

После боя мы частенько мечтали, сидя у костра: «Вот закончится война, счастливая жизнь наступит, такой мир будет, как в раю». А после каждого боя смотрю: одного нет, другого нет... многих нет. Не дожили они до мирных дней, а мне, выходит, повезло. Вроде как за них живу.

Второй раз мы наступали на Сухум, второй раз пытались выбить врага, освободить город и второй раз терпели поражение. Много раненых, убитых, много надломленных морально... В блиндажах, для поднятия духа, пели «Песнь ранения»:

*Уа, райда, песня поется для мужчин,
Уа, райда, ран не боится никто из мужчин,
Уа, райда гушадза, ахи и охи – для женщин,
Уа, райда, крепись, песня утоляет боль,
Уа, райда, песня исцеляет рану.*

Всегда оказывала медицинскую помощь я, теперь эта самая помощь понадобилась мне.

Отвезли в Гагры, в госпиталь... Честно говоря, думала, уж не выкарабкаюсь, так было плохо... Но врачи подлечили, за неделю подняли на ноги, спасибо им. Выдали мне назад военную форму, сменила я больничный халат на гимнастёрку, вышла на трассу. Не пришлось даже голосовать, останавливается пассажирская «Газель»:

– Если в Гудауту, садись, – пьяненький старик-водитель махнул.

– Мне дальше, но подъеду с вами.

– Хай, амарджа!²

Вечер, дождик накрапывает, следующая попутка неизвестно когда. Прокуренный планом³ салон битком набит бойцами, запах чачи так и шибанул в нос... Мне сразу освободили место на заднем сиденье, пробралась туда, переступая через спящие тела... Попробовала кемарить сидя, не идёт сон, беспокойство какое-то. Да и водитель управляет как-то неуверенно... Даже на прямых участках машина виляет, кидается из стороны в сторону. А мужикам хоть бы хны, похрапывают безмятежно. «Лишь бы водитель не задремал!»

Едва успела подумать, машина на высокой скорости стала описывать дугу...

Сейчас нырнёт под откос!..

Вытянулась, смотрю: у шофера голова опущена на руль. Хотела крикнуть, от страха голос пропал... Рванула по проходу к водителю, разбрасывая спящих мужиков...

Не успела... совсем чуть-чуть.

«Газель» как прыгнет через кювет... Подскочила, давай переворачиваться...

Старик шофёр проснулся и на весь салон в такт кувыркам:

– Оп! Оп! Оппа!

Больше не помню ничего.

Я единственная, кто тогда сильно покалечился, наверно потому, что в момент аварии стояла. Привыкла всегда подстраховывать мужчин, а тут после больницы ослабла, на миг стала беспечнее. Сама виновата! Мне надо было сесть рядом с водителем, контролировать, ничего бы и не случилось...

Мираб Кишмария

Министр обороны Абхазии – легендарный Мираб Кишмария.

Генерал армии, Герой Абхазии, кандидат военных наук, прошёл Афган.

В июне 1988 года приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту М. Б. Кишмария досрочно присвоили воинское звание капитана, Указом Президиума Верховного Совета СССР за личное мужество и героизм его наградили орденом Красной Звезды, а Указом президента Республики Афганистан Наджибуллы за успешное ведение боевых действий ещё и афганским орденом «Звезда II степени». У министра обороны Абхазии мать – грузинка. Из пяти её сыновей трое получили звание «Герой Абхазии».

И ещё много-много-много чего я узнал до встречи...

Это о нём вспоминала директор музея боевой славы Квициния Мзия, как для укрепления духа людей Мираб Кишмария привёз в блокаду собственную маленькую дочь... Это о нём сказала: «Пока у нас в Абхазии такой министр обороны, можем жить спокойно. Не бывает опоры надёжней. Настоящий мужчина, настоящий воин!»

Мираб Борисович отложил в сторону документы, стал вспоминать:

– Когда началась война, сразу махнул в родное село Мыку. Там на сходе люди избрали меня командиром ополчения. В селе Араду приняли первый бой, их погибло 48 человек, я потерял двоих. А вообще, много было потерь... слишком много. Я хорошо знал экипаж вертолёт, сбитого с детьми и женщинами в латской трагедии. Мы с этим звеном вместе прошли Афган. Но потери оправданны

² Хай, амарджа (абх.) – ободряющее восклицание («поднялись!», «живей!»).

³ План – (конопля) наркотик.

– выстояли. Невозможно победить народ, воюющий на своей земле, за свободу, за отчий дом!

– Вы не укрыли дочку в Москве, в Америке, привезли в окружение...

Словно не слыша вопроса, министр продолжал:

– Сегодня подготовлены лучше. В случае мобилизации, поднятия резерва у нас в армии будут танковые экипажи, где командир танка – отец, а механик, наводчик – его сыновья. Есть целые роты резервистов, состоящие из кровных родственников. Вы думаете, во время реального боя эта рота дрогнет или отдаст противнику рубеж? Вот и весь наш секрет. Разницы нет, кто какой национальности... У нас в Абхазии многие семьи смешанные: отец абхаз, мать грузинка... но мало кто поглядывает туда. И я туда не смотрю, потому что своего брата Гочу получил без сердца. В 2008-м он служил начальником поста, попал в плен... У брата сердце вырезали, сварили, заставили пленных абхазов есть. Они и рассказали потом...

Остатки волос поднялись у меня дыбом!

– Мне туда нет дороги, хотя мать мингрелка.

– И всё-таки что сказала жена, когда повезли дочку на фронт?

Мираб Борисович недовольно нахмурился:

– Ну, что могла?... Погибших много, вижу, дрогнули... пошёл отток населения, каждый рвётся попасть в Гудауту, выскочить из блокады. Бойцы духом падают... некоторые... Счёт идёт на дни, часы!.. Надо что-то делать. А что?! Самому взять в руки автомат? Но я и так, хоть командующий фронта, не сижу в бункере за сотни километров, стрелки мерцающие не передвигаю. У нас другая война. Каждый день на переднем крае, хотя полководцу не положено, важнее – грамотно руководить. Нужно было придумать особое... Поехал в Сочи, взял дочку, ей три годика исполнилось. Привёз... (как раз шло совещание командиров фронта), занушу её в штаб, посадил на стол:

– Вот моя дочь. Вот я здесь...

Люди задумались, отток населения прекратился, все взялись за оружие. Никого больше агитировать не пришлось. Если б так не сделал, не знаю, как удержали оборону. Надо выбирать, что важнее, и рисковать всем, дочкой тоже. Она маленькая, три года, не понимала ничего, при штабе и спала, её таскали, как куклу... Сейчас замужем, у самой растут двое пацанов, настоящие джигиты. И растут они уже в свободной стране.

Абхазы любят хвастаться: мы победили!

Что такое «мы»? Никогда нельзя забывать о нашем главном союзнике – России. Говорю так не

потому, что у меня бабушка русская. Надо быть благодарными, благородными. Если честно, без поддержки России победы не одержали бы... Как командующий Восточного фронта знаю это точно, заявляю публично.

Сейчас многие хаот Ельцина, хаот, не зная всего. Открыто помогать не мог, но спасибо, волю давал подчинённым. Не он, нам бы всё перекрыли, все щели... Откуда тогда вооружение, боеприпасы? «Северный Кавказ!.. Братья через горы пришли на помощь!» Я одёргиваю, не «Северный Кавказ», Россия. Не прошли бы, если б дали команду «не пускать». В 2008 году мы тоже провели операцию совместно. Когда б не Шаманов, Макаров, Генштаб... не было б никакой независимости. Историю нашим детям надо знать, нельзя подгибать правду под своё понимание. Тогда больше шансов, что война не повторится.

Нугзар Салакая

Трудно вызывать на откровенный разговор ветеранов.

Многие отнекивались категорически.

В Ткуарчале Нугзар пошёл договариваться с Вахтангом Васурия, и снова отказ...

– Нугзар, отдувайся сам! – поставил ультиматум я. – Ты, кстати, сам-то чем занимался во время войны?

– Оружие в руках подержать не довелось, меня отправляли в разведку, хотя не знаю, где легче. Был в плену...

– А чё молчишь?

– Война застала в родном городе Ткуарчал, туда же отступали наши войска. Город Очамчыра к тому времени уже захватили, на фасадах административных зданий, на крышах домов развесили грузинские флаги. Что нам делать? Как противостать такому мощному противнику? Некоторые предлагали сдать город без боя. Потом ребята собрались в ополчение, выбрали командира, он мне и предложил:

– Прoberись в Очамчыру, разузнай, что там, как, сколько их, техника какая? И главное, поставься выведать планы.

Было понятно одно: сил не хватает, надо как-то обмануть противника, заставить поверить в обратное, иначе добьют, не дав опомниться. И меня осенило:

– Нужна дезинформация! Давайте распространяем листовки пожёстче: «На помощь идут братья-чечены...»

– ...«Всем грузинам смерть!» – закончил он. – Интересно, давай попробуем.

Переодели парня в бурку, папаху с красной партизанской ленточкой, сделали фотографию. А он и без папахи смахивал на чеченца. Напечатали листовки, под утро с ними я и пошёл в Очамчыру. Заглянул в гости к одному надёжному человеку, к другому, третьему, переговорил-расспросил, информацию получил, оставил по несколько листовок. Сам – на рынок. Там грузины-торгаши как прочитали: «Чечены идут!» Паника!.. Толпа хлынула, сотни людей, меня подхватило... бегу, и вдруг двое солдат выдёргивают из толпы:

– Стой!

Скрутили, повели... У меня один сапог наполовину отрезан, пиджак из коровника взят, вонь за версту, борода лопатой. А глава оккупационной администрации Очамчыры родом из моего города: как бы я ни вырядился – узнает в любом маскарраде. Осторожно нащупываю в кармане дихлофос – как раз на такой случай. Лучше самому всё закончить, чем пытки вынести. (Уже знали: на допросах они руки-ноги выламывают...) Приводят меня прямо в штаб, офицеры как увидели, давай хохотать. Осмотрелся – незнакомые все, значит, пока живу, и давай подыгрывать грузинам, тоже стал хохотать... под дурачка. Главнокомандующий грузинскими войсками Джаба Иоселиани (не Джаба он – жаба!) встал из-за стола да как рывкнет солдатам:

– Я же приказал абхаза поймать, вы какое-то чучело взяли.

Все:

– Гы-гы-гы! Ха-ха-ха!

Полковник подходит ко мне:

– Откуда?

– Абаска.

– Как фамилия?

– Седоги.

– Как зовут?

– Мамед.

– Ха-ха-ха!!! – слёзы утирает.

Рядом с Очамчырой турки живут, я знал одного по фамилии Седоги.

– За что приехал в Очамчыру?

– Сигарет купить.

Все опять:

– Гы-гы-гы!

Тогда полковник набрал полные лёгкие воздуха да как гаркнет:

– Кругом!

Я на месте крутанулся, под зад кованым сапогом как пнёт... Полетел, головой дверь вышиб, выкатился на улицу. Задница огнём горела три дня, но зато из плена выбрался живым-невредимым. Мало кому это удавалось.

А ещё устраивали диверсии... На шахте полно динамита, решили сделать большой «бум!!!». Загрузили в товарняк, установили взрыватель, человек двадцать облепили вагон, налегли, побрятели... сдвинули вагон с места. Шаг за шагом стали ускоряться... Эх! Чуть бы разогнать, железнодорожный путь под уклон до самого города Очамчыра, занятого врагом. И тут я вспомнил абхазскую песню «О нашей партии». Запел торжественно, громко... Все запереглядывались, подумали, может, после плена у меня с головой того...

*В стране у нас много народов!
Взрастила их, счастье дала им,
Вложила в сердца дружелюбие,
Стоять друг за друга велела,
Дала им бескрайнюю землю
И жить их на ней научила
Партия наша, друзья!
Чтоб люди до неба взлетали...*

Только тут до всех дошло! Как подхватят хором:

Чтоб люди до неба взлета-ааали!!!

Потом очевидцы рассказывали: вагон до станции не дошёл, до окраины, но взрыв был такой силы – в Грузии все обделались. В общем, страху напустили.

У нас был девиз – «Один к двадцати»: одному абхазу противостояли двадцать грузин. Мы не имели права ужалить один раз, как пчела, и сразу погибнуть. Один абхаз должен был уничтожить двадцать вражин. Земля, которую ты не пропитал собственной кровью, ещё не Родина. Мы, пятеро друзей, поклялись: после войны приедем в Сухум, съедим по щепотке земли. Из пяти трое погибли, клятву мы исполнили вдвоём с другом.

– Нугзар, ну ты даёшь!.. – я с нескрываемым восхищением разглядывал своего проводника.

– А про Вахтанга Васурия я сам расскажу, что знаю. Ты не суди его строго, Александр, что отказался беседовать. Второй инфаркт у него был недавно, после войны здоровье – ни к чёрту. Они тогда попали в плен с молодым парнишкой. Им, в отличие от меня, не повезло. У парня осколком перебило руку, рана гноилась, разлагалась, открылась кость. Их по разным камерам развели и первым начали пытать парня. Мальчик иногда не выдерживал, кричал «Не бейте!.. Я ранен!» Тогда Вахтанг барабанил, пинал в дверь камеры и кричал главному:

– Что ж ты, сука, к мальчишке привязался? Если не боишься, иди ко мне!.. Ухацазар ухыс!¹

Он доводил матерщиной тюремщиков до бешенства, те бросали парнишку, забегали в камеру к Вахтангу, начинали пинать... В эту минуту пацан мог отдышаться. Затем палачи возвращались, снова пытали, допрашивали... Тюрьму вновь разрезал детский крик о помощи, и снова Вахтанг бесился в камере, бился в дверь, вызывая огонь на себя... Так повторялось вновь и вновь. Через неделю нам удалось обменять их на пятерых грузин. Я сам забирал из плена... Мальчишка первым делом бросился на шею к Вахтангу, своему спасителю, обнял здоровой рукой и плакал... Вахтанг, изуродованный, гладил его по голове, успокаивал:

– Если бы с тобой что сделали, один я не вернулся. Мы бы не расстались с тобой.

Так они шли до машины, поддерживая друг друга, слившись в одну бесформенную несломленную фигуру.

Сладкое слово «свобода»

Ну её к чёрту, эту проклятую свободу! Какой в ней прок? Что с ней делать? Вот мне холодно, Тиль, а в неё не завернёшься, как в овечий тулуп, в эту твою проклятую свободу. Я хочу жрать, а её не поджаришь на вертеле. С ней не ляжешь в постель, как с женой. Она – ничто. Это пустой звук. Её вообще нету.

Её никто никогда не видел.

Фильм «Легенда о Тиле»

– Нугзар, объясни, как эта война назревала. Что послужило первой искрой?

– Первой искрой?.. Язык.

– Язык?

– Да, абхазский язык. Приведу маленький пример... Я был тогда главным редактором очамчырской газеты и членом бюро райкома партии. Когда наш ансамбль долгожителей стал популярным, композитор Константин Ченгелия предложил дать коллективу имя «Эрцаху» – по названию святой горы Абхазии. Красивое, достойное имя. Мы предложение поддержали, дальше решение должны были утвердить в абхазском обкоме партии, потом в ЦК КП Грузии. Только после соблюдения всей процедуры ансамбль могли зарегистрировать официально.

Внезапно нас – всех членов бюро райкома – вызывают в обком. Заходим гуськом, идёт совещание, первый секретарь прерывается и резко:

– Кто предложил название ансамбля?

Константин Ченгелия вышел вперёд.

– Объясните, почему именно так, может, есть другие варианты?

– Других вариантов нет. Эрцаху – священная гора Абхазии. И так же свято, уважительно мы относимся к абыркам – почтенным старцам. Самому молодому участнику семьдесят восемь лет, старейшему – сто три года. Пусть название ансамбля «Эрцаху» символизирует уважение горцев к мудрости, сединам.

– Но как название будет звучать в официальных документах?

– А почему нельзя сохранить слово в родном, первоизданном виде? Зачем менять фонетику имён личных? Чем грузинское произношение лучше абхазского?

Только тут до меня дошёл истинный замысел Ченгелия...

Он просчитал заранее: по решению ЦК КП Грузии все абхазские названия в официальных документах шли в грузинской транскрипции, для этого к абхазскому названию обязательно прибавлялась в конце буква «и». Не «Сухум», как изначально, а «Сухуми», не «Гал» – «Гали»; если название «Эрцаху» произнести на официальный грузинский манер, выходила матерщина. Получался уже русский, слишком русский язык... В заседании объявили перерыв, нас отправили домой. Потом два месяца сотрудники КГБ с каждым беседовали поодиночке, называли всё диверсией, запугивали, упраскивали, но изменить ничего не смогли – ЦК КП Грузии вынужден был утвердить название в абхазском варианте. (Ансамбль «Эрцаху» с успехом выступает по сегодняшний день.)

Я любил родной язык и в 1976 году поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета. И тут огромное событие – вышел труд учёного этнографа Шалвы Денисовича Иналипа «Абхазы» (Историко-этнографические очерки). Автор проследил из глубины веков династию абхазских царей, убедительно доказав: Абхазия – самая древняя цивилизация на Кавказе, бесспорно, старше Грузии. Книга объединила вокруг себя всю абхазскую интеллигенцию, послужила искрой в разжигании национального движения, раскрыла глаза на собственную историю, культуру, стала откровением и вызвала неугасающее чувство гордости за своих предков, желание соответствовать им. Когда текст получил широкую популярность, всполошились грузинские ультра: «Кто допустил?» Давно подмечено: «Книга, не встречающая сопротивления, не имеет ценности». Была дана команда: «Фас!» Комсомольцы изымали

¹ Ухацазар ухыс! (абх.) – «Если ты мужчина – стреляй!»

тираж с полок книготоргов и сжигали в больших кострах у арочного моста на берегу реки Сухум. Я оформил заказ на книгу в читальном зале университета, библиотекарьша побледнела:

– Такого издания нет.

ЦК КП спешно выпустило разгромное постановление, начались разбирательства, гонения... Людей прорабатывали на бюро, исключали из партии, закрывали десятками. Шалву Денисовича из университета уволили. Для партийного руководства книга превратилась в кошмар. А для таких, как я, – в абхазскую Библию. Моё самосознание пробудилось, до меня дошло: я абхаз. Книга стала моей настольной, я понял, что делать дальше: поехал в Грузию, скупал её – запрет дойти не успел – привозил в Абхазию, тайком раздавал, и много ещё чего... Примкнул к национальному движению, став подпольщиком-организатором. За это с первого курса исключили, дали срок. Прокурор прыгал на моём лице, каблуком выбивал по очереди зубы – туфли у него зелёного цвета, как сейчас помню, – бил и приговаривал:

– Ты сгниёшь на нарах, обещаю!

– Его можно понять, – съязвил я. – «Во времена всеобщей лжи говорить правду – экстремизм» (Джордж Оруэлл).

– Выходит так... Этапировали меня в Кутаисскую тюрьму и в каждом пересыльном пункте добавляли срок. Всего хватило... Но я не жалею. Мы боролись за право называться абхазами. За Абхазию с абхазским лицом! Если себя не уважаешь, тебя никто уважать не будет. Не будешь ценить корни, традиции, язык – никто не будет ценить. Никто из-за твоего языка не станет убиваться, раз ты им брезгуешь. С этим орлиным клёкотом появился на свет, на нём пела колыбельные мать, на нём питаешься, на нём живёшь и вдруг променял на иной, благозвучный щебет – добровольно перерезал духовную пуповину. Да, чужой язык надо уважать, но любить-то свой.

– Так недалеко и до нацизма...

– Эта болезнь нам не страшна! Видимо, сами горы предопределили: ни один кавказский народ не станет считать себя высшей расой. Исключено. Помогло не стать нацистами и то, что рядом с абхазами плечом к плечу сражались русские, чечены, кабардинцы, казаки, грузины... Сражались и погибали не за деньги – за свободу, справедливость. А такая война не имеет национальности.

* * *

– В восьмидесятые годы стремление абхазов к самосильности стало массовым. К движению сопротивления примыкали новые и новые сторонники

из числа молодёжи, подключались люди зрелого возраста. У всех на устах крутилось одно слово «статус». Даже древние старики, кто мало разбирался в политике, одобрительно кивали нам вслед. И жила со мной по соседству ветхозаветная старушка, ноги-руки едва слушались, однако заботило её не собственное здоровье... Каждый раз при случае, когда навещали родственники, соседи, она непременно задавала один и тот же вопрос:

– Сынок, когда смогу увидеть статус?

Она не понимала доподлинно, что такое «национальный статус». Мессия это, по образу и подобию человека, или манна с неба... Но свято верила: нет ничего ни важнее, ни ценнее, ни слаще. И когда она наконец его получит, всё-всё-всё изменится к лучшему. Ведь не зря только об этом все и талдычат, лишь этого и желают.

Я, как мог, подбадривал:

– Бабушка, потерпи совсем немного, скоро ты получишь статус.

– Вы знайте, дорогие мои дети, я стол накрою тому, кто принесёт мне статус, наседку не пожалю, самое лучшее вино поставлю.

С деньгами у нас в редакции тогда тоже было плохо. На задании, когда встречаешься с людьми, берёшь интервью, деньги не нужны: корреспондента и накормят сытно, и напоят пьяно. А вот опохмелиться нечем... И в очередное хмурое утро, когда после вчерашнего самым естественным, логичным было просто сдохнуть, а в кармане ни рубля, я вспомнил про заветную мечту соседки и обещанный стол.

Я – к ней, уточнить:

– Бабушка, что сделаешь тому, кто принесёт тебе статус?

– Сынок, тому не пожалю ничего! Это моё последнее, самое сокровенное желание. Последнюю курицу – на стол, кувшин вина из погреба.

– Тогда будь готова к обеду, принесу тебе статус.

Сам радостный назад в редакцию и – коллеге журналисту, с кем пили вчера:

– Русик, у тебя, как понимаю, тоже ни копейки?

– Сдурел?.. Откуда?! Сейчас бы не мучились так...

– Тогда слушай: мы должны с тобой во что бы то ни стало раздобыть национальный статус и отнести одному замечательному человеку.

С трудом подбирая слова, преодолевая страшную сухость в горле, шум в голове, я поведал свой план.

– Русик, главное, до обеда продержаться... будет опохмелка. Но как быть со статусом?

– Знаю! – голь на выдумки богата, – нужно взять шоколадную медаль в золотистой фольге, завернуть в десять бумажных листов, потом в платок, сверху в целлофан.

Всё сделали, несём старушке, сами трясёмся

от хохота. За пару шагов до цели надели на лица гримасы торжественности, заходим, чеканя шаг:

- Бабуля, бабуля, мы принесли статус!
- Точно?
- Точно, – смотрите.

Нарочито медленно я стал разворачивать шуршащий целлофан, затем один лист, другой, третий... Куча скомканных белых листов на столе росла. Ещё один лист... Свёрток постепенно таял у меня в руках, уменьшаясь. И вот когда остался последний лист, я украдкой отогнул уголок и показал золотой краешек – солнечный лучик празднично заиграл бликами фольги:

- Дальше нельзя открывать! Сила пропадёт! – я вновь тщательно укутал шоколадку.
- Закрывай! Закрывай! Вдруг сглазят, – согласнo запричитала старушка.

Обомлев, полностью потеряв дар речи, она переводила восхищённый взгляд с заветного свёртка, в котором миг назад блеснул фетиш, на наши торжественные лица...

- Сынки, спасибо! Садитесь за стол!

До позднего вечера мы с Русиком гулеванили у гостеприимной старушенции, поднимая по очереди бокалы за Всевышнего, за Абхазию, за щедрость хозяйки, за её здоровье.

Вино текло рекой...

До войны она не дожила.

Не пришлось ей вкусить и сладость долгожданной победы. Но из жизни она ушла успокоенной, со святой верой, что Абхазия свой статус обрела.

А недавно дочка её (не помню, с чего зашёл разговор), смущаясь, рассказала про странность матери: после смерти она обнаружила в наволочке слипшийся кусочек шоколада в золотистой фольге. Я что-то промямлил в ответ и, сославшись на дела, тут же ушёл. За много лет впервые... пожалуй, с самого детства... я не смог наедине с собой сдержать слёз.

Три гвоздя

*По ниточке, по ниточке
Ходить я не желаю,
Отныне я, отныне я,
Отныне я – живая.*

Алиханов Сергей. «Ожившая кукла»

Закан Алексеевич Агрба из села Бзыпга.

Целый вечер мы провели с ним в душеполезной беседе, перебирая под красное вино пожелтевшие газетные заметки, фотографии, воссоздавая эпизод за эпизодом становление «незалежности» Абхазии.

Первый гвоздь

– В 1957 году в Тбилиси проходил международный танцевальный фестиваль, но сперва по районам устраивали смотры художественной самодеятельности.

Наградой – выступление на столичной сцене. Наш репертуар приехала оценить комиссия, мы дали концерт. После выступления нас, малышей, подняли на руки, под аплодисменты носили по залу. А за три дня до отъезда в Тбилиси я увидел в вестибюле Дома культуры своего друга, грузина, он плакал.

- Тебя кто обидел?
- Не подходи... – ещё сильнее ревет.
- Что случилось?
- Не подходи ко мне!
- Кто тебя набил?
- Из-за тебя...
- Из-за меня?! Что я сделал плохого?
- Тебя в Тбилиси не берут.
- По-чему-у-у?..
- Ты абхаз!

Мне, ученику, было не до пятого пункта, мне не понятно это, но гвоздь, вбитый в сердце... больноющая так и осталась.

Второй гвоздь

Нам запретили разговаривать на абхазском, нельзя было соблюдать обычаи дедов, петь-танцевать для души... В своём хозяйстве приходилось работать в лунную ночь. И много ещё чего «нельзя», ущемление чувствовалось во всём. Нашу абхазскую школу закрыли – открыли грузинскую. Десять дней я прилежно слушал учительницу Гоги Башвили, она ни в зуб ногой по-абхазски, я ни слова по-грузински. Не смог тянуть программу, сбежал из школы... Меня перевели на два класса младше.

Разве мог не горевать? Это второй гвоздь. Ладно.

Третий гвоздь

Окончил школу, пошёл на работу в автоколонну. А разговоры в гараже про одно: язык крутится вокруг больного зуба. Не только у меня на сердце раны, у всех. И боль, раздражение накапливались. Километров в пятидесяти от Гагры есть древнее абхазское село Куджбояшта, я возил туда рабочих. Однажды Салваш, мой напарник, открыл мне глаза:

- Закан, ты грамотный?

– Да, десять классов окончил без троек, летом на филфак буду поступать.

– А ты проверял, как заполняют путевые листы? Достая лист:

– Пробег, часы – правильно, так и есть, – дальше не смотрю.

– Название села...

Читаю – не верю глазам, вместо древнего названия Куджбояшта в путёвках написано «Куджбая», на мингрельский лад! Оказывается, я месяц работаю там. Вторую путёвку поднял, третью, пятую – везде «Куджбая». Пошёл в бухгалтерию, проверил все бланки – везде «Куджбая». И главбуху:

– Слушайте, где мы работаем?

– Как где? В гараже.

– А это что такое? – тычу ей под нос путевой лист.

Мастер сразу взерошился:

– Закан, что тебя не устраивает?

– Зачем искажаете правду?

– Никто её не искажает.

– Как так?

– Вот, смотри сам.

Даёт мне карту, там чёрным по зелёному – «Куджбая».

Мы, водители, собрались, подняли такой буч, мало никому не показалось. Все путёвки я тогда порвал, хотя это уже лишнее, это молодость...

Третий гвоздь в сердце оказался последним.

Я больше не желал терпеть боль и думал, как отомстить.

1964 год, меня приглашают в библиотеку... Почему? Зачем? Непонятно. Ну да, несколько раз, будучи школьником, заходил туда, может, книги забыл вернуть? Заведующая библиотекой, женщина боевая, увидела меня и сразу повела в подсобку:

– Пойдём, тебя ждут.

Думаю, кто? Сидит директор абхазской школы Тихибия. Я знал его внешне, понаслышке, говорили, пламенный патриот, но меня-то он откуда знает?.. Зачем ему понадобился?

Тихибия поздоровался и с хмылкой спросил:

– Помнишь, когда тебя не взяли на фестиваль, ты сильно кипятился и в адрес грузин слал проклятья?

– Сколько лет минуло... с чего вдруг вспомнили?

– Давно за тобой приглядываю, нравишься ты мне, парень. Настоящий абхаз! Мне такие ребята нужны.

– ?

– Удивлён?

– А что я могу?!

– Один не можешь ничего. Один и я не могу,

никто не может, но если объединимся... Загадаю тебе сейчас загадку: допустим, ты едешь из Сочи на отдых в Абхазию, проезжаешь реку Псоу, что видишь в первую очередь?

– Людей вижу, дома...

– Ты переехал границу, куда попал?

– В Абхазию.

– А видишь ли ты что-нибудь абхазское?

До меня никак не доходит, куда клонит, напрямик не говорит.

– Вот там стоит большой-большой бюст.

– Ну да, Леселидзе.

– Кто он такой?

– Генерал, Герой Советского Союза.

– А ты знаешь, как раньше называлось это село?

– Конечно, Гечрипш.

– Эх, молодёжь! А при чём тут генерал Леселидзе?

Ошарашенный, смотрю на него и чувствую, как одна мысль за другой, цепляясь, пробиваются к свету: «А ведь он прав! Какого рожна делает памятник грузинскому полководцу на абхазской земле? Разве у нас мало своих героев?» Тихибия продолжает:

– Ты знаешь, Гагры скоро переименуют в город Руставели?

Я вскочил как ошпаренный:

– Почему?..

– Есть проспект Руставели – от Колхиды до старой Гагры, кинотеатр «Руставели», школа имени Руставели, совхоз «Руставели», памятник Руставели, бюст Руставели – на одной трассе, на отрезке в девять километров. До тебя дошло?

– Дойти-то дошло, но что могу?..

– Пойми, когда наши школы закрывают, нас зажимают, отодвигают в тень – это не случайность, целенаправленная политика грузинизации. Думайте! Надо народ поднимать, письмами ничего не изменим. С такой покорностью нас скоро всех загонят в резервации и тюрьмы.

На том и расстались. Он не дал мне никакого поручения, ничего толком не объяснил, но разжёл в душе тлеющие угли; он не выдернул гвозди из моего сердца – расшатал, разбередил раны, лишил покоя: «А может, накинуть на шею генерала трос, подцепить к бортовой ГАЗ-51 и свалить. Хватит ли только у «газона» сил? Да и несподручно одному».

Ночью стучусь к родственнику. Тот спросонья, продирая глаза:

– Ты в своём уме, орра-а! Два часа!

– Халваш, выручай, важное дело.

– Какое дело?

– Одевайся, по дороге объясню.

Он разулыбался... У абхазов, когда хотят же-

ниться, юлят. Раз не говорю прямо, всё понятно, свататься задумал. Какое ещё может быть дело у молодого неженатого парня ночью.

– Если так, я с тобой! Молодец!!!

– Садись в машину.

Проезжаем Гагры, едем в сторону Псоу. Халваш по дороге выпытывает: красивая ли? где живёт? родители? Его можно понять – не терпит. А я от разговора ухожу, думаю, как сказать. Не доезжая до места, сворачиваю на обочину и спрашиваю прямо в лоб:

– Любишь Абхазию?

– Ты чё, пьяный?

– Признавайся честно, любишь-нет?

– Чего задумал?

– Хочу свалить памятник грузинскому генералу.

– Ненормальный?

– Хватит! Скажи лучше, тросом дёрнуть, потянет машина?

– Знаешь, что за это бывает?

– За рулём я. Ты сразу уходи, ты не видел ничего.

– Поехали.

Дождливая ночь, редкие машины...

– Помоги мне зацепить трос, дальше сам.

– Трос не пойдёт – канат.

Сделали петлю, накинули генералу на шею, конец зачекировали к фаркопу.

– Жми!

Запрыгнули в кабину, я – по газам, машина как рванёт, за спиной треск. Не останавливаясь, махнули по трассе, под мост, и по старой дороге – на берег моря. Выходим из кабины, на фаркопе обрывок каната.

– А если бы накинули трос, сами себя поймали.

Он срезал ножом обрывки каната, забросил в кусты. Огляделись, прислушались:

– Вроде тихо.

– Вперёд!

С утра Халваш повёз на самосвале щебень к Псоу, возвращается, смеётся:

– Наш генерал в галстук. Теперь никому ни слова!

Через неделю на улице я случайно столкнулся с Тихибия, загадочно так улынулся... «Чего это он? Ведь не знает». Минуло три года, директор школы пришёл ко мне прямо домой, принёс двухлитровую банку краски, резиновые перчатки, щётку:

– Возьми с собой кого понадежней, ночью замажьте от Шапшаловки в Гаграх до Псоу все надписи на грузинском языке.

Я опять к Халвашу:

– Нам поручение! Смотри, на полке краска, не опрокинь!

За одну ночь покрасили с ним все иероглифы, вернулись под утро. Не мы одни старались – все грузинские названия замазали по всему району.

Первый секретарь ЦК КП Грузии дубасил кулаком по столу:

– Кто посмел на грузинский язык поднять руку? Стереть в порошок! В тюрьмах сгноить!

Комиссия прилетела, КГБ закрутилось... Нашли краску. На третий день узнаём: посадили пицундских пацанов, они занимались тем же у себя. И тут народ проснулся, волнение пошло... На площадь сразу вывалило несколько сот человек, а со всех сторон новые прибывали, прибывали... лозунги стали скандировать:

– Освободите ребят!

А в комиссии одни грузины, никто никого выпускать не собирается. День, второй идёт жёсткий допрос. Девочка-абхазка, секретарь начальника милиции, прибегает встревоженная:

– Там парень собирается всех выдать.

Начальник милиции, полковник, заскакивает туда, в присутствии комиссии хватает пацана за ворот, как тряхнёт:

– Это он молчит?! Да я тебя!.. – затрещину вмазал, а сам на ухо по-абхазски: «Смотри, не продай своих!»

И ушёл. Тем временем мы пустили гонцов по всей Абхазии. Собралось несколько десятков тысяч... Кто на чём добирался: на поездах, автобусах, машинах, пешком... Потребовали встречи с представителем ЦК КПСС. Шёл 67-й год. Добились своего, ребят выпустили. Это была наша первая победа. Раньше в Гагрском районе газета выходила на грузинском и русском, тут добились разрешения выпускать ещё на абхазском языке. Это тоже победа! Я тогда уже работал директором школы, имел филологическое образование, и, так случилось, первым главным редактором назначили меня. Наше сопротивление с годами нарастало как половодье. В 1989 году АНОД – абхазское национально-освободительное движение – переросло в «Народный фронт», затем в «Народный форум».

Сейчас всё нормально, река вернулась в своё русло...

Государственный флаг Абхазии поднят.

Рыба-лоцман

*Я из повиновения вышел –
За флажки, – жажда жизни сильней!
Только сзади я с радостью слышал
Удивлённые крики людей.*

Владимир Высоцкий.
«Охота на волков»

Заур Хварцкия не был оригинален.

Он, как прочие, отказывался встречаться, беседовать... но тоже безуспешно.

– Национально-освободительное движение – главная система координат Абхазии, главная вежа. «Советские люди» – особый, сформировавшийся за несколько десятилетий тип человека, и среди них диссиденты, враги общественного строя. Сколько существовали диссиденты, столько они вещали: «Советский Союз вот-вот рухнет!» А СССР ещё после их смерти десятки лет здравствовал и процветал. Потом политическая система действительно ушла в небытие, и противники строя, которые до этого дожили, на каждом углу твердили: «Ну, вот видите, я же говорил...» На самом деле никто предположить краха СССР не мог. Мечтать – да, предвидеть – нет. Лукавство...

Мой младший брат Мушни иной.

В 1985 году в Союзе объявили «перестройку», стали появляться первые ростки чего-то нового, непонятного, волнующего. С Прибалтики началось, конфликты, омон-шмамон... Помню репортаж по телевизору: столь непривычные для советского гражданина митинги, какое-то возмущение, лозунги... Брат тогда сказал:

– Всё определяет большинство, это и есть «демократия». Она обойдёт весь Советский Союз и явится к нам. Если будем сидеть сложа руки, нашу судьбу решат за нас, без всякой стрельбы, без всякой войны.

Что он несёт?! Чужь какая... Кто за нас может решить нашу судьбу, если мы не захотим?!

Никто. Бред!

– Как это «решат»?

– А вот так: простым поднятием руки. Демократия, демократия...

Я реально, кожей почувствовал опасность. От его слов исходила мощная энергетика.

Он мог одним-двумя словами такое сказануть... земля рухнет – и верили ему. Я буду объяснять на цифрах, фактах, горячиться, за грудки трясти – мне никто не поверит, слушать не будут. По данным Станислава Лакобы, в 1939 году среди репрессированных 80% абхазы – грузины нас методично уничтожали. Я моментально представил,

как будет выглядеть голосование теперь. Сознание обожгло: «Так вот она какая, демократия!» Вопрос-то лежит на поверхности.

– И что нам делать?

– Как что? Гнать!

– Э, братуха, ты чё? Это же война.

– А ты как хотел?

– Подожди, слушай, при чём здесь... неужели нельзя договориться? – И я достаю главный козырь: – А Советский Союз? Кто тебе даст воевать?

– Ты что, ничего не понял? Когда Она придёт сюда, Советского Союза не бу-у-удет.

Мой младший брат спятил с ума.

– Как может не быть Советского Союза?! Думамай, что несёшь. Весь мир нас боится, трясётся от страха, такая махина, с ракетами, самолётами, танками...

Сегодня, задним числом, рассуждать легко, а тогда... Тогда про демократию слышал всякое, но на вкус не пробовал. Ляпнул бы такое академик из Москвы, я ещё подумал... Но и то не поверил, диссидентствующих речей в горах наслушался вдоволь. А тут родной брат... Младший! Вышел из того же улья, из тех же ворот, откуда и я.

– Кто ты такой об этом судить? Ора, не может быть, чтоб исчез.

Сам чувствую, мои аргументы напоминают чеховское «Письмо учёному соседу»: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!»

– Увидишь.

– Хорошо, как ты собираешься воевать? Сто тысяч против пяти миллионов?!

– Ты абхазов не знаешь!

– Это не ответ.

Другого я тогда от него не услышал.

Заур рассказывал, а я ловил себя на мысли, что уже раньше читал об этом¹.

– Ясновидцев, прорицателей полно везде...

Одна беда: они не реагируют адекватно на свои же прогнозы. Это всё равно как заявить: «Скоро с моря придёт цунами, нам осталось жить десять часов». Сообщить и преспокойно пойти домой, завалиться спать. Где логика? Если про цунами знаешь точно, беги в горы, спасайся сам, спасай родных. Мой брат, как сказал о грядущих изменениях, сразу стал готовиться к войне: он уехал в

¹ Бердяев Николай Александрович, российский философ: «Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и истины! ... Свобода есть право на неравенство».

Питер, закупал в частном порядке оружие, через ребят переправлял в Абхазию. По масштабам армии – смехотворно. Но это оружие ополченцам ой как пригодилось в первые часы. Последнюю ходку брат сделал за месяц до начала войны: два мешка из-под сахара, битком набитые автоматами, винтовками, сам привёз на поезде... в плацкартном вагоне. Мушни и нас всех призывал готовиться к схватке, убеждал: война нужна абхазам, не грузинам, те могут любые вопросы решить мирным путём. Однако, о небо! грузины из всей колоды вытянули именно нашу карту, из высоченной стопки ночных горшков стали вытаскивать нижний...

Да, война выгодна лишь абхазам, только она давала шанс добиться независимости. Был момент, я даже боялся, что войны не будет... Избавиться от грузин для меня – самоцель. Молодёжь улавливает это быстро, а моему поколению вдалбливать тяжело: «Мы жили мирно, проклятые грузины напали, убили Васю». Я вскипаю, когда слышу такое. Твой сын защищал нашу страну. Гордись! Только ценой гибели сына, ценой моей ноги, моего глаза ты можешь сам жить и его внуков растить в собственной – свободной! – стране. Моя нога, которую потерял, мой глаз, который выбило осколком, жизнь любого абхаза – стоят меньше, весят меньше, значат меньше, чем жизнь, судьба всего нашего народа! Ещё сохраняются у нас остатки советско-обкомовского мышления...

– Заур, правильно ли я тебя понял: веди себя Грузия умнее, Абхазия не стала бы отделяться?

– Интересно, ну-ка ещё разок... – Заур слегка растерялся.

– Если бы Грузия поумнее...

– ...Я прошёл романтический возраст. До двенадцати лет мне казалось, что мои папа с мамой самые красивые в мире, такое же отношение было и к республике, но потом человек растёт, кругозор расширяется, взгляды меняются. Прекрасно понимаю: мой народ ничем не лучше любого другого.

– Например, грузинского?

– Да. Абсолютно. Коли б грузинская власть вела себя мудро... Не для нас – для себя! После развала СССР прислали бы уважаемого посла, покаяться: «Да, случались перегибы, нарушения, но всё они, проклятые большевички!» Подкупом, лаской, лестью... Используя партийную прослойку, которую они методично взращивали, при поддержке прихвостней-абхазов, тайными операциями спецслужб. С ужасом об этом думаю! В такой сладкой оболочке пилюлю бы мы проглотили, растаяли в их жарких объятьях. Это был страш-

ный капкан для Абхазии. Абхаз испытывает эйфорию, когда слышит название своей родины... Да, при любом мирном варианте нас бы оприходовали, и через двадцать лет все поголовно балакали на грузинском, незаметно растворяясь в народе, по численности в десятки раз превышающем наш. Я бы не почувствовал опасность... И таких, как я, большинство.

– Заур, смотрю, ты знаешь ответы на все вопросы, скажи, как сделать, чтобы остальные племена вслед за вами не захотели нарушить существующий миропорядок, перекрыть политическую карту, отгородить свой дачный участок государственной границей? Чтоб ни у кого не возникало желания повторить подвиг твоего младшего брата. Например, у вас в Абхазии... продолжая дробить её дальше на части, по нациям, по родам, по фамилиям, по отдельным пацхам...

– Мечта горбуна: он хочет, чтобы все были горбунами. Для нас это страшная головная боль – Абхазии тоже может грозить распад на микро-частицы... Дурень, который на каждом углу за Апсны рвёт ворот рубахи, при этом опаснее всего. В Абхазии есть микрорайоны с компактным проживанием «неабхазов»: и там абхазский русский, абхазский грузин, абхазский армянин должны чувствовать себя хозяевами. Если я эту задачу не решу, проблема возникнет у меня. В то же время Абхазия для нас – единственная родина, не вторая. Мы не можем, если что-то не по нраву, собрать манатки, укатить домой – они могут. Устройство государства должно учитывать эту особинку. Нельзя допустить, чтобы судьбу Абхазии решали люди, у которых голова повёрнута в сторону Афин, Тбилиси, Москвы, Еревана. Они нарешают!.. Абхазские греки за Абхазию воевать не стали: «Разбирайтесь сами!» И уехали... Я, кривой, хромой, израненный, им гарантирую: они сюда не вернуться. – Заур изобразил смачную дулю. – Пусть полюбуются: кукиш им. Поноухайте! Не хотите?! И дети богатых, которые живут за границей, на воздухе висят. Ушёл – уходи. Абхазия принадлежит тем, кто её защищал. Точка.

Я считаю себя представителем Русского мира. Не этноса – мира. О том, что в Америке протекает река Амазонка, узнал из русского языка, и ещё много чего интересного, полезного. Рассуждая прагматично, честно: никто никого не любит. Мою народу выгодней укрепление России, значит, и я желаю этого всем сердцем. Меня не пугает «русский сапог на Кавказе». Будучи крохотным народишком, абхазы защищали на Кавказе инте-

рессы России. Мы делали это не специально, попутно. Акулу всегда окружают много разных нахлебников, однако самые преданные комменсалы² – рыба-прилипала и рыба-лоцман. Акула глотает всё подряд, но своих «подружек» не трогает. Они нужны друг другу, симбиоз по-учёному.

Абхазия функцию рыбы-лоцмана выполняет исправно.

Открытый путь

*Если арба дрова не привезёт,
сама на дрова пойдёт.*

Абхазская пословица

Отечественная война закончилась, Абхазия победила.

С тех пор минуло целых двадцать лет. Что дальше? Чем заниматься в мирной жизни?..

Я застал абхазов как раз в тот момент, когда они мучительно размышляли: «Начинать восстанавливать разрушенное хозяйство или так сойдёт?» Вопрос непростой... Я бы даже сказал, философский. Пока он остаётся без ответа... Абхазская мудрость подсказывает: «Не делай работу, пока не закричит». Пока вроде не кричит...

Жизнь идёт самотёком. Фрукты растут сами по себе, сами опадают. Коровы пасутся самостоятельно... Эх! Кабы научить их подпрыгивать да самим соски дёргать, наступил бы в Абхазии полный рай.

В мире прослеживается парадоксальная тенденция – страны, проигравшие войну, спустя короткий промежуток времени выходят в лидеры мировой экономики: феодальная Япония, разбомблённая в пух и прах Германия, Финляндия, потерявшая часть территории... А Союз Советских Социалистических Республик – СССР – страна, одержавшая победу, сперва подкармливала своих ветеранов продуктовыми пайками, полученными от бывших заклятых врагов, потом «приказала долго жить» и развалилась.

Исчезла с политической карты мира!

А что будет с Абхазией? Не заблудится ли она, как лошадь в тумане?

Надеюсь, нет!

Она превратится-таки в страну-мечту Эльдorado! Верую!

Гостеприимство

*Гость приносит в дом сто мерок счастья,
а уносит одну – тепло этого дома.*

Абхазская пословица

«Биала шэаабейт!» (Добро пожаловать!) – именно с этих слов начинается один из самых священных обрядов абхазского народа – ритуал гостеприимства.

Нугзар, коснувшись этой темы, аж приосанился:

– Абхазия по-нашему – Апсны, Страна души. Кусочек рая на земле, благословенный край! Здесь родилось множество сказаний, притч, легенд. Сейчас расскажу тебе главную.

Господь разделил Землю на части и стал раздавать по куску каждому народу. Все выстроились в очередь, чтобы получить свой надел, свою Родину, не было среди них лишь одного.

Ждал его Господь, ждал и наконец дождался.

– Кто ты?

– Абхаз, – с достоинством ответил горец.

– Где же ты был? Почему не пришёл вовремя?

– Не мог.

– Как так «не мог»? – Господь разгневался не на шутку.

– У меня был гость. Я не мог уйти, не напоив, не накормив его.

– Этим гостем был я, – один из Ангелов склонил голову. – Человек проявил себя как радушный хозяин, я застал его на пороге, но, завидев путника, он вернулся в дом и оказал мне душевный приём.

– Но что ж делать? – задумался Господь. – Я раздал всю землю, ничего не осталось.

– Тогда пойду, – спокойно ответил абхаз и уже собрался уходить, когда Господь окликнул его.

– Постой! Скажи мне, все ли абхазы такие приветливые?

– Конечно. Для нас гость – посланник свыше.

– Вот как! Раз твой народ готов пожертвовать собой, дабы принять уставшего путника, его стоит вознаградить. Дарю вам кусочек земли, который берёг для себя. Пусть и дальше край ваш славится радушием, хлебосольством!

Так нам досталась Абхазия. Давай за неё!

² Комменсализм – способ совместного существования (симбиоза) двух разных видов живых организмов, при котором один из партнёров этой системы (комменсал) возлагает на другого (хозяина) регуляцию своих отношений с внешней средой.

И стоя, как иначе, мы выпили до дна за дивную Абхазию.

– Нугзар, если хоть часть жителей как ты, легенда права!

– Для абхаза гостеприимство – не просто черта характера. Это часть нашей первоосновы под названием «апсуара». В доме истинного абхаза вы – член семьи. Путнику у нас говорят: «Ты – гость самого Творца» (Ушшаз уисасуп), «Ты – гость Господа» (Анцва уисасуп). Согласно традициям абхазов, приходя в чей-то дом, вы доверяете хозяину жизнь и попадаете под защиту самого Бога. А вот тебе ещё легенда...

Во дворе пацхи под чинарой сидел старый Ханашв и шил из сыромятной кожи чувяки сыну. Залаяла собака. Старик поднял голову: через забор перескочил незнакомец и, увидев старика, бросился к нему:

– Погоня, – он задыхался. – Спаси меня, укрой!

– Забирайся на чердак, дад!¹ – Ханашв приставил лестницу к лазу. – Спрячься в углу на куче шерсти. Будь спокоен: у меня ты в безопасности. Но кто преследует тебя?

– Я убил человека. Его друзья гонятся за мной.

– Кого же ты убил? Как имя?

– Не знаю. Я впервые в вашем селении...

Злобно залаяла собака.

– Пойду гляну, – старик закрыл чердак.

Из-за бугра показалась толпа, Ханашв увидел людей с тяжёлой, завернутой в бурку ношей. При виде знакомой бурки у старика потемнело в глазах, точно полоснули по сердцу кинжалом.

– Крепись, Ханашв! Великое горе пришло в твой дом. Убит твой сын! Клянёмся, отомстим убийце. Он ускользнул от нас в лесу, но мы разыщем и убьём.

– Занесите сына в дом.

Плач и вопли женщин огласили двор.

Двое суток пролежало бездыханное тело сына в пацхе, и двое суток поднимался старик на чердак, кормил гостя. На третьи сутки, после похорон, старик наполнил дорожную сумку едой и, оглядевшись, нет ли кого поблизости, приставил лесенку к лазу чердака:

– Спускайся! Нет никого.

Старик протянул ему торбу:

– Возьми, здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Ты убил моего единственного сына, но ты попросил крова, и я не мог втоптать в грязь хлеб-соль. Дарю тебе жизнь, уходи, пока тебя не заметили мои сородичи. Смотри, больше не попадайся мне на глаза!

С тем и расстались.

Вот что значит для нас гость, – закончил рассказ Нугзар. – Легенду эту я почерпнул у замечательного абхазского писателя Михаила Лакербая. У него много и других.

P. S.

Антон Павлович Чехов в восторге писал:

«Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов...»

Апсуара

Апсуара – Библия абхазов!
Нугзар Салакая

Нугзар со значением поднял указательный палец:

– Апсуара – сама суть абхазского народа. Наша вера! У Лихачёва «русскость» и «русский» – одно и то же. У нас Абхазия и абхазскость, Апсны и апсуара. Некогда в соседней Мингрелии существовало выражение: «Воспитан в духе апсуара» или «Он – истинный апсуа». Поймёшь апсуару, поймёшь и абхазский народ. Расскажу тебе легенду.

Однажды Алиас подкрался к усадьбе – пора ему рассчитаться с Гедлачом. Два дня и две ночи прошло с тех пор, как тот убил его брата, а сам ещё жив. Нужно убить Гедлача раньше, чем тело брата опустят в могилу, иначе как явиться на похороны? С каким лицом? В пацхе послышались голоса, Алиас узнал голос кровного врага. Он осторожно отодвинул хворостину в стене и приник к щели: перед ним в одном белье сидел за столом Гедлач. «Сама судьба поставила его передо мной», – Алиас просунул в щель дуло ружья, взвел курок, стал целиться...

– Что ты делаешь, безумный? Скорей туши свет! – донёсся до него испуганный голос жены Гедлача.

– Спи, спи, не бойся! – успокоил её Гедлач. – Ничего не случится!

– Скорей туши свечу, – торопила жена. – Ведь где-то поблизости бродит Алиас.

– Сейчас момент неподходящий, – возразил ей Гедлач.

– Почему?

– Ты думаешь, я не знаю, что Алиас день и ночь охотится за мною, чтобы отомстить за брата?

¹ Дад – у абхазов обращение старшего по возрасту к младшему.

– Вот видишь!

– Послушай, что тебе скажу, – спокойно продолжал Гедлач, – Алиас славится как настоящий ахаца¹. Не станет такой отважный, смелый джигит стрелять в безоружного, когда тот в одном белье.

Алиас бесшумно опустил курок и покинул засаду.

– Старики учат нас: «Мужество без человечности является бесчестным. Смерть абхаза в его же аламысе!»² – Нугзар неспешно закурил. – Абхазец по природе – человек скромный, для нас непривычны многие вещи... У нас не принято за себя агитировать. В старину выдвинуть на высокий пост могли лишь старейшины. В селе Лыхны и селе Мыку на всенародном сходе почтенные старики принимали решение по каждому кандидату: ты будешь управлять Абхазией, ты – следить за порядком, ты направляешься послом со стороны России, Турции. Ты отвечаешь за одно, ты – за другое. Так все назначались. Как это самому ходить по дворам, агитировать: «Я хочу быть президентом! Изберите меня!» Наш этикет, веками выработанный, не позволяет произносить подобные слова вслух. Некрасиво. Не надо народу подсказывать, народ знает. Владислав Ардзинба не просил: «Изберите меня! Сделайте меня лидером!» Народ сам доверил ему. У абхазов раньше не было и традиции рекламировать свой товар – это тоже противоречит апсуаре. Ни вино, ни фрукты, ни другую продукцию ремесленники не расхваливали, считалось неприличным. Хозяин никогда не предложит гостю вина, пока не попробует сам, не убедится, что достойное. А с этим пиаром, выясняется, можно разбавить вино водой, раз всё равно купят. У абхазов национальная гордость была главным богатством, главной валютой, сейчас она девальвировалась. Обмелели наши души.

Тут на днях...

Солнечная погода, я, беззаботный, иду на рынок, предвкушаю: куплю молодого барашка на шашлык, встречу друзей, выпьем по бокалу пива, перекинемся новостями... Хорошо на душе. Война кончилась, мир в Абхазии. Я отправился за приятными эмоциями, шёл душу побаловать.

И вдруг гляжу у магазинчика ритуальных услуг... прямо на улице! выставлены гробы!!!

Стоймя стоят, как рыбацкие лодки.

Гробы разных фасонов, цен, цветов, материалов – целый модельный ряд.

И сразу на душе мрачно стало, мурашки побежали по спине...

Ещё куда ни шло рекламировать одежду, строительные материалы... Не возбраняется предлагать скидки, заманивать покупателей бонусами, обещать детям, пенсионерам бесплатную доставку на

дом, три изделия по цене двух. Но не гробы! Мы ещё не забыли ужасы войны. Получается, торговцы хотят, чтобы гробы покупались как можно чаще, желательно оптом. И пусть себе люди дохнут как мухи. Лишь бы гробы разлетались, как горячие пирожки. Деньги не пахнут! Меня пробрал холодок от этих людей, желающих всем нам горя. Стало мрачно от их цинизма, стремления делать бизнес на нашей смерти. Я поднялся в магазин, решил перепроверить, может, показалось:

– У вас что рекламируется на улице?

– Гробы.

– Убрать немедленно!

Помню, я совсем ребёнок, умерла моя любимая бабушка-соседка. Помню похороны, в доме полно народу, приехал из России её сын – полковник, я стою в углу, безутешно плачу. Наконец почтенный старик молча подал военному знак, что гроб пора выносить. В доме тишина, слышны лишь сдавленные стоны да мои всхлипывания. Сын-полковник встал в изголовье, взялся за ручку и скомандовал:

– Ребята, слушай мою команду: раз-два, взяли!

Все, кто находился у гроба:

– Ха-ха-ха!!!

И пошла хохота по всему дому.

Я плачу, ничего понять не могу: «Бабушка умерла, они смеются!» Спустя несколько дней, улучив минутку, дёрнул отца за рукав:

– Баба, почему у гроба смеялись?

– Сынок, абхаз должен соблюдать свои обычаи, традиции, кем бы ни был, полковник их нарушил.

– Что он сделал не так?

– Нельзя в доме покойного произносить ни слова, а у полковника устав воинской службы вытеснил собой всё абхазское, устав заменил апсуару.

* * *

Вячеслав Сакания вторил:

– Любая книга имеет сквозное действие, дальше от него уже идут ответвления. Нужно правильно найти стержень. Наш стержень – апсуара!

Запад нам предлагает многопартийную систему, а мы не доросли до неё.

Ещё после первых выборов не можем забыть распри, простить друг другу обиды и вновь стать братьями, грязные выборные технологии рассорили нас... Мы ведь не умеем ничего обсуждать

¹ Ахаца – герой.

² Аламыс – совесть.

спокойно, выясняем, кто прав, эмоционально, в драке. А наш абхазский менталитет какой: раз холодок прошёл, то на много лет. Получил пощёчину, наутро хряпнули по бокалу и снова друзья – у нас так не бывает... «Война закончилась, быстренько-быстренько помиритесь, надо успеть, посмотрите, весь мир в этой системе, лишь вы отстаёте...» К этому оказались не готовы. Как от общинного уклада одномоментно перейти к индивидуализму? Вчера жили родом, уважали старших, бабушку переводили через дорогу – сегодня предлагается кинуть её посреди проезжей части, пусть добирается сама. Всегда играли в Чапаева – нам предлагают, не слезая с коня, играть в шахматы.

Да, деревянные счёты нужно отложить в сторону и пересесть за компьютер, но чтобы этот выбор приняли горцы, лидера надо избрать по законам той земли, которая взрастила весь народ. Есть ли смысл нам отказываться от апсуары – собственно-кодекса чести, уникальной системы координат, нашей древней философии и менять её на мифические преимущества западной цивилизации? Скрестить их и вывести абхазского козлотура у нас не получится. Апсуара и наша земля нераздельны. Это те природные соки, что подпитывают абхазов. Пересохнет источник – нас ждёт неминуемая смерть.

Игорь Герзмава согласно кивал:

– Знаете, почему топчемся на месте двадцать лет? Хотя как бы создаем, как бы что-то делаем... Раньше в старину над умирающим абхазом главными звучали слова, что он не присвоил ничего чужого. Заявления ждали все, тогда сын у смертного одра получал в наследство самое дорогое – незапятнанную совесть и честь. «У тебя

нет апсура! У тебя нет апсура! У тебя нет апсура!» – самое сильное наше ругательство.

А у нас как получилось?

Грузин прогнали, узаконили мародёрство, стали захватывать их дома, а счастья не нажили! Краденое не приносит счастья, потому как грех это великий. Чужое, как ржа, незаметно разъедает душу изнутри. Мы по сей день тычемся, как слепые котят, не можем найти выход. Почему на глазах у нас пелена? Зачем Боженька кружит нами? Он даёт понять: «Так нельзя!» Не помню, чтобы кто-то из мародёров закончил жизнь хорошо. Жить с чувством, что украл чужой труд, – наказание адово, вся жизнь, каждая ночь пройдёт в страхе. Пусть маленькое, но своё.

Закралась в душу плесень...

Получается, победа красивая, чистая, а потом вляпались в коровье дерьмо!

Кто-то оступился от безысходности, кто-то от боли, кто-то натворил зла от неведения. Те люди, кто себя в этом смысле сохранили, сберегли моральную чистоту, прямо смотрят детям в глаза. И я Бога не боюсь! Я с войны принёс один трофей – фляжку с коньяком. Всё. Я свой долг, как мужчина, в жизни исполнил: чужого не брал, собственными руками построил дом, сына воспитал, дерево посадил, войну выиграл, Родину не предал. Это же я завещаю своему сыну.

(Окончание в следующем номере)



Александр Викторович КОСТЮНИН

родился и живет в Карелии.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Прозаик, публицист. Автор трех книг прозы.

В ноябре 2007 года за книгу рассказов «В купели белой ночи»

стал лауреатом премии имени А.И.Куприна

с вручением памятного знака «За вклад в русскую литературу».

Член Союза писателей России.



Юлия БОДНАРЮК*г. Мурманск*

Ленинград... Декабрь 1937-го... Трамвай привычно позвякивал по рельсам, расчерчивая замерзший город кругами. Стекло превратилось в сплошной лёд, его уже непросто было растопить дыханием, чтобы понять, где проезжаешь. И вообще, тот ли это город и тот ли день?.. Мозаичные оранжевые отблески, пробившиеся сквозь оконную льдину, падали Даше на колени, на сложенные руки в белых варежках. Крупная капля, упавшая вдруг на рукав, тоже отблескивала уличным вечерним светом. Даша снова поехала и, пряча лицо от любопытных глаз попутчиков, прижалась лбом к колючему стеклу, чтобы никто не видел, как она плачет. Последние три дня она совсем не могла взять себя в руки. Слезы постоянно лились сами по себе — непрерывным потоком, без всхлипов, без истерик. На службе в одной из ленинградских контор приходилось низко склоняться над печатной машинкой, в магазине — прятать взгляд в витринах, на улице — кутать лицо в бобриковый мех воротника пальто. Ничего непоправимого еще не случилось, но страшное предчувствие уже поселилось в душе. Впрочем, сегодня она явственно поняла, что это неминуемое произойдет.

Отца, военинженера, арестовали ночью третьего дня. Это было стремительно, бесцеремонно и даже как-то буднично. Безразличного лейтенанта ничего не смущало — ни то, что отец старше его, ни испуганная, зареванная Даша. У кого-то жизнь надламывается, а для этого флегматичного лейтенанта полуночное вторжение — совершенно обычное дело. Когда отца увели, Даша не закрыла двери. Опустошенная, дрожащая от страха перед неизвестностью и холода, она опустилась на порог в одном халатике и просидела так несколько часов.

Размеренный ход трамвая немного успокоил Дашу. Она вновь пыталась собраться с мыслями, чтобы окончательно решить, что делать. Конечно, она много слышала об арестах. Да что слышала!.. Она случайно видела, как пришли за одиноко жившим майором с печальным лицом — он занимал квартиру этажом выше. Той ночью Даше не спалось, услышав, что за отцом шелкнула входная дверь, она вышла следом в переднюю. Отец безмолвно застыл в тусклом свете парадного. Мимо него люди в штатском провели наспех одетого майора с маленьким чемоданчиком, а два дня спустя квартиру соседа уже заняли другие жильцы... Ещё женщина из конторы, где ра-

ботала Даша... Она тоже пропала внезапно, говорили — следом за мужем... Даша копалась в памяти, припоминая, что еще слышала об этих ночных арестах, но в глубине души отказывалась верить, что настала та ночь, когда пришли и за ее отцом. Этого просто не может быть! Ведь ничто не предвещало беды! В тот вечер все было как обычно: домой он вернулся веселым, поужинали, прочли письмо от мамы...

Вспомнив про письмо, Даша сунула руку в глубокий карман пальто и нащупала три пухлых надорванных конверта. Она нашла их утром, письма были спрятаны в щель между столом и бюро. Слезы снова подступили к горлу — папа прятал конверты в тот момент, когда раздался звонок в дверь, он не хотел, чтобы чужие глаза читали мамины письма, — они не должны узнать, где она.

А мама отдыхала в санатории в Минводах — в последние месяцы она жаловалась на желудок, через неделю должна была вернуться домой. На следующий же день после ареста отца, паникуя, Даша спешно отправила маме письмо с просьбой задержаться на курорте. Но потом пожалела. О чём она думала! Маме нужно было скорее вернуться, ведь сама она толком не знала, как помочь отцу. Даша металась: то ей казалось, что маме безопаснее оставаться в Минводах, то пыривалась срочно вызвать ее в Ленинград, то жалела, что послала письмо, а не телеграмму. Когда в конторе был обеденный перерыв, в порыве она всё же сбегала на телеграф, отправила еще и телеграмму. Теперь она жалела о телеграмме тоже.

Всё. Какой-то неведомый прежде инстинкт блокировал на входе мысли, маскировал, изгонял из головы те детали, обдумать которые было сейчас жизненно важно.

Трамвай заскрежетал, вагон тряхнуло. Даша тоже вздрогнула и вновь попыталась упорядочить последние события в голове.

Итак, на следующий день после ареста, едва Даша переступила порог квартиры, вернувшись со службы, раздался телефонный звонок. Она взяла трубку. Отбой. Тот звонок был ещё и первым за весь день, как будто весть об аресте сама, без проводников, разлетелась и легла проклятием на их квартиру — чуть ли не впервые за годы телефон молчал. Даша проглотила ком в горле — снова вспомнилась та ночь без сна с жёлтыми тенями на потолке, когда даже пригревшийся у неё под боком кот не спал, то и дело он поднимал голову

и недоуменно смотрел на хозяйку. На следующее утро, когда Даша пыталась проглотить завтрак, телефон снова зазвонил, а сегодня ей позвонили в третий раз. На этот раз на работу. Общий телефон стоит на первом этаже, и вахтёрша поднималась, звала Дашу. Они вместе спустились вниз, но лишь только Даша произнесла «алло!», на том конце извинились и повесили трубку.

Трамвай лязгнул, готовясь выпустить в декабрьский вечер спешащих по домам пассажиров. Даша кинула взгляд в сторону входа, но тут же снова отвернулась к окну, пряча заплаканные глаза. От её слёз, дыхания и прикосновений разгорячённой щеки на стекле вытаял овальный глазок. Мимо проплывали окоченевшие от двадцатиградусного мороза ленинградские улицы. Над проспектом тяжёлой белой сеткой нависали обросшие густым инеем провода. По утоптанному до блеска тротуарам спешили прохожие, а над ними громоздились колонны и балюстрады, портики, балконы и окна, окна... Какими тусклыми казались они по сравнению с искрящимся снегом! Высокие белёные потолки с лепниной и бледные обои освещали матовые, на три рожка, люстры, а кое-где — и голые лампочки на проводах. Но этот тусклый сиротливый свет был бессилён, чтобы зажечь уютом высокие окна ленинградских квартир, в которые уже ломилась с улицы зимняя ночная чернота. Даша подумала, что ей тоже сейчас предстоит вернуться в свою опустевшую квартиру, снять пальто и окрасить таким же бессильным светом ещё три окна в этом городе.

И тут она спохватилась... Как домой? Домой нельзя.

Нельзя.

Это слово то и дело проскакивало в трамвайном многоголосом шуме, светилось на вывесках и множилось в стёклах домов. Просто нельзя, и всё. Даша сжалась в комок, сердце ухало от волнения. Что-то ей подсказывало: если пойти домой — потом уже ничего не исправишь.

До какого-то момента человек не придает значения эпизодам, не стыкующимся с собранной мозаикой своих представлений. Они кажутся лишними, их бы выбросить из памяти, но они уже свершились и гибельным грузом повисают на хрупкой конструкции жизни, которую человек уже успел выстроить, так ненадёжно уравно-

весив. Нравится это или нет, но надо строить по-новому, пока ею же не убило.

Даша снова запаниковала. Скомканные мысли в лихорадочной спешке сменяли одна другую. Нельзя... Оставаться в Ленинграде тоже нельзя... Надо уехать, и лучше сразу... Не дожидаясь утра. Это возможно. Сегодня она получила жалование. Его должно хватить на билет и на первое время. Паспорт и комсомольский билет тоже с собой.

Куда ехать?.. В Москву к дяде? Нет, там найдут в два счёта. К бабушке и тёте в маленький посёлок под Ярославлем. Точно! Они перебрались туда недавно, и её никто не станет там искать!

«Мама!» — вспомнила вдруг Даша. Мама должна вернуться в Ленинград в их квартиру, у неё путёвка, в санатории не остаться ни одного лишнего дня. «Зря всё же письмо отправила», — вновь укоряла себя Даша. Сама она, получив такое письмо, мигом бы рванула домой. Нет. Надо ехать к маме. опередить почту. Рассказать всё. И тогда вместе решать, как вытащить отца и спастись самим.

Даша немного успокоилась, соображая, как теперь лучше поступить. Стоит ли вообще сейчас ехать домой? Вещи, тряпки, конечно, жалко, но они уж точно не дороже их с мамой свободы. И куда потом со всем скарбом?.. Только... ведь дома остался кот! Она совсем забыла про кота.

Трамвай коротко звякнул, вагоны дернулись вперёд и замерли. В последние мгновения спохватившись, что это её остановка, Даша протиснулась между пассажирами и еле успела спрыгнуть с подножки. Трамвай прощально громыхнул и укатил в темноту, а девушка осталась посреди пустынной улицы одна.

Даша вообще теперь одна. Мама далеко. А папа... Он бесконечно далеко. Стоило вспомнить о нем, как у Даши сдавливало сердце и становилось тяжело дышать. Близко только рыжий Брыся, который ждёт её в пустой квартире.

Замерзшая Даша побрела к дому. От трамвайной остановки это было недалеко — в переулок, третья от угла арка во двор. К вечеру мороз окреп, и ей хотелось поскорее оказаться в тепле. Но чем ближе она подходила к дому, тем чаще в мозгу всплывало посетившее её в трамвае предчувствие. Нельзя... Нельзя... Нельзя... Эта мысль настойчиво выныривала из потока мыслей и замедляла Дашины шаги, она выскальзывала из тисков сотни разумных

доводов, которыми Даша пыталась её приструнить.

«Я ничего не буду делать. Не стану задерживаться, ничего не возьму... Только Брысю», — уговаривала себя Даша, и то, насколько всерьез сражалась она со своими предположениями, казалось ей признаком умопомешательства. «Вероятность, что за мной... что со мной что-нибудь случится в эти пять минут, ничтожна. Считай, её вообще нет!» — внушала своему страху девушка.

Вот и арка. Даша свернула во двор... Первый проходной. В арке было темно, дальше на ограниченном стеном квадрате слепил свет фонаря, от которого девушка скрылась в следующей подворотне. Тут земля неожиданно выбилась из-под ног. Даша ойкнула, взмахнула руками, но удержать равновесие не смогла и упала на укатанный снег. Открыв глаза, она увидела ледок, выпивший в колее, оставленной автомобилем.

Девушка поднялась на ноги, ощутив, что наступать на левую больно, и сморщилась от досады. Чёртова машина. Ладно, долго страдать нет времени.

Откуда взялась машина?

Автомобиля не было ни у кого во дворе. Да и быть не могло — люди здесь простые, питерские работяги, так же трудно было представить, чтобы кто-то из них вызвал такси. Только в её парадном жили военные, но не того ранга, чтобы за ними присылали машину. Но, с другой стороны, разве это так уж невероятно?..

Тем не менее Даша наклонилась и присмотрелась к следам на снегу. Они обрывались здесь же — автомобиль остановился в арке, а после сдал назад. Странно.

Даша сделала три шага назад, в темноту, где образовалось убежище от света всех дворовых фонарей. Разум всё ещё собирал на ниточку какие-то увещевания, но Даша уже не слушала его, потому что всё её существо, надрываясь, кричало, что надо бежать, бежать куда глаза глядят.

И Даша побежала.

Вернее, она пошла обратно — быстрым шагом, не оглядываясь и, по меньшей мере, несколько десятков секунд ни о чём не думая. Но снова оказавшись на улице, остановилась. Вспомнила: она ведь шла за котом.

Нет, кота надо оставить дома! Куда она с ним? В Минеральные Воды? В поезд, куда самой дай бог сесть?.. Надо попросить соседей забрать его.

Передать как-нибудь ключ. Позвонить из автомата, встретиться на улице, упросить...

Нет, ничего не получится. Даша по инерции сделала несколько шагов и остановилась под чьими-то тёмными окнами без штор. С того утра после папиного ареста соседи из квартиры напротив не проронили с нею ни слова. Они встречали её взгляд грустными глазами, едва кивали вместо приветствия, и только. И каждый раз при встрече с ними Даша читала в их глазах: «Жаль, очень жаль, но что поделаешь? У нас ведь и своя жизнь...» Соседка из другой квартиры на площадке терпеть её не может, вечно что-то шипит себе под нос, видимо, считая само Дашино существование на свете вопиющим неприличием. Кто ещё?.. Те, кто перестал её замечать или кто не замечал и прежде? Кто встанет под удар и пойдёт в квартиру, которую вот-вот опечатают, чтобы забрать чужого кота?

Даша обернулась и посмотрела в окно на уровне глаз. В комнату на первом этаже пробивался яркий бесцеремонный свет фонаря, и сквозь мутное стекло девушка различала даже мебель. В этот момент она устыдилась того, что подглядывает в чью-то квартиру, но в то же мгновение показалось, что оттуда, из темнеющего дверного проёма, за ней наблюдает встречный внимательный взгляд.

Как будто поднырнув, Даша резко наклонилась, метнулась в арку, укрылась в чужом парадном.

«Я схожу с ума, — она медленно поднималась по ступенькам, придерживаясь перил. — Пока ничего не произошло, и скоро это будет уже без надобности. Я сама закрываю себя там, откуда не выбраться... Я схожу с ума... Я ищу подтверждение своему психозу в тёмных окнах и следах на снегу и нахожу всё, что сама пожелаю».

На следующей площадке перегорела лампа, но туда пробивался снежно-голубоватый холодный свет. «Может, это, конечно, и психоз. Но только, если это правда, за недоверие к себе самой придётся слишком дорого заплатить», — мысленно спорила сама с собой Даша.

Сверху послышался скрип медленно открывающейся двери. Даша замерла, вцепившись в перила так, что свело пальцы. Звук утих. «Ну! Ты же комсомолка, ты офицерская дочь!» — мысленно бодрилась девушка. А что если её ждут именно здесь? Это озарение вонзилось

под рёбра холодным металлом, на мгновение Даша застыла на месте, но взяла себя в руки и продолжила подниматься наверх.

Глупая она. Если б нужна была кому, попала бы давно. Может быть, уже попалась... Даша дошла до верхней площадки лестницы. Что она значит для них? Да ничего. Девятнадцатилетняя машинистка, одна из миллионов. Значит, можно вот так, как многие, однажды ночью сгинуть — никто не заметит, а можно затеряться, и зависеть всё будет только от того, кто первым сделает выпад. И даже если никто не подкарауливает её сегодня, она права, вынуждая себя быть чрезмерно осторожной. Только надо забрать кота.

Вспомнив про кота, Даша развернулась и быстро пошла вниз. Мысленно она подсчитала время для того, чтобы пересечь двор, взбежать на свой этаж, открыть дверь, найти и схватить Брысю, спуститься вниз и выбраться из дворов на улицу. На всё про всё выходило около трёх минут. Но чем больше Даша приближалась к своей цели, тем удивительнее казалась способность трёх минут растягиваться до бесконечности или сжиматься в секунды, смотря на чьей стороне было время. Вот она, низкая квадратная арка, за которой, как освещённая софитами декорация из тёмного театра, нарисовался со всеми своими углами и нишами её двор. Фонарный свет падал в тоннель подворотни, где сталкивался с темнотой. Та самая демаркационная линия, которую Даша, повинувшись инстинкту самосохранения, не спешила переступить.

Почти во всех окнах в её доме горел свет. Только её три амальгамой отражали противоположную стену. Интересно, что сейчас делает Брыся? Спит на диване в папином кабинете или слоняется по подоконнику в кухне? А может, сидит прямо на окне и Даша его не видит? Она вгляделась, и ей показалось, что за стеклом вспыхнул и сразу погас огонёк.

Даша отскочила и прижалась к стене. Лавина панического страха накрыла её с головой, тело прошла дрожь. Что-то произошло с памятью или со зрением — теперь она не могла вспомнить, видела ли она огонёк спички в своей квартире или всё-таки в соседнем окне, окне лестничной площадки. В любом случае, на лестнице в их доме никто не курит.

Человек, смотревший из окон её дома, если

он, конечно, там был, не мог её видеть. Она слилась с тенью и боялась пошевелиться. Крепкий мороз теперь проник в каждую клетку тела. Дашу терзал озноб, леденели уши и щёки. Она машинально растёрла их варежками.

«Надо бросить кота. Нельзя рисковать. Надо предупредить маму. Да, надо оставить кота...»

Когда Даша мысленно произнесла последнюю фразу, внутри растеклось жгучее отвращение к себе. И тут же она вспомнила и даже будто почувствовала в своих руках Брысю — большого, тяжёлого, пушистого. Сидя у неё на руках, кот внимательно смотрел на Дашу своими зелёными глазами, будто ожидая чего-то от своей хозяйки. А может, он уже тогда боялся, что она однажды предаст его.

«Если у меня просто мания преследования... Кажется, это так называется... Если следы машины — обычное дело, а огонёк в окне мне просто померещился, мой Брыся умрёт от голода».

Плечи и голова Даши так и клонились к ледяной каменной стене, её тянуло к земле, к опоре. Но, маскируясь в зимней тени, держась за стену, Даша сделала ещё несколько шагов вперёд. Она вглядывалась в свои окна. Что она хотела там увидеть: подтверждение или опровержение своим мыслям? Ей показалось, что из окна во двор смотрит кот. От волнения Даше стало тяжело дышать и возникло головокружение.

«Может, кто-нибудь догадается, вспомнит, выпустит... Может быть, они, если они в квартире... Зверь же... Не вери же они... Он выживет, если только выберется из дома, — летели, сменяя друг друга, мысли, и только одна никуда не торопилась: — А если нет?»

«Я сейчас придумаю, как тебе помочь, котик!» — Даша выбралась из дворов на улицу и дошла до книжного магазина на углу. Надо было спокойно всё обдумать и принять решение.

Вечером в магазине всегда было много народу. Люди в толстых тяжёлых пальто и телогрейках стояли у прилавка, листая книги, перебалтываясь с продавщицей, школьники толкались у витрины с марками. Даша встала в уголок, за створку двери, уткнулась в стеллаж с книгами. Кто-то из ребятишек рядом громко заверещал, и продавщица пригрозила вывести его из магазина.

«Исследуем возможные маневры, — Даша старалась думать холодно и отвлечённо, подражая отцу, который любит повторять, что если

не мыслить трезво, то лучше вообще не мыслить. — Если мне не мерещится, если меня на самом деле ждуг, то выходить во двор рискованно, в парадное вообще опасно. Чёрный ход наглухо заколочен. Остаётся окно. Второй этаж — кот может спрыгнуть... Но только как открыть окно и как его выманить?..»

Дверь за спиной Даши вдруг вздрогнула, зазвенело разбитое стекло. Возмущённые оклики, возня, срывающийся вопль: «Тётя, я не хотел!» Девушка обернулась, когда продавщица, изловчившись, схватила за воротник шумного мальчугана и грозила вызвать милицию. Он болтался тряпкой, а потом, улучив момент, вывернулся из рук продавщицы и дёрнул к дверям. Даша быстро вышла за ним на улицу.

— Эй, стой! — она окликнула мальчишку, который был уже достаточно далеко. Он обернулся, потряс головой и прибавил шагу.

— Я видела, что ты не специально! — крикнула Даша вслед.

— А я специально, тётя! — он развернулся на каблучках и ослабил. Из-под низко надвинутой ушанки хитро блеснули хулиганистые глаза.

— А вот я живу в доме, где стёкла не бьются, — выпалила Даша, одновременно удивляясь тому, какую чепуху она способна нести. — И вообще, какая я тебе тётя!

— Врёшь! — заинтересовался паренёк.

— Не вру. В этом доме живут военные, и стёкла там особые, их даже из пистолета не пробить.

— А из снайперской винтовки? — любопытствуя, мальчишка подошёл ближе.

— Не из чего, — твердо заверила Даша. — Я же говорю: специальные стёкла из металлической пыли. Они секретные, если хочешь знать.

— А где этот дом?

Даша назвала адрес.

— А спорим, я разобью? — паренёк вытащил из кармана рогатку.

— Спорим! — Даша ликовала, понимая, что ее маневр удался.

Возле дома Даши, к счастью, по-прежнему никого не было. Она заглянула в лицо новому знакомому и строго предупредила:

— Только чур считаться будет, если стекло разобьётся, а если просто попадёшь — не в счёт!

— Тогда такой, — мальчишка притащил невесть откуда взявшийся зимой увесистый булыжник.

Даша прикинула, где может находиться кот, и показала пареньку на своё окно:

— Видишь на втором этаже три тёмных окна? По среднему, — и, заметив искру недоверия в глазах паренька, добавила, — что смотришь так? Это мои окна. К тому же ты его не разобьёшь!

— Давай смотри!

Стекло осыпалось вниз, как сверкающий дождь. В окнах замелькали лица, мальчишку как ветром сдуло. Впрочем, Даша этого не видела — она уже выскочила со двора на улицу. С холодным, как эта декабрьская ночь, спокойствием, выждав где-то полтора часа, девушка пошла обратно. Она сняла с головы меховую шапочку и спрятала её в сумку, меховой воротник пальто подняла и поверх воротника низко повязала голову платком, заменявшим ей шарф. Глянув в зеркальце и убедившись в том, что выглядит изрядной кулемой, никак не похожей на молодую девушку, Даша решительно направилась к дому.

Огонёк папиросы действительно маячил в окне лестничной клетки, теперь уже Даша не могла ошибиться. Не отвлекаясь на раздумья о том, кому он принадлежит, Даша пристально следила за оранжевой точкой. Вот она погасла. Как долго теперь придётся ждать?

Недолго! Вспыхнула спичка, и девушка метнулась через двор и прижалась к стене своего дома.

Если курильщик на лестнице действительно наклонился с папиросой в зубах к огню, то теперь уже не мог её увидеть из парадного.

Даша долго не могла заставить себя подать голос. Она повторяла «Брыся, кис-кис... Брыся, иди ко мне!», но из горла не вырывалось ни звука.

«Возьми себя в руки. Осталось чуть-чуть — последнее. Дальше можно будет дать волю страху и бежать».

— Брыся, — тихонько позвала Даша. — Брыся, иди ко мне!

Она запрокинула голову. Разбитое окно испускало в чёрный кривой четырёхугольник неба едва заметный белесый пар. Через несколько минут над карнизом показалась круглая мохнатая мордочка.

— Иди ко мне, — позвала Даша, с ужасом представляя, сколько времени уйдёт на уговоры.

Но кот, будто того и ждал, тут же прыгнул в снег.

Брыся за пазухой сидел тихо, только изредка пытаясь просунуть любопытную морду между пуговицами. От него шло ровное тепло. «Теперь главное — билеты!» — чувствуя тяжесть кота на руке, которой она придерживала его под пальто, Даша спешила к вокзалу.

□

Юлия Александровна БОДНАРЮК

родилась в городе Кола.

Окончила Мурманский государственный технический университет по специальности «связи с общественностью».

Литературный дебют состоялся в 2014 году в журнале «Аврора».

Также публиковалась в альманахе «Площадь Первоучителей» и сборниках произведений

лауреатов литературных конкурсов Мурманской области.

В 2015 году вышла в свет ее первая книга «Перебежчик» (роман).

Трижды входила в лонг-лист независимой литературной премии «Дебют».

Дважды лауреат фестиваля молодых литераторов «Знаки».

Лауреат конкурса «Северная звезда-2014».

Живет в Мурманске.

В журнале «Север» публикуется впервые.





– Анатолий Викторович, Петрозаводскому государственному университету исполняется 75 лет. По человеческим меркам, это целая жизнь. В любой жизни бывают очень яркие, значимые события. Какие события, на Ваш взгляд, стали для развития университета если не судьбоносными, то определяющими его статус?

– Прежде всего позвольте сказать несколько слов о создании нашего университета. 31 марта 1940 г. был принят Закон Верховного Совета СССР о преобразовании Карельской АССР в союзную Карело-Финскую ССР. Вопрос рассматривался на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) с участием И.В. Сталина. В ходе об-

суждения возник ряд предложений об оказании помощи молодой республике, в том числе об организации университета. Проект первоочередных мероприятий, составленный комиссией Политбюро (А.А. Жданов, Г.М. Маленков) с участием представителей Карелии, был оформлен соответствующим постановлением, в котором предусматривалось, в частности, «учредить в г.Петрозаводске государственный университет. Кадровыми обещал помочь А.А. Жданов за счет Ленинградского университета и других учебных заведений Ленинграда. С открытием нового вуза связывалось расширение подготовки специалистов для народного хозяйства и развитие научных исследований. Совет На-

родных Комиссаров СССР 10 июля 1940 г. поддержал это решение. Карело-Финский государственный университет (КФГУ) создан на базе Карельского государственного педагогического института в составе четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического, биологического и географо-гидрогеологического. Этот факт показывает, насколько история ПетрГУ тесно связана с историей нашей республики и страны.

Стоит отметить, что университет пережил два рождения: в первое послевоенное десятилетие пришлось восстанавливать разрушенное и утраченное в годы войны. Деятельность молодого вуза определялась учеными, прие-



*Ректор Петрозаводского
государственного
университета
Анатолий Воронин
поздравляет
студентов-первокурсников
с успешным поступлением
в университет
и началом
учебного года*



хавшими к нам из Ленинграда, а также – преподавателями пединститута.

В 1954 г. был создан лесоинженерный факультет, при котором двумя годами позже открылось вечернее отделение для обучения рабочих и служащих Онежского тракторного завода. В 1960 г. следующий важный шаг: появился медицинский факультет. В августе 1962 г. открывается общетехнический факультет в составе четырех потоков: механического, строительного, энергетического и технического. Факультет осуществлял подготовку инженерных кадров по вечерней и заочной формам обучения в течение трех лет, после чего студенты переводились для завершения обучения на инженерные специальности университета или других технических вузов страны. Такая форма обучения способствовала привлечению в вуз работающей молодежи. В результате всех этих изменений к концу 60-х годов в университете сложилась многопрофильная подготовка кадров. Студенты обучались уже по 13 специальностям.

Позже создаются сельскохозяйственный факультет, экономический и юридический факультеты, факультет политических и социальных наук, факультет прибалтийско-финской филологии, факультет повышения квалификации. В 2013 г., сразу после присоединения КГПА, в ПетрГУ созданы Институт иностранных языков, Институт педагогики и психологии и Институт физической культуры, спорта и туризма. В настоящее время в связи с увеличивающимся потоком студентов из-за рубежа создан подготовительный фа-

культет для иностранных студентов.

Огромную роль в создании современного университета сыграли мои знаменитые предшественники – ректоры В.В. Стефаныхин (1957–1972), М.И. Шумилов (1973–1990), В.Н. Васильев (1991–2005) и основоположники научно-педагогических направлений: Д. В. Бубрих, Е.А. Веселов, Ю.С. Терминасов, А.П. Зильбер, И.М. Менделеев, И.П. Лупанова, Е.П. Карманова, В.И. Чернецкий и другие. Большую роль в кадровом обеспечении университета в 70–80-х годах сыграли выпускники целевых аспирантур столичных вузов, прежде всего ЛГУ и МГУ. Многие из них сегодня являются ведущими профессорами университета, возглавляют кафедры, факультеты и институты.

ПетрГУ сегодня – это десять факультетов, 7 институтов, Кольский филиал в г. Апатиты Мурманской области. Это более 13 000 студентов!

Отмечу, что с 2003 г. ПетрГУ постоянно вводит в действие новые объекты и активно развивает материально-техническую базу. В университетском кампусе на Древянке построены учебно-лабораторные корпуса физико-технического и горно-геологического факультетов, бассейн «Онега» и спортивные площадки. В 2009 г. ввели в действие 1-ю очередь здания IT-парка, годом позже запущена 2-я очередь. В прошлом году завершено строительство здания Института высоких биомедицинских технологий. В сентябре 2015 г. открываем новое студенческое общежитие. Продолжаем ремонты в других общежитиях и корпусах ПетрГУ (в первую очередь доставшихся нам от КГПА).

Уверен, что значимые события для учебного заведения – это и успехи его преподавательского состава, студентов и выпускников, их научная и общественная деятельность. И в этом направлении у ПетрГУ есть множество достижений.

– Какие, например?

– Называю навскидку. PETSU – планета, открытая учеными ПетрГУ. Она внесена в международный сборник «Эфемериды малых планет». Профессор ПетрГУ А.Ю. Мейгал – участник уникального международного эксперимента «Марс-500», смоделированного полета на Марс. В нашем университете успешно работает лаборатория молекулярной генетики врожденного иммунитета – одна из 39, созданных в 2011 году в Российской Федерации с приглашением ученого с мировым именем А.Н. Полторака. Президент Международного общества Достоевского, профессор ПетрГУ В.Н. Захаров, его научный коллектив издают уникальное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Вам, конечно, знакомы тома этого издания. Международный исследовательский центр «Оксидная электроника» является ведущим мировым центром в области разработки и создания элементной базы и устройств некремниевой микро- и нанoeлектроники. Петрозаводский университет определяет политику развития садкового рыбоводства России, не случайно 70 % озерной форели России производится в Карелии. Технология определения местоположения в пространстве RealTrac, разра-

ботанная в ПетрГУ, победила на мировом первенстве локальных систем позиционирования, проходившем в Мадриде в 2013 году на точность локации. С нескрываемой гордостью отмечу, что за последние четыре года на международной выставке «Высокие технологии, инновации, инвестиции» проекты и разработки ПетрГУ завоевали 6 золотых и 18 серебряных медалей.

– Да, эти факты деятельности университета производят сильное впечатление. А деятельность университета, в свою очередь, определяет судьбы выпускников, а значит, и нашей республики. Какими своими выпускниками гордится университет?

– На этот вопрос не просто ответить, поскольку трудно перечислить тысячи имен наших выпускников, чья деятельность оказала большое влияние не только на жизнь Карелии, но и всей России. ПетрГУ гордится всеми выпускниками, которые профессионально трудились и продолжают работать в разных областях. Отмечу, что более 70% наших выпускников остаются работать в Карелии. Выпускники университета составляют основу руководящего корпуса практически всех предприятий и организаций, представляющих различные отрасли промышленности, экономики и социальной сферы. Многие выпускники связали свою жизнь с работой в родном университете и стали ведущими профессорами, преподавателями и сотрудниками ПетрГУ.

Они являются не только про-

фессионалами, но и энтузиастами своего дела. А ведь именно энтузиасты обеспечивают развитие.

За свою историю университет подготовил более 70 тысяч специалистов высшей квалификации, среди которых есть академики, деятели науки и культуры с мировым именем, государственные деятели. Всех не перечислить, поэтому приведу только несколько фамилий.

Среди наших выпускников – один из руководителей СССР Юрий Владимирович Андропов, Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1946–1951 гг. он учился на историко-филологическом факультете КФГУ.

Среди известных выпускников, чья деятельность продолжается, – Рашид Гумарович Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности России, министр внутренних дел Российской Федерации в 2004–2012 гг., генерал армии. В 1979 г. он окончил наш физико-математический факультет; Вениамин Шаевич Каганов, заместитель министра образования и науки России, выпускник физмата 1980 г.

Не могу не назвать имена людей, масштаб деятельности которых носит и всероссийский характер и в то же время ярко проявился в Карелии. Это Сергей Леонидович Катанандов – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководитель Республики Карелия в 1998–2010 годах, в 1977 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства (ПГС). Валентина Николаевна Пивненко, первый зампредела Комитета по проблемам Севе-

ра и Дальнего Востока Государственной думы РФ – выпускница историко-филологического факультета 1978 года. Выпускник ПГС – Валерий Александрович Шлямин, торговый представитель РФ в Финляндии, бывший министром экономического развития и министром внешних связей нашей республики. Виктор Николаевич Масляков, руководивший Федеральным агентством лесного хозяйства в 2010–2013 годах, а до этого работавший главой Петрозаводского городского округа, в 1983 году окончил сельскохозяйственный факультет.

Не отстают от своих старших коллег и выпускники последних лет: И.В. Валентик – руководитель Федерального агентства по лесному хозяйству; Д. Денисов, И. и А. Николаевские – серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира по программированию; А. Новичонок открыл десятки малых планет и комет, в том числе и знаменитую комету ISON; Н. Кузнецова имеет две медали РАН за исследовательские работы в области истории. И этот перечень можно продолжать и продолжать ...

Думаю, читателям литературного журнала «Север» известно или будет интересно узнать, что из Петрозаводского университета ушёл на фронт во время Великой Отечественной войны поэт Сергей Орлов, учившийся тогда на историко-филологическом факультете (ИФФ); в начале 50-х студентом того же факультета был Роберт Рождественский; уважаемый редактор «Севера» Е.Е.Пиетилияйнен – выпускница всё того же ИФФ.

– Престиж любого вуза зависит не только от современной технической оснащенности, но и от людей, работающих в нем. Каковы приоритеты Вашей кадровой политики?

– Петрозаводский университет считается одним из лучших классических университетов страны, объединяющих в себе естественнонаучное и гуманитарное образование с фундаментальной наукой, что позволяет обеспечивать качество классического образования и соответствовать современности. ПетрГУ занимает 39-е место из 832 вузов Российской Федерации согласно Национальному рейтингу университетов 2014/2015 учебного года, составленному группой «Интерфакс» и «Эхо Москвы». Университет как современный инновационный вуз стремится укрепить свои позиции среди российских лидеров в области качества подготовки специалистов высшей квалификации, организации образовательного процесса, научных исследований, сохраняя и приумножая лучшие традиции классического университетского образования.

В соответствии с этими целями формируется и преподавательский состав. Могу отметить, что в ПетрГУ сегодня более 1000 преподавателей и научных сотрудников, среди которых 7 членов РАН и РААСН, более 700 докторов и кандидатов наук. Как можно заметить, профессорский корпус у нас сильный, а это главный фактор успеха любого университета, как и поддержка ведущих научно-педагогических школ. Важно сохранять возрастную баланс

членов коллектива, обеспечить приток молодых квалифицированных сотрудников, сохранять преемственность и традиции, доброжелательную атмосферу, если угодно – университетский дух. Очень важным на фоне стремительно меняющегося мира и огромных потоков разного рода информации является постоянное повышение квалификации преподавателей, участие преподавателей и сотрудников вуза в ведущих российских и международных конференциях и семинарах, публикации в ведущих научных журналах. Сегодня большое внимание уделяется академической мобильности преподавателей, программам научного и образовательного обмена.

Конечно, для эффективного управления деятельностью университета требуются лидеры на всех уровнях: факультет и институт, кафедра, ректорат, управление, отдел. Именно поэтому в ПетрГУ создана сильная управленческая команда, которую отличают высокая работоспособность, творческий подход к решению сложных задач, умение адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды. Важную роль в работе университета играет регулярное обсуждение в коллективе всех важных вопросов, коллегиальность в принятии решений на заседаниях ученого совета университета, ученых советов факультетов и институтов, профильных советов по направлениям деятельности, совета ветеранов.

Очень тесное взаимодействие и взаимопонимание сложилось с профсоюзными организациями преподавателей и сотрудников, студентов.

Приведу свежий пример такого сотрудничества: Коллективный договор ПетрГУ вошел в десятку лучших по России согласно результатам Всероссийского конкурса Общероссийского профсоюза образования. Действительно, представители профсоюзных организаций активно участвуют во всех коллегиальных органах управления вузом, в развитии университета и защите прав членов коллектива.

Очень важно готовить будущих лидеров со студенческой скамьи. В этой связи еще один пример. Более 15 лет успешно реализуется проект «Межфакультетская группа студентов» под руководством Главы Республики Карелия и ректора ПетрГУ. В состав каждой группы входят студенты разных факультетов и институтов ПетрГУ, прошедшие отбор по конкурсу. Студенты в течение двух лет параллельно с основной учебной изучают вопросы управления и предпринимательства, командообразования, организации проектной работы и лидерства, волонтерства, проблематики РК и РФ. Практически все занятия проходят в интерактивных формах, с использованием современных образовательных технологий и методик, нацелены на решение реальных проблем республики.

– Любая конкуренция – двигатель прогресса. Какие, по-Вашему, у Петрозаводского госуниверситета есть конкурентные преимущества перед другими вузами страны?

– Наверное, невозможно иметь конкурентные преимущества перед всеми вузами

страны. Поэтому скажу о конкурентоспособности ПетрГУ. Начну с уже упомянутого мною Национального рейтинга. Наш университет в 2015 году занимает 5-е место в СЗФО из более чем 80 вузов, уступая только четырем питерским вузам (СПбГУ, СПбГПУ, СПбГТУ ИТМО и ЛЭТИ). В мониторинге эффективности деятельности вузов ПетрГУ соответствует 7 критериям из 7 возможных. Цифры, согласитесь, говорят сами за себя: это означает, что университет сегодня абсолютно конкурентоспособен как в СЗФО, так и в России в целом по уровню образовательных программ, научных исследований, инновационно-производственной деятельности, международного сотрудничества, научной и образовательной инфраструктуры.

Одним из важных преимуществ классического университета – а ПетрГУ именно такой вуз – является наличие естественно-научных, гуманитарных, технических и педагогических направлений, что позволяет осуществлять междисциплинарные исследования, за которыми уже настоящее науки, а тем более ее будущее. Этого преимущества лишены многие отраслевые и профильные вузы. За последние 5 лет ПетрГУ стал победителем в десятках крупных конкурсов федеральных и международных программ, проектов и грантов на сумму более 2 млрд рублей, в том числе в конкурсах «мегагрантов» и федеральных целевых программ Минобрнауки, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Президентской

программы подготовки инженерных кадров, программ Сколково и Роснано. Университет победил в конкурсе программ стратегического развития вузов с финансированием в 2012–2014 гг. в размере 300 млн рублей. В июле 2015 г. победил в конкурсе на создание Инжинирингового центра с финансированием 100 млн рублей на 2015–2016 гг.

Наше конкурентное преимущество – это ведущие научно-педагогические школы мирового уровня: Карельская нейрофизиологическая школа (рук. проф. Ю.В. Лупандин, проф. А.Ю. Мейгал), Медицина критических состояний (рук. проф. А.П. Зильбер), Физика и диагностика низкотемпературной плазмы и плазменные методы модификации микро- и наноматериалов (рук. проф. В.И. Сысун), Популяционная биология животных (рук. проф. Э.В. Ивантер), Генетические основы повышения продуктивности, плодовитости и резистентности сельскохозяйственных животных (рук. проф. А.Е. Болгов), Отечественной истории (рук. проф. М.И. Шумилов), История, поэтика, текстология русской словесности: традиции и новации (рук. проф. В.Н. Захаров), Русский язык в его развитии и функционировании (рук. проф. Н.В. Патроева), Этноархитектуроведение (рук. проф. В.П. Орфинский), Математическое моделирование естественнонаучных и хозяйственных процессов и систем управления (рук. проф. В.А. Кузнецов), Исследование иммуновоспалительных заболеваний (рук. проф. И.М. Марусенко), Технологии рационального лесопользования

(рук. проф. И.Р. Шегельман), Мониторинг и моделирование социально-экономической динамики (рук. проф. В.А. Гуртов), Институциональное развитие региона (рук. проф. В.Б. Акулов), Оксидная электроника (рук. проф. Г.Б. Стефанович). Кроме того, ПетрГУ – лидер в сфере обучения и прикладных исследований в области карельского, вепсского и финского языков, североамериканских исследований в области истории, политологии, международных отношений, права и культуры.

На протяжении многих десятилетий ПетрГУ является одним из лидеров в области прикладной математики и информационных технологий. Студенты ПетрГУ за последние 10 лет семь раз выходили в финал чемпионата мира по программированию, трижды становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов. IT-парк ПетрГУ является одним из лучших в стране, ежегодно выполняет контракты для ведущих российских и зарубежных предприятий и организаций на сумму более 250 млн руб. С начала 90-х годов ПетрГУ является одним из лидеров в области международного сотрудничества, занимая места в первой пятерке университетских российских рейтингов.

Университет может развиваться, если в нем обучаются сильные студенты. Поэтому, несмотря на географические сложности: близость Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии, много занимаемся профориентационной и исследовательской работой со школьниками. Так, например, в сентябре открываем научно-проектный центр для школь-

ников республики, где они совместно со специалистами ПетрГУ смогут научиться самостоятельному поиску информации, командной работе над проектом и получить исследовательские навыки в области математики, программирования, робототехники, микроэлектроники и изобретательства. В состав центра вошли научно-технические лаборатории, центр прототипирования, Музей науки. Данный проект получил поддержку Министерства образования и науки РФ, к нему подключились наши партнеры из EMC, Intel, LEGO Education и Polymedia. Уверен, что в недалеком будущем центр не только станет региональной образовательной площадкой, но и выйдет на российский уровень благодаря взаимодействию с ведущими экспертами и педагогами, школьниками из других регионов, а знакомство с передовыми мировыми практиками, получение практических навыков повысит мотивацию школьников работать в инженерно-технической и информационной сфере.

Всегда искренне говорю, что в нашем университете учатся лучшие в мире студенты – умные, энергичные, творческие и дружные. Ведь атмосфера в студенческом коллективе, возможности, имеющиеся у студентов, – это тоже конкурентное преимущество. Четыре года подряд наши студенты побеждают в конкурсах Минобрнауки на лучшие программы развития деятельности студенческих объединений.

Многие инициативы студентов нашего университета выходят за рамки вуза и перерастают в масштабные проекты. Так произошло с волонтерским

проектом «Я – донор», велодвижением «VELOVE», фестивалем Ассоциации спортивных студенческих клубов России, проектами с участием обучающихся с ограниченными возможностями по покорению вулканов Камчатки и тысячекилометровой экспедицией на собачьих упряжках и другими.

Действующие стипендиальные программы: стипендии Президента и Правительства РФ; стипендии Главы РК; стипендии Минобрнауки за достижения в области учебы, науки, спортивных и общественных достижений; стипендии Оксфордского российского фонда и Фонда В. Потанина; стипендии Ученого совета ПетрГУ и стипендии для изучающих карельский и вепсский языки; другие именные и ведомственные стипендии стимулируют студентов к реализации всех имеющихся у них возможностей и интересов.

В ПетрГУ бережно хранят культурные традиции. Визитными карточками вуза по праву являются Академический хор – обладатель золотой и серебряной медалей Всемирных хоровых игр, проходивших в 2014 г. в г. Риге, ансамбль народной музыки «Тойве» – уникальный коллектив, сочетающий в своем репертуаре музыку, песни, танцевальную культуру финно-угорского мира, и не только, дважды народный театр-студия «ТИС». Несомненно, творческая сокровищница нашего университета пополнилась коллективами, изначально работавшими в Карельской государственной педагогической академии. Это и ансамбль народного танца «Карельский сувенир», студенческие театры «БЭСТ» и «Миракль», ансамбль этничес-

кой музыки и импровизации «Джинс-кантеле».

Несмотря на сегодняшние достижения, мы не останавливаемся на достигнутом, а планируем повысить свою конкурентоспособность и войти к 2020 году в Топ-30 лучших вузов страны.

– Журнал «Север» и Петрозаводский госуниверситет – юбилеры-двойняшки. «Север» в Год литературы тоже отмечает свой юбилей. Я знаю, что ни одно значимое литературное событие в Карелии не обходится без Вашего участия. Многие известные писатели – Евгений Евтушенко, Лев Аннинский, Фазиль Искандер, Алексей Варламов, главные редакторы столичных литературных журналов Валерий Дударев, Андрей Василевский, Наталья Гранцева, с которыми у «Севера» хороши творческие связи, выступали в стенах ПетрГУ, отмечая высокую заинтересованность студентов и преподавателей в таком общении. Хотя считается, что сегодня литература не является приоритетом. Как Вам, руководителю многопрофильного вуза, где наряду с гуманитарными направлениями успешно работают и технические, и естественные, и финансово-экономические, удается мотивировать молодежь на постижение как литературы, так и живых писателей?

– Я всегда разделял смысл высказывания Эйнштейна, что «образование – это то, что остается, когда все выученное забывается».

Студент получает знания и,

главное, опыт, не только из информационных источников, но и от общения с живыми людьми – преподавателями, учеными, творческими личностями. И не важно, какую специальность он выбирает.

Я всегда поддерживаю приезд известных, успешных людей. Ведь и успех – вещь заразительная. И только в личном контакте можно почувствовать харизму живого писателя, заглянуть в потайную мастерскую творческого труда. Кроме того, мне кажется, что писатель – если он продолжает традиции великой русской классики – это носитель человечности, мудрости, тех качеств, которые очень востребованы современной молодежью.

– Наверно, в Вас говорят педагогические гены. Известно, что Вы из семьи педагогов, а школа в пос. Ревда Мурманской области носит имя Вашего отца – Виктора Степановича Воронина. И всю свою трудовую жизнь Вы посвятили Петрозаводскому государственному университету?

– Я очень благодарен своим родителям, мне кажется, они научили меня жить работой и получать от этого удовольствие, хотя ничего для этого специально не делали – просто работали с утра до поздней ночи. Папа был учителем истории и директором школы, мама – учительницей начальных классов по русскому языку и литературе.

В университет я пришел в 1979 году студентом физико-математического факультета и с тех пор с ним не расстаюсь. Несмотря на то что многие годы работаю в руководстве вуза, всегда с удоволь-

ствием вспоминаю студенческое время и стараюсь всемерно поддерживать студенческие инициативы.

– Сейчас университет переживает множество реформ и преобразований. «Не дай бог жить в эпоху перемен», – гласит китайская мудрость. Какими Вы видите результаты этих преобразований? Каким прогнозируете будущее университета?

– Думаю, что «эпоха перемен» теперь навсегда. Стремительно растет глобализация мировых процессов, резко возросли темп жизни и уровень конкуренции (не всегда добросовестной) во всех сферах. Все чаще происходят кризисные явления в мировой экономике. Идет и будет только ожесточаться битва за природные ресурсы и влияние в мире.

В этой борьбе будут чувствовать себя уверенно конкурентоспособные государства с высокообразованным населением, мировым уровнем научных исследований и инноваций, высокотехнологичной экономикой, стабильностью в политической и общественной жизни.

Поэтому роль университетов в мире и в нашей стране, конечно, будет только возрастать, а уровень конкуренции существенно повышаться.

Уверен, что у ПетрГУ есть все возможности для дальнейшего развития как многопрофильного классического университета, реализующего образовательные программы и проводящего научные исследования мирового уровня, как «генератора» новых знаний,

наукоемких технологий и разработок. Университет будет играть все более возрастающую роль в республике и на Севере Европы, продолжит активное сотрудничество в области образования, науки и предпринимательства с ведущими российскими и зарубежными университетами и предприятиями.

Очевидно, что в ближайшие годы университеты будут сталкиваться со сложной демографической ситуацией, серьезными финансовыми и материальными ограничениями. Это потребует еще более эффективной и слаженной работы всего коллектива преподавателей, сотрудников и студентов ПетрГУ.

Отмечу тот факт, что сразу после празднования юбилея мы, думая о будущем, начнем работу по созданию новой Программы стратегического развития Петрозаводского государственного университета на период до 2020 г.

– Анатолий Викторович, поздравляем Вас и коллектив университета с юбилеем, желаем неперенных успехов, оптимизма, дальнейшего развития и процветания. В свою очередь, что бы Вы хотели пожелать журналу «Север» в юбилейный год?

– Талантливых авторов и верных читателей. Пусть «Север» остается брендом Карелии и гордостью нашей страны еще многие годы!



Геннадий
РЯЗАНЦЕВ-
СЕДОГИН

г. Липецк

*Есть земля живых и земля
мертвых и мост между ними —
любовь, единственный смысл,
единственное спасение.*

Т. Уайлдер

Здание архива располагалось за рынком, между пожаркой и храмом Преображения Господня.

Оно напоминало большой сундук с нарисованными на нем в два ряда окнами и дверью посередине. Типичное здание советского периода: безликое, лишённое каких-либо архитектурных изысков. Каким-то образом оно соотносилось с пожаркой — такое же прямоугольное и удлиненное. Но пожарке придавали смысл стоящие рядом красные машины с лестницами наверху. А здание архива было просто сундуком, владельцем которого мог быть кто угодно: представитель любого класса или сословия, от местного ЖЭКа до комитета профсоюзов.

Церковь Преображения, некогда вдумчиво вписанная архитектором в пространство небольшого купеческого провинциального города, теперь смотрелась игрушечно-сказочно на фоне городской промышленной зоны. С грубым пейзажем ее роднили, пожалуй, купола, грубо и безвкусно покрашенные реставраторами яркосиней краской.

Я подошел к зданию, открыл незапертую дверь и оказался в полутемном коридоре областного архива. Меня встретил человек, который точно соответствовал моим представлениям об архивариусе. Он был невысокого роста, в тяжелых ботинках, на которые спадали складками невыглаженные брюки. На нем были драповый коричневый пиджак и темный джемпер, из-под которого белела рубашка и торчал узел бордового галстука. Плечи архивариуса свисали вперед, он сутулился. Лицо было невыразительно. Толстые роговые очки привлекали внимание своей тяжеловесностью, сквозь их стекла были видны по-китайски маленькие, узкие глазки.

— Что вы хотите? — спросил меня архивариус.

— Меня интересует история строительства собора главного храма нашего города, кафедрального собора Рождества Христова.

— Это любопытно, — пропел высоким голосом архивариус, — хотя и неудивительно. Пришло

Земля живых

роман

журнальный
вариант



время открывать то, что долго лежало под спудом. А кто вы по профессии?

Мне почему-то не хотелось говорить ему о своей профессии, но и сказать неправду я тоже не хотел. Но что-то надо было ответить. Я мог бы назваться журналистом, потому что был членом этого союза; мог бы представиться писателем, потому что также состоял в Союзе писателей, или директором гимназии, которую возглавлял уже несколько лет, но подлинная моя профессия, которая была моей повседневной работой...

— Впрочем, — прервал мои размышления архивариус, — я вижу, вы исследователь. Пойдемте, я предоставлю вам некоторые интересные вас документы.

— У вас паспорт с собой? — спросил идущий передо мной сутулый человек.

— Да, конечно.

Пригласив меня в небольшую комнату, похожую на маленький читальный зал, он попросил подождать.

С самого детства я не переносил запаха старых книжек, запаха сухих пожелтевших страниц. Его ни с каким другим невозможно спутать. Запахи — это невидимая пыль, самая мелкая пыль на свете. Такая же легкая, как воздух. Она бьет прямо в слизистую носа, проникает в сосуды бронхов и закупоривает их. Я это знал не понаслышке, так как все детство проболел астмой.

Говорят, что астматики наделены особым восприятием. Их чувства утончены, видимо потому, что они во время приступов удушья переживают страх близости смерти, когда восприятие становится настолько активным, что обостряются все пять физических чувств, которые, как щупальца, вцепляются в жизнь. При этом активизируется шестое чувство, видящее тонкий мир, мир фантомов и привидений. Я помню, что ночью (а приступы почему-то всегда обострялись к ночи, как, впрочем, и все болезни) я мог созерцать предметы, увеличенные во множество раз. Это могли быть стулья, шкафы, горшок с геранью. Я мог видеть числа — числа представлялись особенно часто. Они принимали гигантские размеры и пугающе двигались на меня. Я помню, как изменялось само пространство. В третьем классе я ходил в школу во вторую смену, и на последнем уроке, когда за большими окнами становилось темно, включали свет. Тускло загорались круглые шары пла-

фонов на потолке. Свет был слабым, и я видел, как учительница со столом отодвигалась в глубину класса и превращалась в маленькое, игрушечное существо. Комната удлинялась, и в ней становилось сумеречно, зыбко.

Я предчувствовал, что сегодня вечером случится приступ удушья, я знал, что, когда пойду домой, земля под ногами будет проваливаться и я часто буду спотыкаться и, спотыкаясь, буду испытывать страх. Позже я нашел причины происхождения детской астмы. Она кроется в сильной впечатлительности, и, если ребенок не умеет контролировать свое эмоциональное состояние (а он не умеет этого делать, потому что сознание еще не пробудилось), его окружают страхи. Что-то подобное выражено в офорте Франциска Гойи «Сон разума рождает чудовищ». От страхов перевозбуждается дыхательный центр, который находится в глубине мозга, ослабевает, и контроль над сосудами бронхов теряется. Вот тут-то и начинается приступ.

Кстати, Марсель Пруст был астматиком. Его вывозили на природу в законопаченном автомобиле, чтобы туда не могли проникнуть никакие запахи. Он был настолько утончен, что, видимо, оказывался «человеком без кожи», и живая природа стремилась соединиться с ним настолько, что жаждала его поглотить. Его телесность не справлялась с этим своевольным призывом творенья. Он всю свою жизнь просидел в замкнутом пространстве, не живя, а созерцая окружающий мир и описывая его в удивительных подробностях недоступным толстокожим людям.

Я не любил этот запах старины ещё и потому, что он напоминал мне о прошедшем, умершем времени. А оно всегда жаждет ожить и требует человеческой энергии. Я часто наблюдаю, как люди живут прошлым. Вспоминают события, обстоятельства давно ушедшей жизни, а вспоминая, возвращаются к ним вновь и вновь, часто повторяясь в своих рассказах, тоскуют об ушедшем времени и плачут. О, это самое ужасное! Люди, живущие прошлым, уходят из реальной жизни и, кажется, постепенно умирают вместе с ним.

— Дайте мне ваш паспорт, — прервал мои размышления архивариус, — а я вам подам эту папку. Она прошита, все листочки пронумерованы. Работайте. Материал по собору Рождества Христова небогатый. Может быть, что-то и было

утрачено. Сами понимаете, какое время пережила церковь... Но это все, чем мы располагаем.

Я отдал в руки архивариуса паспорт и взял папку. От нее на меня сразу пахнуло этим запахом пресной, но уже высохшей сырости. Я даже на мгновение отстранился от документа. Слава богу, болезнь моя прошла вместе с переходным возрастом, с этой «роковой порой», по остроумному замечанию Владимира Сергеевича Соловьева. Но опасения все же никогда не оставляют меня. Хорошо, что сейчас переиздают все старые церковные книги, а как я мучился многие годы.

Развязав папку, я извлек пожелтевшие сшитые листы и вот что прочитал: «Христорождественский кафедральный собор – православный храм, расположенный на центральной площади города Липецка, Соборной. Архитектор – Томазо Адолини.

Строительство храма было завершено в 1842 году. Собор построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, благословению Святейшего Синода и преосвященного Иннокентия, епископа Воронежского. Согласно традиционной точке зрения, строительство каменной соборной церкви Рождества Христова началось в 1791 году. Возведение храмовой части Христорождественского собора в основном было завершено к 1803 году, но освятить построенный храм удалось не сразу: произошел пожар, во время которого сгорели все деревянные части собора, сильно пострадал и основной объем здания. К 1805 году соборная церковь была вновь открыта усердием многих благотворителей, а 20 июня 1805 года освящен первый престол нового храма во имя святого Николая Чудотворца. Главный соборный престол в честь Рождества Христова освятили 25 мая 1807 года. Именно с этого времени к Христорождественскому храму от Вознесенской церкви, которая стояла на нынешней театральной площади, переходит функция соборного храма Липецка. Третий престол в храмовой части (правый в южном пределе) был освящен в 1816 году.

В 1822 году было принято решение о возведении церковной колокольни, спроектированной в строгом классическом стиле. Строительство ее начато в 1825 году. В начале XX века на колокольне Христорождественского собора насчитывалось восемь колоколов. Самый

крупный, весивший 489 пудов и отлитый в 1859 году, был перелит в 1900 году.

После сооружения колокольни наступил довольно длительный перерыв в строительстве собора. И только когда разные по высоте и массе объемы колокольни и храмовой части стабилизировались, была начата постройка трапезной. Каменная трапезная была пристроена в 1840–1842 годах, руководил работами протоиерей Андрей Иванович Калугин. Два престола в трапезной церкви были освящены в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии в 1842 году (левый) и Воздвижения Животворящего Креста Господня в 1842 году (правый). Строительством трапезной и освящением престолов завершилось возведение главного соборного храма Липецка.

В примечании было сказано, что «авторство Адолини оспаривается, так как не сохранился проект и другие оригинальные документы по храму».

Это была вся информация по истории создания собора. Не было указа императрицы и «благословения» Священного Синода в лице преосвященного Иннокентия. Ничего не было известно и о протоиерее Андрее Ивановиче Калугине, имя которого упоминается в последние годы строительства, и ни одного из имен «усердных благотворителей». А собор строился пятьдесят один год! И самое печальное состояло в том, что не было известно ни одного имени из тех людей, которые ходили в собор во все время его строительства, делом и молитвою участвуя в создании дома божьего. А храмы строятся, как известно, «тщанием прихожан». Но история не помнит маленьких людей. Они приходят в жизнь из неизвестности и уходят в безвестность, как будто и не жили на свете. Так весной всходит трава, а к осени высыхает от палящих лучей солнца, истощается и умирает, чтобы после холодной зимы пробудиться для новой жизни. Так приходят маленькие люди в этот мир, рождаются и умирают. Одно поколение сменяется другим, и это течение жизни подчиняется непреложному закону, властвующему над всем в этом временном мире: день сменяет ночь, одно время года следует за другим, за жизнью идет последний враг человека – смерть.

Но бывают времена, когда маленькие люди становятся определяющей силой в истории.

Движимые первобытной энергией, этой живой плазмой земли, объединенные иногда в созидательную силу, но чаще в разрушительную стихию, подобную катастрофическим явлениям самой природы, которые никто не может ни спрогнозировать, ни предупредить, они проливаются горячей лавой, медленно пожирающей все формы, все условности жизни. И мы видим на историческом ландшафте остывшие, бесформенные образования, которые напоминают нам о выплеснувшемся первобытном хаосе. Для меня подлинная история — это история жизни маленьких людей.

Я закрыл папку, отодвинул ее на край стола. Дышать стало легче.

По существу, неизвестно ничего о людях, которые придумали этот проект, как теперь говорят, и осуществили его.

Собор стоит двести двадцать лет, из которых пятьдесят один год он только строился.

Я встал из-за стола, шумно отодвинув стул. У меня не было разочарования. Я предполагал, что найду скудную информацию, и был готов к этому. Я даже знал, что так и будет, и решил проверить свою догадку. Люди забывают все. «Нет памяти о прошлом», — так, кажется, говорил Экклезиаст.

В дверях появился архивариус. В его руках была еще пара таких же тоненьких перевязанных папок.

— Вы уже просмотрели материал? Да, это ничтожно мало. И вы так быстро. — Он, видимо, нечасто встречал посетителей и редкому гостю хотел как-то угодить.

— У меня есть еще документы о двух церковных сооружениях. Это вот, — он постучал толстым ногтем по одной из папок, — Вознесенский собор. Разрушен, конечно. Но был знаменит тем, что в нем венчалась бабушка Пушкина Марина Алексеевна с Осипом Ганнибалом. И еще у стен этого сооружения находился фамильный некрополь Пушкиных, и тут покоится прах капитана Пушкина, отца Марии Алексеевны. Вот, извольте, я вам покажу.

Я вернулся к столу и присел. Он наклонился и достал прошитые листочки. Здесь информации было еще меньше. Ни имени архитектора, ни благотворителей, ни строителей, ни священства: «... был построен в 1751 году при Липецких заводах... колокольня сооружена в

1812 году. В 1850 году собор расширили, и он приобрел окончательный вид».

Сто лет строительства! Если бы не имя Пушкина, об этом храме вообще, может быть, не было бы никакой информации. Возможно, и Пушкина скоро забудут, а будут помнить основателя компании «Apple» Стива Джобса и Билла Гейтса, осуществивших американскую мечту, ставших успешными, богатыми и знаменитыми.

Я поблагодарил архивариуса, вышел на улицу и не мог надыхаться. К счастью, прошла гроза, пахло озоном. Набегал ветер, и я глотал этот свежий влажный воздух, вспоминая, что так было в детстве, когда я выбегал на улицу из школы с дополнительных уроков по математике. Свобода и какой-то необъяснимый восторг вселялись во все мое существо. Я чувствовал прилив сил и готовность совершить что-нибудь хорошее, доброе.

— Идея была правильная, — твердил я, вдыхая прохладу. Оставить документ эпохи, а не только холодное здание, которое молчит. Молчат в истории камни, иногда холмы, а иногда и отхожее место, поставленное большевиками на месте Пушкиных; они не только снесли в 60-х годах двадцатого века храм Вознесения, но на месте захоронения поставили общественный туалет, который просуществовал не один десяток лет. А сейчас здесь ловким предпринимателем поставлен стеклянный павильон, где разливают пиво, напиток бургеров и пролетариата.

Надо описать жизнь маленького человека в важнейший для России исторический период крушения большевистской империи, построенной на лжи.

Идея правильная, верная. Кому я могу оставить этот документ? Своим сыновьям. Да, своим сыновьям. А они передадут это своим сыновьям, и непрерывная историческая память будет передаваться следующим поколениям и никогда не исчезнет.

Отец истории Геродот упоминает в своих текстах о том, что, когда народ собирается строить город, чтобы жить в нем, он начинает строительство города с жертвенника. Народ отводил место, где, владея, будет жить Бог, и уже вокруг сооруженного жертвенника по благословению жрецов строился город.

Вся жизнь во все времена вращалась вокруг культа. Вся деятельность человеческая была ос-

вящена культом. И само слово «культура» имеет своим корнем «культ», то есть религиозное сознание. Позже, когда появились «титаны», или отчаянные люди, преодолевшие центробежную силу культа, они выделили некоторые виды деятельности в отдельные науки, такие как философия, искусство, медицина, которые были беглыми дочерьми своей матери — религии, потому что пользовались той же терминологией, которая родилась в лоне культа.

На первых этапах они, эти виды человеческой деятельности, были пустыми, не имеющими жизненного содержания, люди не придавали им серьезного значения. Но позже в истории они утвердились, как утверждается человеческая гордыня, попирая все авторитеты, включая авторитет Бога.

Опять пошел дождь, зашумел по листьям, и мне пришлось забежать в ближайшее кафе. Рубашка успела вымокнуть. Я подошел к барной стойке и попросил чай, чтобы согреться. Оказаться в помещении, пахнущем кофе и духами молодых женщин, после архива было даже приятно. Я нечастый посетитель подобных заведений, появившихся в городе в огромном количестве. Но внешняя обстановка мало занимала меня. Я присел за ближайший столик.

Храм строился десятилетия, — думал я, — он строился людьми, в него ходили прихожане со своими радостями, когда был праздник, а чаще с бедами, страданиями. Какие усилия предпринимались, чтобы построить храм, какие жертвы «сокрушенного и смиренного духа» приносились через священников к Святому Алтарю?!

Строительство храма подобно странствию евреев в пустыне после Вавилонского пленения. Это собирание жизни. Вместе с ростом стен храма должна расти Церковь (собрание народа), как тело Христово.

2001 год, новый век. Сейчас начинаются роды, фамилии, и жизнь уже не будет случайной, и любовь не будет случайной, рождение детей не будет делом случайным. Мы, священники (и вот, кажется, я проговорился), видим жизнь с такой ее стороны, которая закрыта от других людей. Человек поворачивается к священнику и к Богу самой сокровенной стороной своей души. И вот эту обнаженную жизнь людей надо описать. Надо пройти с Христом через время, через новую

эпоху рождения церкви. Описать время, не забыть маленького человека.

— Здравствуйтесь, батюшка, — услышал я робкий женский голос у себя за спиной.

— Здравствуйтесь.

Я приподнял голову, повернулся и увидел стоящую перед столиком женщину средних лет, одетую старомодно, со сбившейся прической и мокрыми плечами потемневшей от дождя голубой кофты.

— Позвольте, я присяду.

— Да-да, садитесь.

— Вы знаете, простите. Какой знак, что я увидела вас! — она говорила взволнованно и растерянно. — Я увидела вас у пожарки, все время шла за вами, но боялась подойти. А когда вы вошли сюда, все время стояла там, у двери. На улице дождь. Как хорошо, что дождь, вы ведь не пойдете в дождь, я должна подойти к вам.

— Что случилось?

— Может быть, вы меня не помните, к вам столько приходит людей, — она зашуршала целлофановым пакетом и достала что-то завернутое в простой крестьянский платок. — Ну, помните, когда вы служили в Христорожественском храме, на Соколе, я приходила к вам и рассказывала о моем сыне.

Я вглядывался в эту растерянную женщину и припоминал обстоятельства встречи. Простое лицо ее показалось мне знакомым.

— Я рассказывала о сыне, ну что он замкнут... Что он все время сидит дома, никуда не ходит, с девушками не дружит, а ведь ему уже тридцать один год. Я переживаю, это моя единственная боль и страдание. Я всю жизнь его воспитывала одна, муж нас бросил. Он хорошо учился в школе, и образование у него есть — строительный техникум. Но он одинок, я боюсь, что он не женится никогда. Все читает книжки и задумывается. Я уже шпионила за ним, подозревая, что он к сектантам ходит. Но вышло еще хуже... — руки ее дрожали от волнения. — Вот здесь, — она указала на платок, — вот здесь то, что я нашла сегодня утром под его подушкой, когда он ушел на работу. По-моему, он стал сатанистом.

— Да что там у вас, дайте посмотреть, — с нетерпением сказал я.

Она развернула платок и протянула мне книгу.

Книга была не очень хорошо издана. Черная глянцева обложка. На лицевой стороне мол-

ниевидная надпись красным «Бесы», наверху мелко стояло имя автора — Ф.М. Достоевский.

— Что мне сделать с этой книгой, сжечь? И как мне с ним вести себя?

Я смотрел на эту русскую женщину, на ее взволнованную растерянность и понимал, что те слова, которые я скажу ей сейчас, могут превратить меня из священника во врага.

— Это хорошая книга, пророческая, — спокойно сказал я, раскрывая страницы, — это книга о том, что мы, русские, уже пережили в XX веке.

— Может ли хорошая книга иметь такое название, батюшка? — она строго и недоверчиво посмотрела на меня.

— Понимаете... Это обличающая книга, — я подбираю слова.

Она с большим недоумением смотрела на меня. Слепая любовь к единственному смыслу ее жизни застила ей глаза. Торопливо взяв книгу и завернув ее в платок, она встала передо мной.

— Ваш сын неглупый человек, — вставая со стула, сказал я, — если он читает Достоевского.

Я хотел как-то поддержать ее.

— В наше время, советское, подобные книги были запрещены.

— Но это было советское, безбожное время. А Федор Михайлович был богоискательским писателем, поэтому его запрещали.

Она не слышала меня, повернулась и пошла к выходу.

Больше она ко мне не придет. Как надо быть осторожным с русским народом!

Я вновь погрузился в занимаемые меня мысли. Писать документ эпохи надо с того, как все началось. Как мы копали котлован, огромный, в шестьсот квадратных метров, а в глубину — на два метра. Как украшали его внутри цветами, деревьями и дорожками из дерна. Как подготовили яму для закладки камня и гранитную плиту с надписью, что в лето такое-то от Рождества Христова в такой-то день, при «правлении Императора Тиберия» (как писалось в Священных книгах), ну, то есть при управлении епархией митрополита Серапиона, началось строительство храма, святылища, жертвенника, престола. Чтобы эту плиту поместить потом в бетон и закрыть фундаментом, стенами, главками, куполами и крестами храма. И когда-нибудь, через несколько длинных столетий или тысячелетий рас-

падутся камни и найдут потомки плиту, прочитают и вспомнят нас. Вспомнят, что и мы жили, и мы любили, и страдали, и хотели эту жизнь сделать лучше. Писать, как приехал со свитой митрополит и прибыли на дорогих машинах с тонированными черными стеклами глава области и мэр города и как стояли смиренно и торжественно на нашем дерне, который мы привезли с заливного луга у реки. А потом была молитва, речь митрополита, и блестящий хромированный мастерок, и эмалированное ведерко с раствором, поданные владыке, и он, подбирая пухлой ладошкой свои облачения, наклонившись, внес свою лепту в строительство. И опять, распалившись, говорил речь о возрождении народа, его нравственности. И как поочередно вторили ему глава и мэр, тогдашние правители области и города, обещая выстроить храм за два года. И, объединенные пафосом своих речей, медленно тронулись кортежем на трапезу, чтобы от духовного восторга перейти в восторг физический. А собравшиеся люди, несколько тысяч человек, глядели в амфитеатр нашего котлована сверху на это захватывающее зрелище и не думали, что это уже было и в Римской, и в Греческой, и в любой другой империи, и так будет всегда. Потому что народы будут продолжать существовать, заботливо объединяемые принципом дозированной лжи.

Сыну

Мой дорогой мальчик!

Тебе может показаться, что мне важно, чтобы запомнили меня в истории. Нет, это не так. Я не тщеславен. Моя задача — составить документ эпохи. Мы все проходим через время путь от рождения до смерти. Каждый должен что-то понять, осмыслить и оставить после себя самое важное.

Царское церковное сознание. Я никогда не мог рассказать тебе, что это такое. Ты не слышал меня. Понимаю, ведь ты пришел жить свою судьбу.

Царское церковное сознание всегда было у русских. Оно закодировано в ментальности. Это невозможно убрать из сознания. Пример этому явлению то, что все принимают крещение. Никто ничего не понимает в этом, но народившегося младенца несут в церковь и крестят. Это спрятано в сознании, где-то в глубинах, в самых корнях его. Оно словно напоминает: «на-

до поставить свечку», «надо сходить в церковь в следующее воскресенье», «надо помянуть», «надо съездить в Лавру к преподобному». Все одним миром мазаны. Этого не смогли выбить даже большевики, которые отстреливали попов и им сочувствующих, гноили их в лагерях, а из мест поклонения сделали психушки, отхожие места и оставили одни камни.

Царское церковное сознание — это полнота жизни церкви. Если мир сотворен ради церкви по слову святых отцов, то из этого следует, что это понятие является полнотой самой жизни, абсолютное осмысление ее. Оно открывает особое видение жизни. Оказывается, у нее есть не только горизонталь, плоскость, на которой копошится все живое, но и вертикаль, структура, призванная организовать это движение текучей, меняющейся, ускользающей жизни. Святейший патриарх, Предстоятель, глава Церкви на самом вершине. Далее — чиновники, священство. За ними мальчик в белых одеждах с льняным полотенцем на плечах и с кувшином воды в руках, чтобы умывать Святейшему патриарху руки во время богослужения; пониже — народ, стоящий в храме, и какой-то мальчишка в рваных джинсах, бегущий по улице с залепленными наушниками ушами. А в наушниках речитативом рэп, бессвязная свалка слов и нелепых понятий. И все это и есть Царское церковное сознание. Полнота всей многообразной жизни. Это — как круги на воде. Помнишь, мы с тобой были на море вечером, когда садилось солнце, тонуло в спокойной уже холодной глади воды. Я еще снимал тебя, твое лицо внутри солнца, и оно светилось аурой, как на иконах сияют святые лица. Солнце покоилось на твоём худеньком загорелом плече, а ты укладывал на него свою взлохмаченную голову и закрывал глаза, понарошку засыпая. Потом все больше остывающее солнце в пригоршне твоей ладони. А когда опускалась прохлада, вода становилась тяжелой и по цвету сизой, и мы бросали в нее гольши. Представь себе картину, мой мальчик, твердый камень — это святейший патриарх, на нем все стоит, все держится, а круги, расходящиеся от этого главного камня при соприкосновении с водой, — это все мы, кто на каком круге. Кто ближе, кто дальше. Так вот, этот мальчишка в наушниках может быть на самом последнем круге. Он ничего не знает, кроме своего рэпа. Но и он включен в это Царское церковное сознание, в эту

полноту жизни. Потому что там, на камне, где стоит Святейший, и проходит ось мироздания, и вокруг этой оси всё вращается.

Мне надо написать об этих кругах. Они всегда разные, как бывают разные времена. Они всегда расходятся по воде. Но сейчас круги расходятся особенно далеко, и последние почти незаметны, это означает, что они теряют связь с местом падения камня. Потеря связи — это уход в небытие, это смерть. Мне кажется, что сейчас самое главное время для русского народа, для всех нас. Сходятся все пророчества. Чтобы это видеть, нужно иметь особое духовное зрение. В современном мире получает все большее развитие новая религия, религия золотого тельца. Деньги являются символом власти и земного благополучия. Они олицетворяют привязанность человека к земле и силам материальной природы. Новое Пятикнижие из стекла и бетона, демонстрирующее комфорт жизни, достигает своего кульминационного развития. И мысль русского классика XIX века о том, что «деньги не Бог, но полбога», в XXI веке звучит уже по-иному: деньги не полбога, а Бог.

Мне надо пройти по этим кругам, понимаешь, мой дорогой мальчик. Мы все смертны, мы все когда-нибудь умрем. Но тот дом, который достраиваю я, будет местом, где заговаривают смерть. Где заговаривают последнего врага человека. Все люди внутри себя испытывают страх. Но все они помнят, или догадываются, или, может быть, знают наверняка, что это место где-то на свете есть. И они придут в этот дом, чтобы уничтожить животный страх, который унижает человека.

Даже власти предержавшие, богатые и сытые, любят встретиться со Святейшим или нашим владыкой, попить водки под грибочки, послушать рассказы о чудесном, о бессмертии, по привычке перемежая эти рассказы анекдотами. Но и этим, и всем простым людям некогда. Их убаюкивает жизнь, как младенцев в колыбели. Они откладывают и откладывают последнее сражение. Когда же кости станут хрупкими, а кожа начнет свисать и морщиниться, когда глаза, увидев медсестру со шприцем, в котором морфий, будут выражать страх, когда физическая боль составит главную мысль в сознании, тогда поздно искать это сакральное место, где заговаривают смерть.

Все стоят на этих кругах, кто-то ближе, кто-то дальше. Даже в реальной жизни ходят вокруг

храма. Он возвышается на тридцатисемиметровую высоту в нашем городке. Самую высокую точку венчает крест. И все кружится вокруг этой точки, то приближаясь, то отдаляясь от неё, а то исчезая в стране далекой.

Василий Федорович

Он любил все русское. А самогон, который получался у него чистым и крепким, называл «саке». Он жил в деревеньке, в доме, построенном своими руками. Все в доме было ладно. Но особой гордостью была срубленная баня и сарай с инструментом. Это была территория, куда не ступала нога жены.

Василий Федорович жил на пенсию. Но дома не сидел. Человек он был мастеровой, все в деревне об этом знали и приглашали где поставить забор, где подладить крышу, а где просто поговорить. Был он человек легкий и словоохотливый.

Меня он пожалел. Увидел молодого священника, худого и длинного, с гуманитарным образованием, ничего не понимающего в строительстве, и взял меня под свою опеку. Я не сопротивлялся. Василий Федорович учил, подсказывал и сам хотел строить храм. Это было для него символом свободы, о которой мечтал самостоятельный русский человек, загнанный в жесткие рамки коммунистической идеологии. «Слава советскому народу, строителю коммунизма, слава родной коммунистической партии!» Эти лозунги, которыми была проникнута вся общественная жизнь, в которую и он был втянут, сильно раздражали его. Он читал книжки и знал славную историю России до большевистского переворота в лицах. И тосковал о той жизни, которая была уничтожена Советами.

Он хотел строить другую жизнь на тех основах, которые были особенно враждебны советской власти. А это была религия, и её воплощение — храм. Необязательно, что он будет членом церкви, который обязан посещать её, молиться, каяться и подходить к Причастию, получая свою часть в Теле Христовом, которым называют церковь, но он хотел поучаствовать «в святом деле, считая это долгом перед пострадавшим отечеством» (это были его слова).

На пенсию Василий Федорович уходил с завода РАПС, который к тому времени приватизиро-

вали. Ему достался легендарный немецкий кран РДК-25, на котором он работал. Документы на машину лежали дома, а кран, которому было тридцать лет от роду, стоял на территории завода. Он был в полуразобранном состоянии, с испорченной электрикой. Кран стоял, а Василий Федорович наслаждался свободой человека, который решил пожить в своё удовольствие. Дети выросли, жена была покладистая, «саке» он выгонял в неограниченном количестве и, приглашая меня в свой дом, подливал суровый напиток, от которого молодой священник быстро пьянел. Довольный силой своего продукта, Василий Федорович вспомнил о кране.

— Я его сделаю, поставлю тебе на стройплощадку, — говорил Василий Федорович, обнимая меня за плечи, — он нам построит храм.

Я соглашался. Василий Федорович еще подливал «саке» и требовал к себе уважения. Я же, когда он отворачивал лицо, сливал горький напиток в пустую кружку, стоявшую тут же на столе.

Удивительно, но Василий Федорович отремонтировал РДК-25, на грузовой платформе КраЗа пригнал машину и поставил на стройплощадке.

Этим немецким краном я и построил храм. Он простоял, двигая свою башню, семь лет. Было, было искушение у Василия Федоровича забрать кран и отдать в аренду. Он приезжал, торопил стройку. Даже обижался на меня. Ему хотелось заработать денег. Но он, стиснув зубы, терпел.

Весной он запланировал первую поездку за границу. Купил путевку в турагентстве и начал готовиться к отдыху в Турции, но неожиданно заболел. Он угасал на моих глазах. Похудел, осунулся.

— Приезжай, полечи меня, — звонил мне Василий Федорович.

Я приехал и нашел его в постели. Он притих, был слаб и бледен. Смирненно подчинился моим требованиям собороваться, покаяться и причаститься. Потом сказал:

— Пойдем на двор, я покажу тебе свой инструмент.

Он поднялся с кровати и пошел впереди меня. Голова его стала большой, а сам он как-то усох, уменьшился. Шел он медленно, осторожно.

Выйдя на улицу и пройдя вдоль дома несколько шагов, Василий Федорович остановился, глубоко вздохнул и крикнул шепотом, позвав жену:

– Тамара!
 Я вторил ему:
 – Тамара Ивановна!
 Она прибежала из дома.
 – Что, плохо?
 – Давай, батюшка, в другой раз покажу тебе инструменты, – предложил он, посмотрев на меня. Он понимал, что ему совсем плохо, но не хотел признаваться самому себе.
 – Поправишься и полетишь в свою басурманию, – ободряюще сказала Тамара Ивановна.
 Василий Федорович протянул мне слабую руку и молча, не оглянувшись, пошел в дом, поддерживаемый своей верной женой.
 Через два дня он умер.

На стройке меня ждали Тихон Антонович, прораб, назначенный мною старшим из спонтанно возникшей бригады, Сергей Шустов, сельчак Вячеслав, Виктор Васильевич, крановщик, и два подсобника.

– Отец Евгений, – обратился ко мне Вячеслав, – дайте пятьдесят рублей, надо выпить, наверх лезть страшно.

– Ему не страшно, ему похмелиться надо после вчерашнего, – прокомментировал Шустов.

Все смеялись. Подсобники, невыспавшиеся молодые ребята, переглядывались.

Тихон Антонович был серьезен. Он шел мне навстречу с планом по поводу предстоящего рабочего дня. Это был человек лет шестидесяти, худощавый, с кепкой на голове. Он перенес рак горла и, разговаривая, свистел из-за дырки в гортани. Воздух ходил и ртом, и горлом. Речь получалась с частыми придыханиями, но была разборчива. К счастью, он много не говорил. А если и говорил, то всегда по делу. Специалист он был настоящий и безоговорочный, чем сыскал искреннее уважение к себе и даже почтение. Его смелость меня поражала. Проект строительства храма со множеством сложных монументальных частей (высоких стен с проемами для окон, сводов, главок, колонн, вычерченных в геометрических пропорциях) лежал у его ног, и Тихон строил его кирпич за кирпичом. Нанимать строительную компанию для меня было накладно. Этот опыт я проходил при строительстве цокольного этажа. Но мне повезло – я встретил человека, возглавлявшего организацию, Шамардина Игоря Николаевича. Фамилия была знако-

вой. Так именовался монастырь, построенный преподобным Амвросием Оптинским. В нем, кстати, спасалась сестра Льва Николаевича Толстого монахиня Мария. При каждой встрече с Игорем Николаевичем я вспоминал монастырь, его знатную фамилию и говорил, что ничего случайного не бывает. И он, как говорится, по-божески брал с нас плату. Фундамент получился отличный, причем с сопутствующими документами актов скрытых работ.

– Антоныч! – кричал багровый крановщик Виктор Васильевич. – Куда стрелу подавать?

Тихон Антонович, не оборачиваясь, отмахнулся рукой. Он шел ко мне.

– Как самочувствие? – спросил я его. – Как настроение?

Мы поздоровались. Ладонь его была длинная, сухая и мягкая.

– Самочувствие рабочее. Когда ожидать кирпич? – прохрипел Тихон Антонович.

– Выработаешь этот, – я указал на оставшиеся две клетки, – и я привезу.

– Чтобы мы не простаивали... А то сейчас им дай волю, они побегут в магазин.

Я согласился.

– Антонович, следи за молодыми ребятами, чтобы никто не травмировался.

– Они внизу будут замешивать. Кирпич, кирпич, – настаивал Тихон.

Переговариваясь, строители пошли на леса.

А я отправился в приемную Тракторного завода, чтобы просить транспорт.

Пятнадцать лет назад это был завод всесоюзного стратегического значения. Градообразующее предприятие. Он звучал наравне с Минским тракторным заводом, Челябинским тракторным. Конвейер не останавливался круглые сутки. Люди работали в три смены. Площадки завода сплошь были заставлены новенькими тракторами, спрос на которые в аграрной стране, стране бездорожья, был огромен. На заводе работало около тридцати тысяч человек. Был заводской дом отдыха, профилакторий, своя поликлиника и больница, детские сады, огромный Дворец культуры, стадион с футбольным полем и хоккейной коробкой, бассейном и городошной площадкой. Легендарный директор завода, Василий Яковлевич Клеменков, любил городки. Наш поселок Тракторостроителей был чистым, дороги и дома отремонтированы, возводилось и дарилось

новое жилье. Строились общежития и «молодоженки» для молодых специалистов, приезжавших на работу со всей страны. Люди работали с огоньком. В горбачевскую перестройку все рухнуло. А при Ельцине все разворовывалось. И не только в нашем городе. В последние годы сменилось шесть директоров, и все с нерусскими фамилиями. То, что создавалось соборным усилием только что отвоёванным с фашистами русским народом, ушло в руки частного капитала, который уже не думал о людях. Он думал о чистой прибыли, распродавая и вывозя по ночам материальные ценности, принадлежавшие народу. Не было уже детских садов, бесплатных больниц, профилакториев и домов отдыха. Жалкие полторы тысячи человек в рабстве трудились на нового хозяина частного завода, на территории которого зияли выбитыми окнами пустые цеха, некогда наполненные жизнью. И, казалось, были слышны голоса и смех самоотверженных строителей коммунизма, уникальной цивилизации рабочих людей, веривших в социальную справедливость и светлое будущее.

Меня приняли радушно. Денег не дали, ссылаясь на огромные кредиты. Предоставили два КАМАЗа для вывоза кирпича. Я был доволен и этим. Работа закипела.

Илюша

Это был мальчик двух-двух с половиной лет. Родители его жили в старинном районном городке, которому удалось сохранить свой первоначальный облик.

Главной достопримечательностью городка был монастырь с мощами святителя Тихона Задонского. В девяностых годах начали его реставрацию и вскоре обрели мощи святителя, и жизнь в монастыре была восстановлена.

К двухтысячному году в монастыре насчитывалось около ста монахов. Было много послушников и бесчисленное количество трудников, которые то приезжали, то уезжали, хлебнув трудностей от различных послушаний.

Каким образом Наталия и Александр, родители Илюши, приехали ко мне в храм, я до сих пор не знаю. Помню только, как они подошли ко мне в нижнем храме, во время службы. Наталия стала плакать, а взволнованный муж держал её за

руку и успокаивал. Я попросил его оставить нас одних для разговора. Наталия взяла себя в руки и рассказала, с чем они приехали.

Оказалось, что их маленький сын Илюша тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз — острый лейкоз, и он находился в областной больнице вместе с матерью. Сейчас с ним бабушка, и они смогли добраться до меня.

Наташе нужно было выговориться. В такие минуты не надо подталкивать человека к откровенным разговорам. Он сам ищет выход из трагической ситуации. Он анализирует события недавней жизни, пытается найти ответ:

— За что Бог наказывает нас, за что Бог дает такой крест?

— Господь не наказывает, Господь милосерден. Мы сами себя наказываем, потому что не слышим советов Бога.

— Но почему болезнь дана ребенку, который ни в чём не виноват, а не мне или его отцу? Почему должен страдать наш мальчик? — Она заплакала. — Господи, почему такая несправедливость? Подскажите нам, что делать?

У священника есть много ответов на подобные недоуменные вопросы. И все мы говорим одно и то же. Нам кажется, что мы высказываем мнение церкви, сложившееся из ее предания и многовековой мудрости. И когда мы это высказываем, мы исключаем личное, живое участие в только что открывшейся нам жизни. И подобные рассуждения работают тогда, когда мы дискутируем с людьми, далеко отстоящими от реальных трагических событий действительной жизни, событий, которые их ещё не коснулись. Но когда настоящая беда хватает человека, несёт его в темноту и держит, превращая все его существо в одну сплошную оголенную боль, тогда не работают никакие теоретические рассуждения на тему промысла Божьего, вины родителей, жизни будущего века и так далее. Тогда нужно что-то другое. И это другое подобно сошествию в ад. Надо идти вместе с ними, со всей своей любовью, со всем своим состраданием, на которые ты только способен, идти в их жизнь как друг, как отец, как священник. Надо этих людей выделить как единственных сейчас в твоей жизни, как самых родных, самых дорогих и близких. Взять на себя их боль.

— Наталия, я вам помогу, обещаю. Все, что

будет в моих силах, я сделаю. Мы вытащим вашего мальчика. Будем молиться вместе, Бог наш милостив, он не оставит нас, Богородица нас защитит.

— Я совсем не умею молиться. Я не знаю даже «Отче наш».

— Молитвы не надо учить, их надо читать по молитвослову. Они сами остаются в сердце. И тогда нет ничего сладостней молитвы.

— Но что нам делать сейчас? — Наташа обернулась и жестом пригласила подойти мужа.

— Ваш брак освящен Богом?

— Как это? — спросила Наталия.

— Вы венчались в церкви?

— Нет, мы невенчаные живем. И сейчас мы на грани развода.

Её муж опустил голову.

— Он нам изменил. Он, батюшка, предатель.

— Это правда? — тихо спросил я.

— Бес попутал, — признался муж Наталии, — но я повинился и у нее просил прощения на коленках. Она не прощает.

— Я тебе верила, я за тебя пошла. Я родила тебе, — Наталия снова расплакалась.

Я помолчал, ожидая, когда она успокоится.

— Все это должно уйти на второй план, — твердо сказал я, — сейчас главное — здоровье Илюши. Он между вами, и вы должны вновь войти в поле любви между собой, и ваш мальчик станет поправляться. Наклони голову, — попросил я Александра, — прочту над тобой молитву.

Саша смиренно повинился. Я накрыл голову епитрахилью и громко, чтобы слышала его жена, спросил:

— Раскаиваешься в содеянном грехе?

— Каюсь.

— Не будешь повторять грех?

— Нет, не буду, батюшка.

Я прочитал над ним молитву. Наталия, кажется, успокоилась.

На следующий день я обещал приехать в больницу и пособоровать Наталию и Илюшу.

Письмо

Дорогой мой мальчик! Самое сильное разочарование, которое я пережил в своей деятельности, связано с одним случаем, после которого мне надо было бы оставить свое священство и

уйти в монастырь, в глубокое одиночество, чтобы замалывать свои грехи. Но я не ушел, остался.

Ко всему привыкаешь. Привыкаешь к предательству, привыкаешь ко лжи, привыкаешь к горю людей, к смерти. Привыкаешь к крушению иллюзий, к утрате убеждений и принципов, к потере веры, привыкаешь к жизни. И идешь как ослик, нагруженный поклажей, идешь, потому что надо идти, надо жить. Другой жизни нет и не будет.

Почему взрослые переживают за жизнь подрастающих мальчиков и девочек? Потому что юность — это красивый остров в океане и с этим островом предстоит расстаться, чтобы плыть к своему причалу по морю житейскому. И каким будет первый шаг, таким и будет все плавание и твоя пристань. Правда и даже Истина в юности уже присутствуют в человеке. Бог действует внутри человека неким своим содержанием. Его можно назвать благочестием. Это таинственное слово. Я тебе когда-нибудь расскажу о нем подробнее. И вот ЭТО присутствие благочестия мешает молодому человеку преступать за пределы Правды и Истины. И если он начинает совершать поступки против этих священных понятий, которые неосознанно живут в нем (они просто есть в нем как данность), он очень мучается и страдает. Как трудно бывает в детстве совершать первые преступления против совести, которая является как раз проявлением этих понятий. Страшно бывает первый раз солгать, первый раз украсть, первый раз предать. После каждого события, связанного с преступлением против совести, юноша оказывается побежденным. А потом эти падения делают человека бесчувственным. Голос совести слышен все тише, и наконец он умолкает совсем.

Ты помнишь, что у меня спортивное прошлое. Когда я закончил свою профессиональную карьеру после травмы (а это произошло в двадцать лет), я все же решил остаться в спорте. У меня не было специального образования, но имелся богатый опыт, и мне предложили стать тренером. Я начал работать и за пять лет достиг хороших результатов. Я тебе никогда не рассказывал, как я оставил тренерскую работу. Вот именно тогда у меня сработал принцип личного достоинства от понимания своего нравственного падения.

У меня тренировалась группа старшекласников. Это были ребята из близлежащих школ. Все

активные, шустрые, крепкие, как молодые львы. Многие из них были из неблагополучных семей. На одной из тренировок, утром, ребята совершали обычную перед специальной работой разминку. Я, как тренер, давал команды и занимался развешиванием тренировочных мешков. Зал был большой, гулкий. Стоял шум топота от тридцати ног по деревянному покрытию, и резкий, пронзительный голос свистка залетал во все углы зала и отражался от них. Я пытался перекричать:

— Приставным шагом, вращение головы, разминаем плечевой пояс... — и так далее.

После разминки специальные упражнения и три раунда боя с тенью. Все было как обычно, без сбоев. Но вдруг я начал раздражаться на то, что они небрежно, рассеянно, а то и просто дурашливо выполняли задания, пока я был занят подготовкой снарядов. На мои замечания они просто не реагировали. Их охватил детский психоз. Попала смешинка в стаю.

Я остановил тренировку, спустился со стремянки и спросил их:

— Вы что, уже все знаете, все постигли в боксе?

Все молчали, и вдруг один из них сказал:

— Кое-что постигли... при вашем руководстве.

— Хорошо, — сказала я, — надевай перчатки. — Окинув взглядом других ребят, добавил: — И вы все тоже. Сейчас вы мне покажете, на что способны.

А сам стал бинтовать руки и натягивать перчатки.

Я увидел, что многие из них заволновались. Разница в возрасте была у нас незначительная. Мне было тогда двадцать пять лет, а каждому из них по шестнадцать — семнадцать. Но я был тренером, имел звание мастера спорта.

Они в ожидании сидели на лавочках.

— Иди сюда, — я пригласил самого разговорчивого. Я знал, что он начитанный мальчик, хорошо учится, но в спорте не останется. Тут нужен характер бойца. Минуту спустя он опустил руки и попросил закончить бой.

— Кто следующий? Саша, иди сюда.

Я пригласил Сашу Меркулова, и это был совсем другой мальчик. Атлетически сложенный, настроенный на достижения в спорте, занимающийся фанатично. Лучший спортсмен в команде. Я начал двигаться, прощупывать его и, играя с ним, давал ему возможность проявить себя. Через минуту я почувствовал, что он настроен

решительно и серьезно. Он несколько раз настояющему пытался достать меня. Мне показалось, что он нарушал субординацию. Я внутренне вспыхнул и решил проучить его.

Через секунду он был на полу. Я сбросил перчатки и попросил ребят помочь мне. Мы отвели его в душ, он умылся и, кажется, пришел в себя. Я шел с тренировки и твердил одну и ту же фразу: «Какой же ты педагог, какой же ты тренер, если можешь так вести себя со своими воспитанниками?»

Ночью спал плохо. Утром пришел в школу, вызвал его с урока.

— Как ты себя чувствуешь, голова не болит?

— Да все нормально, Евгений Владиславович, не волнуйтесь вы.

После этого я написал заявление об уходе. Так закончилась моя карьера тренера. Я не мог простить себе этого поступка.

Правда, много позже мои воспитанники, которые выбрали разные дороги в жизни, встречая, говорили мне:

— Евгений Владиславович, зачем вы нас тогда бросили? Вы были для нас больше, чем тренер.

Но это уже другая история...

А теперь я остался, не ушел.

В храм приходили две сестры. Очень дружные. Вместе занимались бизнесом, на рынке держали павильон женской одежды. Помогали мне на первом этапе строительства храма. Они пожертвовали храму большое распятие с Голгофой. Очень красивое распятие. Богочеловек красив и совершенен. Не только внутренним присутствием Божества. Как Бог может быть некрасив? Он само совершенство. Но и человек в Нем тоже совершенен. Есть описание внешней красоты Спасителя. Это свидетельство проконсула Иудейского Лентула. Привожу тебе его полностью: «В настоящее время, — так писал Публий Лентул, — явился у нас и ныне еще жив Человек с высокими качествами души и добродетельнейший; имя Ему Иисус Христос. Народ почитает Его могущественным и великим пророком, а Его ученики называют Его Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет всякого рода болезни и недуги одним словом Своим. Этот Человек имеет высокий и чрезвычайно стройный стан. Волосы Его имеют цвет созревшего ореха, без блеска, и гладкие до ушей, а от ушей — до плеч и ниже — кудрявы и блестящи; посреди головы разделяют-

ся они на две стороны, по обычаю назореев. Чело гладкое и чистое; на всем лице нет никакого пятна, и оно украшено легким, темноватым румянцем; нос и уста правильные; бороду имеет такого же цвета, как и волосы на голове, густую, но не длинную, раздвоившуюся на конце. Взгляд Его тих, скромн, величествен и необыкновенно приятен; глаза Его небесного цвета, проникающие в душу и блестящие. Он весьма ласков и любезен, когда учит и увещевает; строг, грозен и страшен, когда судит и обличает. В чертах Его лица выражается удивительная привлекательность, соединенная с величием. Никто не видел Его смеющимся, но часто видят Его плачущим. Говорит немного, но с важностью, и каждое слово Его глубоко обдуманно и исполнено силы и мудрости. Истинно можно сказать, что этот Человек — прекраснейший из всех людей, и в Нем Самом, и во всех поступках Его видна чистая истина, в которой нет лести».

Какое прекрасное описание личности Христа! Это пишет человек, который был Его современником. Так сказать, свидетель событий. Так вот эти сестры подарили храму большое распятие.

У каждой из них была семья и по одному ребенку — мальчику.

Рустик, сын младшей сестры, был мальчиком крепким, слегка застенчивым, даже скромным. Светлые волосы немножечко курчавились, щеки поминутно покрывались пурпурными пятнышками, подчеркивая синеву глаз. Типичная славянская внешность. Ходил в храм из уважения, даже почтения к матери. Татьяна подталкивала его из толпы на исповедь к священнику и, закрыв глаза, во время исповеди мальчика усердно молилась.

Когда он встретил девочку, я стал видеть его в храме все реже и реже. К тому времени ему исполнилось уже девятнадцать лет, а Маша была на два года старше.

— Он меня уже не слушает, отец Евгений, — обеспокоенно говорила мне Татьяна, — я отошла на второй план.

— Пусть они вместе приходят молиться.

— Нет, батюшка, там неблагополучная семья. Таня живет с матерью и отчимом. Они очень приземленные. Для них церковь что есть, что нет, по-моему, все равно.

— Жаль, ах, как жаль, — сетовал я в такие минуты разговора.

Однажды вечером завозился на моем столе телефон. Я посмотрел на часы. Десять тридцать вечера.

— Алло. — Я узнал голос Татьяны.

— Батюшка, у нас беда! — взволнованно и торопливо говорила она в трубку. — Простите, простите, что в такой поздний час. Наш Рустик в больнице, наглотался таблеток. Слава богу, его спасли. Ему нужна ваша помощь. Срочная ваша помощь! Понимаете? Батюшка, поговорите с ним.

«Для чего я поеду в такое позднее время в больницу? — думал я. — Может быть, он уже спит после процедур».

— Батюшка, не откажите, — взволнованно говорила в трубку Татьяна. — Приезжайте, пожалуйста. Вы его просто поисповедуете. И больше ничего. Пусть он раскается и так больше не поступает.

Она искренне верила, что одного слова священника будет достаточно для того, чтобы все стало как прежде. Эта ее вера подвинула и меня.

— Хорошо, — согласился я, — сейчас приеду.

Когда я подъехал к приемному покою, больница почти вся спала, горело несколько окон операционной ярким неоновым светом процедурных и туалетов, из которых вырывался дым полуночных курильщиков.

Меня встретили обе сестры, Татьяна и Зоя, и наперебой стали рассказывать о том, что случилось.

— А меня пропустят?

— Пропустят, батюшка, мы договорились.

Я вошел в узкую комнату приемного покоя с кафельным потрескавшимся и шелкающим под ногами полом и увидел одиноко сидящую девушку. Это была она, Маша. Некрасивая, круглолицая, с широко расставленными глазами, вздернутым коротким носом и растянутым, невыразительным ртом, она поражала своим унылым и мрачным видом.

— Это Маша, — сказала Татьяна и добавила, обращаясь к ней: — Встань, возьми у батюшки благословение.

Девушка робко встала. Но она не знала, что это значит «взять благословение». Татьяна торопливо складывала ее неслушавшиеся ладони. Я перекрестил ее и положил руку на голову со словами:

— Бог благословит, — и добавил, обернувшись к сестрам: — Можно я поговорю с ней?

Женщины оставили нас одних. Она совсем перепугалась и вся сжалась.

— Что случилось? — спросил я Машу.

— А я не знаю. — Она совсем потерялась, смотрела в пол и теребила края юбки.

— Вы что, поссорились?

— Да вроде бы нет.

Я видел, что теряю время. Она ничего мне не расскажет. Тогда я задал вопрос:

— Вы дошли в ваших отношениях с Рустиком до конца?

— Как это?

— Вы спите друг с другом? — прямо спросил я её.

— Нет, — смутилась она и густо покраснела.

Потом я узнал, что она сказала мне неправду.

Несмотря на поздний час, мне разрешили пройти в палату интенсивной терапии. Рустик лежал один. Он был удивительно спокоен и даже как-то безразличен. Я взял стул и присел к его больничной кровати. Минуту я сидел молча, разглядывая его.

— Зачем ты это сделал, Рустик? — спросил я его как давнего знакомого.

Он безучастно молчал.

— Ты хотел убить мать, свою девушку? — пытал я.

Он молча закрыл глаза с видом человека, который не желает разговаривать, и погрузился в безразличный покой. Я стал говорить ему общепринятые слова о том, что нет большего греха, чем самоубийство, что жизнь человека дается Богом и Им забирается, что самоубийца умирает дважды, сначала телом, а потом он умирает душой и так далее.

Мне казалось, что он слышит и все понимает и уже раскаивается в своем поступке.

Как я ошибался! Моя самонадеянность была причиной последующих событий. Человек может быть оболещен собой. Он, как правило, всегда оболещен собой, потому что думает только о себе, о своем состоянии, о своем самочувствии, о своих словах, о своих делах и свершениях. Но никогда не задумается о том, что в этот момент думает, переживает, хочет доверительно сказать что-то тот, другой.

— Я сейчас почитаю чинопоследование Таинства исповеди, хорошо? А ты попроси Бога простить тебе этот грех. — Я сказал это с уверенностью, будто мы уже оба признали его

ошибку, теперь только надо это засвидетельствовать перед Богом.

— Да, хорошо, — спокойно произнес Рустик.

Я облачился в епитрахиль и поручи и начал молиться, постоянно поглядывая на него, потому что все эти молитвы за двадцать лет выучил наизусть. Но у него не было искреннего, слезного раскаяния в совершенном поступке, он продолжал оставаться спокойным. Видимо, его не отпускали эмоции, которые и привели к трагическому поступку. Я же по своей неопытности думал по-другому. «Значит, — размышлял критически я, — это состояние уже позади, он успокоился тем, что все хорошо закончилось». Я накрыл его лицо епитрахилью и попросил каяться. Он молчал.

— Рустик, надо раскаяться, — настаивал я.

Он продолжал упорно молчать.

— Повторяй за мной, — вздохнул я и добавил: — я помогу тебе.

Время было позднее, и мне хотелось домой.

— Господи, прости меня за этот грех попытки самоубийства.

— Господи, прости меня за этот грех попытки самоубийства.

— Господи, прости, что я мог убить свою маму.

— Господи, прости, что я мог убить свою маму.

— Его голос едва был слышен под епитрахилью.

— Господи, прости, что я чуть не убил своим поступком свою девушку.

— Господи, прости, что я чуть не убил своим поступком свою девушку.

— Раскаиваюсь в этом страшном поступке.

— Раскаиваюсь в этом страшном поступке.

— И обещаю никогда подобного не повторять.

— И обещаю никогда подобного не повторять.

Я с сознанием выполненного долга прочитал над ним молитву.

— Рустик, когда тебя отпустят из больницы, ты должен сразу прийти в храм на полноценную исповедь. Приходите вместе с Машей. Хорошо?

— Хорошо.

— Она, кстати, сидит там внизу и переживает за тебя.

— Я знаю, — так же безразлично ответил он.

— Ну что, до встречи.

— До свидания.

Я вышел из палаты. Время было позднее. Чувствовал усталость и какую-то необъяснимую тревогу. Хотелось спать.

Через три дня они пришли на исповедь. Я вглядывался в него. Румянец не проявлялся на его лице. Казалось, он не испытывал никаких чувств, по-прежнему был безразлично спокоен.

— Вы живете с Машей как муж и жена? — спросил я Рустика, накрыв епитрахилью.

— Да, живем, — глухо ответил он.

— Она мне сказала обратное.

— Она вас застеснялась.

— Но она не могла соврать священнику?

— Она этого не понимает.

— Мама знает об этом?

— О чем?

— Ну, что вы близки.

— Знает.

— Так надо жениться! — воскликнул я и начал искать глазами его маму.

— Мама хочет, чтобы я закончил учебу.

— Разве нельзя быть женатым и учиться?

— Не знаю.

— Это что было, ревность?

— Да, ревность.

— Ты не первый у нее?

— Нет.

Я помолчал. Сидит это в ментальности русского мужика — быть первым и единственным, в противном случае он будет всю жизнь презирать жену и издеваться над ней.

— Любишь Машу?

— Да, люблю.

— Знаешь, — сказал я Рустика, но сразу почувствовал, что вряд ли буду услышан, — надо любить человека не для себя, а для него. Когда любишь для себя, это деспотизм любви. Тебе кажется, что ты любишь другого, а всего требуешь для себя. Потому что хочешь, чтобы другой тебя любил, тебе давал ласку, тебя слушался, тебе во всем подчинялся. Это значит любить для себя, понимаешь?

— Как это? — оторопело спросил он.

— Ну как?! Любить по-настоящему, это когда в ответ на сказанные тебе слова: «Знаешь, я уйду к другому» ты спросишь: «Уходишь, потому что любишь по-настоящему? А тебе с ним будет хорошо, ты будешь счастлива?» Она ответит: «Да, будет хорошо, я буду счастлива». — «Если тебе там будет хорошо и ты будешь счастлива, я отпускаю тебя, потому что я люблю тебя». Любить надо в свободе человека. Понимаешь, Рустик?

Он молчал, соображая.

— Ты сможешь так любить, чтобы ничего не требовать от Маши, а доверять ей и не нарушать ее свободу?

— Я не знаю. Я не понимаю всего этого. Я просто хочу, чтобы она была рядом со мной. Чтобы никто не стоял между нами.

— Мы живем среди людей. Кто-то может посмотреть на неё, быть рядом с ней на работе, разговаривать. Ты же не сможешь изолировать её от мира, от людей? Но самое главное заключается в том, что человек свободен. Каждый человек. Твоя Мария тоже. Сейчас она выбрала тебя. Но ты должен быть готов к тому, что она может выбрать и другого. И это касается любых отношений между людьми. Не только любви, но и дружбы.

Я увидел, как он побледнел. Казалось, что он теряет сознание. Я оглянулся, ища глазами мальчишку-алтарника. Увидев его, показал жестом, что нужна святая вода.

— А куда же Бог смотрит, когда дает любовь? — болезненно, взволнованно спросил Рустик.

— На вас и смотрит.

Я протянул ему воду.

— Рустик, попей воды.

Он механически проглотил глоток, потом другой.

— Посмотри на меня.

Я налил воду в свою ладонь и плеснул ему в его побледневшее лицо. Он вздрогнул.

— Бог смотрит и ждет, как человек его любовью распорядится.

— Повенчайте нас, батюшка, — шепотом проговорил Рустик. — Может быть, Бог еще не видит её рядом со мной? — Он наклонился к самому кресту. — Повенчайте нас скорее.

— Я повенчаю, только вы это должны решить вместе с родителями.

— Да, я должен решить, что мне делать с божьей любовью, — как будто говоря сам с собой, произнёс Рустик.

— Понимаешь, Рустик, Бог ждет от человека такой любви, которая может дать другому человеку счастье, несмотря ни на что. Хороший человек перед тобой или плохой — это совсем не важно. Именно так мать любит своего ребенка, независимо от того, совершает он преступление или делает добро, радуется он её или огорчает. Она любит его и желает ему счастья. Она может сказать ему: «Какой бы ты выбор ни сделал, я все приму. Только бы ты был

счастливым». Вот именно такую любовь Бог хочет видеть у человека. Помнишь, у Пушкина: «Как дай вам Бог любимой быть другим». Это очень точно. Надо любить вот этой возвышенной любовью. Это великая мудрость — любить человека в свободе. Уметь отпустить, а самому оставаться спокойным, даже радостным и счастливым. Потому что человек-то, которого ты любишь, счастлив. Понимаешь, Рустик?

Рустик молчал.

— Ты подумаешь над этим? Я хочу, чтобы ты подумал и сказал мне ответ. Ты придешь в четверг, через два дня. Мы еще побеседуем. А в пятницу, если не будет препятствий, повенчаю вас.

— Хорошо, я приду, только не забудьте нас обвенчать.

Он наклонил голову к кресту и Евангелию. Я осторожно накрыл его епитрахилью, прикоснулся к его теплой голове и, наклонившись, участливо произнес над ним разрешательную молитву. Когда он стеснительно, боком отходил от меня, я думал: «Что он, девятнадцатилетний юноша, мог понять из моих взрослых рассуждений о любви?»

Но у нас еще будет время для разговора, в четверг, — успокаивал я себя.

Подошла Маша. Во время нашего разговора с Рустиком она исподлобья смотрела на меня и проводила ладонями сверху вниз по своей юбке. Встала, вся скукожившись, наклонила плечи вперед.

— Ты понимаешь, что вы одно целое теперь, потому что у вас кровная связь. Куда он, туда и ты. Куда иголочка, туда и ниточка — так в народе говорят. Ты понимаешь это? Ты не должна давать повод тебя ревновать, а ты, видимо, делаешь это, а ведь ты взрослее его, ты опытнее. Ты понимаешь это?

— Угу, — она затрясла головой.

Она понимала, о чем я ей говорил. Она догадалась, что я знаю об их близости. Раскрывшаяся лож заставляла её краснеть.

— Расскажи, как он тебя заревновал?

— Ну, я работаю на птицефабрике. У меня бывают ночные смены. И вот в тот вечер, вернее уже ночью, он мне звонит и требует: приходи домой. А я ему отвечаю, что не могу — это же работа. А он говорит, что если я не приду, то он что-нибудь с собой сделает. Вот.

— И ты не пошла?

— Ну а как я пойду с работы? — Маша взглянула на меня, ища сочувствия.

— А почему он попросил тебя об этом?

— Он однажды вечером пришел ко мне, а со мной рядом был парень, он наладчиком работает, на линии. И он подумал, что у меня с ним что-то есть. Что только я ему не говорила! А он уперся — и все. И вот как ночная смена, он с ума сходит. Начинает дуться сначала, не разговаривает уже за два дня.

— Маша, — я тихим голосом обратился к ней, — ты его любишь?

— Да, люблю.

— Уйди с этой работы.

— Да как я уйду? Меня через два месяца переведут с конвейера в контролеры.

«Предел мечтаний глупой девчонки», — подумал я.

— Маша, постарайся понять то, что я тебе сказал. Ты можешь потерять Рустика.

— Я уже хотела уходить, а мне мать говорит: даже и не думай. В контролерах хорошо платят.

Я вздохнул. Она меня не слышит. И, пожалуй, не услышит пока. Сдерживая раздражение, я накрыл ее голову.

— Покайся в своих грехах.

Она говорила тягуче, без раскаянья, читая выписанные грехи из книжки, которые сейчас издают пачками, как будто хотят научить людей грехам, которые они еще не знают и слыхом о них не слыхивали. Доходят в описании этих грехов до самых постыдных, срамных подробностей. И это пишут священники, монахи.

Когда она закончила, я прочитал слова молитвы. Она приложилась к кресту и Евангелию, а я наблюдал за ней, долго смотрел ей в глаза. Она не могла отойти от меня. А я вглядывался в неё, пытаясь преодолеть холодную непроницаемую стену, которой она отгородилась. Я понимал, что слов недостаточно. Тут нужно действие. И я действовал, я смотрел в её глаза. Она начала испытывать неловкость.

— Я могу идти? — растерявшись, спросила она.

— Оставь работу ради любви.

— Ладно, — вяло, безвольно выговорила она.

— В четверг приходи вместе с Рустиком.

— Хорошо.

Я вошел в алтарь, приложился к престолу и сел на табуретку.

Мы, священники, думаем, что имеем власть над современными людьми. Что мы сакральные существа, слова и наставления которых воспринимаются как руководство к жизни. И вот это оболщание властью порой ослепляет нас, делает близорукими. Мы склонны думать, что поставлены быть отцами по статусу своего положения. Но отцовство следует заслужить аскетическим подвигом и страданием. Послушание отцовству не по статусу положения, а по существу складывается из доверия людей к человеку, посвятившему свою жизнь служению. Тогда возникает желание подчиниться, как подчиняются любви, красоте, добру. Раб — это не обидное слово. В библейском смысле раб — это человек, который по любви отдает свою волю в руки другого человека или Бога. Мы, получившие власть не по наследству, а по достоинству сынов божиих, узурпировали её, отождествившись с ней только внешне. Внутренне же мы далеки от нее. Мы наряжаемся в дорогие красивые одежды, мы получаем награды, мы любим производить впечатление на людей своим избранничеством и пустыми речами. Мы привязаны к дорогим машинам и вещам. Мы любим угощения и подарки. Мы подобны раскрашенным гробам, внутри которых нет настоящей жизни. И мы думаем, что имеем влияние на людей?!

В четверг они не пришли.

А вечером, в восьмом часу, зазвонил телефон. Голос Татьяны прерывался порывами ветра.

— Батюшка, помолитесь. Нам позвонила Маша. Рустик там сейчас при ней вешается. Ее оттолкнул, снял ремень, влез на дерево и вешается. Мы сбились с ног, ищем, где они, и никак не можем найти. О, Господи, батюшка, помолитесь.

Трубка отключилась внезапно. Я стоял и не верил в реальность происходящего. Взял акафист Святителю Николаю, встал на колени и начал молитву.

Через полчаса позвонила Татьяна.

— Батюшка, мы их нашли. Мужчины срезали ремешок, но было уже поздно. Нету больше нашего Рустика, — она заголосила и отключила телефон.

Рустика отпели и похоронили. Две семьи объединило горе. Маша в черном платке сорок дней вместе с Татьяной не выходила из

храма. Вела себя тихо, смиренно. Каялась, молилась. А через сорок дней написала записку родным и выпила упаковку таблеток. Ее спасли и поместили в психиатрическую клинику.

— Врач поставил диагноз — шизофрения, — рассказывала вся почерневшая от горя Татьяна, — и он сказал, что никакой ошибки нет. И еще мы узнали, что родной отец Маши повесился, представляете, батюшка.

«Черт через Марию напал на мальчика, уязвленного любовью», — подумал я.

— В нашей семье ничего не знали об этом. Нам никто не сказал, — она горько плакала.

После этого Татьяна долго не приходила в церковь и ко мне относилась недоверчиво.

Почему Рустика не поместили в психиатрическую больницу? Этот вопрос я постоянно задаю сам себе. Может быть, потому, что вмешались деньги. В больнице его быстро промыли, прокапали и выписали, не сообщив о случившемся в специальную службу, и таким образом не исполнились врачебные инструкции.

А какие инструкции должен был исполнить я?

Знакомство с Илюшей

У храма меня ждала Татьяна Алексеевна. Доктор физико-математических наук. Человек замечательный во многих отношениях. В её роду были знаменитые предки. По материнской линии она была Бакунина и являлась прямым потомком знаменитого анархиста Михаила Александровича Бакунина, друга Герцена и Кропоткина. По отцу она носила фамилию Плясова. Это был род знаменитых, очень талантливых врачей, врачей от бога. Татьяна Алексеевна очень гордилась своим происхождением и знаменитыми предками, особенно известным на весь мир анархистом.

Во всем её облике чувствовалась порода. Лицом, за которым она очень ухаживала, она походила на Татьяну Самойлову, гениальную русскую актрису, сыгравшую в фильме «Летят журавли» и удостоившуюся представлять Советский Союз на кинофестивале в Каннах, где она, единственная из русских актрис, оставила отпечаток своей ладошки на знаменитой Аллее славы. Манеры Татьяны Алексеевны были подчеркнута благородными.

Пятнадцать лет назад Плясова-Бакунина вышла замуж за американца Джека Эндвортона, профессора университета Бёркли.

Профессор, будучи старше её на двадцать два года, был человеком обеспеченным, что в её положении было важным обстоятельством. Наконец она смогла помочь своей сестре Ольге Алексеевне и своему брату-близнецу Александру, которые жили в нашем городе.

— Джек принял крещение с именем Дмитрий, и нас повенчал отец Николос в Порт-Таунсоне, в американской церкви, — рассказывала мне Татьяна Алексеевна. — Я хотела быть связана узами брака, освященного Богом. Я должна нести послушание служить своему мужу, я всю жизнь об этом мечтала.

Правда, Татьяна Алексеевна была уже несколько раз замужем. От первого брака она имела дочь, которая раньше матери уехала в Америку, выйдя замуж за бывшего военного офицера, который тоже был старше её.

— Джек говорит по-русски? — спрашивал я Татьяну Алексеевну.

— Джек по-русски знает только одну фразу: «Я безумно люблю Татьяну». Но этого вполне достаточно, не правда ли?

Татьяна Алексеевна поклонилась мне издалека и ждала, пока я переговорил с Тихоном о предстоящей работе, благословил пожилых прихожанок, складывающих сваленный как попало кирпич, и пошел навстречу американке.

— Какой замечательный получается наш храм, батюшка, — радостно улыбаясь, говорила Татьяна Алексеевна. — Я не была год, вы значительно продвинулись.

— Стараемся как только можем. Видите, всем миром работаем.

— А я привезла вам американских долларов.

— Это хорошо, деньги нам нужны, — весело отреагировал я.

Мы вошли в нижний храм, который был пуст, я включил свет. Она села за столик, открыла сумочку, достала деньги и аккуратно, купюра к купюре, стала раскладывать их, как игральные карты, на стопочки — по тысяче. Получилось пять стопок.

— Здесь пять тысяч американских долларов на строительство нашего храма, — торжественно произнесла Татьяна Алексеевна. — Ког-

да будете золотить купола, а они должны быть обязательно золотыми, я пожертвую свое кольцо.

— Ах, если бы все люди так любили церковь и жертвовали свою лепту! — смутившись, произнес я.

— Знаете, — доверительно сказала Татьяна Алексеевна, — в этом году на день рождения Джек утром преподнес мне двадцать восемь долларов и сказал, что это его подарок. Вот так американские мужья оценивают своих русских жен. Надеюсь, вы понимаете?

— А вы жертвуете безумные деньги?! — восторженно проговорил я.

— Здесь, на этой земле, похоронены мои предки. Здесь и я хочу быть отпета и похоронена, рядом с ними. Помните, как состоялось наше знакомство? Я приехала за вами на машине, и вы отпевали нашу маму.

— Да, я это очень хорошо помню. Когда я узнал, что вы ученый человек, то задал вам провокационный вопрос об архаичности обрядов церкви. А вы мне тогда ответили словами из завещания, которое вашей семье оставил ваш дед, знаменитый на всю округу врач. Я дословно помню эту фразу. «Похороните меня по церковному чину с отпеванием. По-другому хоронят только животных и собак». Это врезалось в память. Точно сказано, — и прибавил: — Совсем недавно пришел в дом в частном секторе. Меня пригласили освятить его. Хозяйка — женщина, дом старый. Спрашиваю: «Что же вы никогда дом ваш не освящали?» «Нет, батюшка, не освящали, — отвечает она мне, — вошли, как скотина, и так живем».

— Как точно и остроумно выражается русский народ, — заметила Татьяна Алексеевна и перешла на заговорщицкий тон: — Но у меня к вам важное дело. Не благословите ли вы меня поехать к доктору?

— Вы что, заболели?

— Не то чтобы я заболела, — загадочно ответила она, — мне нужно кое-что поправить в лице, а церковь, я знаю, противница подобных действий. Вот не могли бы вы меня благословить?

Желание не стареть, выглядеть моложе было столь сильным в Татьяне Алексеевне, что у меня не оставалось выбора. Я знал, что она в свои

шестьдесят семь лет продолжает играть в большой теннис. Мне лишь нужно было придумать мотивацию своего благословения.

— Конечно, Богу важна внутренняя красота, которая проявляется и во внешности человека, в его взгляде, в его манере говорить. Внутреннее содержание важнее внешнего. Но когда внутреннее уже готово к совершенству, а внешнее немножечко отстает, то я думаю, что можно и вмешаться. Только, знаете, к опытному ли специалисту вы обращаетесь? Не навредит ли он? Почему бы вам не сделать то же самое в Америке?

— Что вы! — воскликнула Татьяна Алексеевна. — В Америке это все стоит бешеных денег. Я приезжаю сюда, потому что здесь можно сделать за копейки. То же самое и с зубами. Там не подступиться.

— Бог благословит, — громко произнес я и широко перекрестил Татьяну Алексеевну.

Она была очень довольна.

Мы простились, троекратно поцеловавшись друг с другом.

Я пришел в алтарь, приложился к святому Престолу, сделав три земных поклона, взял с Жертвенника дароносицу со святыми Дарами и отправился в больницу к Илюше. Мне предстояло встретиться с больным мальчиком и его матерью. Я должен был войти туда, куда пускают только близких, родных людей и принести в этот воцарившийся мрак страдания присутствие Божье через свой облик, через слово, через любовь и заботу, принести надежду. Такова участь таинства священства. Быть другом Христа, который открыл тебе тайны жизни и дал меру неоскудевающей благодати, которой ты обещал делиться со всеми «труждающимися и обремененными». Прикасаясь к людям и отдавая им часть Христовой любви, мы делаем их церковью. Тем собранием людей, которое есть тело Христово. И каждый причастник получает свою часть в этом теле. «Ядый мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем», — говорит сам божественный Учитель. И эта тайна связывает, собирает в некое единство народное сознание, создавая симфонию жизни. «Да единомыслием исповеваем!» — восклицает церковь, совершая Евхаристический канон. В полифонии голосов мы должны услышать гармоническое единство, ведущее нас к тому, о чём сказал вели-

кий писатель Федор Михайлович Достоевский: «Красота Христова мир спасет». Это он мечтал, чтобы государство стало церковью, чтобы люди жили не в законе, а в благодати, основанной на принципах жертвенной, христовой любви.

На первом рубеже собирания народа в духовное единство стоим мы, священники. Что нужно для того, чтобы разрушить, уничтожить единство церкви, единство народа? Нужно дискредитировать священников, чтобы народ перестал доверять тайне священства.

Я помнил это отделение в больнице со страшным названием «Гематология». В нашей семье, у моей сестры, болел и умер в младенчестве ребенок, мальчик Даниил. Мы все боролись за его жизнь, но она оборвалась. Прошло много лет, но память возвратила меня в те роковые дни.

Детское отделение больницы жило своей жизнью. Как известно, дети везде одинаковы. Они играют и веселятся, не думая об опасности, которая угрожает их жизни. Неопытность является этому виной, а может быть, и не виной, а счастьем. Жить и веселиться, не думая о прошлом и ничего не зная о будущем. Жить и радоваться сейчас, в эту самую минуту текущей и никогда не останавливающейся жизни. Взрослые уже разучились быть счастливыми. Они устремляются в будущее, строят планы, подготавливают его, мечтают о нем. Но когда оно наступает, они разочаровываются. Потому что то, что они получают, не соответствует их мечтам. И они думают о новом будущем, что оно будет другим, более счастливым. Но они опять ошибаются. И вот когда они устают ждать счастья впереди, они начинают думать о прошлом и жить прошлым. Взрослые никогда не живут настоящим, как это умеют делать дети.

Я поднялся на второй этаж больницы и оказался перед дверью со стеклами, которые были окрашены белой краской. Над дверью была вывеска: «Отделение гематологии». Я ухватился за металлическую ручку, потянул за нее, и дверь открылась. Послышался детский смех и движение. В коридоре играли дети. Увидев человека в священнических одеждах, они остановились и замерли. Я поклонился им и прошел на пост к медицинской сестре. Это была довольно взрослая женщина лет пятидесяти,

полноватая, в белом халате и цилиндрическом колпаке. Она почему-то была скорее похожа на повара, чем на медсестру.

— Я пришел помолиться к мальчику Илье, который лежит здесь со своей мамой Наталией.

— Пройдите по коридору до самого конца, — приветливо объяснила мне дежурная сестра, — последняя дверь справа.

Я поблагодарил и пошел по коридору. Дети последовали за мной.

— А вы к кому? — спросил меня шустрый мальчик в цветной пижаме.

— К одному маленькому больному человеку, — ответил я.

— Он к Илюше, — крикнула девочка, — в изолятор.

Мы подошли к двери, и я постучал. Дверь открыла Наталия. Лицо ее было опухшим, уставшим.

— Заходите, он вас ждет, — она пропустила меня, закрыв дверь прямо перед лицом шустрого мальчика, — я ему про вас рассказала. Илюша, — громко и весело произнесла она, — батюшка пришел.

Палата была просторной, в два окна. Между окнами стоял раскладной диван, а в глубине — белая кровать, на которой сидел, свесив маленькие худенькие голые ножки, мальчик. Он несколько секунд посмотрел на меня серьезными темными глазами и затем стал рассматривать собственные пальчики, перебирая ими на закрытых простыней коленях. Он был большеголовый и совершенно лысый. Рядом с кроватью стояла капельница с полным пузырьком лекарства и свисала трубочка с иголкой. Под ключицей мальчика, заклеенный пластырем, свисал катетер.

— Здравствуй, Илюша, — тихо поприветствовал я его.

Он молчал и все перебирал свои пальчики.

— Илюша, поздоровайся с батюшкой. Он тебе больно не сделает. Он помолится, и ты выздоровеешь, — Наташа приговаривала, а сама одевала на него носочки.

— Будем молиться, Илюша? — серьезно спросил я его.

— Будем, — твердо ответил мальчик.

— Вот хорошо. Боженька нас услышит, — я готовил епитрахиль, поручи, облачался и на

тумбочке зажигал свечи. — Наташа, я вас пособую вместе, хорошо?

— Хорошо, а мне надо повязать платок?

— Да, надо платок на голову.

Платка не было, и Наталия повязала на голову полотенце.

— Ничего так?

— Пойдет, — согласился я.

Илюша наблюдал за моими приготовлениями.

— Ну, — сказал я, обращаясь к нему, — давай молиться?

— Давай, — серьезно ответил он.

И мы начали творить таинство. Наташа истово крестилась, слезы текли по её щекам, а Илюша во все продолжение таинства был сосредоточен и серьезен.

Во время молитвы в дверь заглянула процедурная сестра, но, спохватившись, сказала:

— Потом зайду, — и вышла, осторожно прикрыв дверь.

Я помазывал Илюшу маслом. Он, как большой, помогал мне, подставляя ладошки.

Я произносил слова молитвы, а сам думал: «Вот они, эти слова чудотворения, обращенные к Богу. Эти же самые слова таинства произносили великие молитвенники, великие святые Серафим и Сергей, Александр Свирский и митрополит Алексей Московский, и совершалось чудо. Двигалось пространство, Господь входил в своё творение и действовал державно. Животворилась плоть, менялся состав крови, и человек исцелялся. И я, священник, произношу эти же самые слова молитвы. Господи, подай мне силу твою. Ту силу, которую ты подавал преподобным твоим, и они исцеляли страждущих. Мне вдруг стало страшно при мысли от того, что я имею те же инструменты для исцеления, но не умею ими пользоваться. Что слова таинства, которые прямо говорят об исцелении, в моих устах окажутся пустыми, недейственными. Но сегодня этого не должно произойти. Передо мною неутешная мать и её маленький ребенок, одержимый страшной болезнью. Господи, помоги, пошли Твою животворящую благодать. Сотвори меня настоящим, а не мнимым проводником твоей исцеляющей силы. Иначе зачем священник? В обыкновенных случаях, когда нет угрозы жизни, могут помолиться простые люди, родные и близкие. И мы, священники, совершая

молитвы в таких случаях, прячемся за милость Божью и за снисходительность и великодушие людей. Бог не дает нам урока, который мы не сможем выучить. Но когда ты оказываешься перед настоящим испытанием и видишь страдание, исходящее от подлинной угрозы, ты должен прийти божественным присутствием и совершить чудо. Поднять с одра болезни младенца, мужчину или женщину, которых связал сатана. Иначе зачем ты нужен, священник?! Твое бодрствование в духе — это твоя жизнь в том таинстве, в которое ты призван Богом и его благодатью. Иначе ты несостоятелен».

— Хочу лечь, — тихо сказал Илюша.

Я кивнул Наталии и отступил от кровати. Она укладывала его молча, укрывая ножки простынкой. Бледность лица ребенка указывала на усталость. Мальчик закрыл глаза. Кажется, что он спит.

Надо было сокращать таинство. Я помазал его в пятый раз и прочел заключительную молитву.

— Завтра утром приеду причастить Илюшу, — шепотом сказал я матери.

— Ладно, — она шла за мной к двери. Остановившись, она спросила:

— Как он, батюшка?

— У вас удивительно взрослый ребенок. Он мне напомнил маленького мудреца, — я взял ее за руку, — Наталия, буду молиться, сугубо молиться, и вы молитесь. Молитва матери ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

— Он поправится?

— Поправится.

Я вышел на улицу и глубоко вдохнул прохладный весенний воздух, наполненный влагой и запахами просыпающейся земли.

Вера

Набегал ветер, покачивал голые ветки кустов. Клумбы темнели маслянистым черноземом. Пройдет какая-нибудь неделя, и на кустах проклонутся почки, а на клумбах зазеленеют и зацветут первые весенние цветы. Вся земля наполнится новой жизнью. И Илюша родился, чтобы жить и быть счастливым. Я вспомнил, как болел наш мальчик Даниил. Болезнь появилась в самом раннем младенчестве, и вся эта маленькая, хрупкая жизнь была одним страданием. Я

тогда думал, что нет никакой справедливости в том, что мучается ребенок. Что вся его жизнь есть беспросветное страдание и боль и что он никогда не чувствует себя радостным и довольным. Он не знает жизни без боли. Он думает, что та жизнь, которой он живет, это и есть жизнь, что жизнь и страдание — это одно и то же. Я спрашивал себя, зачем родился этот мальчик, если Бог сотворил этот мир для радости и счастья. Смеются дети, цветут цветы, светит солнце, в кронах деревьев щебечут птицы, и Творец, созерцая эту гармонию жизни, наслаждается красотой Своего творения. Нет, не наслаждается! Потому что в это же самое время в больничной палате умирает маленький мальчик и никто ничего не может сделать, чтобы он не умирал. Бог не может не видеть этого! Но если он видит, почему тогда Он не восстановит утраченную гармонию жизни, над которой довлеет разрушение и смерть? Почему? Или, может быть, он не видит, упиваясь Своим творением, гармонией и довольством? А эта маленькая трепетная жизнь всего лишь незначительная черточка в этом необъятном многообразии большой жизни?!

Я помнил, как Даниила всего лишь за несколько часов до его блаженной кончины на скорой привезли умирать домой. Бледного, совершенно бескровного мальчика внесли в комнату и положили на взрослую кровать. Его отец, большой сильный человек, заперся с ним в комнате и попросил, чтобы никто не входил. Он всё приговаривал:

— Как же ты меня подвел, Данилка.

Мы все сидели или стояли под дверью. Мать была как в бреду. Все эти два с половиной года она неразлучно находилась со своим больным сыном, а теперь муж попросил её оставить его одного с её мальчиком. Тянулось время, тягучее и страшное, а потом мы услышали громкие рыдания отца и вошли в комнату...

Навстречу мне шла женщина. Поравнявшись со мной на узком тротуаре, она остановилась и окликнула меня. Я обернулся. Это была молодая девушка. Лицо её мне показалось знакомым.

— Отец Евгений, это вы?

Я остановился.

— Да, а вы кто?

— Вы меня не помните?

Я оказался в ситуации, которая в последние лет десять повторялась часто. Я помнил лицо, но не помнил, при каких обстоятельствах мы встречались. Эту забывчивость я относил к своей священнической деятельности. С самого детства я обладал фотографической памятью. Стоило мне один раз увидеть человека, я уже никогда не мог забыть его и тех обстоятельств, при которых с ним столкнулся. Но когда я начал служить и исповедовать людей, вникая в их жизнь, переживая их горести и радости, я как-то потерялся. Их оказалось слишком много в моей жизни. Постепенно люди в моей памяти обезличились. Особенно эта обезличенность проявлялась вне церкви, на улице. В церкви же, это я давно отметил, человек открывался мне. Я узнавал его и вспоминал все то, что он мне рассказывал о себе и своей жизни. Вне церкви я многих не мог вспомнить и часто, чтобы не обидеть человека, разговаривал с ним как с давно знакомым.

— Как вы поживаете? — спросил я девушку, которая внимательно рассматривала меня. — Как учеба?

— Летом получила диплом. Красный, представляете? — она радостно улыбалась. — Теперь ищу работу.

— Вы молодец, порадовали своих родителей.

— Да, жаль только, папа никогда не узнает об этом.

— Простите меня.

— Ничего, — смущенно опустив глаза, произнесла девушка, — но мама сказала: Вера, я тобой горжусь, если бы папа дожил до этой минуты, он бы был счастлив.

В её девичьем лице, особенно в глазах, таилось много страдания. Оно проявлялось в глубине взгляда темных глаз. Состояние это было мимолетным, но его нельзя было не запомнить. «Человек может быть красив только страданием», — промелькнуло у меня в голове. Но в следующую секунду она уже улыбалась. Её молодое лицо светилось радостью.

— Как удивительно, что я вас встретила. Я всегда помнила о вас и всегда хотела прийти к вам.

— И что же вы не приходили, Вера?

— Я боялась, — она весело засмеялась, — хотя я приходила, только вы меня не видели.

Вдруг меня осенила мысль.

— Вера, вы мне нужны для одного важного

дела. Я задумал кое-что написать. Впрочем, я уже пишу. Работа большая, и мне нужна помощница, чтобы разбирать мой почерк и перепечатывать материал на компьютере. Вы не согласитесь мне помочь в этом? — говорил я, а сам смотрел в её лицо.

Она в радостном удивлении, казалось, не веря своему счастью, ждала секунды, когда я закончу свою речь.

— Я согласна, согласна. Когда приступить?

— Вера, конечно, это работа, и она должна быть оплачена, как любая другая работа.

— Я совершенно свободна, и никакой оплаты мне не нужно от вас. Тем более, это будет интересно. Потому что я думаю, что вы пишете даже более красиво, чем говорите. А говорите вы несравненно прекрасно.

Разговор был недолгим.

— Вы торопитесь? — спросил я.

— Я иду проведать племянницу, но хотите, я вас провожу до машины?

Я согласился.

— А вы к кому приходили? Причащали кого-нибудь?

— Да, Вера, соборовал и причащал молодую мать с младенцем.

— Почему болеют дети? — с состраданием и жалостью спросила Вера. — Они же ни в чем не виноваты?

— Видимо, мир несовершенен, Вера, — я остановился, — и люди, особенно люди, несовершенны.

— От людей идет зло, — подсказывала мне Вера.

— Да, вы правильно сказали, — я задумался и продолжил: — И самое плохое в этом то, что, распространяясь, зло попадает на безвинных, потому что виновный может себя защитить.

— Виновный злой, виновный сильный.

— Именно так, Вера.

Мы подошли к машине и остановились.

— Но вы уже идите, Вера, вас ждет племянница, — сказал я и спросил: — А что с ней, она заболела?

— Да, у нее весной всегда обострение болезни. После детского коклюша у неё развилась астма.

— Астма? — удивился я. — Но это серьезная болезнь. Ей не хватает воздуха?

— Да, она прямо задыхается, когда случается приступ.

- А сколько ей лет?
- Девять, она совсем еще ребенок, – ответила Вера.
- Она скоро будет здорова, – твердо сказал я, – через два года болезнь отступит.
- Откуда вы знаете? – Вера внимательно смотрела мне в глаза.
- Переходный возраст все поставит на свое место.
- Вы так думаете?
- Я в этом уверен.
- Ладно, пойду ей об этом скажу.
- Идите, идите, Вера.
- Она отошла и остановилась, посмотрев на часы.
- Когда я приступлю к работе? – громко спросила она.
- А когда вы придете в церковь?
- Завтра.
- Хорошо. Я подготовлю листочки.
- Обязательно принесите.
- До свидания, Вера.
- До свидания, – радостно сказала Вера и побежала.

Я ехал в машине. Усталости не было. Я вспоминал Веру и думал о том, как хорошо, что я встретил эту девушку, полную энергии и сил, светлую, настоящую. Она была студенткой филологического факультета педагогического университета, а я тогда читал лекции на тему «Духовный человек». Я подумал об отце Владиславе, с которым мы служили несколько лет в кафедральном соборе. Это был человек с музыкальным образованием. Он окончил училище по классу фортепиано. Прекрасно исполнял классику и сам сочинял музыку. Умел ценить искусство и наслаждаться им.

У нас было много общего в восприятии жизни. Я часто делился с ним мыслями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах. Это был образованный священник, интеллигентный, культурный человек. Мы служили как проклятые, имея «ревность не по разуму». Первые четыре года я не знал отдыха и отпусков. Мы служили каждый день, кроме понедельника, если в понедельник не попадал праздник. Он был служащим одну неделю, я был требным священником. Потом, на следующей неделе,

мы менялись. И это длилось годы. До момента, когда я на четыре месяца оказался в больнице. Ослабла мышца сердца. После встречи с Верой я вспомнил трогательные минуты, когда я приходил с исповеди в алтарь и потихоньку, но восторженно говорил отцу Владиславу:

– Можно дальше жить, можно дальше служить, какую удивительную душу я встретил!

– Я вас поздравляю, батюшка, – весело отвечал мне отец Владислав.

Это состояние повторилось сегодня, но мне не с кем было поделиться своей радостью. И другое чувство примешивалось к моей радости. Я нес в своём сознании образ Илюши, его трепетную, незащищенную душу. Мне надо вымолить этого младенца, вырвать его из рук Дьявола. Но чтобы это сделать, надо быть сильным и чистым.

В начале девяностых, когда народ ринулся в церковь, приходилось исповедовать тысячи людей. Народ был измучен отсутствием свободы и страхом перед коммунистической партией. Страх сидел внутри, передавался генетически. Народ был растерян, придавлен. Он хотел другой жизни, он хотел свободы. Он надеялся в церкви, которая была для него загадкой, непонятой, неузнанной, распятой церкви, встретить покой и новый идеал человека. Народ потерял самостоятельность, потому что привык жить и действовать по подсказке центрального комитета партии. Когда я смотрел на него, стоя посередине полутемного храма, словно посередине моря житейского, в дни Великих Родительских суббот, на меня наваливалось чувство скорби. Народ молился за умерших, замученных и убиенных, без вести пропавших, погибших. Он молился за похороненных и не отпетых по церковному чину русских, изменивших православию и своей церкви по всей необъятной земле Российской, сгинувших в двадцатом кровопролитном веке. Он стоял растерянный, уставший, грустный, обманутый и обездоленный.

В конце службы диакон возглашал вечную память всем от века почившим. И поднималась волна в этом соленом от слез море, и катилась по всей церкви, выражая боль, тоску, разочарование и жалость к тем, кто никогда не увидит новой, свободной России.

Документ эпохи

Мой дорогой мальчик! Моя задача — оставить документ эпохи, документ о нашем времени.

Мы строим из кирпичей, из камня, но мы строим человеческими усилиями, человеческой энергией. Получается красиво. Все радуются. Глазам приятно. Говорят: «Какую красоту смогли создать!»

Храм звучит в пространстве красотой. Это цель. Она достигнута. Людям не важно, преодолением каких препятствий достигнута красота, какое количество усилий вложено в осуществление замысла. Знаешь, это можно сравнить с работой человека, который выполняет сложный и опасный трюк. Логика прямая: чем больше проведено работы, тем легче выполняется трюк.

— Ах, с какой легкостью и как красиво он это делает! — восторгается публика. Но за этой красотой переломы, ушибы, синяки и ссадины. Не только трюкача, а еще тех, кто этот номер некогда придумал. Но цель достигнута.

— Как красиво он это делает!

Недавно русская американка пожертвовала храму пять тысяч долларов. Я истратил эти деньги на покупку кирпича, не предполагая, какое количество клеток кирпича мне доставят с завода, а это была лишь малая часть материала! Машины привозили кирпич несколько дней, и весь церковный двор беспорядочно был заставлен клетками. Из груд кирпича надо было создать эту удивительно красивую форму. Эти линии, бегущие вверх, эти колонны и арки, и эти главки с кокошниками и величественными проемами окон. Весь кирпич, а это, по приблизительным подсчетам, пятьсот тысяч штук, стал этой красотой.

Знаешь, мой дорогой мальчик, в природном камне есть свойство взаимодействовать с человеком. Ты смотришь на него, и он тебя затягивает. Он тебе хочет рассказать «нечто», то, что он содержит. Он хочет поделиться информацией и энергией. Впечатление или ощущение от разных природных камней может быть разное. Искусственный камень отгалкивает, потому что он пустой, без истории. Рассказать нечего. А на уровне энергетики идет даже отторжение. Пустота формы должна быть заполнена содержани-

ем. В природе она заполняется временем и историей. И именно природная форма обладает этим содержанием спрессованной энергии.

В современном мире, при новых технологиях быстро создаются вещи, но отсутствует самое главное — время и история. Поэтому многие вещи звучат зияющей пустотой.

Воин света теснит тьму, он не сражается с ней, он не воюет с ней, он ее теснит. Воин света сражается с тьмой в себе и приращивает свет.

Мы тогда осуществили одну идею. Невеждам она может показаться коммерческим проектом, но для нас она была социальной, духовной. Мы продавали кирпичи. Один кирпич стоил десять рублей. Что можно было купить тогда за 10 рублей? Две буханки хлеба. Это небольшие деньги. Получив десять рублей, мы записывали имя дающего. Потом это имя мы писали на кирпиче, который шел в кладку стен храма. Таким образом было заработано около ста тысяч рублей. Посчитай, мой мальчик, сколько имен написано на кирпичках. Каждое имя — это судьба. Это печали и радости, это страдания и страхи, это болезни и чудо исцеления, это жизнь и это смерть. Я пишу эту историю, историю создания красоты человеческими судьбами. Пресловутая намоленность иконы или храма — это слезы людские. Этим звучат наши камни.

Монахиня Тавифа

Это была женщина среднего возраста. Старшая медицинская сестра в хирургическом отделении больницы. Авторитет у неё был непререкаемый. Хозяйственная и бережливая.

Муж её много лет назад заболел рассеянным склерозом и выглядел «не имея ни вида, ни доброты». Она не оставляла его, заботилась, лечила как могла, при этом уже десять лет имела любовника и разрывалась на две семьи.

Придя в храм в неделю стояния Марии Египетской, она услышала житие подвижницы, которое я читал прихожанам во время службы, и её жизнь перевернулась. Она разорвала отношения с любовником, покаялась в своем эгоизме и принялась воцерковлять мужа, который к тому моменту был даже не крещен. Все таинства я совершал в квартире, где они жили. Я окрестил его, пособоровал, исповедовал, причастил, и,

наконец, она попросила меня повенчать их. Случай был исключительный, и я отправился к архиерею испрашивать благословения совершить таинство венчания на дому. Владыка благословил, услышав трогательную историю.

Наступил день венчания. Я привез с собой венцы, свечи, лучшего вина для таинства (у меня хранилась маленькая бутылочка из Канны Галилейской), мне хотелось им угодить и порадовать их. Лариса Васильевна встретила меня на пороге и пригласила войти. Она выглядела очень нарядной, в красивом облегающем платье и в белом платке. Я облачился в священнические одежды, мы вошли в большую комнату, из которой выходила дверь в спальню, где лежал ее муж. Их сын Олег по моей просьбе подвинул широкое кресло, поставив его посередине комнаты. Ларису Васильевну я попросил встать слева от него.

— Как он себя чувствует? — спросил я невесту.

— Как обычно. Слабый, но в одной поре. Он предупрежден и, кажется, даже рад.

— Хорошо, тогда начнем?

— Давайте, — согласилась она и обратилась к сыну:

— Олег!

Сын вошел в спальню и на руках вынес маленького, с высохшими руками и ногами, согнувшегося от болезни человека. Он посадил его в кресло рядом с его женой. Здоровый вид цветущей женщины еще больше подчеркнул кажущуюся нелепость происходящего. Но Лариса Васильевна имела вид решительный и, казалось, была счастлива. Она только хотела, чтобы скорее все задуманное ею исполнилось. Валентин Петрович пытался перекреститься, но трясущаяся рука его не слушалась.

Глаза Ларисы Васильевны наполнились слезами, отчего она стала ещё красивее.

Я провозгласил: «Благословен Бог наш!» и начал таинство.

Валентин Петрович был серьезен и очень ответствен в самом начале службы, но скоро стал уставать и капризничать. Лариса Васильевна шептала ему, чтобы он потерпел немножко. Она брала его правую руку и прилагала усилие к тому, чтобы донести его растопыренные судорогой пальцы до лба, потом к животу и худеньким обвисшим плечам. Он отвлекался, выполняя эту тяжелую работу, и время шло вмес-

те с молитвами таинства. Я вынужденно сокращал молитвословия, видя, как ему тяжело, а ей неловко. Венец, воздвигнутый на его голове, придавил его еще сильнее, подчеркнув его щуплость. Но делать было нечего, надо было все выполнять по канону. Наконец мы завершили. Я протянул Валентину Петровичу крест для целования. Он с чувством благодарности и за то, что повенчался со своей любимой женой, и за то, что всё наконец закончилось и он может лечь, потянулся к кресту качающейся вверх-вниз головой и ткнулся в него.

Сын стрелб его в охапку, и они скрылись за дверью.

— Дорогой батюшка, я обрелась, что, когда вы все, что я задумала, сделаете, я помогу вам деньгами на строительство храма. — Она полезла в шкаф и подала мне сверток. — Здесь пятьдесят тысяч рублей. Это наша скромная лепта, помолитесь за нас.

Я поблагодарил Ларису Васильевну и уехал. Через восемь дней Валентин Петрович, освобожденный от первородного греха в таинстве крещения и довершив всякую правду, предначертанную Богом для человека, умер.

Я приезжал отпевать Валентина Петровича.

— Он умер невинный, — сказала тихо Лариса Васильевна, — а мне надо молиться о моих грехах.

Вскоре она оставила работу и уехала в Задонский монастырь. Через два года она стала инокиней, а еще через год монахиней Тавифой.

Пастырские искушения

Вечером я готовил ужин. Когда нет поста, Вечеря — самая удобная еда. Готовится быстро, насыщает хорошо. Я думал о сыне, которого еще не было дома. Я думал о маленьком Илюше. Сегодня утром, совершая проскомидию, я вытащил тысячу частиц из просфоры за его исцеление. Пусть простят меня другие прихожане, если я не успел кого-то помянуть. И всю Литургию его образ стоял передо мной. Я просил Господа освободить его от болезни.

Пришел сын, громко хлопнув входной дверью. Заглянул на кухню.

— Будешь ужинать? — спросил я.

— Нет, поужинал у мамы.

— Как она себя чувствует?

— С каких пор ты интересуешься маминым самочувствием? — резко спросил он.

— У тебя плохое настроение?

— Настроение хорошее. Только я просил тебя не говорить о маме.

— Но ты начал первый.

— Если ты думаешь, что у нас есть семья и ты можешь так, обыкновенно, между прочим, говорить о нас вместе, то это грубая бесчувственность.

— Когда ты будешь взрослым...

— Это я уже слышал, — и он ушел к себе в комнату.

Я пошел за ним. Дверь была заперта, и я постучал. Он никак не откликнулся.

— Мы цивилизованные люди, — сказал я в дверь.

— Вы, священники, цивилизованные люди, — он вызывающе засмеялся, — тогда наденьте пиджаки и галстуки, по крайней мере хоть внешне будете походить на цивилизованных людей. А то прячетесь в свои старомодные наряды и бороды, а сами ничем не отличаетесь от обыкновенных людей.

— Ты не можешь судить всех священников.

— Всех не могу, но тех, которых знаю, могу, могу судить.

Я стоял и молчал. Иван открыл дверь.

— Я сегодня зашел в «Баскин Робинс», — взволнованно начал он, — впереди меня обслуживался ваш отец Владимир. Он взял комплексный обед и бутылку пива и все это поставил на столик. А потом было очень забавно. Он торжественно и широко перекрестился, чтобы видели все его глубокую веру, и благословил крестом свою скудную трапезу.

— Это неосмотрительно он сделал, тут ты прав.

— Папа, я хочу спать, устал, — сын закрыл дверь, потом распахнул её и добавил: — Кстати, пап, тебе надо подстричь волосы. Жидкий хвост и залысины как-то не сочетаются. И борю подровняй.

Я доел свой ужин, пошел готовить записи для Веры. Завтра она придет в храм.

Молитва не шла на ум. Хотелось спать. Но я вспомнил об Илюше и начал читать вечернее правило и Канон Богородице.

Когда я улегся в постель, сна не было. Мно-

голетняя привычка к чтению перед сном заставила меня взять книгу с тумбочки. Я открыл главу и начал читать: «Единство церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в живом теле.

Церковь одна, несмотря на ее видимое деление на человека, еще живущего на земле. Только в отношении к человеку можно признать раздел Церкви на видимую и невидимую, единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), — все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией; ибо еще не явленное творение Божие для Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Церковь же, тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней, благодатной жизни, поэтому, когда говорится «Церковь видимая и невидимая», то говорится только в отношении к человеку».

— Истина, истина, — шептал я, положив книгу на грудь. — Точно, глубоко и вместе с тем просто выражены автором основные положения сущности Церкви.

Я хотел продумать, осмыслить слова прочитанного, но тревожным фоном, как «шум житейский», стояли впечатления дня и последний излишне эмоциональный разговор с сыном. И вместо осмысления прочитанного в голове закружились воспоминания.

Я ушел три года назад. Ушел в чем был и не вернулся.

Пасторские искушения касаются не только самого пастыря, но и его семьи. Часто эти искушения и разрушают малую церковь. Молодые женщины окружают пастыря. Они изливают ему душу. Находят глубокое понимание жизненных переживаний и искреннее сочув-

ствии. Такого сочувствия и понимания они не встречают у своих далеких от церкви мужей. Они проникаются к священнику сначала возвышенной, духовной любовью, а затем она перемешивается с любовью человеческой. Эта привязанность к человеку заставляет женщину приходить в храм уже не к Богу, а к человеку, в котором она видит мужчину. Женщина начинает мечтать о возможности построить отношения двух страдающих душ, затерявшихся в жестоком и скорбном мире, пусть не в этой жизни, но в жизни будущего века, и потихоньку называет своего тайного избранника небесным мужем. Душа священника слишком поздно замечает эти притязания и мечты, а когда замечает, то ужасается. Преследования, письма, шпионство, сплетни и разочарования являются итогом «духовных» отношений неопытного пастыря с «небожительницей».

Опыт приходит не сразу. Матушка начала ревновать, копить обиды и однажды, находясь в состоянии мучительной нервозности, крикнула сыну:

– Полубойся на своего папашу! – Я лежал на диване после очередной ссоры. – Какой пример верности долгу, церкви, семье подает этот отец, священник. Ты уже взрослый мальчик, мог бы меня защитить от этого тирана.

В комнату вбежал Иван. Он был испуган скандалом.

– Сейчас же встань! – крикнул старший брат. – Извинись перед мамой!

Я не двинулся. Я лежал и думал о том, что разрушается в сознании моих детей фундаментальная основа семейных отношений – институт отцовства. Если я не уйду сейчас же, то будущая жизнь будет уничтожена.

Ваня, заплакав, выбежал вон. Матушка в слезах бросилась за ним. Старший молча вышел, он не знал, что делать дальше. Я сел, свесив ноги, и в одну секунду принял решение. Оделся и ушел навсегда. Она никогда не попросила меня вернуться.

...Я встретил ее в театральной студии молодежного театра, где был ведущим актером. Театр возглавлял выпускник «Щуки» Игорь Петрович Сомов, человек талантливый, но бесконечно страстный. Каждый спектакль он ставил вдохновенный очередной пассией из

собственной труппы. Отношения с молодой актрисой занимали все его время. Он жил, имея две страсти, которые вытекали одна из другой. Театр и любовь к девушкам. Это было его обыкновенное состояние: он любил и творил для очередной возлюбленной. Он творил, чтобы она любила его и восхищалась им. Для меня же театр был университетом, собранием единомышленников, исповедующих одну духовно-нравственную идеологию, которую театр транслирует зрителям. Театр-лаборатория для выращивания душ. Когда я понял, что Сомов движим только страстями, я ушел из театра. Позже его убили в подворотне.

Она разделяла мои взгляды и ушла со мной. К тому времени матушка не была верующим человеком. Она была комсомолкой, комсоргом, живым организатором молодежных дел. Её живость, любовь к жизни и людям подкупили меня, и я сделал ей предложение. Мы поженились. Мне было тогда двадцать три года от роду.

Я вспоминал, как привез её в гости в Нижегородскую губернию к своему институтскому другу Володе Чугунову. Там в семье уже царил патриархат. Утренние и вечерние молитвы были обязательны. Молитвы перед вкушением пищи, благодарственные молитвы. Разговоры о Боге, о церкви. Володя пас стадо коров, называя себя пастырем бессловесных.

Моя жена на третий день забилась в угол и горько плакала. Я нашел её и спросил, что происходит:

– Я хочу домой, увези меня отсюда, – жалобно просила она.

Я понимал, что будет «ломка», но именно эту цель я и преследовал. Она со временем привыкла и кое-что переняла из христианского, патриархального образа жизни.

Сна не было. Я включил свет. Через минуту раздался осторожный стук в дверь.

– Пап, не спишь?

– Не сплю.

– И мне не спится. Ты прости меня за грубый тон.

– Бог простит, а я не сержусь.

– Тогда хорошо, спокойной ночи.

«Сердце у него хорошее, доброе», – подумал я.

Вера ждала меня у храма. Она выглядела ярче, чем вчера. Подкрашенные ресницы, прибранные волосы, румяна делали её лицо более выразительным. Легкий черный плащ, перетянутый в талии пояском, утончал ее фигурку, которая была приподнята над землей высокими каблуками.

— Здравствуйте, — смущенно поприветствовала меня Вера.

— Здравствуйте, — ответил я и спросил: — А вы умеете брать благословение у священников?

Вера зарделась.

— Умею, только я испугалась, — она старательно сложила кисти рук и по-детски протянула их ко мне с видом человека, который просит что-нибудь положить ему в них.

Я перекрестил ее и положил свою ладонь в ее холодные сухие ладошки. Она наклонилась к моей руке, и я услышал тонкий запах духов, что-то цветочно-весеннее.

— А куда это вы собрались такая нарядная, Вера? — спросил я весело.

— К вам, отец Евгений.

— У вас холодные руки, вы, наверное, замерзли в такой легкой одежде? Весна — обманчивое время года. На солнце тепло, а земля еще не прогрелась. От нее так и веет сыростью и холодом. Надо беречь себя, Вера.

— Я берегу себя, спасибо за беспокойство.

Вера, казалось, была смущена:

— Вы принесли «листочки»?

— Да, принёс.

Я протянул ей приготовленную еще вчера испанную бумагу.

— Только заранее прошу меня простить за мой почерк, небрежности, орфографические ошибки и другие помарки. Все делаю торопливо, как говорят в народе, «на босу ногу».

Вера улыбнулась.

— То есть небрежно, за отсутствием времени, — пояснил я.

— Понятно, понятно, — рассматривая мою писанину, говорила Вера. — Когда принести работу? — Она взглянула мне в лицо.

— Как напечатаете, так и приносите.

— Я сегодня все это наберу.

— Так скоро?!

— Но ведь здесь небольшой объем.

— Думаю, вам придется потрудиться, разбирая мой почерк, — с сомнением в голосе сказал я.

— Ваш почерк я разберу, это несложно, — задумчиво сказала Вера и, наверно, подумала: «Мне бы разобрать ваши мысли».

— Когда принести?

— Приходите завтра в это же время к храму.

— Приду, — весело сказала Вера и спросила: — А вы завтра еще принесете «листочки»?

— Если подготовлю, то принесу.

— Тогда благословите начать работу.

Она под рукой спрятала листы, прижала их к плащу и снова сложила ладошки.

Я перекрестил их и крепко пожал её похолодевшие пальчики.

— Вы совсем замерзли, Вера.

Она обхватила мою руку и, не отпуская её, сказала:

— Я замерзла внутри, с тех пор как ушел из жизни мой отец. Но теперь все будет хорошо, я отогреюсь, ведь так и будет?

— Так и будет, Вера. Господь всех согревает своей любовью.

— Ну, я побежала.

Она крепко, с чувством сжала мою ладонь и торопливо пошла, несколько раз оглянувшись.

Я смотрел, как удалялась эта тоненькая фигурка, и у меня возникла некоторая догадка и новый план.

Маньяк

Следователь прокуратуры приехал к храму, когда я с Тихоном обсуждал предстоящую работу. Невысокий, взгляд внимательный, цепкий. Рука крепкая. Такой ухватится — не оторвешь.

— Моя мать, Галина Николаевна, знает вас. Она директор детского дома, она рассказывала о вас.

— Чем могу вам помочь?

— Дело очень деликатное. Но сначала представлюсь. Я старший следователь прокуратуры Владимир Удальцов, — он полез в боковой карман пиджака.

Я жестом остановил его.

— Хорошо. Разговор между нами.

— Священники умеют хранить тайны.

— Это мне как раз и надо, — он помрачнел, — мы взяли преступника. Может быть, слышали информацию о том, что пропадают девушки?

— Да, конечно, слышал.

— Мы взяли подозреваемого. Он отпирается, понятное дело. Вышли на след случайно. Наверное, Бог помог. Он их душил и совершал преступные действия. А одна женщина спаслась чудом. Преступник думал, что она мертва. Вот она-то как раз и описала нам подозреваемого и его машину, красную «шестерку».

И потом мы нашли еще один труп и сделали анализ спермы. Совпадение стопроцентное. Ошибки нет. И вдруг подозреваемый попросил встречи со священником. Спрашиваем: «Зачем?» «Мне надо покаяться», — говорит. — Слова правильные знает.

— Да, удивительно.

— Согласитесь?

— Вы сюда его привезете?

— Нет, сюда, в храм, нельзя. Давайте вы приедете в прокуратуру? А мы его там подготовим.

— Я не против. — Мне стало интересно посмотреть на этого человека. — Только я не могу с вами сотрудничать. Вы понимаете это? Я не могу разглашать тайнство исповеди. Если священник расскажет о том, что поведает ему кающийся грешник, то по правилам он будет лишен сана, то есть он перестанет быть священником, будет запрещен в служении.

— Да, это я понимаю, — согласился Удальцов. — Для следствия важен психологический момент. Может быть, после разговора с вами, ну после его исповеди, которую вы примете, может быть, он заговорит, начнет давать признательные показания. Моя интуиция мне подсказывает, что должен наступить перелом.

— Он уже знает, что исследование ДНК совпадает?

— Нет, мы пока ему об этом не говорим.

— Понятно. А сколько же он душ загубил?

— Погибло четырнадцать девушек от девятнадцати до двадцати четырех лет.

— Четырнадцать душ!? Какая трагедия для семей! Сколько людей страдает! Господи, помилуй нас, грешных!

Мы условились о встрече в прокуратуре, куда должны привезти преступника.

Утро было пасмурным. Слабый свет проникал в комнату. Я проснулся и, как обычно, спустил ноги с кровати на коврик. Было тихо.

Потом я услышал, что из комнаты сына доносится слабый звук работающего телевизора. Опять не выключил.

Когда же спят эти люди из телевизора? Включи в любое время — увидишь передачи, кино, смех, непотребства.

Я накинул легкий подрясник и, осторожно открывая дверь, чтобы не скрипнула ручка, вышел в коридор. Звук телевизора усилился. Я наклонил голову к двери сына. Кроме звука работающего телевизора ничего не было слышно. Сын спал. Я приоткрыл дверь. Он лежал на боку, закутавшись в одеяло. Я прокрался к кровати, нащупал пульт и нажал на кнопку. Пульт не работал. Я подошел вплотную к телевизору и начал шарить рукой сбоку, ища выключатель. Нашував, придавил его. Получилась громкая отдача и булькающий звук экрана.

— Па, ну дай поспать, я всю ночь не спал.

— А что же ты делал?

— Не спал.

— Почему ты не выключаешь телевизор? Сколько тебе можно говорить одно и то же!

— Пульт кирдык.

— Спи.

Я вышел. Хорошо, что хоть компьютер выключил. Тот находился на расстоянии вытянутой руки.

После утреннего правила я отправился на встречу. Волнения у меня не было. За двадцать лет служения встречались разные люди.

Я попытался припарковать свою машину на свободное место прямо напротив прокуратуры. Выбежавший из здания офицер-охранник знаками показал мне, что здесь не положено парковаться.

— Так они меня здесь и ждут, — произнес я, но противоречить не стал. Завел двигатель, сдал назад и проехал подальше к магазину.

Неловко было на виду у всех нести крест, Евангелие, епитрахиль, требник. Люди останавливались и провожали меня взглядом. Зачем идет батюшка в столь незавидное место? Я скрылся за высокими дверями прокуратуры.

— Вы к кому? — спросил меня уже знакомый офицер.

— Я к Владимиру Удальцову.

— А, — понимающе протянул он, — пойдете, я вас провожу. Это на первом этаже.

Я смело прошел через металлоискатель, который недовольно пропищал, видимо реагируя на крест, и последовал за военным. Мы свернули в длинный коридор, и я увидел идущего нам навстречу Удальцова.

— Благословите, батюшка.

Он неловко сложил руки. Видимо, мама пороботала с ним утром. Я его перекрестил, но не дождался поцелуя «десницы Божьей». Получилось странное приветствие.

— Пойдемте, — он повернулся, и я двинулся за ним по красной ковровой дорожке.

— Комната небольшая, метров двенадцать, и вы, к сожалению, будете не одни. Там охрана. По-другому не положено.

— Как же я буду его исповедовать? — Я остановился перед дверью и задумался.

Удальцов смотрел на меня, ждал моего решения.

— Ну, хорошо. Накрою епитрахилью и тихо-тихо поговорю с ним.

— Ну и отлично! — обрадовался следователь.
— Ну что, входим?

Я кивнул. Сердце мое забилось быстрее обычного.

Удальцов толкнул дверь. «Исповедник» сидел в правой стороне у стола, два охранника с «калашами» находились слева. Увидев Удальцова, ребята встали.

Это была комната, похожая на школьный класс с партами. Стояло несколько столов. Стулья ютились у стены, рядом с охранниками, на одном сидел подозреваемый, причем стул был очень маленьким для него.

— Пропастин, встаньте!

Подозреваемый поднялся, и я смог рассмотреть его. Казалось, он совсем не волновался, играя в какую-то игру. Думаю, я понял, зачем он призвал священника. Бросились в глаза большие руки, покрытые волосами, и толстые, как сосиски, пальцы. На нем была серая, давно не стиранная рубашка с закатанными рукавами, он был большеголовый, с короткой шеей, которая уходила в могучие плечи. Комната пропахла этим немывтым человеком. Пот смешался с чем-то прокисшим. Устойчивый, густой, неприятный запах.

— Священник приехал. Будешь разговаривать? — строго и как-то напористо спросил Удальцов.

Он с ним разговаривал совсем по-другому, чем со мной.

— Конечно, буду. Здравствуйте, батюшка.

«И он тоже русский человек», — подумал я.

— Как вам удобно, отец Евгений? — спросил официально Удальцов.

— Я думаю, мы разместимся здесь, — ответил я, подойдя к столу, у которого стоял Пропастин.

Я положил на стол крест Христов, Евангелие в бронзовом окладе и, читая молитвы, начал облачаться в епитрахиль и поручи.

Удальцов жестом приказал ребятам с «калашами» сесть.

Облачившись, я посмотрел на следователя.

— Я вас оставлю, подожду за дверью.

— Сколько у нас времени? — спросил я Удальцова.

— Столько, сколько надо.

— Хорошо.

Удальцов вышел и тихо прикрыл дверь.

Я посмотрел на конвой, потом на Пропастина.

— Вы хотите поисповедоваться? — напрямую спросил я его.

— Да, я за этим вас пригласил.

— Вы воцерковленный человек?

— Я не понял вас.

— Вы в церковь ходите?

— Мать ходила. Я тоже ходил, но редко.

Он поглядывал на охранников, которые, казалось, уже забыли про нас. Один что-то тихо рассказывал другому на ухо, тот улыбался.

— Они нам не помешают, — произнес я твердо, властно, на правах хозяина положения, — сейчас я начну чинопоследование исповеди, а вы готовьтесь просить прощение у Бога за свои грехи.

Я зажег свечу, подплавил низ ее и поставил на голый стол. Она хорошо прилипла.

— Давайте молиться... Благословен Бог наш...

Я молился, а сам всем своим существом чувствовал этого человека. Он стоял в метре от меня, сопел носом. Мне было неловко рядом с ним находиться.

Я представлял, как он так же сопит носом и источает этот удушливый запах мужской нечистоты, тащит на верхний этаж к люку на чердак молодую девушку и угрожает ей огромным ножом. Она, сдавленно плача, поднимается по лестнице, а он смотрит на ее обнажавшиеся бе-

лые молодые ноги и торопит ее, мучимый жестокостью насилия и нетерпеливой похоти. Он не выпускает ее ни на секунду, тесно пролезая в люк и закрывая его, а фонарь уже ищет приготовленное ложе. Это старое стеганое одеяло, брошенное в самый угол чердака на куски стекловаты, голубиный помет и высохший шлак. Он ступает своими ножищами, наклоняясь и хрустя шлаком. Голуби громко хлопают крыльями, разлетаются во тьму.

— Иди тише, не ссы. Будешь делать то, что скажу, не трону. Останешься жить. Тише.

Он останавливается и прислушивается. А в это время нащупывает удавку в кармане легкой куртки.

— Видишь, постелено?

Он светит фонариком в угол чердака. Жертва дрожит от страха и давится слезами.

— Вижу.

— Иди вперед.

Она делает несколько шагов. Он накидывает ей удавку на шею и затягивает своими обезьяньими руками. Она почти не сопротивляется. Не успевает.

Через минуту теплую девушку он перекладывает на лежбище. Задирает юбку и стаскивает трусы. Теперь он может делать, что хочет. Ему никто не сможет сказать нет и обвинить в мужской несостоятельности.

Так уносятся мысли от молитвы. Я опомнился и продолжал:

— Се чадо, Христос невидимо стоит,
Приемля исповедание твое.

Не усрамияся, ни же убойся, ни же скрыеши что от мене, но

Не обинуя рцы вся елика соделал еси

И да приемлеша прощение от Господа нашего Иисуса Христа...

Я посмотрел на него. Он стоял с хладнокровным, отсутствующим взглядом.

— Наклоните голову к кресту и Евангелию. Я накрою вас епитрахилью, а вы покайтесь.

Он наклонился. Я положил на его шею и голову епитрахиль и тоже наклонился к нему.

— Меня подозревают в убийстве, — начал он хриплым голосом. — Я чувю, они от меня не отстанут. А у меня жена и двое детей.

Я молчал. Решил ни о чем его не спрашивать.

Не задавать никаких наводящих вопросов. Я уже понял, он не скажет ни слова правды.

— И я вот думаю. Всю голову себе сломал. Может быть, мне взять на себя три или четыре эпизода и отсидеть. Отсидеть вместо настоящего убийцы. Как вы, батюшка, скажете?

— Если вы не виноваты, вам не следует брать чужие преступления на себя.

— Но это же христианский поступок. Пострадать за другого человека, отсидеть за него в тюрьме.

— А как же ваша семья: жена, дети?

— Надо же жертвовать чем-то очень дорогим. Не так ли?

— Так-то оно так. Но давайте рассуждать. Вот вы возьмете и сядете за настоящего убийцу. Так сказать, возьмете его грех на себя. Будет ему хорошо от этого?

— Конечно, — согласился Пропастин.

— И у Бога вам зачтется, так?

— Так.

— Вы-то сядете, а он останется. Вы думаете, он оценит ваш поступок, когда узнает из прессы, что вас посадили по ложному обвинению в трех или четырех убийствах? В его убийствах?

Он задумался.

— Знаете, сколько людей сидят по ошибке следователей и судей?

— Это — да, это я знаю, полно таких.

— Что же, преступники всем им благодарны? Я думаю, они смеются и над судьями, и над несчастными невинными людьми. Ни один из них не пришел и не сказал: «Вы посадили человека зря за эти преступления, он не виноват, он не убивал. Отпустите его, а меня посадите. Это я настоящий убийца, а не он». Слышали вы о таких признаниях?

— Нет, не слышал.

— А знаете, куда пойдет настоящий, непоиманный преступник? Он пойдет душить новые жертвы. А вы в это время будете сидеть за него и будете думать, что помогаете несчастному человеку. Понимаете?

— Значит, мне не надо брать на себя эти эпизоды, которые они мне шьют?

— Если вы не виноваты, ни в коем случае не берите.

— Я все понял, батюшка.

— Есть на вас какие-нибудь грехи?

Твоя болезнь

— Да нет, батюшка, больших грехов нету, а мелкие они у всех есть.

Я спросил у него спокойно и проникновенно:

— Как вас зовут?

— Игорь.

— Игорь, я буду читать молитвы над вами, а вы скажите Господу свои грехи потихоньку, неслышно.

Я положил ему руку на голову и почувствовал через эпитрахиль густое тепло его мясистой шеи и запах. И увидел, как он в углу чердака засыпает ее, бездыханную и остывшую, шлаком, перемешанным с голубиным пометом и кусками стекловаты. Потом все это разравнивает, придавая естественный вид. Складывает одеяло и, прислушиваясь, спускается с лестницы на пол последнего этажа подъезда.

Он выходит распаренный на улицу, швыряет в мусорный бак одеяло и идет домой, в семью...

— Целуй Евангелие и крест.

Он толстой пятерней, по-хозяйски снял с головы эпитрахиль, наклонился над столом. Спина его бугрилась под влажной рубашкой. Он только наклонился, но не прикоснулся к святыням, совершив пантомиму.

Я подошел к двери и позвал Удальцова.

— Ребята, уведите...

Уходя, Пропастин посмотрел на меня. Я отвернулся в надежде никогда не встречаться с этим человеком.

— Пойдемте, я вас провожу, — предложил Удальцов, — и спасибо вам за содействие.

— Маме передайте привет. На Троицу мы приедем в детский дом со спектаклем нашей Воскресной школы и с подарками.

— Хорошо.

Перед выходом Удальцов взял меня за руку.

— Ну, что скажете?

— Идея такова: я даже перед Богом не виноват, видите, я приглашаю Его, Бога служителя. А вы меня вините? Опомнитесь, я вам больше ничего не скажу.

— Ну, понятно.

Состояние было сложное, тяжелое. Я приехал домой. Сын еще спал. Выпив горячего чая, я сел писать.

Никакие теоретические доказательства существования Бога не нужны, когда происходит такое. Твоя болезнь проявилась неожиданно, в два с половиной года, и продолжалась девять лет. Вдруг срывался сердечный ритм, и сердце колотилось, как маленькие женские часики. Пульс зашкаливал за двести ударов в минуту. У тебя темнело в глазах, сбивалось дыхание, ты пугался в такие минуты и плакал. Мы вызывали скорую, врач всегда вводила внутривенно изоптин, приступ снимали, и пульс восстанавливался. Все местные отделения скорой помощи хорошо знали наш адрес. Я носил тебя на руках до семи лет. Это ожидание нового приступа не покидало сознание ни днем, ни ночью.

Однажды я ехал в автобусе и смотрел в окно. По стеклу проплывали дома, магазинчики, деревья, проносились срезанные рамой окна автомобиля. Я думал тогда: «Почему это произошло с тобой, почему это происходит с нашей семьей?» — и не находил ответа. Твоя болезнь лишила тебя детства, и было очень обидно.

Тогда я пришел в церковь. Я нашел причину твоей болезни в себе, в своих грехах, в своих падениях и начал каяться и молиться.

Твоя болезнь была моей слабостью, она заставила меня от многого отказаться. Я жил тогда как аскет-праведник примерно пятнадцать лет.

Я учился в Литературном институте в Москве, и это позволило мне искать пути лечения твоей болезни. Творческий руководитель мастерской прозы М.П. Лобанов познакомил меня с доктором Угловым, который был большим писателем и мудрейшим из людей. Я нашел его на подмосковной даче. Он был уже очень старым человеком, по-моему, он прожил сто лет и пользовался большим авторитетом. Он направил меня к доктору Соколову из Боткинской больницы, а тот, в свою очередь, познакомил меня с Лео Антоновичем Бокерия, в то время профессором института имени А.Н. Бакулева. Бокерия принял нас с сыном.

Мы стояли в коридоре перед дверью. Ты, шестилетний мальчик, белоголовый и голубоглазый, и я, растерянный и виноватый человек, а рядом стоял наш чемодан. Мы приехали надолго. В моей голове пульсировала

только одна мысль: операция на сердце моему сыну, моему мальчику. Это было сном. В это невозможно было поверить.

Ты был ребенком, кротким, послушным, ничего не понимал в том, что происходит. Ты доверчиво шел за мной. Ты полагался на меня, последнего грешника. Я беспрестанно читал Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного». Наконец открылась дверь, потянулись из кабинета люди, и Лео Антонович вышел и пригласил нас.

— Мы от Сергея Сергеевича Соколова.

— Да, он звонил мне. — Лео Антонович говорил с ярким грузинским акцентом.

— Что же там бросили свой чемодан, — указал он на закрывающуюся за мной дверь, — вдруг кто-то утащит его.

— Ничего страшного, — смущенно отвечал я.

— Как это, ничего страшного? Занесите, занесите.

Я неловко протиснулся в дверь с большим чемоданом и неуклюже поставил его на пол.

— Привезли документы, выписки, ЭКГ?

Я все это держал в руках и протянул ему.

— Интересно, какой это дополнительный путь, — перелистывая карточку, приговаривал доктор, — интересно. По кардиограмме ничего понять невозможно. Надо делать ЭФИ, а потом возможна полостная операция.

Ты смотрел на меня. Я нервничал и не сводил глаз с доктора. Лео Антонович заинтересованно изучал кардиограмму через очки. Он был небольшого роста, очень стремительный и решительный. Сорвал с телефона трубку, набрал короткий номер и сказал:

— Примите мальчика с его отцом, фамилия Седогин, шесть лет, — и, улыбнувшись тебе, сказал: — Все будет нормально, будешь здоровым. Идите, оформляйтесь. По коридору налево, 121-й кабинет. Не забудьте чемодан.

Я вышел за тобой в коридор. Решение было принято. Операция. На меня навалился панический страх.

— Подожди меня здесь, я сейчас.

Постучал костяшкой пальца в дверь. Я вернулся к доктору.

— Простите меня, Лео Антонович. Вы же понимаете, это мой сын. Я очень переживаю за него. Как это все будет? И каков результат?

Он вышел из-за стола и строго посмотрел мне в глаза.

— Вы приехали лечить мальчика? Давайте лечить. И ничего не будем загадывать.

Я молча вышел. Ты смотрел на высокие стены коридора, на медсестер и врачей, тебя все интересовало в Москве.

Потом была полостная операция и твое медленное выздоровление.

Ты похудел, был бледный и почти прозрачный. Когда тебя привезли из реанимации, на тебя было больно смотреть. Ты ничего не хотел есть. Но к самому вечеру ты вдруг произнес:

— Курочку хочу.

Я не знал, можно ли тебе курочку. Да и негде было взять курочку в такой час.

А ты повторил еще раз:

— Курочку хочу.

Напротив твоей кровати лежала тяжелобольная женщина-грузинка, которую звали Русико. От нее не отходила её родная сестра Манана, она-то как раз услышала твое желание.

— Курочку хочешь? — спросила она. — Я принесу.

Она сняла халат и отправилась на улицу разыскивать тебе «курочку» в ночной Москве. Через час курочка была доставлена. Ты кушал любимую курочку с большим аппетитом.

— Сколько я вам должен? — спросил я Манану.

— О чем вы говорите! — возмутилась она.

Это было время, когда народы СССР жили очень дружно и понимали друг друга.

Через месяц мы приехали домой. Мы все радовались твоему выздоровлению. А через полгода, когда мы гуляли с тобой в парке, вновь случился приступ. Он был с частотой ударов сто шестьдесят в минуту. Это было возобновление болезни. Отчаяние овладело мной тогда. «Почему, Господи, ты нам не помогаешь?!»

Позже я узнал, что во время операции Бокерия не обнаружил дополнительный путь, так называемый пучок Махейма, который откроют только спустя шесть лет после операции. А к тому времени он был ещё неизвестен кардиологическому миру.

Приступы стали происходить реже и с меньшей частотой сокращений сердечной мышцы, и мы надеялись на полное выздоровление. Но этого не происходило. Твоя жизнь была полна огра-

ничений, она отличалась от жизни сверстников. Я надеялся только на помощь Бога. Думать о повторной операции на сердце казалось безумием для меня. «Может быть, этой смиренной жизнью Господь готовит тебя к чему-то возвышенному», — так думал я, и так говорил мне мой духовник игумен Онуфрий. И вот однажды Бог показал мне. Я увидел по телевизору репортаж из института имени Бакулева. Врачи нашли новый способ удаления дополнительных пучков через бедренную артерию. Эту операцию проводил профессор Ревитшвили.

Я незамедлительно отправился в институт. К тому времени образование мое было закончено. Три года я работал заведующим литературной студией при Дворце культуры и не выходил из церкви, вознося молитвы и прислуживая в алтаре. И вскоре меня рукоположили в сан диакона.

Пришли новые рыночные отношения, меня пугала новая Москва. Но профессор принял меня благосклонно. Когда я предъявил ему страховую полис, он повертел его в руках и вернул мне.

— Мы не сделали того, что должны были сделать. Это ничего не будет стоить.

Тогда, в 1991 году, операция стоила уже пятьсот американских долларов. Конечно, у меня не было таких денег.

Амиран Шотаевич Ревитшвили, человек высокого роста, даже долговязый, ходил по коридору больницы, лениво размахивая длинными кистями рук. В его облике было что-то светлое и спокойное.

Мы получили приглашение и выехали на операцию. Я тебе никогда не рассказывал, дорогой мой мальчик, что, когда тебе сделали укол и без одежды, голого, закрытого простыней, повезли на коляске в операционную, Амиран Шотаевич сказал мне:

— Пойдете с нами. Я поставлю вас у двери операционной. Когда мне нужно будет принять решение, я выйду к вам и спрошу.

Ты ехал впереди нас, накрытый простыней, я видел лоб, руки и торчащие из-под простыни ступни ног.

— Что может случиться?!

— Я могу не найти пучка.

Они скрылись за белой дверью. Я ходил по коридору и молился шесть часов. Я просил Господа помочь доктору и его рукам, я просил, чтобы

он не выходил из этой белой двери операционной. Но все-таки Амиран Шотаевич в маске на лице, с капельками пота на лбу вышел ко мне:

— Что мне делать? Я не могу локализовать.

— Какое наименьшее зло в этой ситуации? — взволнованно спросил я.

— Разбить узел и стимуляция.

Я сказал:

— Если нет другого выхода, делайте.

Когда закрылась дверь, слезы полились из моих глаз.

— Господи, сколько можно? Почему ты нас оставил?

Под левым подреберьем у тебя будет стоять маленькая коробочка, в которой будет заключена твоя жизнь. В этой коробочке находится та мера энергии, которая должна посылать электрический разряд для работы твоего сердца.

Слезы душили меня. Это был вопль отчаяния. Вдруг из операционной вышла молодая женщина, на ходу снимая белую маску с лица.

— У вас все хорошо, не волнуйтесь. Доктор локализовал пучок.

— Это правда? Вы говорите правду?

— Да правду, правду. У вас все хо-ро-шо.

Позже, когда я перед отъездом разговаривал с Амираном Шотаевичем, то спросил у него:

— Как у вас это получилось?

— Знаете, Бог, наверное, есть. Когда пришел от вас, я наудачу пустил радиочастотный луч. Вот и все.

Я уже выбрал свой путь, встав на первую степень священства. Я задаю себе вопрос: может быть, Бог хотел, чтобы там, где я вырос, был построен храм ценой таких жестоких испытаний? Пути Господни неисповедимы...

Вера и красота

Вера пришла утром. Я совершал богослужение. Она стояла среди горстки прихожан и молилась, возжигая свечи у иконы Божией Матери. Она не была чужой в храме. За много лет служения Богу и общения с людьми я понял, что храм создается «для своих». Для тех, кто свой Богу, и тех, кто свой друг другу. Остальные текут водой, мимо. Воду ничем не задержать. Оттого и мир называют морем житейским. Когда мы, студенты Литературного института Володя Чугунов,

Миша Резин и я, мечтали о будущем служении, мы верили, что сможем изменить мир. Мы чувствовали в себе силы, мы знали, что приходит наше время, время собирания камней. Мы горели как свечи, готовые воспламенить других людей. Образы Иоанна Кронштадского, которого большевики боялись и называли черносотенцем, Амвросия Оптинского, у которого бывали Толстой и Достоевский, будоражили наше сознание. Это вставала Россия, а за ней загоралась Святая Русь, сказочная, волшебная, таинственная страна. Мы хотели служить той, Древней Руси. Мы хотели включить в людях все генетические программы, которые, мы знали, живы в недрах русского национального сознания, русского менталитета. Нужно было только включить эту связь, как включают электрический ток, а он потечет беспрепятственно и свободно. О, как мы ошибались в своих мечтах! Как изменчив человек, как непредсказуема сама жизнь! Как страстны, как изобретательны люди в поисках наслаждений и удовольствий! Свобода открыла русскому человеку не пути к Богу, о чем мечтали мы, Россия, получив свободу, открыла пути к греху. Она бросилась в его пучину, искушаемая открывшимися возможностями, и не может остановиться. Запмятовал русский человек, что страсть ненасытима. Большевики держали народ в идеологическом рабстве, а те, которые пришли после них, затягивают в рабство денег.

Я закончил службу и вышел исповедовать людей. Их оказалось три человека. Вера подошла последней и протянула мне черновик и распечатанный на компьютере текст моих сочинений.

— Вот, — сказала она, — я набрала, но, правда, несколько мест оказались для меня неразборчивыми. И мне нужна ваша помощь.

— Вера, у вас есть время подождать меня после службы?

— Да, есть, я подожду.

Храм опустел. Стало тихо. А тишина храма особенная. Это звучащая тишина. Когда уходят люди, они думают, что диалог между Богом и человеком уже не происходит. Но Бог продолжает говорить, а человек уже ушёл в суету жизни. Он не слышит голоса Бога из-за шума житейского. И тот, другой, кто входит в храм, когда голос Бога еще звучит, он ступает тихо, двигается осторожно, потому что чувствует звучание голоса Творца.

Зашелестел плащ, и я громко спросил из алтаря:

— Вера, вы здесь?

— Я здесь, я вас жду, — тихо ответила Вера.

Мы шли и разговаривали.

— Мне понравились ваши идеи, они очень своевременны. Эпоху, это ваше главное слово, надо описать, но с такой её стороны, с которой никто её еще не описывал.

— Что вы имеете в виду, Вера?

— Надо описать самую главную жизнь человека, то есть настоящую жизнь, ту жизнь, которой он живет взаправду. А не ту, которая на показ, не ту, которую сочиняет, словно детектив, в котором сам же и является главным героем и не знает сам, чем все закончится. А вы как раз видите человека таким, каков он есть, потому что встречаете его в минуты настоящих страданий, болезней разных. Я не права?

— Вы правы, Вера, совершенно правы, — обрадовался я, — вы не только будете мне помощником, но и собеседником.

— Да, да, — утвердительно сказала Вера, — пишите скорее, надо, чтобы все об этом узнали.

— О том, что вы будете моим собеседником?

— Нет, чтобы все узнали про всех всё... То есть всю правду о жизни, — выпалила Вера.

Я невольно засмеялся.

— Почему вы смеётесь? — смутилась Вера.

— Простите меня, Верочка, просто вы это так по-детски сказали, так непосредственно и так живо, что я невольно порадовался в душе и засмеялся.

— А знаете, — загадочно сказала она, — сколько мы с вами не виделись?

— Не знаю.

— Мы с вами проговорили вчера три минуты и семнадцать секунд, а не виделись двадцать три часа, пятьдесят шесть минут, пятьдесят семь секунд.

— Удивительно точно, — произнес я и подумал о том, какой она трепетный человек. Я решил немедленно действовать, осуществлять свой план. Только бы сын был дома.

— Который час, Вера, что говорят ваши часы на этот раз? — спросил я.

— Десять пятнадцать, — сказала Вера и настожила. — Вы куда-то спешите?

— Напротив, я хочу пригласить вас домой, чтобы вместе поработать над текстом.

— Я согласна поработать. А вы еще что-то написали?

— Материал сырой, но кое-что есть.

Я открыл дверь ключом. В квартире было подозрительно тихо. Но вдруг послышался сонный голос сына:

— Пап, это ты?

— Да, это я. И я не один.

Вера стояла как вкопанная.

— Снимайте плащ и проходите, — сказал я Вере, а сам прошел в комнату, постучал в дверь Ивана и сказал:

— У нас гостя. Приведи себя в порядок и выходи.

— Какая еще гостя? — прошипел Иван.

Вера прошла в большую комнату, присела на край дивана и стала осматриваться. Её взгляд остановился на стене, увешанной иконами. Это были старинные доски девятнадцатого — начала двадцатого века. Веру привлекла большая икона Пресвятой Богородицы, писанная на кипарисе в девятнадцатом веке на святой горе Афон и подаренная какому-то русскому храму. Свидетельство об этом сохранилось на задней стороне иконы. Текст дарения сохранился, он был традиционным и делался оттиском, а надпись о том, какому храму дарилась икона, была утрачена. Она выполнялась вручную, чернилами того времени. Икону мне подарила простая деревенская пожилая женщина Мария, дочь которой жила уже несколько лет в Соединенных Штатах, в Майами. Мария приехала к стройке поздно вечером на «Жигулях» с водителем. Они вызвали меня и открыли багажник. В сумерках я не рассмотрел дара. Водитель занес икону в храм и поставил на стул, прислонив к стене. Я включил верхний свет и замер от удивления. Это была Богородица «Одигитрия» тонкого афонского письма, которое ни с каким другим письмом невозможно спутать. Низ иконы был значительно утрачен, зато лик и одеяние Богородицы сохранились превосходно. Требовалась реставрация, чтобы избавиться от «мерзости запустения».

— Откуда эта икона? — спросил я Марию.

— Сберегали, батюшка, как могли, после

осквернения храма, — начала свой рассказ женщина. — Сперва хранили в зерне, потом на чердаке, а потом про неё и вовсе забыли. А несколько лет назад мой дедушка обнаружил, когда разбирал вещи. Вот мы решили её привезти в строящийся храм. Примите, а за нас помолитесь.

Видно было, что они не понимают ни духовной, ни материальной ценности этой иконы. Я поблагодарил и принял бесценный дар. Икону отреставрировал и ждал, когда завершатся отделочные работы верхнего храма, чтобы внести Игуменью и вручить храм под её благодатный покров.

Мария стала прихожанкой нашего прихода. Иногда оставалась ночевать перед большими праздниками прямо в храме на коврах, потому что трудно было утром из деревни добираться к началу службы. А однажды она попросилась днем, между службами, побыть в храме, помолиться и отдохнуть. Служки отказали ей, сказав, что в храме материальные ценности, службы нет, заперли дверь и ушли. Она простояла на улице под дверью несколько часов до самой вечерни. Когда это выяснилось, я очень огорчился. Ждал её, чтобы испросить прощения, но она не пришла. Умерла.

— Какая красивая икона! — сказала изумленная Вера, когда я вошел в комнату. — А можно мне подойти поближе и посмотреть?

— Подойди.

Я присел на диван и стал наблюдать за Верой. Она подошла бесшумно, на носочках и выгнулась перед Богородицей. Неподвижно стояла с минуту, а потом произнесла:

— Я такой красоты никогда не видела. — Она как будто говорила сама с собой.

— Причём, Вера, заметь, здесь две красоты сходятся: одна — внутренняя, другая — внешняя. Они не дополняют друг друга, нет, а находятся в абсолютном равновесии, гармонии.

— Гармонии, — тихо повторила Вера и спохватилась: — Именно, именно в гармонии. — Вера повернула ко мне голову: — Как такое можно было создать? — она снова смотрела на икону.

— Когда мы видим только внешнюю красоту, она кажется пустой. Когда мы сталкиваемся с внутренней красотой, то мы её не узнаем. Мы её не видим, потому что до неё надо вырасти. А ког-

да вот так, то чувствуется полнота, глубина и красота человеческой личности.

Вера затихла, а потом спросила:

— А можно поцеловать?

— Можно.

Она с благоговением перекрестилась и приложилась к иконе.

— А это ваша икона?

— Не знаю, Вера, как буду расставаться с ней, — в раздумье сказал я. — Она стояла у нас в квартире до реставрации. Потом я её увез к художнику и когда вернулся, то обнаружил в доме пустоту. Оказывается, она держит все пространство. Это удивительно. А когда икона снова оказалась в доме, мы почувствовали, что она звучит. Вот сейчас вынеси её в другую комнату — и будет зиять пустота.

— Держит пространство, — повторила Вера, — и звучит. Как это вы хорошо сказали!

В комнату вошел Иван, недоверчиво поглядывая то на Веру, то на меня.

— Познакомься, — сказал я Вере, — это мой младший сын Иван, — и подумал, что она не может не понравиться ему. Она была одета совсем по-молодежному, в духе времени: в джинсовой юбке и зеленой блузе, которая так шла к её темным волосам, расчесанным на прямой пробор в середине головы, и её карим глазам, живым и очень глубоким.

— Иван, — сухо произнес мой сын и протянул Вере для приветствия два пальца, которые она вынужденно пожала и смутилась.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но насторожился.

Он сел, нахохлился и как-то подчёркнуто молчал.

— Вера тоже прихожанка нашего храма, — сказал я. — Совсем недавно она завершила учебу в университете, причем с красным дипломом.

— Похвально, — сказал Иван, — и радостно за отца, что теперь среди народа, который едва научился читать по-русски, я уже не говорю о церковнославянском языке, в котором он ничего не понимает, будут стоять и молиться новые молодые интеллектуальные силы. И много у тебя таких?

— А ты приди и сам посмотри.

— Я всё детство провел среди вашего забитого народа, когда ты таскал меня с прихода на при-

ход по деревням и сёлам. С меня хватит. — Ироничный тон прямо сквозил в речах сына.

— Совсем и не забитый наш народ, наш народ живет сердцем, а не умом, и поэтому наш народ добрый, — вступилась Вера.

— И читать он умеет, — встал я на Верину сторону, — молитвы читает как раз на церковнославянском языке.

— Русской азбукой, — подхватил Иван, — знаю я эти книги. И слышал не один раз, как читали твои бабушки зауспокойные молитвы. Знаете, Вера, однажды задаю себе вопрос: почему отец поет один и тот же текст всегда одинаково, а слышу у бабок — тот же самый текст имеет совершенно другие смыслы. Не поленился, взял требник и сравнил. И результат меня просто поразил. В настоящем тексте речь идет о том, что человек умер и он попадает к Богу на суд, а у Судьи «нет лицепрятия», то есть Он не смотрит, кто богат, кто беден, он судит всех «по делам его». А бабки поют примерно так: грешник попадает в другой мир, «где нет лиц приятелей». И это только один пример, их можно приводить бесчисленное количество. Они читают, а смыслов вообще не улавливают, все тексты переиначивают на свой манер.

— Ваня, ты удивляешь меня своей наблюдательностью, — сказал я.

— Хорошо, если так, — развеселился Иван, — приведу еще пример. Помнишь, тебя послали послужить в какую-то деревню, уж не помню названия. Ты меня взял с собой. Служба началась, и вдруг в какой-то момент заглядывает в алтарь свиная рожа в платке...

— Ваня, как ты выражаешься! — я посмотрел на Веру. Она заинтересованно, с улыбкой на лице слушала.

— Как чувствую, так и выражаюсь, — отпарировал Иван. — И эта свиная рожа говорит: «Батюшка, богослови», — а сама держит книгу в руках. Отец перекрестил её, и она пошла на середину храма. И вот тут началось самое интересное. Когда отец сказал громко: «Премудрость», — то вот это самое существо ответило: «К корифанам послание апостола Павла чтение».

Вера залилась смехом.

— И это человек, который стоит на клиросе, что предполагает его церковную образованность, — закончил Иван.

— Было такое, — улыбаясь и глядя на Веру, подтвердил я. — Никогда в истории церковной жизни не хватало русскому народу знаний. Не книжный русский народ. Это, может быть, главная проблема нашего Православия.

— А как же Святая Русь? Московское царство? — спросила Вера.

— Да, — добавил я, — Москва — третий Рим, и четвёртому не бывать. Это идеи, которые остаются желаемыми в умах теоретиков христианства и так называемых патриотов, которые и в храм-то не ходят. Но на деле все происходит иначе.

— Как иначе? — взволнованно спросила Вера. — Возрождаются храмы, монастыри. Вот вы строите храм, столько тратите сил, энергии, это что, все напрасно, безнадежно? Книгу пишете?

Ваня посмотрел на Веру, потом на меня.

— Это всего лишь камни, Вера, — задумчиво ответил я, — а нужно образовывать народ, который — тут я согласен с тобой, Ваня, — продолжает оставаться невежественным и грубым. Вы никогда не задумывались, почему в русских народных сказках Иванушка...

— Терпеть ненавижу это имя, — перебил меня Иван.

— С помощью чудесных средств и особенно благодаря своему «не уму» успешно проходит все испытания и достигает высших ценностей. Он побеждает противника, женится на царской дочери, получает и богатство, и славу. Или тот же Емеля, которому помогает отпущенная на волю щука. Она выполняет все его желания: стоит ему приказать «по шучьему велению, по моему хотению», и всё сбывается. Или слово такое любимое и так понятное русскому человеку — «авось». Всё делается на «авось», а выходит как надо? Да потому что русский народ жил в пространстве религиозного сознания и религиозного быта. Все крестились, все молились, ходили в церковь каяться и причащаться. Все были, если можно так сказать, бытовыми христианами. И это была жизнь, и они в этой жизни жили как дети. Бог помогал, защищал, оберегал русского человека. Это и называется у любителей русской старины традициями русского народа. Живая народная жизнь. Она сохраняется и теперь, хоть все слои общества, все классы стёрты, но в недрах жизни течение этих глубинных пластов происходит. Все крестятся в церкви, но, если спросить, зачем они

это делают, объяснить вразумительно никто не сможет. И это происходит в двадцать первом веке. Я вам приведу ещё пример. Хоронят человека и бросают лапник, сосновые ветки из машины на дорогу, по которой медленно везут покойного. Спрашиваю: «Зачем вы это делаете?» Отвечают: «А мы не знаем. Все так делают». — «Зачем же вы делаете то, чего не знаете?» Пожимают плечами.

— А зачем бросают эти ветки? — спросила Вера.

— Свидетельствуют о бессмертии души человека. Ель и сосна — вечнозеленые деревья. Другие зимой умирают, а хвойные нет, они всегда живы. Помните, у поэта Булата Окуджавы: «Ах ты, ель моя, ель, словно Спас на крови». Ель является символом Христа, умершего и воскресшего.

— Понятно, — протянула Вера.

— Так вот когда-то они жили, были бытовыми христианами, ходили по воскресеньям и великим праздникам в храм, причащались. Наверное, они были счастливы как дети, потому что была живая жизнь, пусть и не осмысленная. Но, когда пришли испытания, они от этой жизни с легкостью отказались, потому что не имели знания о том, чем владели. Они не могли ценить то, что имели, потому что, чтобы это сокровище оценить, его надо знать. А они не знали своего православия. Не понимали, что им защищать. В противном случае они бы от этого с такой легкостью не отказались. Принцип самосознания русского человека всегда находился на уровне младенческого. Воистину, они жили и живут как дети. А сейчас — как развращенные дети.

— И что же будет? — спросила встревоженная Вера.

— Понаедут гастарбайтеры и обратят нас в свою религию, — вставил Иван.

— Всё повторится в дни испытаний, — твердо сказал я. — И всё будет повторяться до тех пор, пока народ из духовного мракобесия и невежества не пойдёт к знанию.

— Кто ему будет давать эти знания, эти ваши...

— Иван, — строго крикнул я, — остановись!

— Да ладно! — было видно, что он возбуждён разговором.

— Знания будем давать мы, русские образованные люди, которые сохраняют преемственность культуры, аккумулируют её и передают дальше, следующим поколениям.

— Что-то я этих людей не вижу, — язвительно заметил Иван.

— Не важно, сколько сейчас этих людей в России, — разгорячился я, — в двадцать втором году прошлого века их смогли посчитать и отправить на «философском» пароходе в вынужденную эмиграцию. Их было четыре сотни человек, европейски образованных людей. Они знали не только Россию, но и Европу, которая была к тому времени сплошь рациональной и ничего уже не понимала ни в духовных вопросах, ни в жизни. Это они хотели научить русский народ понимать собственную веру, знать её и хранить как несметное сокровище в чистоте вероисповедания такой, какой её Бог нам вручил. Это они хотели перейти бездну, которая существовала между народом и образованным классом людей, сформировавшихся под влиянием Петра Великого, который прорубил это пресловутое окно в Европу.

Я знал, что всё потеряно, что процесс деградации современного человечества настолько велик, что исправить его, остановить падение человека сможет, пожалуй, только глобальная катастрофа. Потому что современное человечество находится уже в сновидениях ада. Только перед лицом реальных страданий может опомниться человек. Но, разговаривая с сыном и Верой, я вдруг почувствовал, что вернулся в студенческие годы. Что те мысли и идеи, которые мы, три студента, высказывали и защищали, еще живы в моем сознании.

— Пусть нас мало, — сказал я, — но и Христос был один. Однако Он изменил мир.

— Вы должны это написать, — восторженно глядя на меня, сказала Вера.

— Я вижу, что вы с отцом — единомышленники. — Иван встал. — А мне здесь делать нечего. Давайте меняйте мир, только поскорее. Но хочу вас предостеречь, что Христос приходил и ничего не сделал, думаю, что и у вас ничего не получится. Но в любом случае, пап, дело, которое сопровождают молодые девушки, делается с большим удовольствием, чем когда бы их не было. Это доказали ещё большевики.

Он хлопнул дверью.

— Что его обидело? — спросила изумленная Вера. — Мне, наверное, не следовало к вам приходиться?

— Характер у него сложный, — неопределенно ответил я.

Мой план сорвался.

Мы поправили недочеты в тексте, и Вера, получив новые листочки, отправилась домой.

Я чувствовал себя опустошенным. Вера ушла обескураженная выходкой сына. Отчасти она своим присутствием вызвала у него волну негодования. И это означало, что она приглянулась ему. Я чувствовал, что следующая его встреча с Верой будет доброй и содержательной. Только мне надо ретироваться, оставив их беседовать наедине. Они люди одного поколения и хорошо поймут друг друга. Эта мысль успокоила меня. Я решил отдохнуть.

Не раздеваясь, я прилег в кабинете на диван, укрыв ноги и плечи пледом. Дневной отдых вошел у меня в привычку, потому что раньше, когда я нес послушание в кафедральном соборе и совершал по две службы на дню, это стало профессиональной необходимостью, чтобы восстановить силы. Продолжалось это целых шесть лет.

Я закрыл глаза. Вспомнились наш горячий спор с Иваном, лицо Веры, которая была на моей стороне. Всплыл в памяти наш спор, и понеслись в голове образы моей жизни и служения в Кривополянне, в храме Архистратига Михаила, в котором находилась тогда чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, спасшей Раненбург в 1824 году от холеры. Её присутствие ощущалось всегда. От неё исходила притягательная сила Божественной природы. Она была убрана золотистой расшитой ризой, которую украшал большой крест с камнями, оставленный маститым протоиереем Василием Богоявленским, служившим и жившим в этом храме на колокольне пятьдесят лет. Он настоятельствовал сорок лет. Затем ослабел и был указом назначен почетным настоятелем, но остался жить на колокольне. Дожив до девяностолетнего возраста, он отчеканивал медленные шаги по крутым ступеням колокольни, спускаясь на ежедневные службы. Казалось, что его душа, оставив земную обитель, невидимо пребывает здесь, продолжая оказывать служение своей Божественной Игуменье. Лик Богородицы потемнел от времени, но различался, как бывають видны сквозь мглу непогоды сияющие на небе звёзды. За те два с половиной года, что я служил в Кривополянне, я лучше узнал противоречивую

жизнь народа, его жизнь в храме, а другую — в своей семье, в окружении односельчан.

Девятого июля, в день памяти Тихвинской, в храм стекалось большое количество богомольцев не только из Кривополянья, но и из близлежащих деревень. После окончания службы мы шли крестным ходом к Петропавловской пустыни, к месту, где исторически находилась икона Тихвинской. Пустынь была тогда в запустении. Пять километров пути до пустыни народ шел за Путеводительницей к спасению. Я видел это ликование и единство народной жизни в Боге. Это было шествие спонтанное, живое, не по подсказке сверху. И радость была живой, настоящей, искренней. Это были события современной жизни, похожие на реконструкцию той, прежней жизни, не уходящей, а уже безвозвратно ушедшей Руси.

Я вспомнил, как однажды, Великим постом, меня пригласили пособоровать «неходячих» бабушек в деревне Чечоры. Приехали за мной к вечеру, когда уже стемнело.

— Привезёте меня назад? — спросил я.

— А то как же, батюшка, привезём, — ответила румяная баба в платке.

— Вы на машине?

— На машине.

— Тогда я надену легкую одежду, — сказал я.

— Небось не замерзнете, — уверила она меня.

Мы ехали по заснеженной дороге к деревне. Печка работала плохо, и в машине было прохладно. Трасса неожиданно закончилась, и машина остановилась. Баба повернула ко мне лицо, замотанное платком, и сказала:

— Дальше машина не пройдёт. Поедем на санях.

Поёживаясь от холода, я вышел из машины и в темноте различил похрапывающих лошадей, запряженных в сани. Саней было двое. Мужики-возницы, казалось, были пьяны.

— А далеко ли ехать? — спросил я недоверчиво.

— На край села, — бросила баба, — тут рукой подать.

— Я спрашивал вас, как мы поедем, и надел лёгкую скуфейку.

— Садись, батюшка, в сани, мы тебя попойной накроем.

Я послушался и сел в первые сани.

Мужик, пошатываясь, разговаривал с лошастью.

— Тпру, стой! — кричал он, натягивая вожжи.

Баба залезла рядом со мной, приказала мне лечь и накрыла меня какими-то вонючими тряпками.

— А ну, трогай, пошла! — заорал мужик и вскочил в уже поехавшие сани.

За ними двинулась и другая подвода и тоже под истошные крики мужика.

Я полулежал в крошечной темноте и не знал, куда они меня везут, надеясь только на помощь Божью. Дорога была нечищенная, в буграх и ямах. Сани поминутно задирали то в левый бок, то в правый, и они грозили перевернуться. Мужик покрикивал на лошадей, которая храпела и, упираясь, рывками тянула вперед. Ехали довольно долго. Холод подбирался ко мне, и всё тело наполнилось дрожью. Наконец мужик закричал:

— Т-пру, приехали!

Баба сняла с меня тряпье.

— Приехали, батюшка, ко двору, слазай.

Я выбрался из саней и пошел следом за бабой.

— Ждите! — закричала она мужикам.

Изба была плохо освещена. Народу набилось порядочно, человек десять старушек. Хозяйка сидела на кровати, свесив ноги в валенках. Остальные сидели на табуретках и лавках. Я прошел к столу, который стоял под божничкой.

Перед иконой из фольги горела лампада, сделанная из жестяной банки. Стояло эмалированное блюдо с пшеном. Лежали свечи. Пол показался мне неровным. Я опустил взгляд под ноги и обомлел: он был земляной. Дальше была чумазная стена русской печи, внутри которой потрескивали дрова. От печи шло густое тепло, а по полу несло холодом.

«Как же они тут живут, — подумалось мне, — на дворе ведь конец двадцатого века?»

Я попросил какой-нибудь коврик под ноги. Мне принесли дерюгу.

Старушки с пониманием дела начали подвизывать платки, освобождая лоб и уши для помазания елеем, расстегивать кофты и закатывать рукава. Было видно по этим действиям, соборовались они не в первый раз, а может быть, каждым Великим постом всю свою жизнь. Когда были силы, они приходили в церковь, а состарившись, стали приглашать священника в дом. Они сидели тесным кругом, как одна семья, не замечая земляного по-

ла, лоханки у порога с мутной водой, сваленных на лавку и развешанных на вбитые гвозди у дверного косяка зимних вещей.

Я установил семь свечей в приготовленное блюдо с пшеном, зажег каждую из них, передал восьмую горящую свечу низко поклонившейся мне бабушке. Она передала огонь рядом сидящей, еще более древней старухе, и вся изба наполнилась светом. Стало еще жарче. Дрова в печи потрескивали, свечи на столе вторили им.

Я возгласил:

– Благословен Бог наш!

Все стали креститься и, сидя, наклонять головы.

Без этого доверия Богу они бы не смогли переносить всё неустройство своей трудной жизни. Дом и быт были для них только временным пристанищем. Однажды, после вечерней службы, спрашиваю одну из них:

– Анна, домой пошла?

– Нет, батюшка, не домой. Ко двору. Домой к Богу пойдем, – сказала и с надеждой посмотрела на небо.

С каждым новым помазанием лбов, шамкающих ртов, впалых грудей и заскорузлых от бесконечных трудов морщинистых рук они становились мне ближе, роднее. Молитва умиротворяла всех молящихся, а чтение священных текстов наставляло:

«Братие, плод духовный есть; любы, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание; на таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Аще живем духом, духом да и ходим. Не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Братие, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте такового духом кротости; блюдый себе, да не и ты искушен будеши. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов...»

Пособоровав бабушек, я поспешил выйти на свежий морозный воздух и вдохнул полной грудью.

Мужики попивали самогон и были пьяны пуще прежнего.

– Как же они нас повезут? – спросил я сопровождавшую меня бабу.

– Грелись, батюшка: на улице мороз, – сказала она и крикнула:

– Не удержались, не удержались. Я же вас просила?! Доедем, батюшка, потихоньку доедем. Садись, как давеча.

Я уселся в другие сани, она меня укрывала и села рядом. Мужик закричал на лошадь, она рванула, он побежал за санями, но, не удержавшись на ногах, упал в снег. Заматерился и закричал:

– Т-пру, шалава!

Лошадь остановилась. Мужик поднялся на ноги, сел боком в сани и крикнул:

– Пошла!

Сани поползли. Рассерженный мужик хлестал лошадь вожжами. Она при каждом ударе дергала, прядала ушами и несла нас по колдобинам. Сзади, за спиной, орал прежний мой извозчик и тоже хлестал ни в чем не повинную лошадь. Они как будто соревновались в жестокости.

Через мгновение лошадь, ошпаренная вожжами, в страхе рванула в сторону, сани въехали на валун и опрокинулись. Мы все трое оказались в снегу.

Я отряхивался от снега. Баба материлась на мужика, который нелепо оправдывался, сваливая вину на неровности дороги.

– Я дальше не поеду, – твердо сказал я.

– Батюшка, сто метров осталось, – говорила уже испуганная баба, – а там машина нас ждет.

– Прими, прими, Федор, – кричала она напроказившему мужику, – прими в сторону. Иван, давай подводу.

Я, смирившись, сел в другие сани и уже не сводил глаз с дороги.

В этой же самой деревне жили две «подвижницы-читалки». Ходили по домам, в которых случались покойники, и читали Псалтирь. Жили они по-монашески. Подражая древним подвижникам, изготовили на заказ гроб и по очереди спали в этом гробу, привыкая «к новому дому». Однажды Клавдия, так звали одну из них, предложила сделать свою фотографию в гробу, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть после смерти.

Агафья пригласила фотографа из райцентра. Заплатила ему денег и попросила сделать снимки покойной подруги. Фотограф приехал, вошёл в избу и начал фотографировать. Когда он сделал достаточное количество снимков и просматривал материал, Агафья сказала:

— Клавка, вставай!

И покойница села в гробе. Фотограф побледнел и, потеряв сознание, упал на пол.

Еще было происшествие в Чечорах. Приехал из города погостить зять со своей молодой женой к теще. А та собралась по весне к Пасхе свинью зарезать. Накрыли стол молодоженам, выпили самогона, и теща предложила зятю:

— А не смог бы ты, зятёк, свинью — того?

— А почему не смогу? Смогу, — расхрабрился после выпитого самогона зять.

— Сиди уже! — приказала ему жена.

Но муж уже собрался доказать теще свою способность.

Вышли на двор, отпёрли закут, из которого показалась огромная грязная свинья. Она, мирно похрюкивая, двинулась в желанное пространство. Зять с ножом в руке преградил ей дорогу, но она движением головы легко отстранила его с пути.

— Сильная скотина! — удивился обескураженный зять.

Тёща, подсобляя ему, ходила за свиньёй, наваливалась на неё, зять наваливался следом, но грузное тело свиньи словно выскользывало из-под них. Жена, сложив на груди руки, глядела из угла двора и приговаривала:

— Оставьте вы эту затею, батя придет с работы и заколет.

— Подождите, — сказал запыхавшийся зять, — у меня есть план. Нужны провода.

— Провода у нас есть.

Тёща забежала в сарайчик и принесла бухту проводов.

Зять размотал их, зачистил концы и в доме вставил в розетку. Оголенные концы проводов он намеревался засунуть свинье в ноздри, чтобы убить её таким образом.

Тёща одобрила план. Уж очень ей не хотелось платить денег соседу за убой свиньи. Муж её стал сентиментален и давно уже отказался от забоя животных.

Зять приказал теще обходить свинью сзади и на мгновение ее задержать. Тут нужны были ловкость и сноровка. Эти качества у него точно были.

Тёща взяла еду и пошла к свинье, приговаривая:

— Маня, Маня, трескай.

Свинья, любившая поест, остановилась и повела носом на блюдо.

Тёща поставила перед свиньёй блюдо и в то же мгновение навалилась на неё. Зять вставил оголенные провода в ноздри свиньи. Тёща отвалилась от отскочившей свиньи и упала замертво.

Бедного зятя осудили с формулировкой: «злумышленное и намеренное убийство своей тещи». Его посадили в тюрьму на двенадцать лет строгого режима. Так он потерял семью и самые радостные дни своей жизни.

Я размышлял о народе, когда получил указ служить в Кривополянском храме. Меня ставила в тупик ситуация, которую я не мог разрешить несколько первых воскресных служб. Отслужив Литургию, я не мог говорить проповедь. Я не знал, что говорить народу и как. Люди смотрели на молодого священника и как бы спрашивали: «Ну что ты мне можешь сказать нового?»

Шесть лет служения я провел в городе, в кафедральном соборе, преподавал в университете, читал курсы городской интеллигенции, а тут — бабушки в платочках.

Однажды, возвращаясь домой, я понял, что русский народ вместил самую главную заповедь Спасителя: «Положить душу свою за други своя».

Он может быть необразованным, даже неграмотным, он может не понимать глубоко правила своей веры, он может быть груб и невежествен, но он отзывчив и христоролюбив. Это есть в его крови, в его менталитете, в его образе жизни. Он этого не осознаёт, этого не понимает. Но что же из того? Ребёнок тоже не понимает, отчего он добр и кроток. Однако он добр, и ему не надо знать, почему он добр. Он совестлив и стыдлив, наш народ. Он открыт и прямодушен. Он не умеет создавать личину, или, как теперь говорят, «имидж», он такой, какой он есть. Все качества характера, и хорошие и плохие, сквозят в его прямодушии, и от этого он даже привлекателен. Размышляя таким образом, я успокоился и в следующее воскресенье заговорил. Говорил так, как говорил всегда, сложно и глубоко. И спросил у своих спутников-интеллигентов:

— А прихожане понимают меня?

— Понимают, — подбирая слова, отвечала мне

выпускница Свято-Тихоновского института, — но понимают не так... Не слова, а как-то по-другому. Но понимают определённо.

Мой сын не знает этого опыта, поэтому он так категоричен. А Вера? Вера — она и есть этот народ. Только она отличается от народа тем, что образованна. И если бы народ последовал примеру этой удивительной девушки, которая имеет по природе своей чистое, доброе, верующее русское сердце и светлый, направленный к развитию разум, такой народ был бы действительно народом-богоносцем. Народом-спасителем человеческой цивилизации.

Начало строительства

Мой дорогой мальчик! Хочу рассказать тебе о том событии, которое усилило мою веру в то, что храм будет построен.

Я помню, что после благословения и указа митрополита Серапиона о назначении меня настоятелем еще не существующего Михайло-Архангельского храма (представляешь, я был настоятелем, а храма еще не существовало!) меня охватила робость. Не было ни полущки денег. Я просыпался ночами, смотрел в темное окно (а мы жили, если ты помнишь, как раз рядом с частным сектором), слушал лай собак из разных дворов и думал: «С чего же мне начать?»

Отец благочинный, вручая мне указ, сказал:

— Мы поможем тебе умереть.

Это была шутка. Но мне-то было не до шуток тогда. Сейчас отца благочинного уже нет в живых. Он ушел из жизни, когда ему не исполнилось и сорока двух лет, умер от внутреннего кровотечения.

Я смотрел с шестого этажа в ночь на откусанную облаком луну, на темнеющие частные домики, на серебристую гладь реки, на освещенный фонарями мост, по которому медленно ползли редкие автомобили с тусклыми фарами, и думал: «Кто-то должен строить храмы? Почему этот кто-то не я? Если Богу угодно — храм будет стоять».

И перед моим мысленным взором тянулась вереница людей, которых я знал и которые мне могли бы помочь. Скажу тебе неутешительную вещь: когда приходят трудные времена, когда приходит беда, а строительство храма — это

трудные времена, близкие к тебе люди отходят в сторону. Вдруг открываются сердца. Я благодарен этому времени. Я никого не сужу, и у меня совсем нет обид. Просто я понял, что эти люди находятся на отдаленных кругах от эпицентра глобальных событий становящегося смысла. И это их выбор.

Храма не было. Мы совершали богослужения, молебны, панихиды прямо на улице. Собиралась небольшая горстка людей. Никто не верил, что в тех экономических условиях, в которых находилась страна, можно построить храм. В основном приходили старушки, видимо, из-за того, что они привыкли к храму и службам в нем, но сил добираться до городского собора и до храма в селе Двуречки, куда они обычно ездили, уже не было. Проходящие мимо с любопытством смотрели на жалкое собрание престарелых людей, охваченных страхом предстоящей смерти, как смотрят на только что случившуюся автомобильную аварию: все ли еще живы и какова степень разрушения автомобиля. На территории, отведенной под строительство храма, стоял только металлический гараж, пожертвованный главным инженером металлургического завода. В нем мы хранили церковную утварь и инструменты.

Однажды в кафедральном соборе, на соборном богослужении, на котором и я присутствовал, митрополит спросил отца-секретаря:

— Ну, как там у отца Седогина идет строительство? (Митрополит почему-то назвал меня по фамилии.)

— Поставил гараж на территории.

Митрополит усмехнулся.

— Неплохое начало, так, отец Петр? А-а? Гараж для машины уже есть.

При этом владыка даже не посмотрел в мою сторону.

Отец-секретарь понимающе улыбнулся и поддакнул митрополиту.

Наша епархия была территориально огромной. Резиденция митрополита находилась в другом городе, за сто двадцать километров. Часто приходилось ездить для отчетов и собраний. Годовой епархиальный отчет Владыки был особенно утомителен. Я называл это театром одного актера. Собиралась толпа людей в черных рясах, с бородами, — человек триста. Для подобных мероприятий арендовали Дворец культуры «Квартал».

Священство рассказывалось. Становилось тесно, душно. На сцену выходил митрополит, садился в архиерейское кресло за широкий стол, освещенный зеленой лампой и оборудованный микрофоном, и начиналось собрание.

— Меня хорошо слышно, а? — спрашивал митрополит, взглядываясь поверх очков в полуосвещенный зал.

Он видел всех без исключения. Даже мимика священника не могла от него ускользнуть.

Часто Владыка говорил пять часов подряд, читая подготовленный отчет о деятельности епархии, прерывая чтение разбором некоторых персоналий. Провинившийся священник поднимался и стоял ни жив ни мертв.

Чем грозили подобные разборки? Они грозили переводами священника в другой приход, с уже обжитого места, а многие из них были многодетны, и эти переводы очень осложняли жизнь семьи.

Когда я выбрал этот путь для себя, я относился к священнику с благоговением и искренним почтением.

Учась в Литературном институте, я нахватался религиозных идей, и Троице-Сергиева Лавра, Подворье Афонского монастыря в Переделкино с Храмом Преображения Господня, описанным в стихотворении Пастернака «Август», были моим вторым домом.

В Троице я дружил с семинаристами и академиками и любил приезжать на службы в академический храм, где пели четыре семинарских хора, которыми руководил известный в то время регент архимандрит Матфей.

В Переделкино я встретил своего духовника. Тогда в этом маленьком монастыре было только четыре монаха, подвизался знаменитый лаврский экзарцист, архимандрит Герман. Он наложил на меня после одной из исповедей епитимью — переписать Евангелие. Я переписал.

Книги религиозного содержания тогда не издавались, и достать их было нелегко. Только иногда в Троице монахи паломникам в Храме пророка Предтечи на исповедях из-под рясы доставали Евангелие и другие душеспасительные книги, раздавая их в подарок.

Моя рукописная книга была мной подарена одной рабе Божией, которая увезла ее на север, где не только книг, но и храмов не было.

Для меня любой священник был святым, учителем народа, совершителем Великого Таинства Евхаристии.

И однажды в первый или второй год своего священства я присутствовал на подобном собрании. Митрополит ругал молодого священника из семьи духовного сословия. Его отец был здесь же в зале собрания, кандидат богословия, седовласый отец Александр, переживший гонения советской власти, маститый протоиерей. Его сын, тоже священник, в чем-то провинился. Митрополит ругал молодого священника и напирал на то, что именно «сынки попов ведут себя развязным образом». Молодой священник, отец Николай, что-то попытался сказать в свое оправдание.

— Заткнись, щенок! — бросил ему митрополит.

Я сидел, опустив глаза, я боялся посмотреть в сторону отца Александра. Тишина на мгновение повисла в зале. Но митрополит продолжал как ни в чем не бывало.

Однажды я приехал в резиденцию митрополита и вошел в приемную, которая была пуста. Подождав немного, я осторожно стал продвигаться по полутемному коридору вглубь в надежде встретить хоть кого-нибудь из матушек или священства. Дверь в приемную митрополита была приоткрыта. Я невольно заглянул в нее. Митрополит сидел в кресле в простом коричневом подряснике, перепоясанном пояском, а перед ним на полу, на красивом красном ковре, сидели отец-секретарь из нашего города и еще один приближенный священник. Митрополит отламывал кусочки от большой просфоры и кормил их из своих рук. Каждый из них приоткрывал рот, а митрополит своими пухлыми пальчиками осторожно опускал в него святой хлебушек. Я поспешил удалиться на улицу. Мне вспомнился день, когда я, молодой священник, оказался за столом вместе с митрополитом. Угощали на славу. Владыка был разговорчив. Много шутил. И, похлопывая по лысой голове отца-секретаря, приговаривал:

— Вот отец Петр совсем польсел от общения со мной.

На что отец-секретарь отвечал шутливо:

— Нет, дорогой владыко, мне Господь «лице продлил».

Митрополит был очень доволен шуткой.

Да, были времена и были нравы...

Но я отвлекся.

Благочинный вызвал меня, нового настоятеля, и объявил:

— У архиерея юбилей, двадцать лет служения на нашей кафедре. Все храмы сдают деньги на подарки Владыке. С тебя двести долларов.

Это была большая сумма для меня в те времена.

— Почему в долларах? Нельзя ли в рублях? У меня нет долларов.

Благочинный перешел на шепот:

— Не знаю, может быть, они боятся потерять на обменном курсе.

В субботу утром я приехал в собор к благочинному и вручил ему конверт, подписанный «от Храма Михаила Архангела», в котором лежало двести долларов, стодолларовая купюра и две по пятьдесят, которые я выменял у валютчиков в центральном универмаге.

Вечером на стройплощадке, в котловане, мы совершали службу.

Это было всеночное бдение перед воскресным днем. Народу собралось человек семьдесят. Погода стояла теплая, но переменчивая. Конец августа. Было подозрительно тихо, когда я громогласно возгласил:

— Благословен Бог наш...

Не шевелилась ни одна ветка на высоких тополях, окружавших котлован с западной и северной сторон.

На шестопсалмии вдруг потемнело, потянуло влажным воздухом. Усилился ветер, с шумом закачались кроны деревьев, и полил дождь. Я взглянул на небо. Светло было лишь на западе. Виднелась небольшая светло-бирюзовая холодная проталина.

Дождь усиливался, и я понимал, что служба сорвана.

— Иди объяви людям, чтобы они расходились по домам, — шепотом сказал я мальчишке-алтарнику, — а мы будем продолжать.

Я знал, что службу останавливать не положено. Это как при запуске космического корабля — пятнадцатиминутная готовность. Запускается система, и уже нет обратного отсчета. Ничего нельзя остановить и вернуть назад. Нечто подобное существует в нашем Православном Богослужении. Особенно это касается Литургии. Если ты начал Евхаристический ка-

нон, ты должен завершить Его. Только смерть может быть для тебя извинением.

Алтарник жестами и словами стал провожать людей домой, предлагая им расходиться.

— Они не двигаются с места, — шипел он мне в ухо, с намокшей головой и плечами. Видно было, что ему хотелось остаться со мной вдвоем и героически завершить Богослужение.

— Мир всем, — возгласил я в порядке Богослужения, повернувшись к народу. Все стояли под проливным дождем, склонив намокшие, потемневшие белые платки. Дождь продолжался всю мирную ектинью утрени, весь канон, хвалитны и затих только к первому часу. Примерно тридцать минут. Евангелие читали под зонтом. Прихожане стояли и молились. Воздух был напоен сыростью и влагой, набегающий ветер сбивал с листьев капли, которые беспорядочной дробью осыпали богомольцев, плечи студила вечерняя прохлада, вдалеке раскатисто урчали раскаты грома.

После окончания службы, после отпуска я повернулся к людям.

— Благодарю вас, дорогие братья и сестры, что вы не оставили меня одного у Престола.

— Ну как же мы своего батюшку бросим! — раздавалось со всех сторон. — Что ж мы... Бог терпит и нам велит...

— Вы сегодня напомнили мне мучеников Севастийских, которые, несмотря на холод, стояли в замерзающем озере, чтобы остаться верными Христу. Мы вместе построим храм. Теперь я в этом уверен.

— Помогай Бог батюшке, а мы уж подсобим... — не успокаивался народ.

— Спаси вас, Господи, за вечер молитвы, ступайте по домам.

Народ, переговариваясь и поёживаясь от холода, торопливо стал расходиться.

После службы удивленные бабушки позвали меня в гараж.

— Батюшка, посмотрите, что положили нам в кружку. Басурманские деньги.

Когда они показали их, я был поражен. В кружке лежали стодолларовая купюра и две по пятьдесят.

— Вы знаете, — сказал я им, — храм будет. Есть Божие благословение!

Как я мог рассказать им про доллары на подарок митрополиту? Этих денег со всех храмов соб-

ралось более девятьсот тысяч в русских рублях, на них митрополиту купили золотую Панагию с камнями. Но наши деньги вернулись уже вечером. Всё случившееся было для меня знаком Божию присутствия. Это укрепило мои силы.

Я отложил исписанные листочки и взял в руки со стола оставленную раскрытую книгу и продолжил читать.

«С сотворения мира пребывала церковь земная непрерывно на земле и пребудет до совершения всех дел Божиих по обещанию, данному ей Самим Богом. Признаки же ее суть: внутренняя святость, не позволяющая никакой примеси лжи, ибо в ней живет дух истины; внешняя неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее Христос.

Все признаки церкви, как внутренние, так и внешние, познаются только ею самой и теми, которых благодать призывает быть ее членами. Для чуждых же и непризванных они непонятны, ибо внешнее изменение обряда представляется непризнанному изменением самого Духа, прославляющегося в обряде. Церковь и ее члены знают внутренним знанием веры единство и неизменность своего духа, который есть дух Божий. Внешние и непризнанные видят и знают изменение обряда внешним знанием, не постигающим внутреннего, как самая неизменность Божия кажется им изменяемою, в изменении Его творений. Посему не была и не могла быть церковь изменною, помраченною или отпадшею, ибо тогда она лишилась бы духа истины. Не могло быть никакого времени, в которое она приняла бы ложь в свои недра, в которое бы миряне, пресвитеры и епископы подчинились предписаниям и учению, не согласному с учением и духом Христовым. Не знает церкви и чужд ей тот, кто бы сказал, что могло в ней быть такое оскудение духа Христова. Частное же восстание против ложного учения, с сохранением или приятием других ложных учений, не есть и не могло быть делом церкви: ибо в ней, по ее сущности, должны были быть всегда проповедники, и учителя, и мученики, исповедующие не частную истину с примесью лжи, но полную и беспримесную истину. Церковь знает не отчасти-истину и отчасти-ложь, а полную истину и без примеси лжи. Живущий же в церкви не покоряется ложному учению, не принимает таинства от

ложного учителя, зная его ложным, не следует ложным обрядам. И церковь не ошибается сама, ибо есть истина; не хитрит и не малодушничает, ибо свята. Точно так же, по своей неизменности, не признает ложью то, что она признавала когда-нибудь за истину; объявив общим собором и общим согласием возможность ошибки в учении какого-нибудь частного лица, или какого-нибудь епископа, или патриарха (как, например, Папы Гонория на Константинопольском Соборе в 680 году), она не может признать, что сие частное лицо, или епископ, или патриарх, его преемники, не могли впасть в ошибку по учению и что они охранены от заблуждения какою-нибудь особой благодатью. Чем святилась бы земля, если бы церковь утратила свою святость? И где была бы истина, если бы ее нынешний приговор был противен вчерашнему? В церкви, то есть в ее членах, зарождаются ложные учения, но тогда зараженные члены отпадают, составляя ересь или раскол и не оскверняя уже собой святости церковной».

Любовь и смерть

Девушка лет семнадцати стояла в сторонке и смотрела в мою сторону, пока я разговаривал с прихожанкой. Я слушал и с интересом поглядывал на взволнованную незнакомку. Как только прихожанка отошла, девушка решительно подошла ко мне.

— Вы можете повенчать меня с моим молодым человеком? — торопливо спросила она. — Но скажу вам прямо: он болен, он ВИЧ-инфицирован.

— Сколько вам лет? — удивился я.

— Ему двадцать два, мне девятнадцать.

— Родители благословляют вас?

— Мои родители на Украине. Я здесь живу у бабушки и учусь. Они мне разрешают замуж, они просто не смогут приехать на венчание. Я беременна уже. Беременна, да.

— И родители знают о твоей беременности?

— Об этом еще не знают.

— А ты? — я замаялся, не зная, как спросить, но девушка догадалась о моем намерении.

— Я не знаю, больна ли я или нет, но я беременна от него.

— Беременна? От этого человека?

— Ну да. Мы просто любим друг друга. И ес-

ли нужно будет умереть, то мы вместе умрем. Это любовь, понимаете?

— Кто первым из вас заболел?

— Когда я с ним познакомилась, он был уже болен.

— И он не пожалел тебя?

— Он не хотел, чтобы я была с ним. Я этого хотела. У нас любовь, понимаете, настоящая любовь. Сейчас он себя очень плохо чувствует. У нас осталось, может быть, несколько дней. И нам надо успеть повенчаться. Вы повенчаете нас?

Я задумался.

Она выглядела простой девушкой. Не хорошенькая, не плохонькая, посредственная. Не выделялась ничем: ни внешней красотой, ни яркими одеждами. Простая бедная девушка. Может быть, она уже больна СПИДом?

— Сколько вы вместе?

— С января.

На дворе стоял апрель.

— Он наркоман?

— Да, он кололся. Я так хотела его снять с иглы. И мне удалось, но слишком поздно.

— Тебе надо обследоваться. Ты носишь ребенка.

— Знаете, сейчас не во мне дело. Ему очень плохо. Он может умереть со дня на день. Вы повенчаете нас?

— Хорошо, приходите.

— Сегодня можно?

— Нет, сегодня вторник. Венчание не положено. Венчают в среду, пятницу и воскресенье. Приходите завтра.

— Мы придем. В какое время?

— Приходите после службы, к одиннадцати дня.

Она пошла к выходу. Я смотрел на нее и думал: «Это безумие. Она уничтожила свою жизнь. А он помог ей. Но почему ей не страшно?»

Я не мог понять, почему я согласился. Сомнения терзали меня. Я должен буду соединить их. Но если он действительно болен и, повенчавшись с ней, вскоре оставит её одну с ребенком, что она будет делать? Видимо, отношение к Таинству брака у них легкомысленное. Сейчас надо заявить о своей любви всему миру и Богу, а если случится страшное, то можно о браке забыть и начать новые отношения. Но я, как священник, должен разъяснить глубину Таинства, всю его

серьезность, чтобы у брачующихся появилась ответственность за судьбу друг друга. Завтра я посмотрю на них и тогда буду принимать решение, чтобы не уподобиться священнику, который тайно венчает молодых, незрелых людей.

Я приехал домой. Из комнаты Ивана доносились звуки работающего процессора.

— Опять за компьютером, — произнес я.

Я разделся. Снял подрясник, крест. Пошел в кухню. Немытая сковорода. Остатки яичницы и масла. В раковине — грязная тарелка, на столе крошки хлеба. Помыл посуду, сковороду. Подошел к двери, постучал.

— Да, пап.

— Можно к тебе?

— Можно.

Лежит в пижаме. Весь в компьютере.

— Что делаешь? Играешь в покер?

— Пап, подожди. У меня отборочный турнир.

— Куда?

— На телевидение, «Рен-TV», «Звезда покера». Знаешь такую передачу?

— Я не смотрю телевизор, кроме новостей.

Сын ни разу не глянул в мою сторону.

— Мне надо кое-что с тобой обсудить, Иван.

— Нет, только не сейчас. Я обыграл пять тысяч пятьсот тридцать человек. Мне осталось немного, и я буду заполнять анкету.

— Сколько же ты сидишь?

Мельком взглянул в угол монитора.

— Уже шесть часов.

— Ладно, освободись, дай знать.

Когда же я упустил его? Его отрочество пришлось как раз на мои первые шесть лет служения. Только что отдали верующим собор, который был краеведческим музеем. Союз рухнул, рухнула коммунистическая идеология. Октябрюта, пионеры, комсомольцы, наигравшись, словно дети, побросали значки и галстуки. Их родители пошли в церковь, чтобы обрести забытые идеалы справедливости и добра для себя и своих потерявших отпрысков. Первая Воскресная школа, которая образовалась в соборе, насчитывала триста человек детей разного возраста.

Я не восстанавливал собор. Я служил день и ночь. На приходе настоятель и секретарь в одном лице, отец Петр. Он все время занимался административными делами. Было два свя-

щенника: я и отец Стефан. Мы служили, я помню, два года подряд с момента открытия: одну неделю — отец Стефан требный, я служащий, вторую неделю — он служащий, я требный — два года подряд без отдыха и отпусков. Если учесть, что приходилось исповедовать по две тысячи человек и причащать на праздники тремя чашами в течение часа — нагрузка была большая. Но и вера большая, и ревность «была не по разуму». Однажды я соборовал один двести человек, читал и помазывал участников таинства шесть часов. Люди молились, а среди них было много старушек.

После четырех лет служения без выходных и отпусков я угодил на четыре месяца в больницу. Ослабла мышца сердца, и требовалось долгое восстановление. Отец-секретарь приходил один раз с коробкой конфет. Архиерей никому не верил.

Я думал тогда (об этом же мы мечтали в Литинституте), что пришло время спасения России. Русский народ обретет свои святыни, восстановит традиции и культуру. И мы были счастливы послужить этому на первом форпосте Святой Христовой Церкви.

Общежитие на Новослободской по адресу: Москва, ул. Добролюбова, 11 гудело в свободные от учебы часы. Литературная богема обсуждала в прокуренных комнатах «бессмертные» произведения будущих великих литераторов, поэтов, прозаиков и эссеистов. Пили водку и крепкий чай, курили дешевые сигареты «Прима». А мы — Владимир Чугунов, Михаил Резин и я — читали Василия Васильевича Розанова, «Пути русского Богословия» Георгия Флоровского издательства «Имка-Пресс». Читали вслух Андрея Платонова, его «Чевенгур» и «Котлован». Молились, соблюдали посты, ездили в Лавру и Переделкино на исповедь и причастие.

Однажды к нам зашел один поэт, известный в узких кругах, и спросил:

— Ребята, какая у вас программа?

Он был пьян и напыщенно серьезен. Это был 1985 год. Нас считали диссидентами.

— Наша программа не нова для России, — ответил Володя Чугунов. — Православие, самодержавие, народность — это высказал еще Сергей Семёнович Уваров.

Нас воспринимали серьезно, но не понимали.

Позже, после окончания Литинститута, мы,

все трое друзей, не сговариваясь, приняли священный сан иереев божьих.

Однажды к нам в комнату зашел Олег Азиков. Это был большой, сильный человек. Он работал в Днепропетровске металлургом и учился заочно в мастерской прозы Владимира Амлинского.

Он сидел в нашей комнате общежития и восторженно слушал разговоры о духовности, о церкви. К тому времени он был не крещен. Время было позднее, и мы прощались. Завтра надо было рано вставать, спешить на Ярославский вокзал к первой электричке, чтобы ехать в Лавру.

— Возьмете меня с собой? — спросил Олег.

— Конечно.

— А мне можно, я ведь некрещеный?

— Можно. Будешь стоять как оглашенный.

— Как это — оглашенный?

— Когда услышишь возглас в церкви «оглашенные, изыдите», сейчас же выбегай из храма, — мы с Мишей Резиным сдержанно улыбались. — Знаешь, есть такое выражение в народе: «Что ты носишься как оглашенный». Это вот от этого осталось. Понял?

— Понял.

Выходя из комнаты, он неожиданно схватил мою руку и поцеловал. Это был большой, мужественный человек.

Когда он, смущаясь, выбежал, Володя Чугунов сказал:

— Пророчески поцеловал твою руку. Быть тебе священником.

Позже мы привели его в церковь, и он перекрестился, взяв крестным отцом меня.

Потом жизнь нас разбросала.

Где ты, Олег Азиков, трогательный и добрый человек?!

Ревность наша «по Бозе» была неуправляемой. Мы готовились изменить мир, вернуть народу его культуру, задуманную Советами, вернуть святыни православия, показать единственный путь спасения через церковь и через опыт великих отцов христианства.

В первый год служения отец Владимир Чугунов, который происходил из глубинной российской Нижегородской губернии, давшей миру великих аскетов и бунтарей протопопа Аввакума, Ивана Неронова и патриарха Никона, устроивших смутное время в России в XVII веке, разделившее жизнь русской церкви на два истори-

ческих этапа — до раскола и после него, — Великим постом принялся за аскетические подвиги. Ни с кем из домашних, кроме пятилетнего Никиты, не разговаривал, вкушал пищу (хлеб и воду) один раз в день, совершал Богослужение по строгому уставу Великопостных служб, ничего не сокращая, чем измучил поющих и читающих в храме. Дома не выходил из молитвы, к матушке не прикасался, боясь оскверниться. Звонил мне и говорил, что спасение России начнется отсюда, из Николо-погоста, из Никольского храма, что надо строить еще два храма поблизости для меня и отца Михаила, во имя Святой Троицы. Требовал приехать не позднее окончания Великого поста с семьями и начинать соборное Богослужение.

— Будешь завтра, в воскресный день, служить, — говорил он мне по телефону, — в момент причастия произнеси слова: «Господи, причасти меня Сам».

Тон разговора был сокровенно-тайнственный, касающийся только посвященных. Матушка его сообщала, что она «в ужасе, Володенька на себя не похож, разговаривает только с Никитушкой, говоря, что уста младенца глаголят истину и что будет исполнять только то, что Никитушка скажет».

Мы с отцом Михаилом, московским композитором Владимиром Щукиным, бросив всё, отправились в Троице-Сергиеву лавру к архимандриту Кириллу. Друзья-академисты проводили нас обходными путями к батюшке. Отец Кирилл встретил нас приветливо, но сдержанно. Усадил на лавку, помолвившись перед образом Спасителя, сел напротив нас, поглаживая свою длинную, совсем белую бороду. Он был худощав, впалые щеки, бледный цвет лица и поблескивающие живые глаза говорили о глубокой внутренней духовной жизни этого человека. Великий пост на весь его облик словно отпечатывал состояние молитвенной отрешенности. Говорил он глуховатым голосом, скороговоркой, простой русской речью:

— Говорите вы, — обратился он к отцу Михаилу, — вы же ближе всех к вашему брату находитесь.

— Да, отец Кирилл, ближе всех, в сорока километрах друг от друга служим.

— Что же вы по-братски редко общаетесь, разве не знаете слов: «Хорошо нам, братья,

спасаться вкупе», — отец Кирилл ласково смотрел на нас. — Коли так было бы, не случилось бы и беды. А теперь поезжайте к брату вашему, исправляйте ошибку.

— Дайте совет, отец Кирилл, — взволнованно, с забившимся сердцем, обратился я, закашлявшись, — отец Владимир слушать никого не слушает, матушку сделал первым врагом, после того как она нам по телефону рассказала о его сумасшествии. Разговаривает только с младшим сыном и ничего не ест, кроме хлеба и воды.

— Вера его настоящая, и ревность его Богу приятна, вот только опытности нет совсем, — как бы сам с собою тихо говорил батюшка. — Но этот иску́с надлежит пройти.

Воцарилось молчание. Мы во все глаза смотрели на словно застывшую фигуру архимандрита Кирилла. Черный клобук его подчеркивал белизну лица и свет, исходивший из выцветших глаз. Говорили, что это был тот самый старший лейтенант Павлов, именем которого назван дом в Волгограде. Единственный уцелевший во всем городе дом после кровопролитного Сталинградского сражения, который стал символом мужества и героизма. Рассказывали, что защитнику Павлову по его горячим молитвам явилась Богородица и помогла выстоять. А после войны лейтенант Павлов ушел в монастырь и принял монашество.

— Я вам дам номер телефона. Как приедете к нему, а поезжайте незамедлительно, через сутки позвоните.

Батюшка встал со стула, взял со стола листочек из заготовленной стопки бумаг, карандаш и крупно написал номер телефона. Мы подошли под благословение.

— Писатели? — спросил нас батюшка, улыбаясь кроткой, едва заметной улыбкой.

— Были писатели, теперь священники, — гордо ответили мы.

— А одно другому не мешает, — взяв мои руки, ласково говорил отец Кирилл, — дар слова нужен одинаково и священнику, и писателю. Но дар этот «свыше есть», вот о чем надо помнить и кому надо служить.

Мы нашли отца Владимира, подозрительно и даже враждебно настроенного по отношению к нам. Матушку он обвинял в пособничестве Дьяволу, что она, якобы по его подсказке, пригласи-

ла нас, чтобы помешать ему в деле спасения. Целые сутки мы пытались разговорить батюшку, вспоминали студенческие годы, забавные случаи, чтобы как-то вернуть его в прежнее состояние, но он ни на что не реагировал. Называл нас «пустыми людьми, насмешниками и слугами сатаны». Делать было нечего. На свои силы мы не надеялись, надо было звонить отцу Кириллу.

Батюшка долго не подходил к телефону. Наконец мне удалось дозвониться, и только я начал рассказывать о том, что здесь происходит, отец Кирилл кратко сказал мне:

— Свяжите его и положите на лавку. Через сутки развяжите и везите ко мне.

Отец Владимир почти не сопротивлялся, когда мы вчетвером с молитвой «Да воскреснет Бог!» приступили к нему с веревками. Он лежал смиренно, только обличал нас и матушку да просил сидеть рядом с собой Никиту. Всю ночь мы попеременно дежурили в кабинете отца Владимира. Утром стали уговаривать его ехать к архимандриту Кириллу в Лавру, сказав, что только после его согласия развяжем. Батюшка согласился при одном условии: взять Никиту с собой. Матушка залилась слезами, представив долгое путешествие своего дитяти с четырьмя мужчинами. Но вскоре успокоилась и согласилась. Желание здоровья своему мужу пересилило материнский инстинкт.

Всю дорогу мы молчали. Отец Владимир был угрюм. Прижимал к себе Никиту, которому объятия отца мешали созерцать меняющиеся за окнами картины природы.

Отец Владимир вошел к архимандриту Кириллу и вышел через пятнадцать минут со словами:

— Я был в прелести.

Взгляд его прояснился, он стал прежним. Мы обедали у Щукиных. Единственное, о чем попросил отец Владимир за трапезой, — не исполнять песен во время Великого поста. Невозможно было представить визит к Щукиным без песен знаменитого композитора. Но возражать никто не стал.

— Па, представляешь, я отобрался. Я в числе финалистов. Они скоро пришлют мне вызов в Москву. О чем ты со мной хотел поговорить?

— Присядь. Знаешь, Иван, есть такая поучительная история.

Иван закатил глаза и покусывал губы.

— Ну послушай. Это тебя касается.

— Ну давай.

— Один юноша влюбился в женщину древней профессии, женщину плохого поведения.

— Па, я знаю.

— Ну вот. Он спешил к ней на свидание. Погода была ужасная. Дождь лил не переставая. А ему надо было преодолеть большое расстояние. Он должен был переплыть реку. Потоки воды усиливали течение волн, плыть было трудно. Он увидел, что плывет большое бревно, и хватился за него, а это оказался крокодил, который, видимо, был сыт и не сожрал его.

— Па, я где-то уже это читал, по-моему, у Коэльо.

— У Коэльо это есть?

— Ну да, не помню, в какой книге.

— Удивительно, он это списал из Вед.

— Из Вед?

— Да, из индийских Вед. Помнишь, чем кончилось?

— Не очень.

— Тогда я расскажу тебе. Переплыв реку при помощи аллигатора, он вышел на берег и пошел дальше. Перед ним вырос высокий забор, который он должен был преодолеть. Зацепившись за лиану, он стал вскарабкиваться. Но почувствовал под рукой что-то живое. Вместо лианы оказалась змея. Но и она, по счастливой случайности, не укусила его. Короче говоря, он, вымокший до нитки, уставший и испуганный, но счастливый, добрался до своей возлюбленной. Сел перед ней и стал рассказывать свои невероятные приключения, которые претерпел ради нее. Она внимательно смотрела на него и вдруг серьезно сказала:

— Знаешь, те испытания, которые ты перенес, не стоят наших отношений. Если бы ты так шел к Богу, ты был бы самый возвышенный святой на свете.

Эта мысль взволновала его, и он ушел от нее. Позже он стал одним из возвышеннейших святых, а ее поминал всю жизнь как свою наставницу.

— Ну и зачем ты мне это рассказываешь?

— Ты шесть часов сидишь перед компьютером, делая огромные усилия, чтобы победить шесть тысяч человек, играя в покер, эту сатанинскую игру. А ведь ты не холоп, а батюшкин сын. Если бы так шел к Богу или к настоящему делу жизни,

ты очень много мог бы достичь. Понимаешь?

— Пап, ну опять ты говоришь одно и то же, — он пыхтел и вертел носом. — Идти в семинарию, не имея глубокой веры, вот как у тебя, нет смысла. Зачем я буду обманывать людей или ходить на работу, как все это делают. Здесь же нужно призвание. Вот ты нашел себя. Я очень этому рад, конечно. А я себя еще ищу.

— Ты что, не имеешь веры в Христа Спасителя? Ведь ты не холоп, а батюшкин сын!

— Я верю. Но не настолько, чтобы быть священником, как ты.

— Ты изучай, Ваня. Может быть, ты не там ищешь, сынок?

— Я изучаю, — нетерпеливо и уже раздражаясь произнёс он. — Это все?

— Нет-нет, постой.

Разговор с девушкой о венчании не выходил у меня из головы.

— Вот ситуация, — я рассказал ему о девушке и наркомане, — скажи, почему она так себя ведет? Почему у нее нет страха? Ты понимаешь своих сверстников? Объясни мне, чтобы я понял.

— Она просто дура, вот и все. А он отморозок.

— Вань, подожди. Может быть, у нее настоящая, большая любовь к этому парню.

— Какая сейчас может быть любовь?!

— Такая, как, например, у Шекспира в «Ромео и Джульетте». Оба мертвы. Мы помним эту возвышенную любовь.

— Па, не смейся меня.

— Нельзя допустить этого? Она пришла с самым серьезным намерением связать себя с этим человеком в верности, навсегда, понимаешь. Она пришла просить повенчать их.

— Пап, вот он умрет, этот наркоман, она найдет такого же обманщика и будет его спасать, если сама, конечно, не окачурится. Они адреналинщики, эти современные тусята. Они без драйва жить не могут, понимаешь?

— Неужели все так стало просто. Просто и плоско? В наше время...

— Пап, в ваше время секса не было, вот в чем разница вашего и нашего времени.

— Ну как ты рассуждаешь?!

— Как все.

— Когда человек входит в храм, он становится настоящим, самим собой, глубоким. И он хочет быть таким, какой он есть в глубинах самого се-

бя. Жизнь не позволяет ему этого, понимаешь?

— Понимаю. Ну повенчай их.

— Повенчать?

— Повенчай... — он удалялся в свою комнату, на ходу громко крикнув:

— И назови их Ромео и Джульетта!

— Я не договорил с тобой. Я хотел сказать тебе о вкусах к счастью и о призвании. И ещё о Вере. Ты так плохо вёл себя.

Он вернулся и, глядя мне в глаза, сказал:

— Пап, а вот о Вере не надо говорить. Я ничего не хочу знать о ней. А сейчас мне некогда, у меня встреча.

Он хлопнул дверью. Я зажег лампаду перед иконой Божией Матери и открыл Канон молебный. Я вспомнил о маленьком мальчике Илюше, стал молиться за него, пытаюсь вникать в каждое слово Канона, пропуская его через свое сердце. Но мысли о сыне сбивали меня. Чистой молитвы не было. «Он повзрослеет, его интересы изменятся, — успокаивал я себя, — ведь это мой ребенок, мой сын. Природа возьмет своё. Он пересилит заблуждения молодости, он будет читать книги и будет развиваться. Он получит знания через искусство, и опыт жизни сделает его глубоким, серьезным».

Я сел писать мои листочки.

О благочестии

Дорогой Иван! Я обещал тебе рассказать о тинственном слове «благочестие». Тайна Христа — это как раз и есть тайна благочестия.

Буду говорить на понятном тебе языке. Благочестие — это ресурс. Его можно сравнить вот с чем. У тебя есть компьютерная игра. Твой герой идет по уровням, и у него в запасе несколько жизней. Проходишь разные препятствия, и твой герой теряет жизни, одну за другой. И вот наконец сгорает последняя, и машина возвещает «game over», игра закончена. Может быть, ты пройдешь все уровни и останешься жив, но это зависит от многих факторов. Не будем вдаваться в тонкости игры. Для меня важен этот образ.

В жизни бывает так: у кого-то много благочестия, этого таинственного ресурса, у кого-то меньше. От чего он зависит? Он зависит в первую очередь от наследственности. Если предки человека сделали в жизни что-то хорошее, нап-

пример, делали много добра людям, служили Родине и церкви, были военными, помогали нищим, любили все живое, они передадут много благочестия потомкам. А если предки не делали добрых дел, а, наоборот, убивали, разрушали, притесняли, терроризировали людей, издевались над животными, они оставят меньше благочестия. Меньше жизней. Как в компьютерной игре! Так вот, этот ресурс очень важен. Мы проходим уроки жизни и поднимаемся по уровням, чтобы стать совершенными. И этот ресурс, ресурс благочестия, помогает преодолевать препятствия в жизни и подниматься по уровням.

Например, святой человек. Он имеет огромный запас благочестия. Его ресурс впечатляет. В нем большие жизненные мощности. Он может совершить противоестественный для себя поступок, согрешить, съесть кусок мяса, которого он не вкушает уже, может быть, двадцать пять лет, и это не осквернит его сознания, потому что он покрывает этот поступок, этот грех своим благочестием. Он даже может совершить более страшный грех, но Бог не вменит ему грех в грех, то есть не осудит его, потому что сила благочестия покрывает это преступление. Другой же человек, обладающий небольшим ресурсом благочестия, совершая преступление, может пострадать и даже лишиться жизни из-за болезни или несчастного случая. Потому что нет у него столько благочестия, чтобы покрыть преступление. Машина-жизнь может сообщить «game over», окончание игры.

Конечно, мой мальчик, святой человек не станет искушать Бога, совершая преступление, потому что сила разума его такова, что он стремится к творчеству, к тому, чтобы создавать целые миры.

В одном из апокрифических Евангелий есть очень известный сюжет. Маленький Христос у реки Иордан из глины лепит птичек. Он творит, как все дети, любящие рисовать и лепить. Ты тоже в детстве любил это. Проходит мимо саддукей, хранитель Моисеевых законов, и обличает его в том, что он работает в субботу. Отрок Христос огорчается, что прерывают его детскую игру. Он ставит своих птичек в ряд и, взмахнув руками, произносит:

— Шух, летите!

Птички становятся живыми, вспархивают и

радостно взмывают в небо. Каждый человек способен творить, вдыхать жизнь в материю. Но для этого нужна энергия благочестия. Сакральная вещь — это благочестие!

Я думаю, дорогой мой мальчик, что сейчас деградация современного человечества такова, что люди живут уже в сновидении ада. И их самосознание находится на уровне неразумных детей. Задача же человека, приходящего в этот мир, состоит в том, чтобы понять через высокие принципы самосознания, какая сила благочестия скрывается в нем! Или какие страсти, какие немощи разрушают его судьбу, уничтожают его жизнь. Человек должен стать существом с высоким принципом самосознания. От этого зависит вся жизнь человека и его счастье.

Глубинная память ума хранит всю информацию о жизни наших предков. В тебе живу я, твоя мать, мой отец и моя мать, родители моей матери и моего отца и так далее по роду. Все генетические программы рода живут и проявляют свою непреложную силу. Они раскрываются в твоих мыслях, твоих желаниях и привязанностях. Все, что желали наши предки и не получили в жизни, переходит желаниями в тебя. И часть из них может быть тобой реализована. Потому что все желания имеют непреложную силу, и все они осуществятся, только вопрос: когда? В жизни моего отца, в моей жизни, твоей или жизни твоих детей? Желания стоят в очереди, но какие это желания? Это вопрос Гамлета «быть или не быть?», совершить поступок или не совершать его?

Многие люди не задумываются об этом, они просто живут. Но человек, понимающий глубину жизни, размышляющий о своем призвании, жаждет понять, зачем жизнь кончается смертью? Он становится на путь самопознания. Он воспитывает в себе высокие принципы самосознания. И те желания, которые хаотично возникают в его голове, контролируются им. Особенно те, которые способны уничтожить его цели на пути к высокому счастью и разрушить его судьбу. Он освобождается от них, он отсекает их от себя. Весь смысл жизни человека-аскета (ты знаешь смысл этого слова) заключается в том, чтобы очистить глубинную память ума от всех разрушительных привязанностей и желаний и сделать хотя бы один шаг к духовному миру, к истоку, из которого все произошло.

И в этом — ответственность личности за судьбу своего рода. Понимаешь? Жители земли не осознают этой ответственности. Вместо того чтобы очищать себя от преступлений и порочных привязанностей, накопленных по цепи рождений и смертей рода, и приближать свой род к духовному миру, они приобретают новые желания и новые привязанности и страсти и тем самым осложняют жизнь будущих поколений. Это как селевой поток, сорвавшийся с горы, все живое уносящий и погребаяющий под толстым слоем грязи и камней. Кстати, мой дорогой, природные катаклизмы возникают как раз из-за отсутствия творческого участия человека в космических процессах мироздания. От этого, кстати, исчезают целые виды растений, животных и птиц.

Ты спросишь меня, что же делать тем, кому не повезло? Тем, кто при рождении не получил достаточно благочестия, чтобы быть здоровым и преодолеть все удары судьбы? Я отвечу тебе. Общение. Вот самое главное, что должен помнить человек, не имеющий ресурса благочестия. Общение с благочестивыми людьми. От этого соприкосновения он будет получать духовную энергию и восполнять свой скудный ресурс.

Гениальность нашей церкви — в ее Таинствах, и в этом смысле Таинства священства удивительны. Я знаю несколько случаев из жизни, когда неблагополучная семья выбирала себе духовника и становилась счастливой. У главы семьи хорошо складывался бизнес, сын оканчивал университет, дочь, не отличавшаяся целомудренной жизнью, удачно выходила замуж и рожала детей, мать молилась и участвовала в строительстве храма. Она, мать, во всем помогая священнику, через его благочестие устраивала жизнь своей семьи. Но потом священника оклеветали, и она отошла от него. В течение трех лет муж потерял бизнес и не выходил из судов, дочь заболела тяжелой болезнью, которой по женской линии матери страдала ее бабушка, и в семье воцарился страх.

Россия знала великих старцев, которые окормляли (то есть кормили пищей благочестия) тысячи и тысячи русских людей, управляли их жизнями, давали им и веру, и надежду, и любовь. Их святые мощи и память о них хранят этот неисчерпаемый ресурс благочестия и продолжают окормлять несчастных. Но чудес становится все

меньше, потому что велико падение сознания современных людей.

Вот что такое благочестие, мой дорогой мальчик. Помни об этом. Помни всю свою жизнь. И когда ты задумаешь согрешить, подумай, хватит ли у тебя благочестия покрыть твой грех.

Ромео и Джульетта по-русски

Апрель выдался прохладным. Пригревало солнце, снег растаял, но из земли еще не вышел холод, скопившийся за долгую зиму. Он поднимался вверх, весенний ветерок подхватывал его и перемешивал с теплыми потоками воздуха, но ещё чувствовалось дыхание зимы. Ветви деревьев наполнялись соками, выпрямлялись и приобретали розоватый оттенок. Совсем скоро набухнут почки, распдутся и появятся клейкие листочки, свидетельствуя о пробуждении природы.

После зимы рабочие неторопливо начинали обживать стройку. Ставились строительные леса. Подвозилась в мешках сухая шпаклевка, краска. Все материалы складывались в металлическом гараже, из которого тянуло холодом и сыростью.

В начале апреля молодой бизнесмен Андрей Бизин привез сто мешков цемента на грузовой машине, принадлежавшей его компании. Это было его второе пожертвование на строительство храма.

Прошлым летом у него на шестьдесят втором году жизни умер отец. Болезнь пришла неожиданно, и за два месяца полный сил человек превратился в старика. Я приехал в их загородный дом, чтобы отпеть покойного.

Андрей, которого я не видел несколько лет, держался возвышенно строго. Поминутно глаза его наполнялись слезами.

— Я не знаю, сделал ли я все необходимое для своего отца, — с болью повторял он, — отец умер в больнице. Это неправильно. Человек должен умирать в своем доме, в окружении любящих его родных людей.

Я слушал его и думал о том, что чувство вины возникает у всех людей, которые теряют близких. Кто может быть уверен в том, что он сделал все, что мог, для своих родителей? Но сильнее всего чувство вины охватывает после трагических месяцев болезни, которая завершается

смертью. Порой кажется, что мы можем повлиять на судьбу человека, но она всецело принадлежит не нам, а премудрому промыслу Божьему.

— Если бы я уговорил его ехать на лечение в Германию, — твердил Андрей, — он был бы жив. Мне не жаль денег. Но свободных не было, нужно было вытаскивать из моего неокрепшего бизнеса. Отец это знал и всячески удерживал меня. Ая, получается, не очень-то и настаивал. И была эта мелкая мыслишка, — Андрей кривил губы и покачивал головой, — что все обойдется и бизнес не пострадает. Противно...

Я отпел его отца, он попросил телефон и через два дня приехал на стройку.

— Чем я могу помочь строительству храма, отец Евгений?

Я попросил цемент. Этот материал уходил очень быстро.

На другой день он привез сто мешков сыпучей смеси. Этого хватило на целое лето.

Утром, перед богослужением, я, поёживаясь от весенней прохлады, обходил стройку. Там рабочие бросили лестницу у стены, забыли мешок с цементом, а ночи холодные и сырые. Кирпича достаточно, хватит на пару недель работы...

Служба отошла. Я завершал панихиду.

В половине одиннадцатого в храм пришла девушка в черном платке. Я не сразу узнал в ней вчерашнюю мою просительницу.

— Он умер, — сказала она, — вы придете к нам?

Глаза потемнели от слез, лицо осунулось, черненький платок старил ее.

«Все-таки она его любила», — подумал я.

— Умер? Когда? — удивился я.

— Сегодня в четыре тридцать утра. Вчера потерял сознание, впал в кому. Сейчас он в морге.

— Когда будете хоронить?

— Завтра днем. А можно отпеть на улице, во дворе у подъезда?

— Можно, — согласился я, — днем уже не холодно.

— Это совсем рядом с храмом, — сказала она, — во дворе продуктового магазина.

— Будете выезжать из морга, позвоните мне, и я подъеду. Хорошо?

Она записала мой телефон и, сгорбившись, молча пошла к двери. Я окликнул ее.

— Подожди.

Она остановилась. Я подошел к ней.

— Что собираешься делать?

Слезы полились у нее из глаз. Она зарыдала и слегка прильнула ко мне. Минуту я стоял не двигаясь.

— Простите, — произнесла она глухим голосом, смутившись и всхлипывая, — я вам завтра позвоню.

Она торопливо вышла из храма.

«Что с ней будет?» — подумал я.

Окончание следует



Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН —
поэт, прозаик.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Автор шести книг стихов, прозы и эссе:

«Рождественские загары», «День, ниспосланный Тобой»,

«Временное и вечное», «Искренне только небо»,

«Невидимое присутствие», «Трудности перевода».

Публиковался в альманахах Академии поэзии с 2010 года, в международных сборниках МАПП «Зеркало жизни» и «Планета поэтов».

Член Союза писателей России,

Международной ассоциации писателей и публицистов,

член-корреспондент Академии российской поэзии.

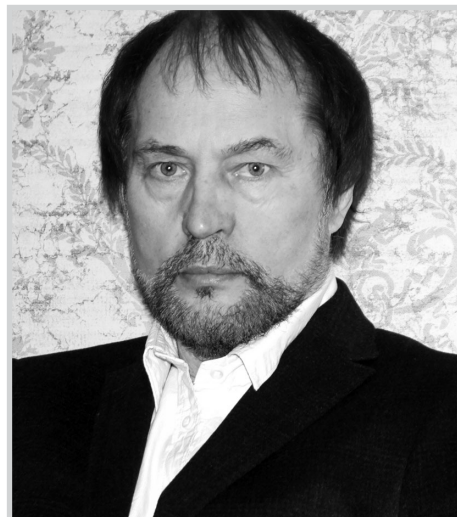
Председатель регионального отделения

Союза писателей России в Липецкой области.

Лауреат Литературной премии имени Евгения Замятина (2011).

Живет в Липецке.

В журнале «Север» публикуется впервые.



Алексей ФИЛИМОНОВ

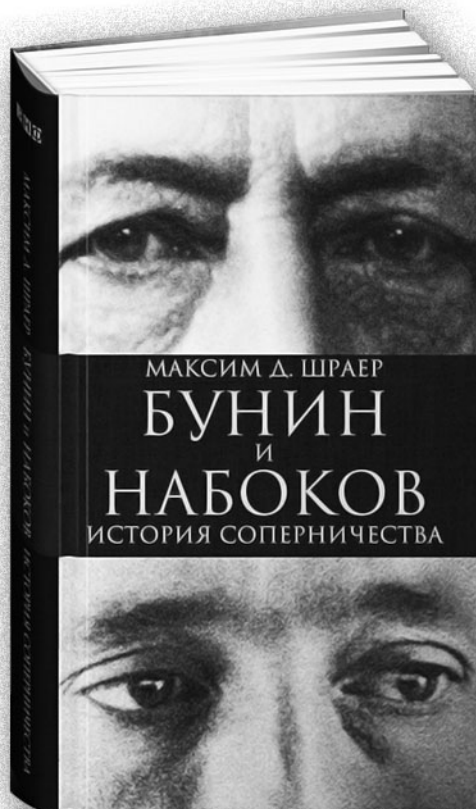
г. Санкт-Петербург

РЯБУЧКИ КАК СИМВОЛ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книга Максима Д. Шраера «Бунин и Набоков. История соперничества» посвящена противостоянию двух блистательных писателей недавнего прошлого. Автор книги, относящийся с любовью к героям, развивает постулат о соперничестве и доказывает, что отношения между ними были и сложнее, и драматичнее. Между писателями была не только пропасть в возрасте, практически три десятилетия – Бунин принадлежал к поколению старших символистов, Набоков был моложе младоакмеистов. Само центроостремительное время истории разделило русскую литературу на непримиримые школы и направления.

Современное набоковедение иногда похоже на препарирование трупа лягушки, глотавшей бабочек; амфибия забавно подёргивается и меняет цвет, когда исследователь применяет изощренные приёмы, частично заимствованные у самого же «недоужинного писателя, сноба и атлета». Максим Шраер, к счастью, из плеяды других учёных; сам являясь художником слова, собрав уникальный материал, он исследует творчество писателей-изгнанников как живой организм. Для него первостепенен факт, документ, дошедший до нас.

В кругах эмиграции над поднимающимся талантом Сирина висела фраза Георгия Иванова, ска-



занная не без личных мотивов, в отместку на резкую набоковскую рецензию на роман его жены Ирины Одоевцевой: «пошлость не без виртуозности» (Г. Иванов. В. Сирин. «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Возвращение Чорба», рассказы. Числа. 1930. Кн. 1. С. 233–236). Восторженное отношение к дебютировавшему в прозе Сирина постепенно сменялось у Бунина раздражённо-ироничным, что не помешало нобелевскому лауреату написать Набокову рекомендацию для работы в университетах перед его отъездом в Америку. В ноябре 1953 г. Бунин уходит из жизни, через месяц Набоков дописывает «Лолиту», принесшую ему мировой триумф. Ядовитые отклики Бунина нетрудно предвидеть, скажем, по такому отзыву от людей близкого ему круга: «Фокусник сидит в нём... хорошо, но он пишет о пустяках... Мы попросили потом Яна почитать «Несрочную весну». – Нет, Сирина ещё далеко до него, не тот тон, да и душа не та» (Вера Набокова в дневнике 1929 года; Шраер. С. 50).

Видимый водораздел между писателями – поэтика модернизма, которую декларировал и проводил в своих писаниях Набоков, и подчеркнутый традиционализм Бунина, в своей крайности парадоксально оборачивался в прозе модернистской стилизацией и пародией. В этом, воз-

можно, лежит подтекст знаменитой драматической встречи писателей в 1936 году в парижском ресторане, окончившейся полным непониманием, одной из причин которого послужила... птица, что примечательно в контексте знаменитых бунинских петухов, «опевающих ночь», и псевдонима Сирина: «Бунин, подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным словарём, был озадачен моим равнодушием к рябчику, которого я достаточно напробылся в детстве, и раздражён моим отказом разговаривать на эсхатологические темы» («Память, говори!», пер. С.Ильина). Уже после войны это «воспоминание» было опровергнуто Буниным как «дикая брехня». Бунинский – антиблоковский – эстетизм представлен в романе «Дар» в воззрении отца поэта Фёдора Годунова-Чердынцева, рамки которого его сын стремился расширить (отец Владимира Набокова, Д.В. Набоков – ровесник Бунина): «Поэзию же новейшую он считал вздором, – и я при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области. Когда он однажды перелистал, с готовой уже усмешкой, книжки поэтов, рассыпанные у меня на столе, и как раз попал на самое скверное у самого лучшего из них (там, где появляется невозможный, невыносимый «джентльмен» и рифмуется «ковер» и «сёр»), мне стало до того досадно, что я ему быстро подсунул «Громокипящий Кубок», чтобы уж лучше на нем он отвел душу... Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что естественно продолжает Пушкина, между тем как пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски бездарности и ходули таланта – все то, что когда-то моя любовь прощала и освещала по-своему, а что отцу моему казалось истинным лицом новизны, – «мордой модернизма», как он выражался, – теперь так устарело, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина... Его ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю «поэзию модерн», а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный животворный луч любимого своего поэта».

Говоря о принципиальной разнице Бунина и Набокова, Максим Шраер заостряет внимание на том, что во многих бунинских рассказах любовь трагична, она обрывается смертью. По-другому у Набокова – считает Шраер – и приводит в пример светлое стихотворение в конце романа «Дар», сонет о вечном продолжении. Но, увы, попытка создать второй том романа обернулась провалом и смертью Зины в черновике недописанного про-

изведения (А. Долина. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар». В.В. Набоков: Pro et contra. Т.2. С. 697–740). По сути, «Дар» кончился трагично, на том, что герои не смогли обрести ключи от земного – и метафизического – рая, а значит, оказались обречены. В послесловии к своему русскому переводу «Лолиты» Набоков сетует, что ключ для русского перевода им утерян, а в руке вместо пера Жар-птицы осталась лишь отмычка, отмечая, что между двумя языками, глубинным русским и понятийным английским – лежит никогда не преодолимая граница.

Надо воздать должное Сирину за понимание истинной ценности бунинских стихов, которая в эмиграции подвергалась сомнению. В романе «Машенька», соблюдая поэтическую клятву быть верным музе Бунина, Набоков создает картины на основании его поэзии, вторя строфам стихотворения «Огромный, красный, старый пароход...»:

*Мальчишка-негр в турецкой грязной феске
Висит в бадье, по борту, красит бак –
И от воды на свежий красный лак
Зеркальные восходят арабески.*

*И лак блестит под черною рукой,
Слепит глаза... И мальчик-обезьяна
Сквозь сон поет... Простой напев Судана
Звучит в тиши всем чуждою тоской.*

Написанное Буниным в 1906 году отозвалось в романе «Машенька» 1926 года; набоковский герой Ганин уже не турист, но эмигрант по другую сторону России, вместе с автором очарован акварельной красотой порта: «Лиловая синева неба переходила на Востоке в червонную красноту, и, мягко светлея, Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса ряби; черная шляпка и черная феска беззвучно проплыли мимо». Такие «совпадения» подтверждают, что составляющей сиринаского таланта был его дар гениального читателя, умеющего «чужое вмиг почувствовать своим» (А. Фет) и передать его в первоизданном великолепии.

Поэзия Сирина претерпела сложное развитие, заимствовав и развив многое из веяний эпохи, что отнюдь не было свойственно поэзии Бунина. Периодизацию своего творчества Набоков предложил в книге «Poems and Problems», что процитировано Верой Набоковой в предисловии к посмертному сборнику «Стихи» (1979): «То, что можно несколько выпрепенне назвать европейс-

ким периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз: первоначальная, банальные любовные стихи... период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии – интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятилетия лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, художочной «парижской школы» эмигрантской поэзии); и, наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля». В духе «твёрдого стиля» Набоковым, уже в Америке, созданы такие уникальные шедевры, как «Парижская поэма» и «Слава», которые стилистически куда ближе к «парчовой прозе» Бунина (отзыв в «Других берегах»), чем к его стихам.

Была ли тема Руси, православия – и шире, религиозная тема – для Бунина лишь стилизацией «абсолютного и закоренелого атеиста» (Н. Берберова), с чем М. Шраер и спорит, и соглашается? Полагаю, что для человека, написавшего «Канун Купалы», «Два голоса», «Матфей прозорливый», как и стихи об иных цивилизациях, главной была мечта о духовном единстве человечества, и в этом смысле Бунин космополит не меньший, чем Набоков. Дело в том, что «модернизм» воспринимался Буниным в религиозном смысле как демонизм, смешение Бога и Дьявола. Религиозность и литературное творчество было связано для Бунина самым тесным образом, распад языка и формы, по его мнению, привёл писателей к деградации, а Россию – к катастрофе. Говоря о принципиальных различиях авторов в глазах современников, Глеб Струве писал о Набокове: «Как стилист он кое-чему научился у Бунина, но трудно представить себе писателей, более различных по духу и сущности» (1936; цит. Шраер. С. 93). Корневое содержание и тоска по России у Бунина сравнивалось с блистающей пустотой Сирина, что было несправедливо. Старший писатель именовал младшего «шутлом гороховым», этим суждением невольно указывая на тему набоковской арлекинады, продолжавшую Серебряный век, с его эклектикой «ямщиков»,

надрывности и гностицизма: «Сирин всё-таки нестерпим – лихач возле ночного кабака, хотя и замечательный» (Из письма И. Бунина – М. Карамзиной 29 марта 1930 г. Цит. Шраер. С. 144).

История любви двух писателей, взаимной их ревности к литературному творчеству, замешанная на нараставшем раздражении поколений «отцов и детей», распутывается Максимом Д. Шраером как детективный клубок, порождая новый жанр литературоведения. Но литературная дуэль тем интересней, что удары клинка здесь могут наноситься заблаговременно. Так, карикатурные черты Набокова проступали в облике писателя Кармазинова, проживающего в Швейцарии, уже в романе Достоевского «Бесы», а в облике господина из Сан-Франциско из одноимённого рассказа Бунина мнятся черты холодно-надменного портрета самого Набокова. В новозаветной традиции Сын становится искупительной жертвой Отца. Набоков не только возвращает литературную историю к ветхозаветным истокам, но по своему преломляет эту мифологию, придавая ей зеркальные, изнаночные черты.

**Максим Д. Шраер. Бунин и Набоков.
История соперничества.
Издательство Альпина Нон-фикшн, 2014 г.**



Вениамин СЛЕПКОВ
г. Петрозаводск

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КАРЕЛЬСКОГО ЛЕСА

В Карелии в нынешнем веке было выпущено несколько энциклопедических изданий по различным отраслям. Есть трехтомная «История экономики Карелии», есть «История финансов» и «История строительства в Карелии». Как ни странно, в республике, которая много десятилетий жила за счет леса, активно занималась и заготовкой, и лесовосстановлением, и переработкой, которая, как говорили, «стояла на деревянных ногах», до сих пор не было серьезного труда, посвященного лесопромышленному комплексу.

В большой мере эту лакуну закрывает книга известного специалиста лесной отрасли Виктора Пладова «Люди и леса Карелии», выпущенная в 2015 году издательством «Острова».

Виктор Александрович Пладов родился в 1941 году в семье работника лесной отрасли, окончил Петрозаводский лесотехнический техникум и Ленинградскую лесотехническую академию. С 1956 года работал в леспромхозах Карелии, досконально знает работу с лесом, поскольку прошел путь от рабочего до генерального директора объединения «Кареллеспром». В последние годы Виктор Пладов работал на руководящих должностях в ЗАО «Шуялес», стал одним из создателей и первым руководителем Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия. Имеет звания заслуженного работника лесной промышленности Карелии и России, почетного работника лесной промышленности и лесного хозяйства Российской Федерации.

Виктор Александрович не впервые берется за перо. Его статьи, посвященные проблемам лесной

отрасли, публиковавшиеся в местной и центральной прессе, всегда вызвали большой резонанс. В 2011 году вышла книга «Пладовы: судьбы и лес», посвященная династии, представители которой на протяжении десятилетий связывали свои жизни с российским и карельским лесом.

В определенной степени новая книга Виктора Пладова продолжает первую, однако нужно отметить, что она имеет самостоятельное значение. О том, как складывалась книга, рассказывает автор в предисловии: «Решение издать книгу о лесе далось мне не просто, а сама работа растянулась почти на четыре года. На начальном этапе планировал книгу о том времени, когда сам работал в лесу, то есть со второй половины XX века до начала XXI столетия... но, начав работу, прочитав книги историков, решил расширить временные рамки. Мне самому всегда было интересно знать, как и с чего в Карелии начинались лесозаготовки, сплав, деревообработка, кто стоял у истоков лесного хозяйства, какими были объемы лесопромышленного производства в самом начале и в наши дни».

Опираясь на работы известных карельских историков Н.А. Кораблева, В.Г. Макурова, А.Т. Филатовой, Л.И. Вавулинской, С.Г. Веригина, О.П. Илюха, С.Н. Филимончик, С.П. Ускова, В.Г. Баданова, А.Ю. Жукова и других, используя собственные архивные изыскания, Виктор Пладов дает широкую картину от начала разработки леса до наших дней.

Уже начиная с XV века в Карелии началось промышленное использование леса, который требовался для солеварения и, позднее, для производства железа. Затем, в XVIII веке, когда в нашем се-

верном крае стали появляться лесопильные заводы, заготовки возросли. В конце того же века пиломатериалы из Карелии стали поставляться за рубеж. Известны имена карельских лесопромышленников конца XIX – начала XX столетия, которые известны не только как успешные предприниматели, но и как меценаты, немало сделавшие для развития культуры и в Карелии, и в России. Так, поддержка Митрофана Беляева давала возможность творить многим русским композиторам, ставшим классиками, а участие Марка Пименова позволило построить Аничков мост в Санкт-Петербурге, многие до сих пор сохранившиеся здания в Петрозаводске, соборы, маяк на одном из островов Онежского озера. В книге Виктора Пладова дается обзор развития лесной промышленности и в дореволюционное время, и позднее.

Подробно рассматриваются вопросы организации лесозаготовок в довоенный и послевоенный период, создание крупных лесозаготовительных трестов, внедрение передовой на тот момент лесозаготовительной техники. Уделяется внимание героическим страницам истории, например, дается портрет знаменитого карельского лесоруба, награжденного орденом Ленина, Петра Готчиева. Но и трагические страницы истории находят отражение, как годы репрессий, когда в лагерях, среди прочих, сгинули многие и многие канадские и американские финны, приехавшие в Советскую Россию и многое сделавшие для развития культуры, в том числе культуры производства, привезшие с собой новые технологии.

Работа с лесом в годы войны и после нее известна читателям, интересующимся вопросами лесопромышленного производства, по книге В. К. Королева «В лесах Карелии». В книге Виктора Пладова рассказывается и о Вячеславе Константиновиче, и о времени его работы. Если книга В.К. Королева написана в форме романа, то Виктор Пладов дополняет рассказ многими документами. Так, в главе, посвященной послевоенному возрождению, приводятся выписки из протоколов производственного совещания по итогам подготовительных работ к сплаву и задачам проведения сплава в 1945 году, производственно-технического совещания работников лесного хозяйства и охраны леса Министерства лесной промышленности КФСР в 1946 году. В наше время большой популярностью пользуется литература историческая, публицистическая, литература нон-фикшн, позволяющая дать более четкий, более полный взгляд на описываемые события. И с этой точки зрения книга Виктора Пладова стано-

вится в ряд лучших томов, выпущенных в последние годы, поскольку представляет именно широкую панораму работы с карельским лесом.

Безусловно, дополнительную ценность книге придает тот факт, что автор сам несколько десятилетий своей жизни посвятил работе в лесу, был свидетелем, непосредственным участником многих важнейших событий. В книге он сумел соединить личные впечатления, воспоминания с научными исследованиями, с большим объемом глубоко проанализированной документальной базы. Так, приводя многие цифры и факты в рассказе о взаимоотношениях лесопромышленников и лесохозяйственников в 80-е годы, автор делится своими воспоминаниями об участии в совещаниях, на которых рассматривались описываемые проблемы, о поездках к зарубежным коллегам, чей опыт изучался при перестройке лесопромышленного комплекса Карелии.

Вместе с автором мы проходим через перестроечное время, когда, с одной стороны, в лес приходили новые технологии, с другой – на государственном уровне реформы осуществлялись таким образом, что далеко не всегда служили на пользу делу. Автор достаточно жесток в оценке произошедших событий, существующего лесного законодательства, и он имеет право на такую оценку как человек, хорошо знакомый с лесопромышленным комплексом. «Сравнивал лесное законодательство в России и законы о лесах в других странах. И не только законы, но и порядок, систему управления и организации лесного хозяйства. Основное, что вынес в ходе знакомства с зарубежным опытом, – это тщательность и продуманность, взвешенный подход к содержанию статей и основных положений в тексте законов. Например, в Швеции достаточно купить книгу «Законодательство о лесе», и в ней найдешь ответ на любой практический вопрос при организации работы в лесу по каждому виду работ. Никакого сравнения с Лесным кодексом России 2006 года (разработка депутата Комаровой, которая никакого отношения к лесу, кроме «грибного и ягодного», не имела), введенным в действие указом Путина. Прошло уже много лет, а Госдума все еще принимает подзаконные акты, совершенствует. А работать эффективно по Лесному кодексу 2006 года нельзя ни лесному хозяйству, ни лесозаготовителям, ни населению».

Подробно рассказывается, как перенимала Карелия, ставшая одним из лидеров в применении скандинавских технологий работы, зарубежный опыт. «Наиболее поучительным для нас, карельских работников леса, и более наглядным оказался

опыт финнов. В Карелии и Финляндии – практически одинаковые климатические, природные условия... Кроме того, мы еще и соседи...» – пишет Виктор Пладов, описывая историю создания и работы совместного карело-финского проекта, в результате которого появилось и по сей день успешно работающее предприятие «Ладэнсо».

В начале 90-х годов происходил процесс создания холдингов и приватизации в лесной промышленности. Виктор Пладов рассказывает об этом как очевидец многих событий. Он был участником семинара-совещания по созданию лесопромышленных холдинговых компаний в Нижнем Новгороде, где выступали Борис Немцов, Григорий Явлинский. Автор не комментирует итоги совещания: «Это можно сделать, только вернувшись в то смутное время, и то не обладая при этом багажом прожитого с того дня времени». Однако дальнейшие события оценивает четко: «1992–1994 годы – это время массового воровства, грабежа огромного промышленного, хозяйственного, интеллектуального, экономического, социального потенциала России, именуемого народным хозяйством... по моему глубокому убеждению, приватизация – это крупная, с «блеском» проведенная политическая государственная кампания по перекалыванию ответственности за работу нищих предприятий на плечи самих трудовых коллективов. При этом экономика стала неуправляемой, были разрушены технологические и экономические связи».

Лесной комплекс Карелии столкнулся с жесточайшими проблемами, но все же сумел сохраниться. Виктор Пладов отмечает, что если российское правительство на тот момент бросило лесопромышленные комплексы в регионах на произвол судьбы, то правительство Карелии оказало местному ЛПК серьезную поддержку. И в 1990-х годах спад в карельском ЛПК оказался самым низким, а процент освоения расчетной лесосеки – самым высоким во всей стране.

Автор доводит рассказ о лесопромышленной отрасли Карелии до наших дней, без ретуши показывая как позитивные, так и негативные моменты истории, в том числе истории новейшей. Но не случайно книга носит название «Люди и леса Карелии». В ней немало страниц посвящено людям, и одна из завершающих глав называется «Элита лесопромышленного комплекса Карелии XX века». На презентации книги, состоявшейся в национальной библиотеке Республики Карелия, Виктор Александрович Пладов подчеркнул, что слово «элита» использует в первоначальном его значении. Этот термин произошел от латинского слова «eligo», что

означает «избранный», «наилучший», «отборный». Имена наилучших работников лесного комплекса Карелии, его гвардии – депутатов Верховного совета СССР и Верховного совета РСФСР, Героев Социалистического труда, лауреатов Государственной премии СССР, премий Ленинского Комсомола и Комсомола Карелии, депутатов Совета Карельской АССР и Карело-Финской ССР, Законодательного Собрания Карелии, руководителей, специалистов, передовиков производства – приводятся в книге. Это сотни фамилий тех людей, кто создавал славу карельского ЛПК.

Редакторами книги выступили известные карельские журналисты Юрий Шлейкин и Николай Сабуров, много лет бывший главным редактором газеты «Лесная Карелия».

...За несколько дней до презентации новой книги, состоявшейся в Петрозаводске и собравшей десятки бывших и нынешних специалистов лесного комплекса, руководителей многих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, историков и просто читателей, интересующихся темой леса, мне довелось побывать в Пудожском районе Карелии, где в 60-е годы прошлого века трудился Виктор Александрович Пладов. В поселке Пяльма существует музей, созданный энтузиастами, представляющий историю поселка. Одна из экспозиций музея посвящена Виктору Пладову и создана на основе предыдущей книги «Пладовы: судьбы и лес». Думаю, эти два факта – внимание к книге в столице Карелии и внимание к творчеству Виктора Пладова в одном из поселков, расположенном в 300 километрах от Петрозаводска, – говорят о том, что новая книга будет встречена читателями с большим интересом.

Виктор Пладов.
«Люди и леса Карелии».
Издательство «Острова», 2015 год

Этот номер для Вас подготовили:



Елена Пиетилиянен
главный редактор



Елена Бермус
редактор отдела
прозы



Евгений Кудрявцев
дизайн, верстка



Вениамин Слепков
редактор отдела
очерка и публицистики



Александр Воронин
редактор
отдела поэзии
и сайта журнала



Людмила Шананина
корректор



Наталья Евдокимова
секретарь

Редакционный Совет

Большакова Надежда (Мурманская обл.)

Васильева Надежда (Петрозаводск)

Востряков Игорь (Петрозаводск)

Гнетнев Константин (Петрозаводск)

Крапивин Владислав (Тюмень)

Ковалев Александр (Санкт-Петербург)

Лемесов Валерий (Швеция)

Маркова Елена (Петрозаводск)

Миккола Мария-Леена (Финляндия)

Минеева Инна (Петрозаводск)

Мустонен Раиса (Петрозаводск)

Переяслов Николай (Москва)

Пиетилиянен Елена (Петрозаводск)

Попов Андрей (Сыктывкар)

Пронин Сергей (Петрозаводск)

Соломещ Илья (Петрозаводск)

Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-3570 от 31.05.2000 г.

Цена договорная